

Анатолий

ПРИСТАВКИ

Синдром пьяного сердца

Золотой палач

Первый день –
последний день творенья

*И мой мир лишь некое повторение мира.
Туда реальность – бутылочка
да марлевая повязка на картинке,
которой в природе тоже не бывает...*



Анатолий

ПРИСТАВКИ

Анатолий

ПРИСТАВКИ

Синдром пьяного сердца

Золотой палач

**Первый день –
последний день творенья**

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
П77

Художественное оформление:
Яна Сметанина

Подписано в печать 31.05.2010. Формат 84x108 ¹/₃₂.
Усл. печ. л. 28, 56. Тираж 3000 экз. Заказ № 5306

Приставкин, Анатолий

П77 Синдром пьяного сердца. Золотой палач. Первый день — последний день творенья / Анатолий Приставкин. — М.: АСТ: Зебра Е, 2010. — 544 с. — (Собр. соч. В 5 т. Т. 5).

ISBN 978-5-17-067878-5 (Т. 5) (ООО «Изд-во АСТ»)

ISBN 978-5-17-065167-2 (ООО «Изд-во АСТ»)

ISBN 978-5-94663-945-3 (Т. 5) (ООО «Изд-во Зебра Е»)

ISBN 978-5-94663-940-8 (ООО «Изд-во Зебра Е»)

Как у каждого серьезного писателя, у Анатолия Приставкина были свои любимые из тех книг, что созданы за сорок лет честной литературной работы. Это только дети в семье все любимые, а книги у писателя, хотя и родные, как дети, но все разные. Поэтому можно сказать, что эту коллекцию прозы для вас, дорогие друзья, собрал сам автор...

В пятый том вошли повести «Золотой палач» и «Первый день — последний день творенья», а также цикл новелл под названием «Синдром пьяного сердца».

Агентство СІР РГБ

© М.Приставкина, наследник, 2010

СИНДРОМ ПЬЯНОГО СЕРДЦА

Встречи
на винной дороге

Приди ко мне, брате, в град Москов веселие пити...
ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ СВОЕМУ РОДСТВЕННИКУ
СВЯТОСЛАВУ ОЛЕГОВИЧУ (ИЗ ЛЕТОПИСИ)

Я пью — следовательно, существую!
ДЕВИЗ НОВОГО ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЯ
КОНЦА XX ВЕКА, КОТОРОЕ ВОШЛО В МОДУ В ПАРИЖЕ

ЖИЗНЬ НАША КОПЕЙКА

Случилось это в теплой стране Болгарии, в ее столичном городе Софии, который все русские почему-то называют Софией, с ударением на втором слоге, а болгары — Сoфией, что гораздо благозвучней. Постил я у моего друга Емила, в крошечной мансарде с окошечком-лючком в потолке, выходящим на крышу многоэтажного дома. Через этот лючок, проснувшись среди ночи, можно было увидеть полную луну — тарелку, наполненную до краев жидким золотом, — которая, как прожектор, упиралась прямо мне в лицо и мучила, не давая спать.

И в этот прощальный вечер, а прощальный потому, что я уезжал в Москву, лючок был распахнут настежь в черное небо, а мы, прилично (и привычно) поддав, предавались невинному в общем-то занятию... Развлекались тем, что сочиняли потешные тексты к изображению обнаженной девицы, которую тут же при нас набросал фломастером на картоне художник Иван Стойчев.

Он и сейчас у меня где-то хранится, тот клочок картона с наскоро набросанным контуром девичьего тела, в позе чуть вызывающей, но и стыдливой, в полупрофиль, с ручкой, трогательно прижатой к груди, как это делают молоденькие натурщицы, и с ножкой, соблазнительно подогнутой под себя. Мы пустили девицу по кругу (вот раз-

врат!), решив, что каждый из гостей, а нас было человек пять, все мужчины, что-нибудь, в меру своей испорченности, о ней присочинит. Ржали, как жеребцы, сотрясая смехом стеклянную посуду на столе, когда читали вслух свои бойкие экспромты. И при этом, понятно, мы не переставали пить. Пьют же здесь, в солнечно-винной Болгарии, нисколько не меньше, чем на моей веселой родине. Ну а как пьют в России... Сапожник, известно, пьет в стельку, плотник — в доску, портной — в лоскуток, печник — в дымину, извозчик — в дугу... Да и все остальные — соответственно роду занятий... Ну а если взять всех скопом, вселюдно, всенародно, то пьют у нас, коротко говоря, вусмерть. И это уже не образ, а констатация факта, обозначающая тот счастливый предел, за которым уже пить невозможно. Хотя как сказать. Лично мне известен случай и иного рода, когда умер в деревне мужик с перепоя... Далее цитирую по своей книжке: «...Обмыли, по обычаю, покойника, вынесли в другую избу, позвали пастыря Псалтырь читать. Ночью скучно, ну и захватил он для верности полштофник. Почитает, выпьет, снова почитает... Опьянел, глядит на покойника, так ему жалко стало. Вчера еще вместе выпивали, а сегодня... «Эх, друг, — говорит пастырь, — выпей-ка со мной последний разок, на том свете-то не попьешь». Оттянул верхнюю губу и вылил ему в рот. Остальное допил и задремал около. Вдруг слышит: «Что это ты, Макар, я никак не пойму». Глядь, сидит покойник на столе, руки от холода потирает. Тут у моего пастыря мокро стало от испуга. Пригляделся, язык оживел, спрашивает: «Да жив ты аль нет?» — «А кто тебе сказал, что я помер?» — «Так ты и есть померший...» — «Тогда надо помянуть себя... Сбегай-ка за водкой, будь другом!» Достал покойник огурчиков соленых, и принялись они поминать уже не поймешь кого. Раздолье, умирать не надо. К утру пришли родные попрощаться с телом, а покойник вместе со священником с перепоя слова не могут вымолвить. Тут поднялся шум на всю деревню, а потом смех на всю волость».

Хоть и говаривают, что утренний гость до обеда, а послеобедный до утра, но до утра уже не получалось, надо

было мне собирать вещички да хоть немного перед дорожкой вздремнуть. Гости расходились, стал собираться и я. А еще один мой здешний друг, Слав Македонский, который в недавние времена работал на шахтах Донбасса, по вербовке, и до того обрусел, что свои рассказы писал на русском языке, по-свойски сунул мне в карман пузатенькую бутылочку коньяка «Плиска», заметив шутливо, что это мне такая специальная «подъемная». Несколько раз, мол, приложился, а под крылом уже, глядишь, Москва.

— Ты до гостиницы-то дойдешь? — спросил озабоченно Слав. — Пожалуйста, не забудь: зовется она «Плиска»! «Плиска», а не «Коньяк»!

Это недавно рассказывали анекдот, и там мой российский землячок, крепко гульнув, никак не мог разыскать свой ночлег, потому что у всех встречных вместо гостиницы «Плиска» спрашивал гостиницу «Коньяк».

— Не забуду, — заверил я.

— Ага! Вот за хорошую память тоже надо отхлебнуть, — оживился Слав, и мы тяпнули по единой, потом по второй и еще по третьей: посошок... Она же стремянная, она же закурганная... Но так как изба о трех углах не строится, то и по четвертой, а поскольку конь о четырех ногах спотыкается, то и по пятой... А может, и по шестой... Или по седьмой, но какая-то уж точно была последней, и дух наш окреп еще более. Всегда духу есть куда крепнуть, особенно если неохота уходить. И тогда мы откупорили бутылочку сливовой ракии, которую мои земляки называют почему-то самогонкой, а она никакая не самогонка, просто, как сказал во время какого-то застолья Булат Окуджава, у нее такой идущий от земли нутряной особенный дух, аж за горло берет... И за душу, само собой. Если при этом еще закусываешь шопским салатом, с кольцами красного перца и белыми ломтиками брынзы.

Однажды в родопском селении Банница (Родопы — это горная часть Болгарии) я потреблял сливовую ракию прямо из перегонного аппарата размером с паровой котел, установ-

ленный в специальной избе посреди деревни. Орудовали возле шипящего агрегата два развеселых дядьки, которые привезли с утречка возок спелой сливы и до того уже на-пробовались, что встретили нас, как русских братушек, с победным ликованием, будто собирались, как их деды, идти на штурм Шипки... И эта ракия была горячая, через глиняные стаканчики обжигала пальцы, и такая пахучая, что от одного ее душного запаха закладывало уши и крутом шла голова. А движения рук и ног становились непривычно вязкими. Мы выползали в осенний сад, где лежал первый снег, отыскивали в снегу по темным ямочкам осыпавшиеся с дерева грецкие орехи. Холодные, пряные, сладковато-маслянистые, пахнувшие йодом, они таяли во рту. Мы разламывали намокшую от снега скорлупу и высасывали ореховое нутро, как устриц из ракушек... Грецкие орехи из снега и дымящаяся ракия в шаткой избенке — праздник!

Но всему приходит конец, даже сливовой ракии, которую мы так и не допили из домашней огромной бутылки. Слав и Емил провожали меня до лифта. Он еще работал. Обычно после полуночи его отключают. Помню, я подумал, что мне повезло. Ведал бы я, чем обернется для меня такая везуха! Но ничего я тогда про свою судьбу еще не прозревал, только запомнил, что Емил, который почему-то был трезвей нас со Славом, предложил мне пойти пешком. Он кивал головой, а у болгар это означает отрицание. Но я-то был хорош и, спрашивая, влезать ли мне в лифт, как бы получал подтверждение, что надо, мол, — кивок головы, — да и Слав не хотел, чтобы я топал по темной лестнице, где можно свернуть шею.

Он пошарил по карманам и протянул мне крошечную монетку: стотинку, ну точно такую же, как наша русская копейка. «Держи, — сказал, — это тебе проездные».

Я было решил, что Слав шутит, но Емил, с несколько виноватой усмешкой, пояснил мне, что дом, в котором мы сейчас, старой, видишь ли, постройки и лифты в нем тоже старые, за плату. Плата невелика, но я должен бросить в автомат стотинку. Подумаешь, стотинка! Мы за вечер про-садили их столько...

— Эх, прокачусь! — воскликнул я легкомысленно, сунул монетку в узкую щель-автомат, и лифт, под одобрительные возгласы моих другарей, рванул вниз, навстречу неизвестности.

Лифт шел медленно, и я смог еще расслышать голоса над своей головой и прощальный хлопок двери в комнату Емила. А потом лифт встал, но я не увидел никакого — ни первого, ни другого — этажа, а лишь темное сырое нутро подвала...

В лифте горел свет, но далее кругом было черно, а двери, через которые я попытался выбраться наружу, оказались наглухо задраенными. За ними угадывался какой-то строительный хлам. За разговорами да шутками, не глядя, как у себя дома, я нажал нижнюю кнопку, которая и должна была обозначать первый этаж... Она же обозначала подвал.

— Докатился, — пробормотал я, сообразив промашку, и, посмеиваясь над собой, нажал кнопкой выше. Но лифт стоял. По российской привычке — брать технику силой — я постучал кулаком по кнопке, даже попрыгал, предположив, что где-то что-то заело, пока вдруг не сообразил, что для нового рейса необходима просто еще стотинка.

Мелочишка, ерунда, пустяковина, если она есть. А если нет? Где ее найдешь, сидя в лифте, да еще в подвале?

Вот тут я и протрезвел, хотя не сразу. Но точно помню, что вознегодовал на чертову систему, доставшуюся нам, то есть моим болгарам, от их капитализма, где все выражается в формуле, которую нам вдалбливали на лекциях по политэкономии: деньги — товар — деньги.

Тут и вспомнишь добром расхристанную, разболтанную матушку-Россию, где можно ездить бесплатно в лифтах и жечь в парадном сколько влезет дармового электричества.

— Господи, хочу домой! — простонал я негромко. — Хочу ездить в бесплатных лифтах... И вообще... Хочу... Не быть... Тут!

Попрыгал на всякий случай, ощущая ступнями пружинистый пол. Авось там, в железном нутре, что-то сдвинется... Душа? Может, и душа, если она бывает у лифта. Впро-

чем... Не знаю, как у других, у моего лифта души не было. Он не хотел уступить ни на грош. Что означало: ни на стотинку!

Сейчас бы окликнуть Емила со Славом, да ведь они в мансарде, на шестом этаже. Проводив меня, со спокойной совестью допивают троянскую желтоватого цвета ракию из огромной бутылки, присланной в подарок из деревни, кажись, литра на два! Этого им хватит надолго, до утра. Да при чем тут утро? Выпьют за мой благополучный отъезд и заснут. А я? Так и буду здесь куковать?

Вот если бы кто-то из припозднившихся жильцов вернулся домой да вызвал лифт.. Впрочем, как его вызовешь, если я в нем сижу? Получается ерунда какая-то. Сам я подняться не могу, а никто другой поднять меня не может. Словом, влип. В лифт..

Вот тогда я и решился подать голос. Закричал, но не так чтоб сильно — стеснялся.

— Э-е-ей, — проблеял жалобно, не зная, к кому же это я взываю. Немного подождал и крикнул посильней: — Эй! Кто ме-ня слыши-ит?!

Никто меня не слышал. Никто не отозвался.

Звук из моей железной клетки, обложенной к тому же со всех сторон обрезками досок, далеко уйти не мог, застревал тут же в подвале. А уж где ему достичь ушей моих славных друзей, которые твердо уверены, что я давно у себя, на десятом этаже гостиницы «Плиска», готовлюсь к отъезду... Вещи, покупки, подарки, загранпаспорт, билет, оставшиеся болгарские левы... Наверное, там, где-то среди левов, и крошечная стотинка, ах, как она мне нужна здесь, сейчас, чтобы выволить из западни! Впору бы воскликнуть: «Полцарства за стотинку!»

Выйду на волю, буду носить при себе килограмм стотинок.

— Э-ге-гей! — завопил я изо всех сил, мне уже не было стыдно взывать о помощи. — Эй, черт возьми! Да помогите же, в конце концов!

Прислушался, задирая голову. Дом спал, как ему и положено, и мои верные болгарские друзья хлестали небось ракию и вели неторопливые беседы, развалясь в креслах.

Так живо представилось, что я чуть не взвыл.

Всем, ну всем сейчас лучше, чем мне, осужденному на эту отсидку... Можно сидеть стоя, а можно на карачках. Но что-то мне все время мешало. Я полез в оттопыренный карман и нащупал пузатенькую бутылочку коньяку. Вспомнил, что этот коньяк засунул мне на дорогу Слав, но не обрадовался. Лучше бы сунул вторую стотинку...

Впрочем, поразмыслив, а для этого было сколько хочешь времени, я решил проверить свои карманы, а вдруг? Вытащил бутылочку, потом вынул газетку, захваченную для чтения в трамвае, и сделал вот что: постелил газетку у своих ног, а на нее поставил коньяк. Еще я обнаружил носовой платок и завалявшуюся, видать из Москвы, ириску. Получилось нечто вроде сервированного стола: на-тюрморт с ириской. Потом извлек расческу и записную книжку, с которой я никогда не расстаюсь, а в ней между страницами ту самую картонку с обнаженной девицей, что подарил мне на прощание Иван Стойчев.

Записную книжку вместе с девицей я тоже положил на газетку у своих ног. А больше у меня ничего не было. Я присел на корточки и стал рассматривать свое богатство. Потом отвинтил золотой колпачок с горлышка, превратив его в мини-рюмку, и осторожно капнул туда несколько граммов коньяку.

— Так где же находится гостиница «Коньяк»? — Вопрос был совсем не риторическим, ведь гостиница была для меня еще менее доступна, чем для моего загулявшего землячка из анекдота.

Неделю назад в самолете на Софию я углядел знакомое лицо и не сразу сообразил, что со мной по соседству сидит знаменитый киноартист Урбанский. Даже оглянулся несколько раз, а он вдруг приветливо мне кивнул. Вчера я встретил его возле нашей гостиницы, он сам подошел и спросил: «Вы, кажется, из Москвы? Тогда скажите, часто ли приходится в Болгарии выпивать?»

Я ответил ему, чуть поколебавшись, что пить в Болгарии приходится часто... Даже очень часто...

Урбанский бросил многозначительный взгляд на спутника, стройного седоватого мужчину, с лауреатской медалькой на груди, видать какого-то знаменитого болгарского артиста, и удовлетворенно произнес: «Вот видишь?»

Мы распрощались, а по возвращении домой я узнал, что Урбанский трагически погиб во время съемок нового фильма где-то в песках Средней Азии...

Но, сидя в лифте, я тогда ничего еще знать не мог, а потому я выпил мой первый «бокал» за здоровье Урбанского и его друга... Потом еще один — за моих друзей, пребывавших в уютной мансардочке и безбедно продолжавших наш, такой поначалу удачный, ужин.

Вспомнив про дареную девицу, подробно всю ее рассмотрел. Она, конечно, была выписана со знанием дела. Для скромного семьянина, тишайшего Ивана Стойчева казалось почти невероятным столь чувственное ощущение всех женских прелестей: таинственное полукружие бедер, и остренькие, чуть в стороны, грудки, и обольстительный черный клинышек между ног... Откуда бы это, если жена у него плоская как доска? Потаенная мечта? Несвершившаяся надежда?

— Ну что, красотка? — спросил я не без вызова. — Втяпались мы с тобой? А вообще-то жаль, что ты лишь воображение!

Внизу, под картинкой, — наши импровизации, и первая — Слава Македонского: «Повернись лицом, я хочу рассмотреть тебя получше...» Вторая уж не помню чья: «Ах, если бы не жена!» Может, это дописал наш скромняга Иван Стойчев?

И далее, среди прочих, моя: «Не успел познакомиться, пора домой!» Сейчас это не было смешно. Накликал на свою голову. Вдруг она — ведьма?

Не удивляйтесь — когда застрянете в лифте, поймете, какая сумасбродщина вдруг полезет в голову.

Я попытался поставить ведьмочку рядом с бутылкой, но она не устояла, и, чуть поразмыслив, засунул ее ножками в щель автомата, произнеся строго:

— Ты вот что... Торчи тут, если не способна вытащить нас на свободу!

Ведьмочка таинственно молчала.

Распорядившись с ней, я взял в руки записную книжку — там были адреса моих друзей и знакомых — и произнес вслух, но, кажется, обращался к девице. «Я что-то придумал... Я буду за них пить... Или нет. Я буду пить вместе с ними. Не беда, что лифт мал, воображение бесконечно... Надо лишь кликнуть по-дедовски: «Приходи ко мне, брате, в град Москов веселие пити...»

И чтобы пришли все. И, хлебнув из той символической бутылки, выпитой за долгий срок или недопитой, поговорили бы мы о чем-нибудь недоговоренном.

А что бутылка велика, так и разговор не мал.

Да и известно, что у нас бутылка вовсе не пьянство, а момент сокровенной истины.

Ну а поскольку знающие люди утверждают, что для личной комфортности каждого человека его должны окружать как минимум семнадцать других человек, я их всех столько уж, сколько наберется, посажу за этот мой безразмерный стол... «Приходи ко мне, брате...»

И разверзлись железные стены, и я въяве увидел за длинным столом, составленным из нескольких разнокалиберных столиков, накрытых белоснежной льняной скатертью, гомонящую компанию гостей. Там посередке и бутылка возвышалась, основательная, на манер старинной четверти, но пообъемистей, водка в ней, прозраченькая, едва-едва колыхалась, отбрасывая серебряный блик на накрахмаленную скатерть.

Лица как сквозь дымку. Но вот уже чуть резче, яснее... И громче голоса. А среди них рокошующий смех моего давнего дружка из Тюмени Жени Шермана: гхы-гхы-гхы...

ШЕРМАН-БРЕНДИ

(Евгений Шерман)

О Шермане я был наслышан и прежде. Он в ту пору был достаточно известен среди журналистов Урала и Сибири. Печатался под псевдонимом Евгений Ананьев.

На кой шут ему понадобился псевдоним, не понимаю. Он был не из тех, кто хоть в малой степени комплексовал по поводу своего еврейства. Да и не было у него нужды приспособливаться к этой власти.

Другое дело, что кровь ему досталась черт знает какая, неуправляемая. Все беды у него были от этой самой крови...

Встретились мы впервые на семинаре очеркистов в дачной местности в Комарове, куда обещает приехать «в понедельник до второго» герой популярного шлагера. В отличие от него, я прибыл туда с опозданием...

Теплый май шестидесятого...

Я застал занятия в самом разгаре. И конечно, первый, кого увидел в столовой за длинными сомкнутыми столами, — Шерман... Его нельзя было не угадать.

Про таких обычно строители, среди которых я в ту пору обитал, говорят: шестьдесят девять. Мол, как ни крути, одинаков что в ширину, что в длину...

У Шермана смуглое лицо и густые курчавые волосы... Стихия волос, и на руках и на груди... Черная лопата-

бородища, да ласковые навывкате глаза, и смех... Смех у него особый, утробный, чуть глуховатый хохоток из-под бороды: гхы-гхы-гхы...

Смех ребенка. Да Шерман, в общем, и был очень большой и доверчивый ребенок. За это и любили. Остальное замечалось потом: болтающийся, как на вешалке, костюм, более напоминавший пижаму, растерзанная сорочка да грудь, волосатая, вечно распахнутая... И конечно, нога. Но какая нога!

Не было приличных ботинок у Шермана. Даже тапочек...

Свидетельствую — Шерман был всегда скверно обут. В лучшем случае какие-то доморощенные чёботы, пошитые сапожником-умельцем и стоптанные до дыр.

Но внешность — это еще не Шерман, не весь Шерман. Это его начало. Он и возникал в нашей жизни как стихия, внезапно, фатально, неотвратимо. Будто сваливался с небес. И это «гхы, гхы, гхы», предвещающее начало эпохи Шермана.

Во всю ширину проема дверей сперва тело Шермана. Нет, тело потом, сперва — борода.

Ни шумен, ни тем более говорлив, напоминает появление смерча, ибо тотчас затягивает в свою воронку всех окружающих.

Шаркая, чуть приволакивая левую ногу, он появлялся в Доме творчества, и сразу возникала обстановка присутствия Шермана.

Из обширного кармана извлекалась известная на весь белый свет фляга с напитком, который кто-то из наших общих друзей, по первой пробе, обозначил как ракетное топливо: настолько оно было убойно и сшибало с ног... Но после второго, третьего приема было прозвано «шерман-бренди».

Да они и похожи, напиток служил продолжением нрава самого хозяина.

Французы влюблены в свой черешневый ликер шерри-бренди. Наш был не хуже. И уж конечно, не слабей. Никто из алчущих не знал в точности его рецепта, но мне удалось

однажды наблюдать, как колдовал Шерман над своей флягой, добавляя в некий спиртовой раствор чеснок, петрушку, какие-то корни и зелень, а в конце всю эту адскую смесь разбавлял рассолом квашеной капусты, для чего не ленился сходить на местный базарчик и лично выбрать рассол поядреней. Бабки не противились и не торговались. Да и мы все знали, что у Шермана глаз такой: глянет в упор, и любая хозяйка торопится сбросить цену.

Что касается рассола, процедура для него была привычной, ибо в студенческие годы после бурных ночных возлияний приходил с утречка на ближайший рынок, со своим граненым стаканчиком, и, одолев длинный капустный ряд и опробовав из ведерочек и бидончиков рассол (якобы выбирал капусту), в конце своего пути ощущал некоторое облегчение... В глазах, по его словам, возникал свет, а мир начинал обретать свои привычные знакомые очертания.

Свет в конце прилавка становился светом в конце тоннеля.

Возможно, в такой просветленный миг и родился состав его напитка... Ему бы навечно застолбить свой состав, как это делают практичные американцы, опустив для пущего секрета рецепт какой-нибудь кока-колы в капсулах на дно озера.

«Шерман-бренди» прославил бы навечно его автора и спас от головной боли нашу запойную страну.

Но мы непрактичны, мы ленивы. Нас хватает еще на праздничные застолья, но мы ненавидим будни...

Вернемся к Шерману. Пошаманив над питием, с приборматыванием и даже подхикиванием, он разливал его по стаканам и кружкам, но только не по рюмкам, и начиналось пиршество.

При этом появлялась на столе северная рыбка: муксун, нельма, рыбец... А поскольку каждая рыбка любит быть сваренной в той воде, где она водится, это знает каждый рыбак, то и каждый напиток любит, чтобы его закусывали той рыбкой, которая сему предназначена. Это уже знает каждый российский выпивоха.

Некрупная, но нежнейшего домашнего посола, рыбка навалена щедрой горкой на газетке или разделана так, что спинка тонкой маслянистой полосочкой отделена от ребрышек и хвоста, а влажная икра собрана в стаканчик...

Они и составляют тот самый колорит, без которого «шерман-бренди» не был бы до конца самим собой. Пальцы от такой рыбы быстро становились маслянистыми, пахучими, и как бы потом ты их ни мылил, они еще несколько дней сохраняют неповторимый дух, который витал на празднестве.

Добавлю, что, случись во время трапезы, как однажды и было на Крымском побережье, кто-то принесет дорогой марочный коньяк, редкое ли вино, будут они деликатно отодвинуты в сторонку, хотя и оставлены на столе. Но это для тех, кто не смыслит ничего в напитках и предпочтет их «шерман-бренди».

Для нас же вопрос, что пить в присутствии Шермана, не стоял.

Среди другой закуски, тоже «от Шермана», выставлялись на стол и свежий, с базара, чесночок, и розовое молдавское сальце, тающее во рту, оттого что кабанчика там кормят мамалыгой, да еще пучки дикой таежной черемши с фиолетовыми цветочками.

Но и стол, и знаменитая канистра, которая оказывалась бездонной, и нежная, пахнувшая морским прибоем рыбка, и бурные долгие пиры... тоже не весь Шерман.

Я познакомился с Шерманом в Комарове, на семинаре, первом в моей жизни, когда собрали вместе молодых российских очеркистов. Руководил семинаром известный в те годы мастер очерка Константин Иванович Буковский, человек своенравный, резкий, временами даже злой, особенно по отношению к ленивым да благополучным авторам, а среди нас, понятно, были и такие.

Сам Константин Иванович мастерски описывал российскую глубинку, маленькие провинциальные городки с их проблемами, натуральными сельскими базарчиками, где можно из первых рук узнать о житье простого человека,

селянина, ремесленника, далекого от нашей суеты и озабоченного одним: как выжить.

Следует еще напомнить, что он отец известного диссидента Владимира Буковского. Но это еще впереди.

Меня Буковский отчего-то сразу невалюбил и не скрывал этого. «У нас двое таких, — говорил он. — Еще Солоухин, который тоже витает в облаках!» И хмурился, поджимая блеклые губы.

Константин Иванович почитал лирику занятием ничемным, отвлекающим очерковую прозу от нужд людей; и, право, о каких красотах природы могла идти речь, когда погибала Россия и надо было во весь голос об этом кричать.

Защищали меня, как могли, мои новые дружки по семинару, и в первую голову, конечно, Шерман. Сам же он был тогда на слуху: в почитаемом всеми журнале Твардовского «Новый мир» как раз незадолго до этого появился очерк «Под стальным парусом» — о мастерах-самородках, которые, не разбирая бурильной установки, а это огромная металлическая вышка, переправили ее за сотню верст на плоту, по воде. Все понимали, хоть впрямую и не было написано, что умельцы, затеявшие эту авантюру, крепко рисковали, и не только заработком, работой, но и собственной жизнью.

Меня из-за опоздания поместили в прихожей, рядом с туалетом, у семинариста Алексея П., чуть лысеющего, но ухоженного, надменного, с такими барственными манерами, завсегдатая литературных посиделок...

Я терялся и робел, когда он, обращаясь на «ты», делал мне замечания. Его все раздражало: мой кашель, скрип стула, даже шелест бумаг на моем столике... Это мешало его творческому процессу. О том же, что он сотворил, я узнал чуть позже, когда прочитал тонюсенькую его брошюрку, изданную где-то на Кубани, с названием многообещающим: «Побеждает тот, кто прав».

В книжке рассказывалось о молодых комбайнерах, которые борются за повышенный урожай и вызывают друг друга на соревнование. Один из них честно убирает хлеба, а другой не очень честно, потому что любит выпить, по-

гулять, и поэтому он не прав. Но в итоге они оба работают как надо и побеждает дружба.

Где-то в середине семинара, затюканный моим суровым учителем Константином Ивановичем, замордованный соседом, намылился я бежать из Комарова и билет купил... Но меня удержал Шерман.

— Тебя когда-нибудь в жизни задарма поили-кормили? Да на такой даче? — спросил он сурово.

— Нет, — сознался я.

— И меня нет. Весь день в редакции горбишь, а вечером там же в прокуренном кабинете пытаешься что-то накропать... Я и спать приспособился на столе, под головой подшивка... Только вот газеты... В них такое, голова по утрам дурная!

Я сознался, что у меня дежурочка в общежитии... Кровать, тумбочка... И мы с женой... Елку на Новый год прикрепили к потолку, вниз вершиной...

— Вот! — Борода его мощно заколыхалась. — Это не тебе надо уезжать, — сказал он в сердцах, — а этому... Да и специалист он, как выяснилось, совсем в другом жанре...

По окончании был устроен прощальный вечер, после которого семинаристы поймали Алексея П. и так изметелили, что он слег в больницу. Никаких там опасных травм и не оказалось, положили на всякий случай, а Дом творчества сразу опустел: разъехались все, кроме меня, оттого что не успел заказать билета.

Я навещал побитого Алексея П. в местной поселковой больничке: лицо в синяках и подтеках, один глаз заплыл... Было его немного жалко.

Он всхлипывал, жаловался на судьбу, на врачей, на милицию, грозил немислимыми карами Константину Ивановичу, Шерману и остальным, обещая всех, кроме меня, засадить в тюрьму...

С Алексеем П. жизнь сводила меня и дальше, а однажды он попросил рекомендацию в Союз писателей, прислав упомянутую брошюру про комбайнеров. Я отказал, но он преследовал меня долго по телефону, упомянув, что

работает в таких местах, с которыми бы мне лучше не ссориться. Полагаю, что он и вправду там ну не то чтобы работал, а скорей подрабатывал.

Шерман, как выяснилось, и правда был организатором избиения. Он поведал простодушно, когда мы следующей зимой встретились в Москве, что лупили они Алексея П. втроем, хотя на такого дохляка хватило бы и одного. Но жаждающих было еще больше. Уж очень у всех накопело. И за его стукачество, и за бездарность, и, конечно, в первую очередь за говняный характер...

Но и далее, как я узнал, бивали Алексея П. не раз, не два. Мне достоверно известен случай, когда в переделкинском Доме творчества тоже братцы литераторы: Валерий Осипов, автор «Неотправленного письма», и поэт Олег Дмитриев — оба, кто помнит, здоровяки — ворвались к нему в комнату, заперли ее изнутри и стали его учить уму-разуму... Блажил он, по отзыву свидетелей, как резаный, на всю округу. А когда прибежала администрация, даже вызвали по телефону милицию и собирались с помощью слесаря вышибать дверь, ключ повернулся и Валерий с Олегом, загадочно посмеиваясь, прошествовали по коридору к себе в комнату допивать початую бутылку...

Только бросили на ходу: «Подмойте его, обосрался!»

Пострадавший был целехонек, но от страха не мог произнести ни слова... От него и правда смердело.

Время от времени встречая Алексея П., я не перестаю удивляться его живучести, везде он свой, в первых рядах, и на банкетах, в поездках за рубеж, среди получателей благ, даже орденов...

Но, правда, вдруг выяснилось (это дело от Союза писателей расследовал в ту пору Григорий Поженян), что стащил Алексей П. чужие награды как самый примитивный жулик у погибшего на фронте однофамильца и долгие годы выдавал за свои. Погорел, как и бывает, от жадности, когда потребовал еще больших льгот..

Но, кажется, он и тогда вышел сужим из воды, дело это замяли.

Впервые после семинара Шерман нагрязнул в январе ко мне в Москву и попал на день рождения сына Ванюшки, ему исполнялось два года.

Жили мы в коммуналке, вместе с тещей, тесть был в Сибири, и стояла на столе среди простенькой закуски (винегрет да селедка) скромная четвертинка водки, одна на всю честную компанию.

Знаменитой канистры при Шермане не было, широким жестом он сам себе наполнил стакан, большой, двухсотграммовый, и задвинул его куда-то под бороду, так что могло со стороны показаться, что вместе с водкой заглота и стакан.

Теща моя, простодушная Анна Васильевна, только тихо ахнула, хотя пожила в сибирской глубинке, на Ангаре, и повидала пьющих...

В новогодний праздник всю ночь по улицам поселка, например, ходил грузовичок, подбирая загулявших, не дошедших до дома, ибо в морозец, под сорок, никто до утра не долежит... И все равно замерзали...

Теща торопливо отозвала меня на кухню и шепнула с испугом, что нужно срочно бежать в магазин за бутылкой, а то и за двумя, потому что для «бородатого черта», как окрестила Шермана, поллитра что слону дробина...

Двух бутылок, кажется, хватило. А Шерман, не без детской своей улыбки, сопровождаемой «гхы-гхы-гхы», открыл мне секрет, что на прощальном банкете в Комарове, уже заранее зная, что водки запасено маловато, семинаристы тянули жребий, кому сидеть рядом со мной, непьющим... И повезло ему.

Шерман подолгу останавливался у меня еще из-за того, что в его родном городе Свердловске с ним обязательно что-нибудь происходило.

Одну из историй я запомнил: он посвятил любовные стихи приехавшей на гастроли циркачке, которая не ответила ему взаимностью. Прямо по Булату: «А он циркачку полюбил!» Стихи опубликовал в местной печати, очень даже прочувствованные, но по первым заглавным буквам в строке, если их читать сверху вниз (акrostих), выходило

довольно-таки неприличное словцо. Циркачка была оскорблена и тут же уехала, а город развлекался тем, что вслух декламировал стихи.

Местные власти, потеряв терпение, занялись Шерманом всерьез. И чтобы избежать выволочки в обкоме-горком и прочих неприятных организациях, подался он на север, к нефтяникам, в Тюмень, и там прижился.

Но случилось, на Первое мая, в день солидарности трудящихся всех стран, они вдвоем с приятелем, в порыве солидарности за столом, напились и вышли праздновать на улицу. Там, вдохновившись весной, лозунгами и трудовыми песнями, сняли красный флаг с ближайшего подъезда и устроили свою собственную демонстрацию. Это было, наверное, красиво. Прямо с красным флагом в руках маршировали они по просторному двору, исполняя боевые революционные песни.

Шерман клянется, что ни одного нецензурного слова не было произнесено в адрес партии и ее вождей... Как раз наоборот: их призывы были одухотворенны и всем, кто был вокруг, по-человечески понятны...

— Впрочем, наверное, не всем, — грустно заметил он, повествуя об этих днях. — Нас взяли еще тепленькими, по звонку одного из жильцов-пенсионеров, отвели под конвоем в ближайшее отделение милиции... Обвинили в хулиганстве и нарушении общественного порядка... А красный флаг, уцелевший в передраге с милицией, был приложен к делу как доказательство политической неблагонадежности.

Ну а далее все происходило по знакомой схеме...

В скоростном порядке задействованы местные органы: обком — горком — органы безопасности — прокуратура... И чтобы избежать очередных неприятностей, бежал Шерман еще далее на север, следуя принципу: дальше фронта не угонят, ближе тыла не пошлют...

В поисках тишины и гармонии он подался к чукчам и к оленям, в самую что ни на есть заполярную тундру, где лежит среди снегов чудесный город Сургут.

Там и пребывал до последнего времени. А на каверзные вопросы слишком дотошных приятелей отвечал в своей обычной манере, с неизменным из-под бороды смеш-

ком, что приехал он на самый край севера, в Заполярье, разводите морозостойких евреев.

Изредка объявлялся в столице.

Однажды позвонил с центрального аэровокзала и попросил срочно подъехать: у него, видишь ли, ко мне неотложное дело, а до отлета полчаса...

Схватив такси, я прилетел к нему, а он поволок меня в багажное отделение и заставил тащить вместе с ним до выхода на летное поле четыре чемодана с мясом, в каждом по теленку...

Торопливо распрощался, прокричав на ходу, что премного мне благодарен за помощь, а уж потолковать, да по душам, видимо, не удастся... Он все напишет в письме!

Я прощал Шерману подобные шалости, понимая, что северный хлебушек не так легок, как нам представляется. Да и дорогостоящие наезды в столицу за мороженым мясом для богатеньких нефтяных начальничков, закупки оптом по рупь шестьдесят за килограмм в вонючих подвалах московских гастрономов — не самое подходящее занятие для очеркиста.

Впрочем, полагаю, что и сейчас, когда культура не в почете, многие из нашего литературного цеха захотели бы, наверное, заняться хоть таким ремеслом.

Была и еще одна занятная встреча, в свердловском аэропорту, где застрял я однажды из-за непогоды, на пути из Москвы в Иркутск. Бессмысленно болтался по холодному ночному аэропорту, пока в каком-то дальнем полутемном углу не наткнулся на рекламный щит здешней парикмахерской и там в разделе «Бороды» узрел знакомую физиономию Шермана.

Ошибки быть не могло, такая борода существовала в одном экземпляре на всю Сибирь!

Мне даже почудилось, что за спиной прозвучало привычно-утробное: гхы, гхы, гхы...

Эта встреча настолько меня развлекла, что пропали и нетерпение, и злость на Аэрофлот, накопившиеся за долгое время, а время ожидания, не столь уж долгое, как казалось вначале, скрасило лицезрение родной физиономии. «Шер-

ман, Шерман, каналья ты этакая, — произносил я, — наконец-то пробил ты путь к славе своей знаменитой бородой!»

И далее, уж совсем по-современному: «Стригите бороды, как это делает наш замечательный современник Шерман!»

Может, я преувеличиваю и мои словеса были не таковы, но произносились они с истинным восхищением, ибо я узнавал и в этом поступке героя нашего времени Женю Шермана.

В жизни же, как я и полагал, все было элементарно. Случилось, маялся мой дружок без выпивки, забрел с горя в здешнее фотоателье и согласился на съемку столь редкой и колоритной северной бороды за какую-то трешку...

Многие парикмахерские Урала и Сибири украсила тогда борода Шермана, и не было, говорят, отбоя от желавших его с такой честью поздравить. А я подумал, что народ наш и впрямь велик, если прочувствовал главную причину: не на что было человеку выпить.

Была у Шермана одна слабость, некоторый род kleptomании, которую я не смог ему до конца простить. Это нас надолго развело.

Но однажды, случилось, в Москве, в Доме литераторов, столкнулись лицом к лицу возле раздевалки, он сам ко мне подошел и негромко предложил, пригибая голову, как перед ударом: «Может, посидим... — Помолчав, добавил: — У меня сын, понимаешь ли... умер...»

Ну а самая последняя встреча была в Пицунде, на семинаре российских очеркистов. Круг, как говорят, замкнулся. Мы были в возрасте Буковского, или, по крайней мере, такими видели нас наши семинаристы.

Работали мы с Шерманом в одной группе. Народец подобрался в основном из провинции, зубастый, тертый, пишущий, с ними было любопытно общаться. Вспомнили незабвенной памяти Константина Ивановича, который из своего заоблачного далека наверное бы порадовался, что болельщиков за судьбу России не поубавилось.

Надо сказать, что новая литературная поросль не только крепко работала пером, но и пила не хуже нас, разве

что не было у них своего фирменного напитка «шерман-бренди», а была мутноватая, домашнего изготовления виноградная водка, чача, купленная с рук, из-под полы, на здешнем грязном базарчике.

А потом был прощальный вечер, разъезд, и молодые таланты так же дружно кого-то поколотили за бездарность, но более за стукачество, которое на нашей любимой стороне, как видно, тоже из категорий вечных.

Шерман же не то чтобы порицал такие действия, но и не одобрял их, как, впрочем, и шумных компаний; рядом с горластыми семинаристами он показался мне на удивление тихим, почти благостным. Вина не пил, а более посиживал, вслушиваясь в бурные споры, и вдруг, в самый разгар застолий, засыпал.

Мы разъехались, прошли годы, и однажды раздался звонок из Сургута. Я услышал хрипловатый голос Шермана, он кричал в трубку: «Объясни, пожалуйста, что там у вас происходит? — И далее уже негромко, но так тоскливо, что за сердце взяло: — А что с нами со всеми будет?»

Времена наступали и впрямь крутые, шел девяносто первый год, и никто не мог бы тогда сказать, что же с нами со всеми будет.

Впрочем, как и ныне... И как всегда.

Но я сейчас о Шермане. Ведь спрашивал-то не какой-нибудь Алексей П., судьба которого зависела от расположения звезд высшего руководства, спрашивал тот самый Шерман, который не посчитал за дерзость плыть всю жизнь «Под стальным парусом»... Бузотер и бунтарь... Время которого, судя по всему, только наступало.

. И в пору спросить: был ли Шерман, может, его и не было?!

Был, был Шерман.

Поэтому и рассказываю.

А исчез он из жизни незаметно, ни одна газетка не упомянула о его кончине. Да и я, каюсь, узнал об этом из последних, где-то на улице, на ходу, от малознакомого человека... Что вот-де Ананьев... Ну, который Шерман... умер... От чего? Право, не знаю. Может, от сердца? Он ведь вон как пил!..

От сердца... Может быть. Не от пьянства. Его сердце стучало сильнее, чем у нас, оно работало на износ.

А до меня дошли шуточные стихи, которые он посвятил сам себе в день рождения... И можно узнать по ним старого Шермана, хотя сам себя он прозывает Ананьевым — видимо, привык:

*Волосы выцвели, яйца висят,
Женьке Ананьеву — уже шестьдесят...*

Я по-аптекаерски накапал себе в импровизированную рюмочку-колпачок, куда и помещалось-то от силы граммов десять коньяку, Шерман бы посмеялся над такой дозой, и, не чокаясь, опрокинул в себя, произнеся: «Уж извини, не нашлось ничего покруче, схожего с твоей адской смесью».

Но если ТО, во ЧТО нам так хочется верить, существует, хоть все мы малость безбожники, надеюсь, ты как раз ТАМ, где тебе хорошо, и уже нашел себе уютный столик в компании, скажем, с Константином Ивановичем, чтобы всласть, поскольку ТАМ и правда торопиться некуда, потрепаться за жизнь о нашей беспутной матушке-России.

Вам-то отсюда теперь куда видней, что с нами со всеми будет.

Вот когда поехали в Польшу по приглашению прозаика Ворошильского, несколько человек из московских литераторов побывали в старинном замке, и, облачившись в железные латы и надвинув шлемы на затылок, вместе с Пьецухом Славой подавали мы из древних чаш... Подхватив стальной меч и приставив его к груди официанта, который приносил напитки, он вопрошал велеречиво: «Быть или не быть — вот в чем вопрос...»

— Пить или не пить! — поправляли его.

Пить через забрала в их одеянии было не столь удобно... об этом когда-нибудь. Рядышком с шумным Шерманом мне уже видится вежливо-улыбчивое лицо Адольфа Шапиро, каким я впервые увидел его в майский теплый день на благословенной Богом райской земле Абхазии, в поселочке Пицунде...

КРАСНОЕ ВИНО «ИЗАБЕЛЛА» (Адольф Шапиро)

Еще недавно любили у нас устраивать всяческие семинары в домах творчества в несезонное время. Как это было со мной в Комарове. И дом не пустует, и авторам, особенно начинающим, прибиток: кормят, поят задарма, да вроде и при деле... В свободное от семинара время что-то творят. Если творят. Но чаще, как оно и бывает, поддают, разбредаясь по компаниям, по комнатам.

Но и такие посиделки, с вином и общим трепом, иной раз важнее остального, они позволяют в свободной обстановке поговорить о наболевшем, отвести, что называется, душу.

Ну а в тот год в Пицунду понаехали и знаменитые, и не очень, и совсем никому не ведомые драматурги. Следом прибыли театральные критики, завлиты, режиссеры театров, а среди них Адольф Шапиро; слава о его спектаклях на рижской сцене, в молодежном театре, гремела по всей стране, и, объявившись по какому-либо поводу в латвийской столице, мы тотчас спешили побывать у Шапиро.

Он же, голубоглазый, подтянутый, подвижный и всегда необыкновенно любезный, каждого из нас помнил и принимал.

Однажды, небольшой компанией, решили мы прогуляться в поселочек Пицунду, в нескольких километрах от нашего

дома. Была среди нас тогда совсем молоденькая, но уже известная в литературе красавица Дина Рубина. Она печаталась в «Юности», и у нее шла пьеса на столичной сцене.

Время было послеобеднее, не жаркое, и после много-часовой отсидки да говорильни в душном помещении мы, облегченно вздыхая, вырвались на простор, на свободу, радуясь морю, птицам и сверкающей на солнце листве.

Вдоль шумной автострады, серовато-стальным клинком рассекающей плосковатую, выгоревшую на солнце долину, вжимаясь в обочину, с оглядкой на проносящиеся машины, мы догуляли до курорта «Пицунда» на взморье, а там и до крошечного базарчика, заваленного золотыми мандаринами.

Тот год, кажется, был особенно урожайным. Сады, как новогодние елки, усыпаны ярко-оранжевыми, горящими на солнце плодами и никем до поры не убирались.

К тому же по воле какого-то местного князька не разрешили вывозить фрукты за пределы республики, и на здешнем крошечном базарчике мандарины шли за бесценок. Казалось, весь наш дом пропитан сладковатым мандариновым запахом, а по углам, в урнах, и повсюду на этажах валялись горы золотой кожуры.

Миновав говорливый базарчик, мы вошли в рощу под сень знаменитых реликтовых сосен, с вершинами, купающимися в голубом небе, но не шибко, по-моему, отличавшуюся от любой другой, в том числе и подмосковной, рощи. Разве что корни деревьев тут омывались морем, а не рекой Пихоркой.

Помедлили, выбирая, куда бы двинуться далее, и тут Дина Рубина вспомнила, что в ее Ташкенте какие-то знакомые просили найти в Пицунде старика Вартана, он живет в деревеньке близ курорта, и передать ему, что в нынешний сезон постояльцы его приехать к нему не смогут.

— Старика Вартана, говоришь? — оживился Адольф Шапиро.

— Да. Кажется, он армянин, — подтвердила Дина.

— И они просили? Найти?

— Ну да, если будет время...

— Как же не найти? Мы должны найти нашего старика Вартана! — с азартом подхватил Шапиро, ловко подменив Динино «я» на общее «мы», и первым двинулся вперед.

Было решено свернуть в сторону деревни, благо она рядом, и разыскать дом неведомого старика Вартана.

Особенно возбудился Шапиро. В его мозгу, насквозь театрализованном, созрело, судя по всему, целое действо, и про деревню, и про нас, и про старика Вартана, с которым мы встретимся.

Из опросов жителей выяснилось, что дом Вартана на самом краю деревни.

Мы довольно резво проскочили длинную, единственную в деревне улицу и в самом конце ее, у взгорья, обнаружили небольшой домик, спрятанный в глубине сада. У забора увидели женщину в белом платочке, подошли к ней. Первой, так получилось, подошла Дина и всё на одном дыхании и выложила: про Ташкент, про своих знакомых и про то, что они в этот год сюда не приедут.

Шапиро, опоздавший к разговору, даже застонал и схватился за голову. Махнул с досады рукой и зашагал прочь.

Дина догнала нас посреди улицы и, заглядывая Адольфу в лицо, повторяла растерянно:

— Я что-то не так сделала? Не так сказала?

— Да все так, господи... Ты была, как всегда, прекрасна, — только и смог выдавить из себя Адольф.

Впрочем, надо отдать должное Шапиро, он до конца оставался рыцарем и не позволил себе упрекнуть простодушную Диночку за то, что она не вписалась в назначенную ей роль.

— Все равно гуляем, — заключил он со вздохом.

Эта фраза стала летучей.

По любому поводу мы потом восклицали: «Все равно гуляем». Пили ли чачу, или опохмелялись, или действительно гуляли... Вот как сейчас...

Деревенская улица неожиданно закончилась небольшой горкой, поросшей кустарником, и мы, поразмыслив, повернули обратно.

У калитки, где прежде стояла женщина, увидали мужчину, чуть седоватого, коротко стриженного, с темным, прожаренным на солнце лицом. Он делал нам призывные знаки.

Теперь-то Шапиро был настороже.

Бросив в сторону Диночки выразительный взгляд, он первым шагнул к калитке, прошептав сквозь сжатые зубы: «Если можно... По-мол-чи... По-жа-луй-ста!»

Приблизившись к мужчине, он подчеркнуто вежливо поздоровался и пояснил, что мы тут приезжие, живем неподалеку и хотели бы переговорить с уважаемым хозяином дома, которого зовут Вартан.

Человек приветливо отвечал, что он Вартан и готов нас выслушать. Мы из-за спины Шапиро с интересом на него уставились.

— Заходите, будьте гостями, — пригласил старик Вартан, который на самом деле не был стариком.

Мы гуськом протопали по узкой тропке среди абрикосов и инжира и там, во внутреннем дворике, шумно расселись за длинным деревянным столом, под огромным тутовником. В хорошую погоду здесь, наверное, собиралась за трапезой многочисленная семья хозяина.

Старик Вартан, который, повторюсь, не был стариком, но я буду его так называть, исчез и вскоре появился вдвоем с хозяйкой, той самой женщиной в белом платочке. А на столе возникли тарелки с белым овечьим сыром, хлеб, крупно нарезанный, жирная — видать, магазинная — колбаса и литровая бутылка чачи.

Рядом с чачей проворный хозяин водрузил глиняный кувшин с красным вином.

Известно, что вино тут особенное, его здешние жители готовят из винограда «Изабелла», и если оно натуральное, не для продажи, то имеет оттенок темного рубина и ни с чем не сравнимый земляничный аромат. Кстати, именно аромат, как утверждают знатоки, позволяет проверить качество вина.

Что греха таить, на местном базарчике тоже продавалось красное вино «Изабелла», но туда добавляли воду и

сахар, используя выжимку по второму или третьему разу. Такое вино может сохранять и цвет и градусы, но только не запах. Запах подделать невозможно.

Так вот, у старика Вартана вино было самым натуральным и вдобавок прохладным, из подвала. По этой причине мы деликатно отвергли виноградную водку, чачу, тоже вполне натуральную, градусов под шестьдесят, и попросили налить «Изабеллу».

Медленно, со вкусом, опробовали вино, разлитое в граненые стаканы, и похвалили изделие хозяина. Потом выпили по второму стакану и снова похвалили. И лишь на третьем старик Вартан деликатно поинтересовался, что же хотели передать ему наши общие, как он понимал, друзья.

Милая Диночка и рта не успела открыть, чтобы все так и выпалить, но Шапиро угадал и сделал предостерегающий знак рукой. Она чуть не поперхнулась.

Шапиро же, обратясь к хозяину, как и полагается в солидной беседе, обстоятельно, не торопясь, стал рассказывать о наших друзьях из Ташкента, что живут, слава богу, хорошо, вспоминают прошлогодний отдых, здоровы, чего и вам желают.

— Спасибо на добром слове, — отвечал, наклоня серебристую голову, старик Вартан.

— Должен еще передать, что глава семейства вполне процветает, — так условно определил Шапиро неведомого ему постояльца. — Пошел на повышение, недавно его избрали депутатом, и для отдыха, сами понимаете, времени не остается.

Старик Вартан кивнул, охотно соглашаясь, что их жилец человек уважаемый и заслуживает такого повышения.

— Ну и хозяйке, как вы понимаете, прибавилось забот... Тем более детишки... Но растут, учатся, мечтают к вам приехать, кстати, тоже спрашивали о вашем здоровье!

И снова старик Вартан качнул седой головой в знак одобрения.

Ему было приятно, что у его жильцов все в жизни ладится и что детишки его вспоминают.

Диночка, у которой все было написано на лице, с неммым изумлением внимала речам Шапиро.

Да и мы слушали его не без интереса, узнавая все новые и новые подробности о неведомом нам семействе, которое, оказывается, за это время купило новый цветной телевизор, финский холодильник, швейную машинку, а теперь копит деньги на автомобиль.

Вот что значит стать депутатом.

Но не в деньгах, как говорят, счастье. Главное, они не забывают культурно расти, покупают полезные книжки и каждую неделю ходят в театр!

Тут даже я оторвался от стакана и уставился на Шапиро: не переборщил ли, часом, вывалив кучу подробностей, о которых, конечно, не имел и понятия!

Я выпытывал потом, откуда он понабрал сведений и про жену, и про детей, и про депутатство... Но Адольф лишь высокомерно усмеялся, произнося: «Что, разве не звучит... Де-пу-тат!»

— Депутат — это звучит гордо, — отвечал я в тон.

Но Адольф постарался не заметить моей иронии.

— Непонятно, а всем нравится...

— Ну а вдруг не депутат? — глупо настаивал я.

— Значит, пока не выбрали. Потом выберут, — спокойно парировал Шапиро. И добавил с милой своей улыбкой: — Старику-то было приятно? То-то же!

Это правда. Я своими глазами видел: чем больше теплых слов произносилось про неведомых нам жильцов, хотя, как потом выяснилось, они и приезжали-то сюда два раза, тем мягче и приветливее становилось лицо старика Вартана.

Он даже свою жену позвал и еще одну родственницу, чтоб слышали новости своими ушами. И наш друг Шапиро с новыми, еще более красочными подробностями повторил все.

А потом пришли из школы дети, их было трое, все мальчишки, младший у старика Вартана ходил в первый класс, и мы узнали от Шапиро, как ребяташки из того семейства любят ребяташек этого семейства, они соби-

рались прислать воздушного змея, огромного, сделанного из цветной бумаги, в виде дракона, но в последний момент не успели его склеить. Змея пришлют по почте, если он влезет в конверт...

Начались тосты, и первый, конечно, тост за семью из Ташкента, и за семью старика Вартана, и за наши семьи тоже.

А старик Вартан поднял тост за здоровье всех хороших людей, где бы они ни жили, в Средней Азии, в России, в Прибалтике, в Абхазии и в других каких-то местах, вот хотя бы в родственной старику Вартану Армении, где он никогда в жизни не был.

Солнце склонилось за гору, когда неиссякаемый Шапиро произнес свой последний прощальный тост за самого хозяина, то есть за старика Вартана, и, торопливо пошарив по карманам, вынул и протянул хозяину на память сверкающую золотом заграничную зажигалку, и тот с достоинством принял.

Он попросил напоследок передать его добрым знакомым из Ташкента, что он и его семейство ждут их на будущий год, пусть приезжают. И нас они тоже ждут, если вдруг мы устанем от тяжелой своей работы и захотим отдохнуть... «Как вот сегодня», — добавил он.

Громко и радостно мы обещали старику Вартану к нему приехать.

Мы и правда тогда верили, что мы приедем к нему. Да и что нам могло помешать?

Долго прощались, так долго, что солнце успело укатиться за гору и прохладная тень легла на утомленную жарой зелень.

Наступили теплые сумерки. А мы еще допивали по последней, опорожняя по просьбе гостеприимного хозяина свои стаканы и плохо замечая, что за это время глиняный кувшин с прохладной «Изабеллой» проделал свой путь в подвал и обратно много раз.

Мы распрощались с хозяином и хозяйкой, и дальней, очень любезной родственницей, и с детишками, сперва у дома, потом у калитки, а потом за калиткой.

Вот тут-то мы и почувствовали, что наши ноженьки стали как чужие и двигаются с трудом, и не туда, куда нам нужно.

А Дина, милая красавица Дина, косвенная виновница этого праздника, вообще села на траву и объявила, что она, пожалуй, останется здесь до завтра... Или нет, до послезавтра, а может, до конца семинара или до начала какого-нибудь другого... И вообще, ей так нравится, что она готова остаться здесь на всю жизнь.

Такой поворот, кажется, не входил в драматургический замысел Шапиро, у которого в финале все должны быть счастливы, и Диночка тоже, а для этого требовалось еще добраться домой...

Мы подхватили Диночку под белые ручки и повели, почти понесли ее до ближайшей остановки автобуса, которая оказалась совсем рядом.

Как мы доехали, как разбрелись по своим этажам и комнатам, признаюсь, не запомнил. Было смутное ощущение, что я нырнул в постель, как ныряют ночью во время купания в ласковую черную воду... Возможно, были какие-то счастливые сны, но я тех снов не запомнил; а когда проснулся, были сумерки, мне показалось, что я успел лишь сомкнуть и разомкнуть глаза.

Решив почему-то, что пора ужинать, я спустился на первый этаж и лишь там сообразил, с чужой помощью, что за окном уже сумерки следующего дня, а значит, я проспал беспмятно от заката до заката ровно двадцать четыре часа.

Остальные, кроме вечно бодрствующего Адольфа Шапиро, спали еще дольше, они в тот вечер вообще не появились и даже на завтраке следующего, уже третьего утра.

Встретились мы в обед, и особенно хороша была Диночка, она продолжала находиться в том самом необычном состоянии, в которое погрузилась два дня назад, что позволило неистощимому на выдумки Шапиро тут же продолжить игру, хотя и на новый лад.

Он с самым серьезным видом пересказал Диночке о ее недавнем, но таком, извините, неожиданном поведении...

О пьяном дебоше в автобусе, о том, как приставала к пассажирам и почему-то требовала у них кошелек, а потом решила соблазнить водителя, села к нему на колени, мешая рулить, и автобус, вы представляете, огромный автобус с людьми, едва-едва не свалился в пропасть!

В знаменитой кинокомедии Гайдая студент Шурик, попавший впервые на Кавказ и хлебнувший, как и мы, лишку винца, спрашивает в милиции с испугом: «А замок... Тоже я разрушил?»

То же было с нашей Диночкой. Шапиро специально попросил ее спуститься на первый этаж, за руку привел к мраморным ступеням у входа и продемонстрировал огромную трещину, но не упрекал, а только смущенно качал головой, мол, вот до чего можно набраться и не помнить, как, схватив тяжелую железяку, колотила ею о мрамор, высекая из камня искры...

Диночка лишь всплескивала руками; она и верила и не верила, заглядывая нам в глаза, но мы были, как говорят, на уровне замысла, имея под рукой такого блистательного режиссера, как Шапиро.

Мы по-заговорщицки оглядывались, поднося палец к губам и показывая всем видом, что никому ничего, конечно, не расскажем по своей воле, ну разве если будут допрашивать в милиции... И про автобус, и про лестницу, и мраморную вазу, и про зеркало... Ну, которое в лифте...

— И — зеркало... я? — спрашивала она, пугаясь.

На что Шапиро железным голосом отвечал:

— Диночка, мужайтесь... Это не все!

— А еще... что? — Она бледнела, и огромные черные ее глаза становились влажными.

— Лучше не спрашивай! — произносил трагически Шапиро и красноречиво разводил руками.

— Все равно гуляем, — хором добавляли мы.

Закончился семинар. Мы разъехались. Как любил говаривать один мой знакомый: растворились в пространстве. К сожалению, это не образ, а реальность.

Диночка переехала с семьей в Израиль, правда, в нынешнем понимании это не то же самое, что было в прежние

времена, когда человек, перебравшийся на Запад, навсегда исчезал из нашей жизни... Мы с Диночкой давно не виделись, да и неизвестно, когда увидимся.

С Адольфом Шапиро мы последний раз встречались в Риге, в старом-престаром доме, в уютном квартале неподалеку от вокзала. На сборище русских рижан, где произносились пламенные слова о нашем единении с народом, с интеллигенцией Латвии (как быстро все это забылось!).

Адольф, сидевший в зале, прислал мне короткую записку: «Мастер, а не пожелали бы вы посетить мой дом, чтобы выпить по рюмке чая?»

В тот вечер, за той рюмкой, мы и правда как-то по-особенному, душевно, посидели. Адольф еще фантазировал, еще строил свои театральные планы, не ведая, что не пройдет и полгода, как у него варварски отнимут, отберут его театр, ликвидировав один из редких, драгоценных очажков культуры, где сочетались, взаимодействуя, русское и латышское искусство.

После того как Адольфа изгнали из театра, вроде бы подался он на Запад, в Германию, где понаслышке его любят... Да отчего же им не любить талантливого режиссера. Это мы, в России, никого, даже себя, не любим. Уж такая мы странная нация: что получше — отдаем, похуже — себе оставляем.

А вот у старика Вартана я побывал разок, хоть и не в ближайший год, и снова угощался прохладным рубиновым вином «Изабелла», сидя за длинным деревянным столом под тутовым деревом, в кругу его большой семьи.

Но, памятуя давний урок, пил в меру, приятно захмелел и, конечно, рассказывал про своих друзей, про Диночку, про Шапиро, про других — старик Вартан, оказывается, всех запомнил. И все-то его интересовало, как поживают, что делают, как здоровье и не собираются ли, часом, сюда, в Пицунду.

И я повествовал, в духе Шапиро, хоть не столь изобретательно, что живут наши друзья просто восхитительно и все у них в жизни ладится: новые телевизоры, новые холодильники, швейные машинки...

И конечно, конечно... Они все... депутаты!
 Старик Вартан был доволен моим рассказом.
 Он кивал серебряной головой и повторял:
 — Передайте, пусть приезжают. Я их жду.

— Старик Вартан, привет! — произнес я со значением и положил на язык очередную грамульку коньяка. Конечно, это не темно-густая и ярко пахнущая земляникой «Изабелла»... Но все-таки...

Впрочем, существует ли она ныне, если мы повсеместно вырубали виноградники... Да и жив ли сам старик Вартан, если и на абхазскую древнюю землю обрушилась война и многое там перекорежила...

Не только на виноградниках, но и в душах людей, вселив в них ненависть человека к человеку, народа к народу.

Старик Вартан не смог бы этого понять, я уверен.

Вот бы, откликаясь на приглашение славного хозяина, взять да и завалиться к нему всей честной компанией, и Диночку вызвать из-за бугра, и Шапиро найти, а еще бы позвать друзей из Грузии, из Чечни, скажем, или из Средней Азии, из Прибалтики... Чтобы все могли сесть за один дощатый стол во главе со стариком Вартаном, и выпить за здоровье каждого пахнущее погребком и земляникой красное вино «Изабелла», и поговорить как следует, по душам.

— ...А не хотелось ли вам побывать в том самом подвальчике, где бывал великий Гёте и где дьявол обольщал доктора Фауста? — спросил меня мой лейпцигский переводчик. И повел по длинным переходам, прямо через огромный зал ресторана в другой зал и по ступенькам вниз, вниз, пока мы не оказались в крошечном подвальчике, где ничего и не было, кроме огромной бочки под потолком.

На бочке, верхом, сидели два пестро одетых немца и пили из кружек пиво.

— К нам! Давай к нам! — заорали они в голос, завидев меня, и я, представьте, решив, что так полагается и это какие-нибудь зазывалы, полез на бочку... Мои спутники меня подсаживали.

Скоро выяснилось, что это никакая не реклама, а просто славные немцы, любители вина и поэзии.

— Остановись, мгновенье! — кричал один из них, протягивая мне кружку...

По краснокирпичным стенам плясали дьявольские отблески пламени от настоящего камина, и мои спутники, после нескольких попыток меня снять, махнули рукой и ушли в соседний зал пить кофе.

А мы восседали, как всадники, на бочке и, приобщаясь к вечности, шумно пили... Вино нам подавали в темных бутылках проворные официанты в красных передниках, для чего приспособили длинную палку...

Остановленное мгновение протянулось настолько, что мы и на самом деле потеряли счет времени, вечер ли истек, неделя или вся жизнь... И лишь где-то за полночь принесли специальную лестницу, чтобы нас снять...

— К нам! К нам! — кричу я, и вот уже за длинным рядом, вместе со стариком Вартаном, Емилом, Шерманом и Адольфом, на моем просторном пиру, несколько побойчее других, в смысле и по рюмкам разлить, и тостик произнести, я сразу его выглядел: дальневосточный моряк Юра Поленов...

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПЛОТИК

(Юрий Поленов)

В марте в Крыму зацветает миндаль. А после коротких, но сильных дождей отворилось окно в небо, и на каменистую, морщинистую, словно шкура старого носорога, землю Киммерии пала густая лазурь.

Стало светлей и на душе. Возникли грешные желания, не совпадающие с работой, о чем-то легком и доступном, вроде похода на местный базарчик или к морю, на набережную, чтобы размяться, посмотреть на чужую жизнь.

Тут и объявился Поленов, командир пограничного корабля. Белозубый, голубоглазый, артистичный. Этакий красавчик, сошедший со старых кинолент о боевых краснофлотцах...

— Ну что, — спросил, — пошли? — Так, будто все уже было наперед решено. Куда «пошли», никто не спрашивал, было и так понятно.

А в Доме писателей, что на горке, над Ялтой, царили скука и запустение. Как всегда в бессезонье, проживали в нем несколько пенсионеров, все на одно лицо, письменники из Киева, сплошь классики, да еще шахтеры, по случаю купившие горящие путевки.

Эти обычно пропивались по приезду, а потом мучились от вынужденной трезвости и в ожидании денежных переводов из дома бродили по коридорам, просяще за-

глядывая в наши рукописи, но чаще в глаза: нельзя ли стрелкнуть трешник...

Мы давали.

Крутились еще девицы из Москвы: некая Люда, парикмахерша, остроносенькая, невзрачная, но творившая чудеса — превращала головы литфондовских дам в произведения искусства... За что, видать, и получила на целый срок комнату, на двоих с подружкой.

Ну и как обычно, в угловом полулюксе, на втором этаже, Мариэтта Шагинян: маленькая, сухонькая, глухая, но очень громкая, приводившая своими капризами в отчаяние не только постояльцев, но и обслугу дома.

*Железная старуха Мариэтта Шагинян —
Искусственное ухо рабочих и крестьян..*

Было ей под девяносто, но, несмотря на хрупкое сложение, отличалась она выносливостью и писала книгу о Ленине, о боевом рабочем классе, который к старости возлюбила. Читала же детективы, для чего выписывала романы Агаты Кристи на английском языке, которые ей присылали прямо из Лондона через городскую библиотеку имени Чехова. Мне не раз приходилось захватывать с собой крошечные томики, уложенные стопой, но всегда в надорванной упаковке... Следы беспардонной цензуры.

Однажды столкнулись она и Поленов, выходящий из дверей Дома. Он застыл от изумления, рассматривая ее с высоты своего роста, в то время как она, не поднимая головы, прошествовала мимо, обогнув его по кривой, будто неодушевленный предмет, и скрылась в коридорах.

Он долго не мог прийти в себя, оглядывался, повторял: — Я не знал, что она... живет... — И поправился: — ...Живет... здесь... Мне казалось, что она где-то там... Это же все равно что встретить птеродактиля...

— Да, у нас тут зоопарк, — подтвердили со смешком девочки, которых Поленов сразу, без особого напряжения, вовлек в свою компанию. Увлёк он и меня, и кого-то еще... Оказалось, все мы непременно должны спуститься

в город, чтобы опробовать на набережной магарачского портвешка, без которого полноценного отдыха в Крыму не бывает.

— Я бы и старуху пригласил, — признался по дороге Поленов.

Кажется, он не шутил и был убежден, что «железная старуха» во все времена была великая поддавальщица и свою цистерну вина, положенную каждому от природы, одолела без остатка...

— А может, и от чужой хлебнула! — подсказали мы.

— Потому и законсервировалась, — заключили со смешком девочки.

— Но я найду, чтобы с ней потолковать! — пообещал Поленов. — За бутылочкой... Мадеры...

Он и потом возвращался к этой теме, Шагинян вызывала в нем какой-то детский восторг перед чужой, такой фантастической жизнью. Прямо из «Месс Менд»...

— Заходи, заходи, она предложит тебе сыграть в шахматы, — и девочки опять засмеялись. Мы уже не раз наблюдали, как старуха Шагинян, присев за столик у входа в Дом, предлагала кому-нибудь сыграть партийку в шахматы, но, проигрывая, выходила из себя и швыряла доску вместе с фигурами, иной раз прямо в партнера.

— Да от такой великой старухи любой синяк как орден! — не унимался Поленов. — Нет, нет, не запугивайте, я должен с ней встретиться... И открыть наконец секрет трех карт!

— Она тебе труды Ленина откроет... — заверяли мы.

По каменистым ступеням сада, мимо цветущих деревьев кураги и алычи, спустились мы вниз, под горку, туда, где начинался Судейский переулок, полукружием выводящий нас на улицу Морскую, короткую, но всегда продуваемую ветрами... И далее, прямо к берегу моря. А уж тут, на набережной, располагались разные кафешки и забегаловки, в которых кроме свежих, еще тепленьких, только из печи, эклеров подавались крымские, в разлив, марочные вина, всяческие портвейны («Магарач», «Кокур», «Солнечная до-

лина», «Пино-Гри») и мускаты, а среди них, конечно, такие знаменитые, дорогие, как «Красный камень»...

В ту счастливую пору, когда еще не догадались бороться с алкоголем, а о сухом законе знали лишь по американским фильмам тридцатых годов, вина было в Ялте — залейся... На рынке, в бесконечных рядах, куда привозили и молдавские вина, в магазинах, погребках, распивочных и, конечно, тут, на набережной, где продавали прямо с тележек, разливая из конусообразных колб, в которых обычно продают соки.

Граненый стакан на сто пятьдесят граммов (в него, при ловкости продавца, могло войти и двести) стоил копеек сорок, да в придачу прилагался леденец, именуемый здесь «долгоиграющим»... И под такую емкую закуску, посасывая да прихлебывая винцо, можно потребить не один стакан...

— Стакан налейкум? — шутили наши гости из Ташкента. И сами себе отвечали: — Налейкум два стакана!

Прогуливаясь по набережной и переходя от тележки к тележке, от ларька к ларьку (этапы большого пути), да в компании, можно было незаметно для себя прилично нагрузиться, что мы иногда себе и позволяли. А иногда и чаще, чем «иногда».

Хочу еще прояснить то, что здешний портвейн хоть и был дешев, но не был обычным портвейном; местные «пивцы» давно засекли: под этим названием в торговлю поступали разные некондиционные марочные вина от здешних заводов.

Ну а если пить основательно, можно присесть в какой-нибудь «Тавриде», что мы и сделали. Сдвинули два столика, покрытые белыми скатертями, не клеенками, а чистоплотные официантки, которые сразу возлюбили Поленова, принесли нам с улыбочкой, как самым родным, все, что мы захотели.

Забыл упомянуть, что Поленов пришел не один, а с красоткой, курносой, светленькой, небольшого росточка, но складненькой, она прямо-таки была влюблена в своего развеселого спутника и не сводила с него сияющих глазок... Нас она едва замечала.

В какое-то мгновение стол наш заполнился сладостями и марочными винами; Поленов же подливал и был неистощим на тосты... Так что поход в город затянулся, и мы опоздали на ужин.

Возвращались поздно, и рядом со мной оказалась парикмахерша Люда, тихое создание, неприметная, ненавязчивая и, по-видимому, больная. Уже после Ялты Поленов частенько у нее останавливался, наезжая в Москву, и жил у нее, и пил, и спал... И она безропотно его сносила. Его же, кажется, смущала эта связь, и он старался о Люде все не упоминать, а при случае отшучивался, мол, девка-то всем хороша, но уж больно костиста!.. Года через два она умерла от сердца. Было ей около тридцати. Она, оказывается, знала, что обречена. Но об этом никогда ни словечка.

Сейчас она с трудом поднималась в гору, цепляясь за мою руку.

Та же дорога, только в обратном порядке: Морская, Судейский переулочек и долгие ступени наверх, через сад, с белеющими в сумерках цветами и деревянными скамейками, где мы останавливались передохнуть.

Зашел разговор о Поленове — сам-то он успел ускакать вперед, — о том, что человек он, по-видимому, легкий и умеет красиво угощать и выпивать...

— Угощает... Это правда... — сказала Люда, хватаясь за грудь и передыхая через каждое слово. — Но сам-то... Ни-ни...

— По-ле-но-ов?

— Да, не пьет он, — повторила Люда и облегченно вздохнула. Видимо, отпустило. — Ему и нельзя пить. Разве вы не знали?

— Но... Он так... угощал?

Она пожала плечами. Предложила передохнуть.

Мы присели на влажной скамейке. И тут я услышал презанятную историю, которая произошла на Дальнем Востоке, где служил Поленов. А числился он, по словам Людочки, образцовым командиром корабля, имел боевые награды за борьбу с нарушителями территориальных

вод, чаще японскими рыбаками, а еще был знаменит как артист: и пел, и декламировал, и всякие там концерты и стихи... В общем, был на плаву, всеобщий любимец.

А тут подоспела у них в подразделении круглая дата. Известно, юбилеи у нас обожали: к ним пристегивали и премии, и повышения, и награды... И был задуман командованием необыкновенный сабантуй, с выездом офицерского состава на природу, на какой-то остров, подальше от чужих глаз.

Запас спиртного сосредоточили у Поленова на корабле. Закуска «плыла» отдельно. Но в канун праздника, так случилось, объявили штормовое предупреждение, и все суда, в том числе и Поленова, вышли на рейд. Да встали. И простояли там несколько суток.

С этого и началось.

Тревога оказалась ложной, а шторм если и случился, то лишь на корабле у Поленова. Когда на берегу хватились да стали вызывать по радиии, с судна ни на какие сигналы не отвечали.

Некому было отвечать.

Расследование показало, что за время ожидания на рейде командой, очень малочисленной, был потреблен весь юбилейный запас вина, рассчитанный, по-видимому, на сотни человек: водка, шампанское, коньяки... Белые и красные вина... И пиво тоже.

Во всю мощь уже свирепствовал сухой закон (какой-то по счету), и любая грамулька захудалого сучка доставалась людям с боем. Это не японцев ловить, тут героизм особого свойства нужен.

Однажды в Переделкине зашел я в универмаг купить зубную пасту. Встал в очередь, но давали одеколон, по два флакона на человека, очередь штурмовала прилавок, и продавщица без разговоров сунула мне в руки два флакона цветочного одеколona. И я взял, ибо выяснять, почему мне нужна зубная паста, когда остальным одеколон, было небезопасно. Озверевшая толпа могла бы избить.

Поленов как-то упомянул, что морячки из его команды во время дежурств вылавливали в море японские бутылки,

чаще из-под виски. Пахли они, конечно, только морскими водорослями... Но ведь так хотелось! И — молились: «Господи, преврати ты море Охотское — в водку «Московскую», утоли ты душу матросскую!»

Он услышал. На судне, как в волшебном сне, появился винный склад, о котором и мечтать не могли. Поперву взяли несколько бутылочек, для пробы. Не хватило. Взяли еще... А там уже пошло без счета...

Как говаривали в старину многоопытные предки: вали кулем, пося разберем! И валили. И валились... Те, кто не мог передвигаться на своих двоих, ползли к складу попластунски, наливались лежа, а посуду швыряли в море, чтобы хоть раз заносчивые японцы тоже понюхали, чем же пахнет русская гульба!

Потом была долгая разборка... В дивизионе, в штабе, в партийных, прочих кабинетах. Доставали до печенок, грозили страшными карами... Но все вдруг спустили на тормозах...

Ну а кого прикажете судить, если экипаж лучшего в Тихоокеанском флоте корабля, во главе с его боевым командиром, вывозили бездыханным на санитарном транспорте.

Но их не только жалели, им завидовали. Эти несколько суток для них были наполнены счастливым бытием и могли бы вспоминаться как лучшие часы жизни.

Ведь не просто пили да упились, а — сгорели!

Угорелые пьянки на Руси и прежде были не редкость.

Мой отец с восторгом описывал многодневную свадьбу одного сельчанина, в родной деревне, когда выпито было с десяток ведер и двое его дружков сгорели, а он, отец, уцелел... Его заставили жрать теплый навоз...

Отец гордо добавлял: «Двое сгорели! Такая была свадьба!»

Ну а тут отделались легко: команду госпитализировали, и уже через полгода Поленов проходил реабилитацию в лучшем санатории в Ливадии, и было ему наказано навсегда забыть, как она выглядит... выпивка. Иначе, говоря морским языком, пойдет он на дно.

Так объявил ему лечащий врач. Он не пугал. Лечение предстояло долгое. Но происходило-то оно в Крыму, где как раз много пьют. И тогда, по наблюдениям сметливой Людочки, Поленов пустился по здешним кабакам с намерением почти что невинным: он стал угощать других.

По совету Людочки — а парикмахеры, как и таксисты, психологи — в следующий же «заплыв» в кабаки я не столько потреблял марочные вина, сколько наблюдал за Поленовым. Он же, как всегда, был шумен, говорлив и без конца подливал нам винцо... Но вдруг затихал и сосредоточивался на ком-то из гостей, следя напряженно за каждым его глотком, глаза его при этом останавливались, а губы, а язык, а горло соперечивали пьющему, даже кадычок двигался в такт с чужими глотками... И когда гость допивал до конца, Поленов блаженно откидывался и покрывался легким румянцем... Глаза его медленно пьянели...

Я бы не поверил, если бы не был свидетелем, как совершенно трезвый Поленов «косел» у нас на глазах, становясь и шумней, и раскованней, и, по-моему, лучше.

Закончился срок, и наша теплая компанийка разъехалась. Улетел и Поленов на свой Дальний Восток, в город Корсаков, где находилась военная база. Но связь не прервалась, переписывались, а раз-другой Поленов приезжал в Москву.

Останавливался у Людочки, а когда она умерла — мы узнали об этом от ее подруги, больше, как выяснилось, у нее на целом свете никого не было, — дали телеграмму Поленову, чтобы немедля вылетал. Мы считали, что он был причастен к Люде, к ее жизни. Но он не приехал. Своих неприятностей, как объяснял потом, выше головы.

Там, на Дальнем Востоке, происходили свои маленькие трагедии: выяснилось, к примеру, что красотка, которую мы наблюдали в Ялте, оказалась женой одного из особистов высокого ранга, и тот, профессионально выпытав у жены всю ее курортную историю, в порыве ревности стрелял в Поленова из пистолета, но промахнулся. Видать, не главное для этих братцев занятие — отстреливать удачливых

любовников... Но у них хватало других средств, чтобы испоганить чью-то биографию или уничтожить человека.

Так и вышло: на флоте по указанию Хрущева проводилось сокращение, и Поленов был с почетом отправлен на гражданку.

С женой и маленьким сыном он уехал в Ленинград, где была у них с каких-то давних времен коммуналочка; попытался работать на катере, возил генерала, да не ужился, ибо не умел прислуживать, затем преподавал в ПТУ, но тоже ушел, а в последнее время, разведясь, занимался культурной работой в санатории на берегу Финского залива. Там при санатории и жил.

Но еще в бытность его в Ленинграде побывали мы с женой у него в гостях. В ту пору мы много путешествовали по рекам и собирались купить у Поленова надувной спасательный плотик, оставшийся от его прежней морской жизни.

Но в последний момент он вдруг уперся.

— Не продам, — повторял. — Он мне нужен.

Уехали мы, разобидевшись... Если, конечно, на Поленова можно было обижаться. Ну а потом он нагрязнул в Москву с невинной своей улыбочкой и чистыми голубыми глазами.

Впрочем, сперва улыбочка, а потом-то я разглядел: был он не очень похож на себя, и еще я заметил, что стал пить. Но не было в его опьянении той бесшабашной легкости, что ли, и не был он ни весел, ни по-настоящему пьян.

О себе говорил нехотя, навалившись локтями на стол и зажав виски руками... Говорил, что в ПТУ числился воспитателем, но слушают подростки его плохо, а если он начинает, по флотской привычке, закручивать гайки, то присылают для переговоров девчонку, смазливую, с наивными детскими глазками, которая в самый что ни на есть воспитательный момент, среди беседы, скидывает плащик и предстает в обнаженном виде...

А пока он ошалело прикидывает, как ему из этой истории выкрутиться, она не торопясь демонстрирует свои крошечные прелести, расхаживает по кабинету, подходит к окну и даже пытается присесть к нему на колени...

Вот страх-то какой! Лишь после унижительной просьбы так же не спеша одевается и, проведя на прощание ладошкой по его щеке, а то и потрепав по волосам, уходит, виляя бедрами и произнеся ласково от дверей, что если дядя Юра (он же Юрик, Юрчик, Юран, Юранчик) не будет на занятиях паинькой, она придет снова... И с подругами!

После таких сцен Поленов не только не способен проводить занятия, но и видеть своих воспитанников не может.

— Не выдержал, — произнес он с горьким смешком, — сбежал в дальний санаторий... А семья... От меня сбежала!.. Есть там одна, по медицинской части, к ней и прилепился... — И как бы оправдываясь: — Вроде неплохо ко мне относится... А чего еще надо?

— Пьешь? — спросил я в упор.

— Пью. — И почему-то хихикнул. — Вместе пьем. К тому же спирт у нее...

О плотике я не заикался, давно тот плотик ему простил. Понял, что держал он дома не нужный ни для чего спасательный плотик из-за суеверия, что сможет благодаря ему удержаться на плаву. Не корабль, но... Средство для спасения жизни. Да и память о флоте как-никак...

В подарок привез мне Поленов гильзу от снаряда — латунный стакан с верхом, наискось срезанным для красоты.

— Карандаши там, ручки... будешь держать... — произнес, оскаливаясь. — Как чего напишешь, вспомнишь...

— От пушки? Настоящей?

— Не от игрушечной же, — произнес обиженно.

— Но... Стрелял?

— Стрелял! Как еще! — Голубые глаза засветились дерзким огоньком. — Это все, что я, оказывается, умел делать.

И вдруг, словно опасаясь, что может разжалобить, свернул разговор на японцев и стал рассказывать, что у них такие потрясающие поплавки из какого-то цветного пластика, и если их рассверлить, то чудо-абажур выходит... Или еще бутылки, они часто попадаются, их вылавливают и приспособливают для штофа... Интересно, какие напит-

ки японцы из них пьют? Не сучок же, как мы?! А в общем-то, что б ни пили... Было бы им самим хорошо.

На том и порешили: японцы тоже люди и тоже пьют, причем на свои, не на чужие, а значит, заслуживают всяческого уважения. Хотя в прошлом (имелось в виду прошлое Поленова) они здорово побраконьерили, нарушая границу, и Поленову приходилось палить из пушек. Пока Никита-кукурузник не пальнул по своим...

Я представил себе жизненный путь моего товарища: из потомственной семьи моряков, прадед — знаменитый художник, а дома разговоры лишь о море... В выборе сомнений не было: морское училище, а там — вожак, заводила, комсорг, редактор стенгазеты, музыкант, танцор, чтец... Все дается легко, везде первый, да еще улыбчив, как Юрий Гагарин. В характеристике: отличник боевой и политической подготовки... Направлен в лучший дивизион... Ночью тревога, погоня, выстрелы, задержание японцев... Нота протеста... Командующий, седые виски, отеческий взгляд, жмет ему руку: «Вот он каков, Поленов! Мо-ло-дец! Так держать!»

— Отстрелялся, — повторил он и задержал взгляд на бутылке, в которой что-то оставалось, а я придерживал, не торопился наливать, памятуя, что сердце-то у моего дружка не того... Сорвано сердце... Он и тут давно отстрелялся... И цистерна его давно вычерпана.

Да он и сам об этом знает. Но сжигает себя. Потому что... Да потому, что и впрямь отстрелялся.

А другого ничего в жизни уже нет.

Через год, что ли, бывшая его жена сообщила мне по телефону, что Юрий умер, там в санатории и схоронили. Сама-то она с сыном не присутствовала, а была «та, которая с ним спала...» И далее о Юрии долго, мстительно, будто речь шла о живом еще человеке...

Я только спросил, от чего он умер, где похоронен, сколько ему было лет...

— От пьянства, — отвечала коротко и жестко. — От пьянства и умер. — И снова свернула разговор на пресло-

вутую медсестру, молодую дуру, которая только и могла польститься алкоголиком, даже на похороны не позвала!

Больше мы не созванивались. Да и что могло нас объединять, кроме памяти о Поленове...

Я посмотрел не без укора на девицу, нарисованную на картоне. Попытался представить себе сцену с голенькой пэтэушницей (слово «обнаженная» к ней не подходило!) и моего боевого друга, повидавшего на своем веку черт знает что, но вдруг оробевшего перед молоденькой дурочкой. Их, кстати, в свое время прозывали «карамельками»...

Люда может спать спокойно. Ее слезы отомщены. Хотя... Она, пожалуй, и за гробом простила бы Поленову все его прегрешения. Тем более такой обаяшка... И молод... Да мы все были в ту крымскую весну невероятно молоды... И цвела алыча. И жизнь казалась такой бесконечной!

— Юра, за тебя! — и выпил, понимая, что он-то ни в жизнь бы меня не осудил за такую странную пьянку в лифте, который напомнил бы ему кают-компанию...

Одесское пароходство, опекавшее кинофестиваль «Золотой Дюк», предложило морскую прогулку: на лучшем теплоходе, в море... Едва мы расположились на палубе, озирая зеленый берег и предвкушая легкомысленное путешествие, — а там были и Рязанов, и Борис Васильев, и Аркадий Вайнер, — как последовало по радио приглашение в кают-компанию — капитан звал нас на дружеский обед.

Это было красиво: застолье, моряки со звездами на погонах, кинозвезды и золотое шампанское... Посвященное тоже нам, с этикеткой, где был обозначен фестиваль «Золотой Дюк»...

Так мы и поплыли, от бокала к бокалу, по волнам чувств и слов...

Но когда после долгого, чуть утомительного застолья покидали гостеприимных хозяев и вышли, щурясь от солнца, на теплую палубу, мы увидели ту же панораму: голубой залив, и причал, и зеленый берег...

Но, правда, нам рассказали, что прогулка-то в море была и проплавали мы целых три часа...

...Я напрягся, озирая застолье, и угадал: рядом с Поленовым по-хозяйски расположился наш ялтинский дружок Ян Вассерман, поэт, гуляка и бузотер. Как бы без него обошлась эта коллективная пьянка! Но как же я запомнил: ведь и знакомство с Поленовым в Доме творчества, и гульба начались именно с подачи Яна, мимо которого в Крыму случайная птица не пролетит. И в чем-то, я сейчас лишь об этом подумал, взглядываясь в их чуть разгоряченные лица, они между собой поразительно схожи...

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ — ЕВРЕЙ

(Ян Вассерман)

Да, теперь я вспомнил: именно эти стихи он начертал у меня на стене, прямо на обоях, где расписывались многие мои друзья.

*В эту б каюту вернуться скорей,
Ян Вассерман, специальность — еврей!*

Кто-то из общих приятелей добавил: «Меняет национальность на две судимости».

Ну а каюта возникла потому, что уезжал Ян на Дальний Восток надолго, как потом выяснилось, навсегда, завербовавшись врачом на торговое судно, переживая разлуку с Ялтой и даже с нашей московской квартирой, где он прожил в тепле и довольстве трое суток. Перед этим крымские дружки, коих собралось немало, шумно провожали Яна до Симферополя... Последней точкой в этой прощальной эпопее был привокзальный буфет, в котором потребляли они коньяк и закусывали солеными огурцами. Ничего лучше не нашлось, и кто-то мрачно пошутил: «Не в коньяк корм!»

По дороге хором и поодиночке наставляли Яна.

Друзья говорили:

— Ян, ты насолил здесь всем. Пора одуматься... Одуматься и начать жизнь, как говорят, сначала.

Ян слушал, кивал: он искренно мечтал начать жизнь сначала... «Жизнь прожить надо так, чтобы... мучительно больно... И умирая... За дело рабочего класса...»

Он не хотел умирать... за это самое дело... Он хотел скорей вернуться в свой Крым... А еще лучше не уезжать из него...

— Яник, — просили, — тебя ненавидят гэбэшники, горкомовские деятели, обманутые бабы и особенно их обманутые мужья... Попробуйся никого там, на новом месте, не раздражать... Мужей тоже.

Ян соглашался. Он мечтал о жизни, когда отвалит от него вся эта свора, а чужие мужья перестанут его караулить на набережной, чтобы коллективно или в одиночку набить морду. К тому же бывают и ошибки, и случилось, били не того, кого следует. В этом плане он, как «жидовская морда», да с фамилией, которая у всех на слуху, очень даже подходит для любых разборок.

— Ян, — продолжали друзья, — ты ведь способный, ты издашь первую книжку... Потом — вторую, и перед тобой откроются двери в Союз писателей!

Ян соглашался. Он жаждал издать книжку своих стихов. Там были и такие строки (пишу по памяти):

*А был Сизиф приличный парень,
Как говорится, крепко влип,
И с той поры тяжелый камень
Он вечно тащит на Олимп...*

Ян тоже был «приличный парень» и тоже «крепко влип»... О том же, что это пожизненно, он вряд ли догадывался. Хотя сам же написал: «Сизиф, что труд его сизифов, не верил в глубине души...»

У поэзии есть провидческое свойство, и подчас создатели не ведают, что в их стихах зашифрована собственная жизнь.

Да не только Ян — и мы ничего тогда не знали. Это сейчас, сличая его жизнь по стихам, как по звездам, удивляешься, как он точно про свое будущее написал.

В Крым Ян приехал из Киева, закончив медицинский институт; со временем завел семью, развелся ввиду неприиспособленности к такой жизни. Ютился в крошечной комнатухе, неподалеку от Массандры, работал врачом на скорой помощи и в поликлинике, а главным образом при различных санаториях.

Ну а как он работал и какой из него вышел врач, можно легко догадаться. Друзья изображали Яна на приеме больных: «Ну как, лечить будем или пусть еще поживет?»

За все мои наезды в Ялту ни разу мне не удалось застать Яна дома, тем более на работе. Правда, все, кто его знал, заверяли, что Ян если и пропал, то ненадолго. Искать же его по Крыму дело безнадежное.

Был случай, когда я попросил Яна забронировать мне номер в гостинице: предстояла встреча с женщиной, от которой, как мне тогда казалось, зависела моя судьба.

Я звонил ему трижды на неделе, последний раз в день выезда, и получил заверения, что гостиница меня ждет. Он даже называл, какая именно. Но когда я приехал в Ялту, в гостиницу «Южная», места там не оказалось. Не было и Яна. Промучившись до ночи, мы заночевали у какой-то старухи в предбаннике... Женщина разнервничалась и, пока я бегал с утра в поисках сносного жилья, оставила злую записку и отбыла навсегда. А вскоре объявился Ян, чуть помятый, но вполне в форме, очень удивился, что я уже в Ялте, а у него в мозгах, видишь ли, что-то перепуталось со сроками, но он готов исправить свою оплошку и выбить хоть сию минуту какой нужно люкс... Ян даже кинулся к телефону, но я удержал его.

— Не надо люксов... Ничего вообще не надо! — сказал я обреченно. — Займись лучше своими перепутанными мозгами!

Больше ни о чем и никогда Яна не просил. Правда, больше и случая такого в жизни у меня не было.

И на этот раз Ян объявился сам собой, когда его не искали. Достаточно потрепанный, но не настолько, чтобы не мотаться дальше, готовый одновременно спать, пить (лучше кофе, но можно и вино), куда-то спешить, где его

ждут, но еще и потолковать по душам, поскольку не виделись тыщу лет...

Накануне они кого-то куда-то провожали... А может, встречали... Или — поздравляли... Он точно не помнит. Но была там одна сексапилка, и он назначил ей свидание... А вот где? Впрочем, Ялта городок небольшой, где-нибудь да найдется... Главное — ее при встрече узнать. Но до этого пропасть времени, и надо пойти искупаться и проветрить мозги.

Мы идем на массандровский пляж, который чуть почище других, и пока Ян купается и обсыхает на солнце, его майка и трусы, прижатые на линии приборя большим камнем, сами по себе отстирываются. Мокрыми он напяливает их на себя. И снова свеж и доволен жизнью.

Мы пускаемся в поход по набережной, чтобы отыскать упомянутую девицу, но натыкаемся на Сашу Маркова, работника уголовного розыска. Саша утверждает, что с девицей этой, судя по описанию, он немного знаком, она на стационарном лечении в кожвенерологическом диспансере... Несколько раз сбегала.

Ян чрезвычайно мнителен и от таких сведений даже бледнеет. Пытается вспомнить, что у него было с девицей; раскаяние за всю свою непутевую жизнь отражается на его лице.

— Это была любовь навеки... Ведь бывает любовь навеки? — пытается он нас.

— Но ты же ее не помнишь?

— Не помню, — признается Ян. — Но чувства... Чувства вы же не отвергаете?

Чтобы утешить несчастного Яна, мы согласно киваем. Хотя с логикой у него так себе. К тому же Марков, который по роду занятий должен все и про всех знать, после некоторого раздумья решает, что вообще-то не уверен, о той ли самой девице идет речь... Но, как написано на плакатах, следует опасаться случайных связей или пользоваться презервативами!

— Изыди, легавый! Надо же так напугать! — кричит в сердцах Ян и швыряет в приятеля кепочкой, под которой он скрывает раннюю лысину.

Впрочем, лысина Яна не портит: лицо у него мужественное, глаза с мягкой голубой грустинкой, бабы сходят от таких глаз с ума. И при этом детская блуждающая улыбка, не сходящая с губ.

Ян покладист и легко мимикрирует, становясь мгновенно своим в любой компании. А сколько их по курортам Ялты, которая в летние месяцы становится филиалом столицы... И среди множества сборищ, литературных, артистических, киношных и непонятно каких, встречаются и не самые, что ли, приличные, и даже вовсе не приличные, а подобная неразборчивость частенько заканчивается для Яна скандалами.

Просто он такой, что при нем всегда что-то происходит.

Ну спел, сыграл на гитаре, стихи свои прочитал, а баба — чужая — прилипла... И как следствие: скандал, драка, милиция...

И где-то уже прозвучит: «Что? Опять Вассерман?»

Как-то Ян с тремя приятелями попал в милицию. Заранее договорились не называть себя. Ян назвался: Иванов... Второй назвался: Петров... Третий: Сидоров... А четвертый растерялся и говорит: «Вассерман...»

Словом, фамилия Яна не сходит с уст здешних блюстителей порядка. Это их зубная боль. Они-то в конце концов и выперли его из пограничной, а значит, особо режимной зоны, в которую входит жемчужина Крыма курортный город Ялта.

А еще Ян замечен в частых контактах с писателем Виктором Некрасовым. Их связывает дружба.

Виктор Платонович худощав, подвижен, с усиками, которые ему идут. Наезжает сюда со старенькой мамой, о которой проявляет трогательную заботу. Яна он потечески опекает, к слабостям его снисходителен, а всех прихлебателей, и особенно здешних сыщиков, посылает, как бывший фронтовик и человек крайне независимый, по матушке, так далеко, как возможно.

Пьет он крепко. И если в трезвом виде интеллигентен и даже подчеркнуто галантен, то после поддачи груб и

невыдержан... Но ему все прощается, он автор лучшего романа о войне «В окопах Сталинграда». После переименования города, это произошло при Хрущеве, Некрасов, надрывшись, подходил к коллегам в Доме творчества и вызывающе вопрошал: «Вы не читали, случайно, роман «В окопах Волгограда»? — Получив отрицательный ответ, кивал удовлетворенно: — И я не читал...»

Живописать Яна, наверное, надо через его окружение, а оно было многообразно и непрерывно менялось. Менялся и Ян. С Викой, как друзья называли Некрасова, он был иным, чем с друзьями где-нибудь на набережной. Или с тем же Сашей Марковым...

Марков милиционер. Это не профессия, а образ жизни. Но тяга к поэзии, любовь к поэтам и собственное сочинительство не позволяют ему стать «типовым» ментом.

Как-то зайдя к нему на работу, я увидел, как два блюстителя в темном коридорчике избивают подростка, и сказал Саше. Он отреагировал молниеносно: выскочил и вскоре вернулся, буркнул: «Больше не повторится». Будто был виноват.

Саша плотно скроен, увалист, мужиковат и любит в делах порядок, порядочность. У него характерное для крестьянского парня скуластое лицо и чистые серые глаза. Сейчас он направляется к кому-то на новоселье и тащит нас за собой.

Новоселье в нашей с Яном программе не запланировано, но мы не очень сопротивляемся. Ян выдает по этому случаю подходящую цитату вроде: «Попутный ветер надувает паруса лишь того судна, которое знает, куда плывет...»

Вряд ли это касается самого Яна. Сам он плывет по воле волн, и порой кажется — во все стороны сразу. Но литературные премудрости, которых у Яна полон рот, — это одно, а его жизнь — совсем другое.

Саше Маркову необходимо забежать на работу и переодеться. Мы ныряем в неопрятное, всегда дурно пахнущее здание милиции и, пока Саша переодевается, осматриваем, не в первый раз, его так называемую «криминалистическую

лабораторию»: ножи, финки, кортики, а на стенах — фотографии обезображенных трупов...

Ян суеверно отворачивается:

— Как тут можно работать?

— А копаться в кишках — лучше? — спрашивает Саша из угла, натягивая штаны.

— Мы лечим, а ты калечишь, — парирует Ян. Переиначенная реплика из кино нашего детства о Котовском.

— Тогда ступай к себе в морг, — кричит Марков. — Там веселее...

Это намек на давнюю историю, когда Ян, заигравшись в преферанс у своего коллеги, патологоанатома, так наклюкался, что остался ночевать, а проснувшись ночью, обнаружил, что он в морге... Что было дальше, лучше не вспоминать.

На одном из стендов у Маркова выставлен нейлоновый член, принадлежавший здешнему хозяйственнику-старичку, который использовал его для интимной жизни с молодой женой. Но та однажды доперла и послала шарлатана-мужа подальше. Старик повесился на своей даче, а член как вещественное доказательство был приобщен к делу, а потом перекочевал в лабораторию, привлекая внимание случайных посетителей еще и тем, что сработан с профессиональным знанием дела, вручную, своего рода предмет искусства.

Ян покачал головой, рассматривая экспонат: бывший владелец преувеличил свои мужские возможности, на чем, видно, и попался... Сходил бы лучше дружок в «греческий зал...» То бишь в музей. Там ведь наглядно показано, что человечество в целом обладает весьма скромными детородными органами... Остальное — плод воображения сексуальных маньяков.

— А еще точнее — маньячек, — добавляет он.

Саша еще и фотограф, одну из стен в своей лаборатории он заполнил фоторепродукциями, отвиражированными почему-то в густо-синий цвет, на которых изображены почитаемые им поэты: Пастернак, Ахматова, Цветаева, Заболоцкий...

— А это еще кто? — Ян подозрительно вглядывается в один из портретов. — Евтушенко?

— А что?

— Ничего. А почему же Вознесенского не вывесил?

Но это уже поэтические комплексы. Ян знает своих современников наизусть. Но Андрей Вознесенский возникает в разговоре неспроста, он тоже побывал в Сашинем «криминалистическом музее» и даже стихи о нем написал, которые начинались так: «Саша Марков, ты король криминалистики... и дитя...»

По дороге на новоселье, у памятника Ленина с черепом, белым от голубиного помета (что ни делали, чем ни посыпали, а голуби садятся и гадят, и гадят), в палисадничке с розами, Саша встречает кого-то из своих сослуживцев, и тот сообщает, под бо-оль-шим секретом, что через перевал «прорвались» татары и их теперь караулят здесь, у Ленина, чтобы схватить, посадить в автобус и завернуть обратно.

Почему татары? Ну день сегодня такой, Ленин в свое время дал крымским татарам автономию, а Сталин их выслал... Вот они и едут из ссылки, чтобы возложить свои венки Ленину. А у здешних властей мандраж: мобилизовали милицию, выставили кордоны...

В сквере много публики, разной и по-разному одетой. Но какая-то она особая, слишком плотно расположилась и слишком старательно отдыхает. А может, так нам кажется.

— А эти... тоже ваши? — спрашивает Ян, с интересом оглядываясь.

— Тут все наши... — отвечает шепотом Сашин сослуживец.

— И старушка с газетой?

— Это — активистка! Недавно двух типчиков с английского теплохода словила, когда свои антисоветские книжечки стали совать!

Этих активисточек-бабулек, с дореволюционным партийным стажем, мы уже встречали; по прибытии какого-нибудь зарубежного судна с экскурсантами они, отмоби-

лизованные родной партией, выходят на набережную и изображают местных жителей... И блюдут, и блюдут.

— А вон тот, с перевязанной рукой... — Ян хулигански прищуривается. — У него там не пулемет запрятан?

— Вам шуточки... — вздыхает Сашин сослуживец. — Сейчас бы тыпнуть красненького... И чего этим татарам нейдется... Сами не пьют и нам не дают...

— Не переживай, — говорит Марков. — В прошлом году они тоже прорвались, но их в Алуште задержали... Идем с нами, тут я знаю один ларек...

По дороге Марков вспоминает, что в прошлом году кто-то из Москвы (из самых-самых!) нагрюнул в Крым, и выставили вдоль всей дороги охрану из шпиков: все одинаковые, в темных плащах и фетровых шляпах, которых здесь и зимой не носят... У каждого в руках для маскировки книжка... Причем одна и та же.

— Надеюсь, не Пастернак? — как-то натянуто шутит Ян.

В поисках ларька мы натываемся на Стасика Славича, долговязого, с пшеничными, как поется в какой-то песне, усами. Они с горноспасателем Юрием Буряковым уже приняли и теперь глубокомысленно обсуждают мореходные данные зашедшего в порт пассажирского судна «Иван Франко».

Мы врываемся в их неторопливую беседу и, объединив усилия, берем в разлив по стакану «Юкура»... А Буряков, прихлебывая, повествует, как сегодня ночью их группу спасателей подняли по тревоге и они карабкались по отрогам Ай-Петри на скалу, где засел какой-то чудик, любитель острых ощущений... Выпил для подкрепления сил и полез, а как протрезвел, стал звать маму...

— Как же он залез?

— А хрен его знает... Вообще там отвесная скала. Но в подпитии и не такое бывает...

Вспоминаем разные похожие случаи, наполнив еще по стакану.

Я рассказываю про кежемского рабочего, не пьяного, который в тайге, в малиннике, столкнулся носом к носу с «хозяином», с медведем то есть, и, удирая от него, скакнул

от страха в экскаваторный ковш, на высоту два с чем-то метра... Специально приезжали замерять. Думали, вот рекорд, в область на соревнования пошлют, а он, бедолага, когда попросили прыгнуть, едва метр одолел...

Татар с их венками нет, и мы переходим к винному погребку под названием «Бочка». Там бочки кругом: бочки-стулья и бочки-столы и конечно же из бочек и наливают. Но главное, в разлив предлагают мадеру.

Именно здесь писатель Войнович, впервые приехавший в Ялту, наткнулся на вывеску: «ТРАКТИРЪ»... Даже охнул от неожиданности: «Неужто... сохранилось?» Мы отвечали: «Ага. Так с дореволюции и стоит. Даже цены те же!»

А тут накануне происходила съемка фильма «Неуловимые мстители». Группа уехала, а вывеску снять забыли. Она потом еще долго там торчала, вызывая недоумение у приезжих.

После мадеры следует портвейн «Таврический», а потом еще и херес, горьковатый на вкус и сухой, хотя в нем целых двадцать градусов... Возникает спор, может ли сухой херес иметь столько градусов, но многознающий Славич пересказывает историю про дрожжи, которые один наш винодел прихватил во время экскурсии на винзаводе в Испании, — как бы попробовать на вкус, — так за щекой и вынес... И вот он... Сухой херес!

Вспомнили про здешнего винодела Колю Алпеева, которого отец, шахтер из Донбасса, попросил привезти винца... «Хоть понюхать, чего ты там изобрел... В своем Крыму!» Ну, Коля, чтобы не ударить в грязь лицом, весь год собирал, копил в мензурочках из коллекции Массандры какие-то редчайшие мускаты... Привез в чемоданчике, а отец, по такому важному случаю, дружков-шахтеров созвал... Все приоделись, чинно так сидят, ждут, когда их поить начнут.

Коля достает флакончик, чего-то бормочет про букет ароматов, про вкус молодой черешни... Все осторожно пробуют. Но молчат. Ждут... Терпеливо. Он другой флакон, третий... Букет ароматов, вкус... Но тут батя чувствует, дело заклинилось, рукой машет... Подожди, мол, Коль,

со своим букетом... Оно, конечно, красиво, но не берет... И младшему сынку: «Васьк, принеси-ка нашего букета, что в прихожей в ящике с водкой...»

Тяпнули, повеселели, льют из его мензурочек в стаканы с водкой... Плотают не глядя: очень, говорят, букеты впечатляют...

Разговор переходит на другие напитки. И Славич, голос у него чуть глуховатый, рассказывает, как милиционер (взгляд на Маркова!) допек своим надсмотром жителей одной деревеньки, варивших, как водится, самогон. Некий дошлый старичок решил блюстителя проучить. Весь летний день топил для видимости печку, а емкости, какие были в доме, наполнил колодезной водой. Плядь, блюститель тут как тут, даже не постучался, и от дверей уже носом поводит, принюхивается... Углядел в углу за печкой большую бутылку, бросился к ней, пощелкал по стеклу пальцами со знающим видом да так в упор и спрашивает: «Чевой-то у тебя тут, дед, налито?» — «А вода», — отвечает дурашливо дед. «Так уж и вода?» — «А чего еще?» — «Сам знаешь чего!» — «Не знаю», — отпирается дед. Попробовал блюститель и самому себе не поверил: в бутылки вода.

Тут бы ему остановиться, но уж больно характер сволочной. Спустился в подвальчик, а там жбаны, банки-склянки, и все до краев залито. «Что, дед, — спрашивает грозно, — и тут вода?» Не поленился и из жбана, из каждой банки-склянки пробу снял... И везде оказалась вода. Озлился, не может взять в толк, в чем дело... А как собрался тот блюститель уходить, дед решился секрет открыть: «Ты у нас, милоч, тут без году неделя и знать не можешь, что я из староверов... У нас и обычаи старые... Вот недавно старуху свою схоронил да водичкой обмыл, ту водичку разлил по бутылочкам... Сохраняю... для памяти...»

Как сказал это дед, стало блюстителя выворачивать... До кишок вычистило, до желчи...

С тех пор он дом того старичка обходил за километр, да и самого хозяина не мог видеть, реакция у него на деда развилась: как повстречает на дороге, так судороги в животе. Не выдержал, сбежал из деревни.

Тут Марков вспоминает про новоселье, а Славич про ребенка, которого пора забирать из школы, а Буряков про почту, на которую он шел, а сослуживец Сашин про татар...

Выясняется, что татар в Алуште повернули, с их венками, и по этому поводу Сашин коллега ставит всем по стакану...

— За татар, что ли?

— А чё они тебе сделали? Говорят, при них-то всего в Крыму хватало! И воды, и фруктов... Они-то знали, где рыть колодцы...

— А фашистам кто служил?

— Да кто, бабы и грудные младенцы, которых выселили...

Чтобы разрядить обстановку, вспоминаю историю, как я оплошал... Пришел в гости к бывшему летчику Толе Маркуше, а у него делегация крымских татар сидит, приехали, значит, поблагодарить за книжку об Амет-Хане Султане, летчике, дважды герое времен войны.

Не приняв ни рюмочки, татары ушли, их, кажется, у дверей уже стукачи караулили, а мы с Маркушей крепко тогда напраздновались; уходя, я по традиции расписался у него на столбе...

Был такой странный столб размером с тумбу, посреди прихожей, гости, уходя, расписывались на нем на память.

Наутро Маркуша звонит мне по телефону, интересуется, как доехал, то да се, потом, странно прихихикивая, спрашивает: «А ты, случаем, не помнишь, что мне на столбе написал?» — «Нет, — говорю, — не помню». — «Я так и думал, — отвечает. — А написал ты, дорогой дружок, такое, что по телефону тебе прочесть не могу. Приезжай, увидишь».

Заехал, читаю — не верю своим глазам. Моей рукой жирно так написано: «Свободу татарскому народу! — И внизу добавлено: — А также всем остальным!»

Денек на этом далеко не кончается. Можно продолжить про сексапилку, которая нам встретится, но окажется вовсе не той, которую до этого возлюбил Ян, эту он тоже полюбит; и про татар, которых, как станет известно из

передачи радио «Свобода», не только встретили в Алуште штыками, но зверски избили, а венки выбросили... И наконец, про новоселье, мы туда попали глубоко за полночь, и запомнилось оно потому, что Ян намылил кому-то морду за плохие стихи...

В фильме, давно увиденном, «Грек Зорба», действует герой, чем-то напоминающий Яна... Этаким развеселый малый: гитарист, певец, остролов... На теплоходе, плывущем в Грецию, он знакомится с молодым бизнесменом, получившим от отца большое наследство. Зорба настолько его очаровывает, что тот отдает в его руки весь свой бизнес, восстановление угольных шахт. Зорба едет закупать для них оборудование, но почему-то попадает в публичный дом, где славно проводит время.

В финале у него рушится подвесная дорога, по которой доставляется крепежный лес на шахты. Происходит это при торжественном скоплении народа: летят наземь огромные стальные опоры, и молодой наследник в ужасе произносит: «Зорба, это же полная катастрофа?!» Зорба простодушно соглашается: «Да, господин, я думаю, что это катастрофа... — И тут же добавляет не без наивной гордости: — Но ка-ка-я катастрофа!»

Здесь же, на развалинах подвесной дороги, он, обняв за плечи бывшего миллионера, а теперь уже и друга по несчастью, которого он разорил, Зорба самозабвенно, закрыв от наслаждения глаза, танцует под музыку Теодоракиса...

И черт его знает почему, но в этот самый момент все ему вдруг прощаешь... Этому непутевому, странному, непонятному, не похожему на нас человеку.

И Яну мы все прощали.

Неизвестно, сколько оставил за своей спиной катастроф наш друг, покидая неблагодарную землю Крыма. Но шлейф всяческих историй еще долго будет тянуться следом.

И возможно, сам Ян не без наивной гордости мог бы воскликнуть вслед за легендарным греком: «Но какие это были катастрофы!»

Пребывая проездом у нас в Москве, он извлек из своего тощего багажа заезженную пластинку и, ухмыляясь, пригласил послушать.

Это была песня в исполнении хора Пятницкого с такими вот словами:

*Лети, победы песня, до самого Кремля,
Красуйся, край родимый, колхозные поля,
В колхозные амбары пусть хлеб течет рекой,
Нам Сталин улыбнется победе трудовой...*

Ян вытащил носовой белый платочек и, изображая тех самых колхозниц из песни, счастливых от сталинской улыбки, пошел в пляс... В своем нелепом танце, как грек Зорба, отрешаясь от Крыма, от Ялты... От самого себя.

Мы провожали его на дальневосточный поезд, говорили:
— Ты распрощался с пьянкой, с бабьем, с гульбой...
Будь мужчиной, начинай жить, как люди... И пожалуйста, напиши...

Ян горячо соглашался. Он устал от самого себя, каким он был все эти годы. Мы прямо-таки чувствовали по его настрою, что он, как герои в фильмах, где едут с песнями на целину, на Ангару и на тот же Дальний Восток, устремлен навстречу новой жизни.

У нас в квартире, на стене, появились те самые, прощальные, стихи: «В эту б каюту вернуться скорей, Ян Вассерман, специальность — еврей!» В стихах было то, что не произносилось вслух: он мечтал вернуться обратно.

Примерно через полгода объявился в Москве дальневосточный поэт Илья Фаликов, некрупный, темный, курчавый и в отличие от других поэтов — негромкий.

На вопрос, не встречал ли там, на Востоке, нашего друга Яна, буркнул, нахмурился:

— Кто же не знает там, на Востоке, в а ш е г о Яна!

Такое начало не предвещало ничего хорошего. Но мы все-таки поинтересовались, как прижился... Как он там вообще?

— Лихорадит, — произнес Илья загадочно.

— Яна? Лихорадит?

— Да не Яна, — с досадой отвечал он. — Дальний Восток лихорадит... — И добавил в сердцах: — От в а ш е г о друга Яна!

Тут мы и узнали про новую Янову жизнь. Как приехал, как с первых дней, а может часов, вонзился, как нож в жертву, в особую, портовую и лихую, тамошнюю жизнь... Тем более что судно, на которое он направлен врачом, еще долго не прибывало из очередного плавания.

На описание «новояновых» приключений у Фаликова не хватило ни времени, ни запала. Но главное событие года он смог передать: Ян познакомился с дочкой известного дальневосточного журналиста, весьма партийного и уважаемого в крае товарища, охмурил эту дочку и вроде бы даже умыкнул ее, о чем судачил весь город, а ее партийный папа не вынес, слег с инфарктом... Был поставлен вопрос на уровне руководства края о выдворении чужеродного Яна из режимного города и даже отдаче его под суд за развращение малолетней. Но выяснилось, что девице не менее двадцати и наш друг Ян не первый и даже не второй по счету в ее жизни. Сам Ян в это время уже был далеко в море. Где ему наконец удалось начать новую жизнь... с корабельной поварихой. Он называл ее ласково: Брунгильдой. Она была невероятно толста.

К тому времени, как Ян вернулся из плавания, страсти улеглись и партийно-журналистский папа смирился с новым зятем. Да и как не смириться, девица была на каком-то месяце беременности...

Можно было бы порадоваться за Яна, что он, хоть и не без потерь, обрел долгожданный дом. Но это было лишь прелюдией к остальному, без чего жизнь Яна, а затем и всего города и края, была бы чересчур пресной.

В те времена Ян вступил в КПСС. Зачем? А бог его знает. Может, для поездок в загранку... А может, и вправду одумался, остепенился под влиянием партийного папы и решил начать новую жизнь, теперь с КПСС...

Виктор Некрасов тут же отбил из Киева (это было до его отъезда в Париж) телеграмму: «Ян, ты сошел с ума, если это правда, я при встрече не подам руки».

Ян в ответной телеграмме отрицал факт вступления, но он соврал своему другу. Наверное, ему было стыдно.

После очередного рейса Ян принял на руки младенца, девочку, и занялся обустройством гнезда; он оказался вполне добропорядочным еврейским папой... В то время как жена пустилась во все тяжкие, надолго пропадая из дома. Вэбешенный Ян отыскивал ее по кабакам и однажды, не выдержав, бросил, прихватив младенца, и бежал на «запад», в Молдавию.

Девушка чуть не покончила с собой, папа опять был в инфаркте... Партия сурово осудила поведение судового врача Яна Вассермана, выдав ему строгана. С работы его погнали...

Все начиналось сначала.

Именно в то время, проскакывая мимо Москвы, Ян остановился у нас и начиркал на стене свои последние стихи:

*Я плавал средь морей и льдин,
Я плавал средь морей и льдин,
У моря видел все оттенки,
И все-таки конец один:
Домой приехал, сразу — к стенке...*

Под лихую пластинку, которую я сохранял на память об улыбке Сталина, он уже не плясал...

Побывав недавно в Ялте, я не встретил никого из наших друзей: кто уехал, а кто, как Саша Марков, спился...

На месте оказался лишь Стасик Славич, даже адрес и телефон не изменились, да он и сам не изменился: рассказывает глуховатым голосом ялтинские новости и упоминает Вассермана. «А он ведь был здесь...»

Незадолго до смерти... Приехал с дочкой, из Кишинева, лысый, сгорбленный, похож на старичка... Прошел молча по набережной, даже не выпил ничего и уехал.

— Прощаться приезжал?

— Вроде того.

— А он знал, что у него... рак?

— Не мог не знать, врач же!

Мы налили портвешка. Теперь его на набережной опять завались, только цены другие. Выпили за Яна не чокаясь. Пусть его душа ТАМ успокоится... Он был не такой, как мы. Но он был естественнее нас, ибо жил как хотел. Мы же этого не умели делать. Это раздражало одних и привлекало к нему других. Но и те и другие пытались Яна подмять под себя, сделать его жизнь похожей на их собственную... Временами это удавалось. И тогда он страдал.

Приняв еще по стаканчику, мы со Стасиком долго молча смотрели на порт, неприятно пустынный: теплоходы почти не ходят по Черному морю из-за нефтяного кризиса. Прихватив бутылку водки, пошли допивать к Стасику домой, прикупив по дороге дешевых овощей у крымских татар, расположивших свой крошечный базарчик неподалеку от памятника Ленину, все так же стоящего в центре города с черепом, обгаженным голубями.

Где-то рядом, за лифтом, громыхнула доска и объявился жирный котина. Без всякого интереса ко мне он прошептал над моей головой, стряхивая на нее сухую пыль, и скрылся... А я остался стоять, вдруг почувствовав, что ноги мои от долгого сидения на карачках затекли.

В день отлета из Парижа, куда мы, несколько писателей, были приглашены на международную книжную ярмарку, погрузился я на шестом этаже в лифт, одноместный, в нем даже чемодан пришлось на пола ставить, и не успел отмахать вниз пару этажей, как встал. И дымком запахло... Сперва нажимал я на кнопки, потом кричать начал. А внизу, в холле, на диванчике, Маканин с Фазилом Искандером на вечные темы беседуют, и каждое их слово так слышно, будто они рядом... Но вот меня-то они не слышат. Такой странный резонанс... И автобус у подъезда, который в аэропорт ждет... И до самолета час или около того... А я

все кнопки нажимаю, и слова-то снизу о мироздании, о вечности... Господи, думаю, вечность — это так вот сидеть не услышанным в лифте, который почему-то железный и напоминает гроб, поставленный на попа... Как меня через узкую щель вытаскивали, не говорю...

А еще в доме, где я живу, собираемся как-то в Кремль: там Борису Мессереру будут госпремию вручать. А до этого мы у него на этаже по рюмке коньяку приняли, торжественные, наглаженные такие, даже чуть надушенные...

И вот торчим в лифте, а Белла Ахмадулина с ног сбилась, пытаюсь нам помочь... То на один этаж, то на другой... А Борис из лифта все больше нестандартной лексикой... и на Беллу, и на диспетчера, и на весь мир... Время ехать, премия-то — это не шутка, сам Борис Николаевич вручать будет...

Но ладно... В моем безразмерном застолье возник мой другарь Емил, как будто не расставались... «На здраве», — кричу ему через стол и рюмку тяну, наперсточек золотой. Так в Болгарии первую рюмку поднимают: «На здраве... Емил! Добре дошли? До моего подвала? А помнишь, как по России...»

ДУЛЯ

(Болгарский друг Емил)

Шел летний месяц июнь, цвели тополя, забивая обочины тротуара белым пухом, а старушки у метро торговали пучками редиса, лука и букетиками ландыша.

Из Пловдива впервые в Москву приехал Емил, и на семейном совете с женой, после долгих споров, решено было устроить для него автомобильную пробежку по знаменитым местам, чтобы смог наш другарь поближе рассмотреть Россию.

Ну а поскольку Емил человек не совсем, что ли, свой, а заграничный, никто бы ему не позволил свободно ездить по нашей насквозь засекреченной стране. Решили путешествовать без разрешения: ездить в машине, жить в палатке, ну а в местах шибко городских, в Питере, скажем, или Риге, нашли знакомых, которые согласились на одну-две ночи нас приютить. С тем и двинулись в путь.

Для компании я пригласил давних моих друзей, семью Зябкиных: Бориса и Люсю. Мы уже ездили вместе на Селигер и в Карелию, путешествовали по Украине, по Закарпатыю. Мечтали заглянуть и в уютную Прибалтику, да никак не выходило...

Они недолго колебались, у них и отпуск подоспел, и в какой-то день июня, раненько, по утренней прохладе, мы вырулили на пустынное, еще влажное после поливальных машин шоссе и взяли курс на Ленинград.

Я не собираюсь описывать все наше путешествие. Оно проходило довольно гладко, пока не въехали в долгожданную Прибалтику. А история началась с того, что, проезжая мимо сельского магазинчика в Эстонии, по дороге к Тарту, я притормозил машину и, обернувшись к Борису, попросил проверить, есть ли у нас во фляге водка.

Борис разыскал флягу, она валялась за спинкой заднего сиденья, и, с силой тряхнув, заверил, что водки хоть отбавляй. На что Люся не преминула ехидно заметить, что насчет «отбавлять» у нас очень даже получается: что ни день, отбавляем. Намекая на вечерние трапезы, в которых фляга играла не последнюю роль.

— Что она у вас, бездонная, что ли? — спросила Люся.

— Не знаю, — отвечал бодро Борис. — Но булькает!

Теперь о фляге. Домашнее ее прозвище — корыто. Изготовлена умельцем в каких-то авиационных или космических мастерских из прочного титанового сплава, и в разные времена в разных ситуациях прикладывались к ней чуть ли не все ныне известные в стране писатели. Не писатели — тоже.

Флягу обожали. Особенно была она в ходу, когда был я холост. А холостой быт, известно, сродни походному: миска да кружка с ложкой, да вот еще драгоценное корыто, в котором можно держать и воду для питья.

Но, правда, водой я не злоупотреблял. Это же не баклажка, с которой школьники ходят в поход, а та же поллитра, только из металла...

Бутылка — посуда одноразовая, и если ее откупоришь, нужно пить до дна... Много истин таится в вине, но главная — на самом дне... Можно и не допить, и отложить, но так уже никто на моей перенедопитой родине не делает из суеверного, полагаю, страха пролить, разбить... Но еще потому, что невозможно физически прервать процесс питья, пока он идет. Этого не поймут и осудят. Недопитая поллитра дурно характеризует ее хозяина.

Корыто же прочно, как противотанковый дзот. Его хоть танком утюжь, хоть гранату подкладывай... Уцелеет само и свою сущность — внутреннее содержание — до

капельки сохранит. Так прекрасно знать, что при любых катаклизмах есть нечто, подтверждающее прочность, неизменность бытия.

Да и пить из него можно как хочешь: на ходу, вприлоб, или частями, или оставить на черный день... Но лучше на утро.

Один знакомый описывал мне занятную игрушку, встреченную где-то в российской глубинке. Снаружи так, ничего примечательного, глиняный бычок, в который заливается пол-литра водки. Секрет же бычка в том, что в момент застолья он отдает четыреста пятьдесят граммов, и ни капли больше. Можешь его трясти, даже разбить, но ничего не получишь. Зато наутро, когда подступает к сердцу терзающая жажда, расчетливый бычок, как на ладошке, поднесет тебе, во спасение, драгоценный остаточек: сбереженные им от тебя же пятьдесят граммов... И ты — снова жив!

Разгадку тайны бычка я не знаю, но жаль, что сейчас уже никто не помнит, как он сделан. Видать, создал бычка, в минуту просветления, русский умелец, невыносимо страдавший по утрам от тяжкого похмелья.

Возвращаясь к корыту, отмечу одно золотое правило: не забывать доливать в него любимое пойло.

Я переспросил Бориса:

— Хорошо побулькал?

— Да, хватает, — отмахнулся он. — Езжай! Езжай!

Борис торопил, боясь пропустить вечернюю рыбалку.

Солнце, весь день простоявшее в зените, будто приваренное к небосводу, сдвинулось наконец с места и стало заваливаться в сторону запада. Чем дальше, тем скорей, наливаясь спелой краснотой и увеличиваясь в размерах, пока не зависло раскаленным медным шаром над дальним гребешком леса. Зелень, трава и все вокруг окрасилось в теплый желтый свет.

Мы свернули с трассы влево к озеру, огромному, до горизонта, и в мелком соснячке на песчаном берегу небольшой речонки, что впадала в озеро, разбили лагерь.

Емил тут же насобирав ракушек и вскоре преподнес нам на горячей сковородке. Его удивляло, что такую роскошь, как ракушки, у нас не едят.

— Их там столько! Могли бы завалить деликатесным продуктом Париж!

— А дождевыми червями Пекин, — добавил Борис.

— Ну а дураками мы бы завалили весь мир! — сказала Люся.

Ни к Эмилу, ни к его ракушкам ее реплика, конечно, отношения не имела. Относилась она к начальству Люси, которое не заплатило за отпуск денег. «Может, они считают, что я проживу на ракушках?» — произнесла она задумчиво.

Мы с Борисом отказались от нового блюда наотрез, а Люся, чисто женское любопытство, согласилась отпробовать.

Понюхала, лизнула, потом взяла «на зубок» и не без видимого напряжения пожевала.

Мы с интересом ее рассматривали.

— Ну что передать твоим начальникам?

Люся за словом в карман не полезла:

— Так и передайте: что они как эта улитка... Ни рыба ни мясо!

Пока Эмил наслаждался ракушками, мы с Борисом наловили полосатых окуньков — Борис, сам в прошлом моряк, называет их матросами — и сотворили роскошную, с ароматом на весь берег, ушицу.

Настоящая уха — это всегда искусство, и женщин к ней истинные рыбаки не допускают. Ну разве что снизойдут, позволят порезать лучок или подать приправу.

Трижды бросаем в кипящую юшку рыбу, рассортированную по калибру, потом извлекаем, да по счету... Не дай бог, хоть одна дурочка застрянет и засорит благородную — тройную — уху костями...

В конце добавляем лаврушку, всякие зеленья, а в конце, перед съемом с огня, помолясь за удачу, опрокидываем в котел рюмку водки.

Янтарная юшка становится особенно пахучей, и ее не следует хлебать грубо, как суп, а впитывать, вбирать, всасывать в себя, как боги потребляли бы амброзию... Наслаждаясь и нежным, маслянистым от рыбьего жира цветом, и запахом, и вкусом, но еще заедая при этом самой

именинницей — рыбкой, сложенной рядком на тарелочке и самую малость, для вкуса, подсоленной.

Вообще-то рыбка ловилась так себе, на песчаном берегу не нашлось ни камешка, ни какой-нибудь железяки, чтобы смастерить якорь, и резиновую лодочку мотало на ветру во все стороны, не давая наладить снасть.

Но уха состоялась. Люся приготовила стол: нарезала овощей и колбасы, памятуя известную истину, что для голодного мужика лучшая рыба — это все-таки колбаса. Хотя один рыбачок на озере у Ферапонтова монастыря, где однажды довелось мне ловить, еще добавил: «...а лучшая колбаса — это чулок с деньгами!»

Солнце ушло, отгорел и закат. Из сине-черных глубин Вселенной проклюнулись первые звезды и скоро заблестели, как пуговицы на парадном мундире генерала. А с воды, от недалекого озера, донеслись запах тины и знобкий холодок.

Мы живо расселись, прикончив последние дела и накидав в костерок еловых веток для жара, сняли с огня и поставили на раскладной столик раскаленный котел с ушицей... На землю его не ставят, остынет в мгновение...

И под финал, как завершающее действие, как венец всему дню, ритуально извлекли драгоценную флягу. В пластиковые стаканчики полилась живая водичка, пахнув в лицо своим неповторимым и желанным духом, так что погорячело в желудке, а сердце екнуло от предощущения чуда, которое тебя сейчас поднимет на крыльях к звездам, сверкающим, как самая большая награда в жизни.

Прозвучало такое родное: буль-буль-буль, ровно на двадцать граммов — и... стихло. И наступила тишина. Я бы назвал так: странная тишина, томительная, полная дурных предчувствий. Пока не стало очевидно, что фляга-то наша пуста. Как человек, из которого вынули душу.

Все померкло, и даже показалось, что с водоема, как с Антарктиды, подуло ледяным холодом. Спасением мог стать магазин, но в него глядя на ночь не побежишь. Да и где он, тот скромный сельмаг у дороги, который мы так легкомысленно обогнули днем, отмахав сотню и более километров.

Досиживали молчком. Похлебали для вида ушицы, которая теперь не имела ни вкуса, ни запаха, и дружно покинули нелюбимый стол: Емил — собирать свои деликатесные ракушки, Люся — мыть посуду, а Борис в ближайший лесок... Ясно, что он переживал свою вину.

Я же остался у затухающего костра с дорожной картой на коленях. Никто бы, наверное, не поверил, что меня как водителя не столько волновала завтрашняя трасса: мосты, заправки, места ночевки, — сколько населенные пункты по дороге, в которых мы зальем корыто... У первого же ларька, который нам встретится. Да никому не доверю, сам наполню до краев!

Был у меня знакомый, служил за границей, частенько бывал на разных посольских приемах. Однажды пожаловался, что там сильно (или насильно) накачивают нашего брата, и он после мучительных попоек, хотя дома прилечь к рюмочке он совсем не прочь, приспособился: стал брат для запития воду, а приняв водку и подержав во рту, сплевывал ее в бокал с водой... Ну а воду потом незаметно менял.

Вдруг с неприязнью подумалось: это же изуверство по отношению к водке (да небось самой лучшей!) и к самому себе... Ну разве это жизнь — мучиться на приемах и до смерти бояться проглотить лишний грамм!

Нет, нет, такой трезвой и пресной заграничной жизни я и задарма не хочу. А тут еще в одной газетке мне попалась целая статья-инструкция о том, как во время коллективных пьянок — банкета, скажем, свадьбы и тому подобного — меньше выпивать. Про «больше выпить», конечно, ни слова: об этом и так все знают.

Но я бы повторил, особенно в тот несчастный вечер, что это изуверство — явиться на праздник и при этом соображать каждую минуту, как бы ничего не пить.

Так посиживал я в горестных размышлениях, не торопясь в палатку. Да и что за ночева, когда не горло, а душу сушит. Можно переспать на голодный желудок, говорят, даже полезно, но уснуть, когда мир, в одночасье, стал другим...

Был порыв: оседлать машину и рвануть куда-то в ночь в поисках потерянного счастья. Но я отменил это как наваждение.

Вернулся Борис из леска с какой-то железякой в руке и уведомил нас, что разыскал отличный якорь и уж завтра на зорьке мы надергаем матросиков... А то, глядишь, вытащим и щучку.

— Зачем? — спросил я без интереса.

— Ну как — зачем... — Борис был на взводе и говорил слишком громко. — А зачем вообще рыбалка?

— Да. Зачем? — повторил за ним я.

В общем, поговорили.

Наутро я разглядел находку: стальная блестящая болванка, остроконечная, с тремя бронзовыми поясками посередке. На уровне поясков была приторочена крепкая веревка.

Борис завтракал в полном одиночестве, а болванка валялась на траве у его ног.

— Что это?

Он обрадовался моему вопросу и объяснил, что это головка от снаряда, которую он подобрал в лесу. «Не бойся, она не взрывается...» — добавил он.

— Я ничего не боюсь, — сказал я. И подумал, что боюсь лишь остаться еще на один вечер без водки. Но произнести это вслух было бы жестоко по отношению к Борису.

Мы подхватили необычный якорь — он прилично весил и был гладок и холоден на ощупь — и побежали на рыбалку.

Ловилось, надо сказать, в то утро замечательно, и мы отнесли удачу на счет нового якоря, который прекрасно держал на ветру резиновую лодку. Настроение поднялось, и помню, я бодро воскликнул, указывая на якорь, что Дуля нас не подвела.

И Борис подхватил, сразу признав за ней это имя:

— Дуля была на высоте!

И пошло: «Дулю ты не забыл?», «Нужно Дулю взять, сегодня сильный ветер!», «Где наша Дуля?»

Понятно, с тех пор с ней уже не расставались.

Мы швырнули Дулю в багажник машины, не отвязывая веревки, и там она, среди прочего инструмента, проехала с нами по разным дорогам, напоминая о себе металлическим позваниванием на колдобинах.

Но неудачи, начавшиеся с пустой фляги, преследовали нас: на какой-то строящейся дороге, всего-то пара километров объезда по гравию, ревуший, как чудовище, рефрижератор забросал машину камнями и, как мы ни жались к обочине, вдребезги разнес переднее стекло. А у города Луга, где мы заночевали на озере, нас еще и обобрали, стащили резиновую лодку, которую мы поленились свернуть, надеясь застать утреннюю зорьку.

Застали мы поутру лишь милицию, которая нас допросила и составила акт, для чего пришлось проделать изрядный крюк в районное отделение, и все это совершенно бесполезно. Лодку так и не нашли.

В то время как местные блюстители изучали обстановку, наш друг Емил прятался в кустах, но делал это так неловко, что его сразу заметили. Никаких документов, правда, не спросили, и никакого вообще интереса ни к Емилу, ни к нашей любимице Дуле проявлено не было.

Она валялась на траве, поблескивая серебряным боком. Один из милиционеров даже споткнулся о нее, но посмотрел и прошел мимо.

Зато нам повезло на Псковщине, в пушкинских местах. Мы остановились близ Михайловского, на речке, на зеленом лужочке, а под вечер к нам подвалили еще два автобуса из Риги: рабочие с радиозавода решили на природе отметить любимый праздник Лиго. То же, что у нас праздник Ивана Купалы, когда ночью парни и девушки прыгают через костер, бросают венки в воду, загадывая судьбу, ищут волшебный цветок папоротника.

Едва мы расположились на ночлег, как развеселые рижане пришли к нашей палатке с бочонком пива и кружкой...

— В такую ночь, — сказали, — спят только глухие... И те, кто ничего от жизни уже не хочет... Вы же не из них?

— Мы не из них? — спросил я Емила.

— Нет! — отвечал он, оживляясь.

Мы с Емилом оставили свои теплые спальники и прямо-таки нырнули в чужой праздник... Как в омут, с головой.

Люся и Борис на уговоры не поддались.

Борис переживал потерю лодки, которую мы взяли у его приятеля и за которую надо было теперь расплачиваться, а Люся просто не хотела видеть никого из чужих. «А венки? Что венки... Я про себя и так все знаю», — заявила она. И спела из известной песни про венки из васильков: «Твой поплывет, мой потонет...»

Как в воду глядела. Но это потом, потом...

Пили на празднике Лиго и вино, и пиво, и при этом совсем не было пьяных. А еще было давно не испытанное, но такое естественное желание всласть побеситься, что мы и делали, хоть не очень умело. С криком прыгали через огонь, где полыхала старая резиновая шина, играли в забытые нами игры, при которых вызывающе доступные для объятий девчонки должны были нас угадывать и даже — о господи, так до замирания сердца — целовать...

Мы не преминули захватить и свою фляжку, которая успешно ходила по кругу, из нее отхлебывали прямо из горла, на этот раз она была полнехонькой.

В палатку я вернулся под утро, волоча от усталости ноги. Емил явился еще позже, когда рассвело. Он дрожал от холода и от восторга, пережитого ночью, в которой были и ночные купания с обнаженными девушками, и даже что-то еще... Чего мы знать не должны...

От наших громких голосов проснулся Борис, буркнул из спальника:

— А папоротник не заметили... цвел?

— Цвел! — отвечал с торжеством Емил. И добавил, засмеявшись: — Там все цвело.

— Так где же он? Где тот цветок, что нас осчастливит?

— Там, где был я, — отвечал Емил. — Если рядом прекрасное создание, нужен ли, скажи, какой-то заваливающий цветок папоротника?

— Не нужен! Не нужен, Эмил! — Это Люся, она уже не спала и слышала наш разговор.

— Но я бы, пожалуй, сорвал... — пробормотал Борис, — так, для запаса... перец, лаврушка, гвоздика, цветок папоротника... Специи, словом.

— Нет, — заявила Люся категорично, не желая на эту тему даже шутить. — Счастье «в запас» не бывает. Протри глаза и посмотри на Эмила... Оно бывает только таким!

Утром, отправляясь в последний путь, на Москву, выяснили, что ночью Эмилу зачем-то понадобилась наша Дуля, кажется, с ее помощью он замерял глубину речки и чуть нашу любимицу не утопил.

А потом они вдвоем... С кем? Ну, с кем-то вдвоем сидели на той же Дуле у костра, подложив для мягкости наш походный спальный мешок...

— Вот кто свидетель нашей ночи, — с нежностью произнес Эмил, возвратив Дулю в багажник и погладив ее рукой.

Так глядят женщину.

А далее произошло то, что происходит в конце каждого, даже самого распрекрасного, путешествия. Мы разъехались, разбрелись кто куда: Борис с Люсей к себе в Жуковский, где они живут и трудятся, а Эмил уехал в свою Болгарию, в теплый тракийский город Пловдив...

Ну а я остался в Москве.

В Москве... Но с Дулей.

Далее же случилось вот что.

Однажды позвонил мне Толя Злобин, бывший фронтовик, а ныне мой коллега-литератор. Сказал, что он приезжал в поликлинику, да вот вспомнил, что я рядом живу, и решил заглянуть. Сейчас он возьмет бутылек и придет, чтобы потолковать о жизни.

— Да у меня все есть, — сказал я Толе. — У меня корыто под завязку и закусь. Не теряй времени, заходи!

Толя объявился через полчаса. Снимая куртку, озираясь со словами, что давненько здесь не был, и... Тут он умолк, будто поперхнулся, вывернув голову в сторону

письменного стола, который хорошо проглядывался из прихожей через распахнутую дверь.

— Что это... у тебя? — спросил, вытягивая шею и округлив глаза. Можно было подумать, что встретил у меня в квартире тигра.

— Где? — удивился я, озираясь и недоумеваю.

— Да вон... На столе!

А на столе, посверкивая гладким холодным боком, красовалась моя Дуля.

И я сказал:

— Это... Дуля...

— Дуня? — не расслышал он. — Какая еще Дуня? — У него даже воздуха не хватило, чтобы произнести целиком всю фразу.

— Ду-ля, — повторил я. — Для украшения. Сувенир, так сказать... Из Прибалтики...

— Кто — для украшения? — произнес Толя странным голосом, делая шаг назад и дергая при этом ручку входной двери, которая не сразу ему поддалась.

Так с курткой в руках и исчез, только быстрые шаги простучали на нижних этажах лестницы.

А вскоре раздался телефонный звонок. Я услышал Толин голос и понял, что он крайне взволнован.

— Я удрал как последний трус... — сказал он. — Но послушай меня... Ты меня слышишь?

— Слышу, — подтвердил я.

— Так вот, у тебя на столе снаряд... Ты меня хорошо слышишь?

— Ну конечно, слышу, — повторил я.

— Заряженный боевой снаряд! — прокричал он прямо в трубку, так что мембрана зазвенела.

— Но, Толя, — отвечал я бодро, хотя внутри что-то кольнуло. — Это головка, которая безопасна...

— Послушай старого артиллериста, который прошел войну! — перебил он сердито. — Это снаряд очень крупного калибра... Где ты взял его?

— В лесу.

— Вот и отвези его поскорей в лес!

— А он что же? — спросил я, настораживаясь. — Он и сейчас может...

— Конечно, может! — заорал он в трубку. — И ваш дом взлетит на воздух! А у тебя, между прочим, дети! Кстати, где они?

— Детей здесь нет, — отвечал я упавшим голосом. Разговор о детях меня сразу отрезвил.

Я пришибленно молчал, а Толя стал подробно объяснять.

— Ты должен немедленно, сейчас взять подушку, одеяло, шубу, ковер... Ну, что помягче, в них (только в них!) завернуть свою Дулю и так, на цыпочках, нежно, как цветок, как грудного ребенка... перенести в машину... Но все это, — повторил он, — делать не дыша...

— А если милицию позвать? — задал я дурацкий вопрос.

— Зови, — произнес он угрожающе. — Приедут, когда поздно будет... А если успеют, то оцепят дом, выгонят всех на улицу. Да задержают с допросами... Ты этого хочешь?

— Этого не хочу, — сказал я правду.

— Тогда не тяни. Черт ее знает, твою Дулю...

— Дулю, — тихо поправил я. И, желая хоть что-то возразить, добавил: — Ведь до сих молчала...

— Все мы молчим, пока не взорвемся, — зло отреагировал он.

«Вообще-то она не такая», — чуть не сорвалось у меня с языка, но сообразил, что Толя может напоследок и обматерить.

Я перевел взгляд на Дулю: отблескивая на солнце холодным серебром, с золотыми ободками, она не казалась страшной. Современный, как сказали бы, дизайн, его жалко было рушить.

Я со вздохом взял Дулю под мышку и направился к выходу, но у лифта вспомнил, вернулся, замотал ее в детское одеяло, которое подвернулось под руку.

У подъезда попался сосед, из разговорчивых. Пока он что-то у меня выпрашивал, я весь издергался, руки онемели от тяжелой ноши.

— А ты чего в одеяле-то носишь? — вдруг спросил он. — Случайно, не помидоры?

— Помидоры? — повторил я тупо. — Почему помидоры?

— Просто в нашем доме живет один тип, так представляешь, он все время носит в одеяле помидоры...

— Нет у меня помидоров, — злобно отвечал я. И добавил: — У меня Дуля...

— Ах, вон что, — произнес сосед с пониманием и при этом почему-то мне подмигнул.

Я торопливо залез в машину, Дулю положил рядом, на переднее сиденье, и вырулил на трассу. Через несколько часов езды, когда пошел сплошняком лес и не стало видно жилья, я свернул на боковую дорогу, а проехав еще десяток километров, снова свернул на глухой проселок, который и привел меня к уютному озерцу.

Я присел на зеленом бережке, наслаждаясь тишиной и безлюдьем. Не часто встречаешь, даже когда ищешь, такие заповедные места. Сюда бы на рыбалочку, да Бориса с Люсей взять, да Емила, да корыто... Да лодочку и Дулю...

Я вдруг вспомнил, зачем приехал. Извлек из машины Дулю, развернул, положил на траву. Оглядел заливчик, чтобы еще раз убедиться, что я совершенно один. Поднял Дулю, чмокнул ее в тупой холодный носик и произнес не без чувства:

— Спасибо за все.

За что — знал я один.

Да за то хотя бы, что не рванула, как ей от роду полагалось, и не разнесла нас вдребезги!

Я снова оглядел сверкающий под солнцем заливчик. Он был прекрасен.

«А ведь могла бы это сделать столько раз...» — подумалось, и похолодела спина. Впервые до конца ощутил опасность. Она ведь могла рвануть, когда ей вздумается. И — когда мы ловили рыбу, и — когда гремела в багажнике и билась об инструмент, и — когда цепляла ее ногами бдительная наша милиция... И даже когда на ней восседал у костра наш болгарский другарь Емил с неведомой красот-

кой... Восседал, а может, подкладывал ей под голову или под спинку...

Впрочем, нет. Только не тогда. Тогда была любовь. А счастливые живут по своим законам.

Я размахнулся и швырнул Дулю в воду.

Она, как судачок, сверкнула серебряным боком и ушла навсегда на дно.

— Дуля булькнула... Булька дулькнула... — проборматывал я на какой-то непонятный мотив весь обратный путь.

Дорога показалась мне куда короче.

Вернувшись, я набрал телефон Толи, и он вскоре приехал.

Снимая куртку, раз-другой все-таки глянул из прихожей в сторону кабинета, где на самом видном месте на письменном столе недавно пребывала Дуля.

Не увидав ее, Толя успокоился.

Мы сели за стол.

— За что пьем? — спросил Толя.

— За Дулю, — сказал я. — Буду о ней скучать.

— Но ты... Глубоко ее утопил?

— Очень глубоко... Она, как Кощеева смерть, хранится на дне океана!

— Не Кощея, черт бы тебя побрал, а твоя! Твоя! — и добавил: — Вот теперь доставай свое корыто... Как оно, булькает?

— Булькает, — ответил я уверенно.

С тех самых пор как корыто оплошало, я доливал его каждый день.

Достал, потряс, чтобы лишний раз убедиться: булькает на все пятьсот граммов.

Мы налили и выпили за Дулю, царство ей небесное.

И вот теперь, когда почти не было страшно, я все-таки сказал то, что хотел:

— Красивой была... Дуля!

— Оружие... оно... впечатляет, — согласился Толя. — Но почему... все-таки Дуля?

— Не знаю, — сознался я. — Может, она на дулю похожа?

— На что? На что?

— Ну, на эту... На грушу, что ли?

— Ох, я бы тебе объяснил, на что она похожа...

— Не надо. Будь здоров, — сказал я моему спасителю.

— Нет, сперва твое здоровье, — предложил Толя. — Ты согласен, что за твое здоровье надо крепко выпить?

И мы выпили. Я накапал в золотой колпачок «Плиску»:

— Будь здоров, спаситель. — Это Толе. И далее за Бориса... Один нашел, подарил мне Дулю, другой забрал. Впрочем, пока эта рукопись создавалась, ушел и Толя, тихо, незаметно. Но тогда, в лифте, я так далеко не заглядывал. Да и кто мог бы представить, что наступит такое время, когда наш брат литератор будет исчезать из жизни без следа, опадая, как листья с мертвого дерева...

Близ Цимлянского моря на «рафике» привезли нас тогда в «опорный пункт» местного виноделия, руководил экскурсией главный инженер строительства «Атоммаша», который пункту стальные чаны для вина сварил... Это примерно то же, что мое корыто, но космических размеров... Посадили за стол братьев писателей, а там и Злобин, и Валерий Осипов, и Толя Преловский, и Виктор Боков... И наливают брусничного цвета вино под названием «Тихий Дон»... Пьем. Потом опять же «Григорий Мелехов», опять пьем... Может, и «Поднятая целина» была, не помню, но так литературно надрызгались до полуночи, а уж «Аксинью» просто нельзя было не попробовать, хотя пьянила она сверх меры! И тут уж никакой опоры в «опорном пункте» не стало, и пошли искать гостиницу: ходим, ходим, а все кругом стальные чаны до неба, и во всех... литература... Но что о литературе... Я со своего края стола вижу широкое лицо моего друга Георгия Садовникова, который, я уже знал, не бросит меня одного в лифте на произвол судьбы...

ПОТЕРЯЛА Я КОЛЕЧКО

(Люся и Борис)

В преддверии лета только и разговору было о том, кто куда поедет в отпуск. Георгий, помню, на своем дне рождения завелся и заявил, что никогда не путешествовал на машине и хотел бы с нами, то есть со мной, Борисом и Люсей, поехать, если мы его возьмем. Я сказал, что, конечно, возьмем его, а все гости дружно поддержали нас.

— Жора, — сказали, — это такая удача, поезжай, — сказали. — Ты подзасиделся в Москве...

Для того чтобы понять последнюю фразу, надо знать Георгия. Человек он статичный, по характеру — домосед, и выезд, скажем, за двадцать километров от Москвы в пригород, в Переделкино, для него событие... А тут Украина... Страшно представить: машины, дороги, города, кемпинги, а то и ночевка в палатке, случайное питание и все остальное непредсказуемое, как оно и бывает в путешествии... Так, на придыхании, произносилось это ровно через три месяца, причем теми же друзьями, которые дружно советовали ему ехать.

Сперва звонили они, потом подключилась теща Жоры и кто-то еще из родни, а потом и жена Ира, и наш общий друг Толя Гладилин из Парижа.

Накануне отбытия по заведенной традиции мы, четверо, должны были собраться у меня дома: оглядеться,

прикинуть, не забыто ли что впопыхах, потом присесть за столик, для чего Люся, естественно, сварганит домашний ужин... И тяпнуть на дорожку, пусть будет она гладенькой да ровненькой, как ковровая дорожка!

А далее, на зорьке, по холодку, в путь.

И так же традиционно Люся, худенькая, остроносенькая, в черных кудряшках, произнесет с заднего сиденья:

— Только не гнать... Вот у нас сосед был, у него тоже машина, он выехал, а колеса взяли и отлетели...

Когда я позвонил Георгию и предупредил, что сейчас за ним выезжаю, в голосе его прозвучала зубная боль. Стеная, он промычал, что у него разыгрался свищ, да и вообще по всему своему состоянию никак не может к нам присоединиться, вот когда поправится, он нас догонит... На поезде...

— Ну так я за тобой заезжаю, — повторил я, будто ничего и не слышал. Ринулся на спасение Садовникова, как бросаются в воду при виде утопающего, прихватив с собой Бориса и Люсю для моральной поддержки. Они не должны были говорить, а лишь смотреть на Георгия из-за моей спины с сочувствием, но и с некоторым укором.

Прямо от дверей нам открылась картина, в точности повторяющая полотно «У постели умирающего Некрасова».

Георгий полулежал в кресле, закутанный до ушей одеялом, и уныло созерцал стенку, взгляд его был отрешенным.

Ну а вокруг, как и положено, суетились домочадцы и соседки, должны подкрепить версию о том, что наш друг плох, очень плох. Даже у добрейшей Ирины, жены Георгия, было этакое непреклонное выражение лица.

После двух часов переговоров мы смогли сдвинуть его с места, перенести в машину, дав клятвенные заверения отдельно жене, отдельно теще Георгия, которой позвонили по телефону, отдельно друзьям, соседям и еще Толе Гладилину, для чего заказали Париж, что в случае неприятностей со здоровьем у Георгия мы тут же сажаем его в обратный поезд.

Я для наглядности даже продемонстрировал географическую карту, из которой явствовало, что мы едем по

самым большим городам, где имеются самые большие вокзалы, а в них мильон круглосуточно работающих телефонов. И отовсюду, разумеется, по всем телефонам мы будем сообщать в столицу о здоровье дорогого нашего Георгия Михайловича.

— Только не гнать, — предупреждает Люся, вживаясь в свой уютный левый уголок на заднем сиденье. — Я знаю случай, — продолжает она, — когда человек поехал в путешествие на машине и она, представляете, перевернулась...

Таких историй у нее сотня, на все дни путешествия, и с одной целью — чтобы я не гнал машину.

Георгий же оделся в дорогу, как в гости: отутюженные брюки, белоснежная сорочка, коричневые добротные мокасины. Он молча восседал на переднем сиденье с видом мученика, осужденного на страдания, которые, впрочем, безропотно готов выносить. Ради нас, конечно.

Первая ночевка пришлась на Орел, мы расположились в густом мрачноватом ельнике, чуть в стороне от трассы.

Георгий подозрительно, будто обнюхивая, обошел брезентовую палатку, заглянул внутрь и поинтересовался, как в ней спят и как быть с наглаженными брюками, которые он не может измять.

Мы посоветовались и решили, что Георгий залезет в палатку, там снимет брюки и подаст их мне, а я передам Люсе, которая отнесет в машину и разложит на сиденье.

Так мы и проделали. Надо ли описывать, как наш друг пытался проникнуть в палатку, как долго, сопя и проклиная это тряпчатое сооружение, где он должен почему-то лежать плашмя, как краб в норе, раздевался, но в конце концов высунулись две руки с брюками... И я их бережно принял!

Это проделывалось и далее, на каждой очередной стоянке, пока где-то подо Львовом, после мучительного раздумья, потоптавшись вокруг палатки и даже трагически повздыхав, Георгий сам сложил брюки пополам, произнес вдруг: «Да ну их... Пусть себе мнутя!»

Но это был уже другой Садовников...

В путешествии Люся занималась готовкой, посудой, вообще столом. Борис следил за пополнением горючего, раскладывал со мной палатку, свинчивал стол, стулья и налаживал примусы... А вот на Георгия была возложена обязанность осветителя... Мы назначили его «начальником осветительного цеха».

— Сам понимаешь, — сказали, — важней света в поездке ничего нет. Ты у нас... ну, Прометей!

— А конец какой? — поинтересовался Георгий, почувствовав в наших словах скрытый подвох. И скромно добавил: — Я вообще-то по характеру не герой, меня устроит должность простого фонарщика. Да у меня и с печенью не того... — У прикованного к скале Прометея прилетающие орлы выклевывали, как он помнил, эту самую печень.

В студенческие годы в городе Краснодаре в массовках на сцене (в опере «Отелло») он выходил на сцену с фонарем в руках. Старая роль теперь ему пригодилась. Георгий старался. На стоянках протирал у фонарика стеклышко, проверял, не сели ли батарейки, а во время готовки подсвечивал с разных сторон стола и при этом здорово нам мешал.

Но мы не переставали хвалить его работу. Было уже то хорошо, что он не вспоминал о брюках, о звонках в Москву и о своем свище, который вдруг пропал.

Да и вообще в Георгии стал проявляться его натуральный юмор, присутствующий в его детских книжках и фильме «Большая перемена»... Такая же перемена происходила с ним самим... Желание пошутить и разыграть ближнего.

Вот тут-то и начинается история с золотым кольцом.

В каком-то городке под Хмельницком мы зашли в здешний универмаг, и, пока Люся и Борис выбирали пестро раскрашенные ложки, Георгий, пренебрегавший обычно магазинами, на этот раз застрял в галантерейном отделе. Я с удивлением обнаружил, что он копается в коробке с дешевыми колечками.

Показывая на одно, из желтого металла, он спросил с сомнением:

— Похоже на золото?

— На зо-ло-то?

Наверное, я удивился слишком громко, потому что Георгий оглянулся, прошипел через усы:

— Тсс!.. Они не должны ничего знать! — Тут он перешел на шепот: — Я им хочу подложить... Ну, вместо золотого...

— Оно же не золотое...

— Конечно, нет! Но они-то не знают! Представляешь, валяется на земле...

Я не без сомнения заглянул в коробку с кольцами, пытаюсь представить.

— Ну а потом что?

— Ни-че-го, — протянул, удивившись, он. — Ты бы ахнул, увидев? — спросил он меня, заглядывая в лицо.

— Ахнул, — сознался я.

— И я бы ахнул. Ты только представь, представь... Травка, а оно, кем-то оброненное, посверкивает... На солнышке... — И он засмеялся, по-детски радуясь своей затее.

Георгий выбрал колечко, заплатил рубль двадцать и, чрезвычайно довольный, положил колечко в карман. Вид у него был такой везучий, что проницательная Люся, заглянув в лицо, поинтересовалась, а чего купил себе Георгий в универмаге? На что тот неопределенно хмыкнул и многозначительно глянул в мою сторону.

— Только не гнать, — предупредила в очередной раз Люся, влезая в свой уголок на заднем сиденье. — У нас на работе один возвращался с рыбалки, а в лоб ему самосвал...

Люся боится всего: комаров, змей, холода и тепла, встречных машин и попутных тоже... Она пестует свой страх и даже немного гордится им.

Не боится она только «летающих тарелок». На каждой из стоянок, поужинав, мы блаженствуем за чаем в наступающих сумерках, а Люся не преминет заметить, что именно здесь может приземлиться «летающая тарелка».

При этом добавит, что если бы вдруг появились зеленые человечки, она бы нисколько не испугалась.

— Я всего боюсь, — признается она. — Кроме пришельцев с неба. Знаю, они добрее нас...

— Но почему добрее?

— Потому что другие, — говорит она. — Я так чувствую.

В дорожном дневнике, который взялся вести Георгий, появляется запись: «Каждый вечер, приняв по рюмке, смотрим на небо и ждем пришельцев... А их почему-то все нет и нет».

Люся худенькая, смуглая, экспансивная. Главная ее черта — справедливость. Но она не верит в справедливость других. Да и жизнь у нее была не сладкой. Родилась в деревне, закончила Школу культпросветработы, там, в клубике, и работала, пока не познакомилась с вернувшимся на родину морячком Борисом.

Ну а тот вообще из раскулаченной семьи, лет с десяти при деле, чтобы помочь матери с малышами, с двенадцати на заготовке леса («трудовой фронт»), а с семнадцати на войне. Он попал на флот в самом конце войны, в сорок четвертом, и этим ребятишкам, двадцать седьмого года рождения, выпало отбарабанить, кто помнит, шесть или семь лет службы...

А когда появился у нас в лаборатории, был без образования, без дома, без какой-либо опоры в жизни.

Но с крепкой крестьянской закваской, которая не давала ему спиться и пропасть.

— Две деревни до войны были рядом, — рассказывает он. — У соседей в председателях дошлый мужик — и властей умаслил, и хозяйство спас. А в нашей — отец мой, во всем непослушный, скрутили его да в Сибирь... Отца-то сослали, а нас семеро, мал мала меньше, в холодной избе. И все мы, от двух до десяти, враги народа. А когда отец вернулся, я уже на войне был. Так и не свиделись, он помер, спился... Пошел я искать могилу, а мне говорят: знает, мол, Сенька, что при церкви был. Ты ему водяры бутылку, он и укажет.

Пошел к Сеньке, бутылек на стол, а он стакан принял, потом голову руками зажал и стал вспоминать. Еще принял стакан, вздохнул и говорит: «Найди старый камень,

там торчит, отсчитай десять шагов в сторону церкви и три шага вправо... найдешь!»

Пошел, отсчитал, бурьян разрыл, а там камень с нашей фамилией. Сел я и говорю: «Здравствуй, отец... Это я, Борька, к тебе пришел».

Посидел, поплакал, а потом Сенька подвалил, с ним вдвоем выпили за упокой его души...

Пошел Борис в седьмой класс, хоть был переросток. Потом в техникум — мы с ним один и тот же авиационный техникум заканчивали, — а потом в институт... И так до ведущего инженера, изобретателя... Автора научных книжек по радиотехнике...

А уж сколько они помыкались с Люсей, пока получили коммуналку, — детективная история...

В нашем путешествии Люся занята больше небом, чем землей, а Борис суетится по хозяйству, колечко остается невостребованным, его даже нечаянно втоптывают в землю. И каждый раз Георгий произносит с огорчением:

— Не видят... Представляешь? Может, им прямо на пенек положить?

Я сочувствую Георгию, но предлагаю потерпеть. Дорога-то длинная, когда-нибудь ахнут...

— Пока только я ахаю, — жалуется он.

В Закарпатье нас преследуют дожди. Тучи, как дырявые мешки, цепляются за крышу машины, за верхушки деревьев, кустов, пропитанных холодной влагой.

Уже и прислониться на ночь некуда; ни на лужок, ни даже на обочину не съехать, тут же увязнешь... Колесим среди лесистых, потемневших под дождем взгорий, сперва в сумерках, потом во мраке, и не видим местечка, где можно было бы приткнуться.

— Только не гоните, — стонет за спиной Люся. — Был у нас один, в темноте гонял... А на обочине трактор... Без света...

За полночь, отчаявшись, мы обнаруживаем узкоколейку, а через нее переезд, но, правда, дороги за переездом почему-то нет.

Будочка, нежилая, под горкой, и далее — ничего.

Это нам сперва показалось, что ничего нет, да и выбора у нас тоже нет. Падаем от усталости, и Георгий даже не вспоминает о кольце.

Отказавшись от привычного ужина, мы натаскиваем травы и ставим палатку. Борис отзывает меня в сторону и шепчет, тыча пальцем за спину, что под боком-то, несколько метров всего... кладбище... Он собирал бурьян и наткнулся на могилу...

— Как бы Люська не узнала, — говорит с тревогой. — Она кладбища не перенесет!

Тьма сгущается, а дождь льет сильнее. Хоть мы не из пугливых, но спим беспокойно: открытая площадка и это кладбище... Неужто во всем Закарпатье нет для ночевки места, кроме одинокого кладбища? А где же водопад Еремчи? Где Телецкое озеро? Где солнечный юг, на который мы так стремились?

К рассвету дождь стихает. Я и Георгий выползаем первыми и босиком по травянистому склону поднимаемся на горку, находим старый заброшенный сад, усыпанный яблоками. Плоды так себе, кисловатые, но мы с удовольствием грызем, а Георгий приступает к очередным каверзам, пытаясь приспособить колечко возле автомашины.

Утром за завтраком открываем остальным тайну стоянки, и Георгий тут же восклицает:

— Ах, вот в чем дело!.. — И с самым серьезным видом повествует, как поднялся ночью по надобности, а тут кто-то из-за будки — в белом... Придвинулся вплотную и глухо так спрашивает: «Как у вас с погодкой?» — «Да льет, — отвечает невозмутимый Георгий. — Сплошь дожди...» На что этот, который в белом, утробным голосом произносит: «Нас тоже залило... Ну как после этого жить?!»

— Так и сказал? — ахает Люся. — Как жить? Я бы умерла от страха!

Садовников продолжает:

— Еще пожаловался на сырость. Кости, мол, ломит. Вот мучаюсь, хожу, хоть бы рюмашку пропустить...

— Ну дал бы отхлебнуть из корыта!

— Да мне не жалко... — Георгий пожимает плечами. — Но отвернулся, понимаешь, хватать, а он будто сквозь землю...

Мы покидаем неуютную стоянку, и Георгий шепчет мне на ухо, что колечко-то опять не увидели... Прямо у колеса! Ну где еще класть?

— Только не гнать, — бодро кричит Люся из своего уголка. — В газете вон пишут, в горах занесло «Москвич» по мокроте да прямо в пропасть...

Погода прояснела, голубыми просветами-озерцами открылось небо, и машина, как добрая лошадка, почувствовавшая настроение седока, побежала резвей.

Съезжаем с гор в долину и где-то в Молдавии, миновав пограничный столбик, делаем остановку в дубравнике. Сегодня день моего рождения, и мы решаем не торопиться. Люся готовит свое коронное блюдо: капусту с мясом, а Борис ей помогает.

Меня же, в честь такого дня, освобождают от работы, и я ухожу побродить по лесу, солнечному, просторному, как храм.

Вековые дубы мощно подпирают синее небо, в Молдавии оно почему-то особенно синее, а высокая зелень не мешает видеть все окрест — и дальние и ближние буровато-зеленые поля, и шоссе, сизой полоской прорезающее нагретое солнцем пространство.

Возвращаясь, вижу: Люся и Борис возятся у стола, готовят в четыре руки свое фирменное блюдо, а спиной к ним, тут же рядом, Георгий приспособливает «золотое» колечко — прямо на пеньке.

Пристроит, посмотрит и так, и эдак, и на расстоянии, чуть не сталкиваясь с Борисом, отскочит, снова переложит, чтобы лучше поблескивало...

Розыгрыш — это искусство.

Однажды мой приятель в техникуме прибил у соседнего курса галоши гвоздями к полу. А в ту пору мы, кроме, пожалуй, сапог, все носили галоши и оставляли в раздевалке. Три десятка пар сверкающих черным глянцем галош... Поздно, все торопятся на электричку и, не нагибаясь, всовывают ноги в галоши, чтоб скорей бежать... А галоши-то как приклеенные...

Но за это и поплатились: их главный заводила Ильин запер на замок все наши пальто, соединив между собой

через пуговичные петли. Заглянул к нам в аудиторию, спросил, поднимая над головой ключ: «Кто потерял?» Сосчитал до трех и швырнул с четвертого этажа. Когда после занятий бросились в раздевалку, все пальто заперты... А ключ за окошком, но разве впотьмах найдешь!

Георгий — флегматик, рассказывает он о себе в несколько замедленном тоне... Сирота, воспитывался в Суворовском училище. Училище попало удачное, над ним шефствовали почему-то евреи Мексики.

Обучали светским манерам, даже музыке. При полном отсутствии слуха Георгий ежедневно мучил скрипку, которую с тех пор не может слышать. После университета преподавал в вечерней школе в Краснодаре историю... Об этом в его фильме «Большая перемена».

Комнату, первую в жизни, получил довольно поздно, в деревянном домике на окраине, собрал дружков и объявил, что с этого момента у него в шкафчике — и показал: вот в этом — будет стоять для гостей бутылка коньяку. «Вы проходите, скажем, мимо, захотите узнать, как я поживаю... А тут вам с порога — рюмочку...»

Новоселье закончилось под утро, все разошлись, и Георгий собирался вздремнуть, а тут стук в дверь. Смотрит, Эдик. «Здравствуй, — говорит, — Жора, как поживаешь?»

Георгий удивился: расстались-то час назад. Но Эдик еще добавил, что шел мимо, решил вот зайти, узнать. Как он, значит, поживает...

И при этом выразительно смотрит на заветный шкафчик, где бутылочка для друзей.

Георгий, верный своему слову, как полагалось, извлек коньяк, налил рюмочку, вторую... В общем, бутылочку они всю укокошили.

А на следующее утро повторилось сначала. Постучал Эдик. «Здравствуй, Жора, — сказал, — вот шел мимо, решил узнать, как ты поживаешь».

— Заходи, — пригласил Жора, но уже с меньшим энтузиазмом. Достал бутылочку, и они всю ее осушили.

Так продолжалось около недели, пока Георгий окончательно не иссяк.

В эту ночь Георгий летал, впервые, как он сказал, в жизни.

Летал, конечно, во сне, но так реально, что видел внизу и взгорья, поросшие елками, и наш дубравник, и стоящую под деревьями машину, палатку и столик с примусом... Даже какую-то ложку, оброненную на землю.

— И колечко? — тихо спрашиваю я.

— Ох, колечко, — говорит он с оглядкой. — Никто, представляешь...

Люся не слышит последних слов и реагирует так:

— Пить надо меньше! А то еще не туда залетите!

— Но ведь рождение, — оправдывается Борис, тяжело вздыхая.

— Ну и пили бы как люди... А то подавай им вчера румынское телевидение... они, видишь ли, хотят видеть за границу!

— Почему... румынское? — спрашиваем мы хором.

— Потому что долетались... — И, уже садясь в машину, Люся предупреждает: — На машине прошу не летать... У нас был случай... Тоже с похмелья...

Перед самым Кишиневом ночуем в придорожном сонячке и выезжаем на рассвете, чтобы с утра застать дома знакомых, у которых собираемся остановиться. Георгий всю дорогу молчит. Но после томительной паузы, во время остановки, где набираем воду, вдруг шепчет:

— Кольцо-то пропало.

Поясняет, что положил его, как всегда, рядом с примусом, а утром не нашел. Даже руками шарил, правда, темно было...

И до Кишинева ни словечка.

Мы сидим в гостях у здешнего поэта Юрия Павлова. Жена хлопчет с закусками, а хозяин успел уже сбегать в соседний магазинчик и приносит знаменитый «Букет Молдавии», красное пахучее вино, настоящее на травах. Мы пьем, и неминуемо заходит разговор о дороге, что нашли да что потеряли...

Георгий, успевший размягчить от винца, чуть поколебавшись, говорит с оглядкой на меня:

— Теперь, наверно... могу... рассказать?

— О чем? — спрашивают заинтригованно слушатели. Георгий опять смотрит на меня.

Не торопясь пересказывает всю эту историю с колечком: как купил да как подкладывал на каждой стоянке и как Борис с Люсей ничего не увидели. Так что все его старания пошли прахом.

— Ой, я бы с ума сошла, — говорит Люся громко. — Чтобы золотое кольцо! Под ногами!

— И на пеньке... И рядом с примусом... И у колеса... — не без сожаления перечисляет Георгий.

Пока произносились охи да ахи, Борис, этого никто не заметил, полез в нагрудный карман и двумя пальцами извлек... колечко.

— Оно, что ли? — и протянул через стол, держа на ладони.

Люся первая сообразила, что к чему:

— Борис! Ты... нашел... И — молчал?

Борис лишь передернул плечами:

— Не успел...

— Но промолчал же?

— Понимаешь, — оправдывается Борис. — Мне показалось странным, я и не подумал, что золото...

— Подумал! — говорит уверенно Люся. — Потому и спрятал? Ну правда ведь? Скажи!

Борис виновато улыбается.

А Георгий, рот до ушей, счастлив, что удалась его дорожная затея. Он предлагает выпить за... Ну, за то, что каждый нашел в дороге то, что хотел. Кто водопад Яремче, шумно шипящий, в пене и в брызгах, а кто то самое Телецкое озеро, порядком замусоренное, в нем почему-то плавали головастики. Кто старую деревянную хижину в горах, где мы однажды заночевали. А кто... колечко...

Кольцо идет по кругу, его с интересом рассматривают.

Люся повторяет, что она бы, наверно, закричала, если бы вдруг нашла... Такое оно прямо золотое... Георгий между тем попытался его прикарманить, но Борис оказался настороже.

Выхватил кольцо из рук Георгия, крикнув задиристо:
— Ладно... Купили... За руль двадцать! Но теперь-то оно мое?

— Твое, твое, — миролюбиво согласился Георгий.

Наклонясь ко мне, прошептал:

— А я уже отчаялся... И такая находка!

— Золотая, — подтвердил я.

Капнул в золотой колпачок коньяку и со словами «Царство ей небесное» осушил за Люсю. Она умерла вскоре после этой поездки. Сгорела в какие-то месяц-два. Мне показалось, что угадывала: срок ее недолог. Колечко куда-то делось...

А в доме у Георгия в специальном шкафчике стоит-таки бутылочка для друзей, которые не пройдут мимо.

Да и я иной раз, заглянув, спрашиваю: «Как ты поживаешь?» И тогда он достает заветную бутылочку...

...В Париже случилось, Толя Гладилин повел Георгия в какой-то особенный ресторан... Ну, всякие изысканные блюда и, конечно, вино... Красное в большой такой бутылки. Где-то к середине вечера Георгий понял, что бутылки этой ему не одолеть. Толя Гладилин говорит: успокойся, мол, все будет как надо, то есть нормально. Георгий думает про себя: чего же нормального, если останется полбутылки вина! Да такого вина! И налегает, налегает... И обидно ему, и сил нет... А когда стали рассчитывать, видит, официант вынул линейку, замерил в бутылки уровень, сколько, значит, выпито, а бутылку унес...

КРАСНЫЙ ДЕСАНТ

(Георгий Садовников)

— Вы прибыли для участия в десанте? — спросили нас с Георгием.

— В чем, в чем?

— Ну, в десанте, который будет там, где... Вы же, конечно, читали «Красный десант»?

Мы неуверенно кивнули. Вроде бы мы и правда что-то читали, по вузовской программе, при которой не читают, а листают или просматривают, особенно перед зачетами.

— Это, кажись, Островского? — предположил один из нас.

На что другой горячо возразил:

— Нет, нет. Тот создал «Грозу». Где луч света в темном царстве...

— А разве не он написал «Как закалялась сталь»?

— Про сталь сочинил Гладков!

— Но Гладков написал про цемент... И про то, что жизнь надо прожить так, чтобы... не было больно...

— По-моему, это Панферов... Там еще один, который разведчик и который... один в поле воин...

— А это Юлиан Семенов! «Щит и меч»... Там Тихонов надувает этого... Ну, Броневого... который...

— Подожди, подожди. Но при чем тут «Десант»?

— Ладно. Пусть будет Соболев. У него был морской десант. Или Малышкин, Леонов, Бубеннов, Серафимович, Бабаевский, Павленко, Ажаев, Кожевников... Или Вера Инбер... Или кто-то еще.

Чем хороша провинция, что в ней вдруг возникают какие-то невообразимые юбилеи и праздники, о которых наша столица даже не догадывается. Вот и на этот раз кому-то взбрело в голову зафрахтовать судно, которое поплывет по реке Кубань, по маршруту, описанному в повести Фурманова «Красный десант», с остановками на пути, чтобы участники нынешнего десанта и участники бывшего десанта, если таковые найдутся, могли бы поведать о героическом прошлом нашего народа, который здесь, на Кубани, одерживал свои победы над врагами рабочего класса и даже захватил в боях какую-то станицу. До нее мы и должны доплыть. В этой красной станице наша героическая посуда будет встречена хлебом и солью и красными транспарантами, а потом состоится торжественный митинг и все прочее, как полагается на таком серьезном революционном мероприятии.

В Краснодаре отчего-то обожают слово «красный». Оно присутствует и в названии города, и в названии центральной улицы: Красный проспект, и в названии гостиницы, где мы обитаем, «Красная» гостиница...

Естественно, что наш десант не может быть иным, а только очень, очень красным.

Ранним утром от здешнего культурного центра, не упомяну уж, какой раскраски, мы погрузились в рыжий, потрескивающий от возраста автобус и приехали на пристань, где нас ожидал такой же дряхленький, выдавший виды теплоход. Возможно, он был ровесником легендарного похода. Даже при беглом взгляде можно было заметить, что народ подобрался пестрый: городские власти, работники культуры и печати, коим было велено отражать столь важное событие в прессе; почетные пенсионеры, и один из них, самый немощный, его привели под руки, был как раз главным участником давнего события.

Не разобравшись в обстановке, он принялся немедленно, тут же на палубе, заученно повествовать о давних, пережитых им годах, но его подхватили под ручки, произнеся: «После, после!» — и утащили в дальнюю каюту, чтобы он отдыхал. Когда надо, призовут.

Были и наши коллеги из местного Союза писателей, два поэта, оба светлые и нечесаные, одного звали Варрава: имя иль такой грозный псевдоним, я не разобрал. Но Георгий, знакомый с местным фольклором, тут же процитировал давние стишки: «Не то страшно, что Варрава, а то страшно — что орава...»

Имелся в виду, наверное, остальной литературный отряд, который в свое время травил и самого Георгия.

С местными властями, в том числе и литературными, у Георгия во все времена не складывались отношения. Стоило ему что-нибудь опубликовать, особенно в Москве, и особенно сатирическое, как начинались разборки, выяснения, чуть ли не расследования, вплоть до горкома, крайкома и так далее, поскольку Георгий, как приличный человек, воспитанный с молодости, с Суворовского училища, в лучших патриотических традициях, рано вступил в партию. Не надо объяснять какую, она была одна. И теперь тяжело от нее страдал. С какого-то момента, скорее всего с напечатания в недозволительно развязной «Юности», он был зачислен в здешние «Солженицины».

Вспомните систему: мероприятия в центре тотчас копировались на местах, принимая карикатурные формы, и как только начинался в идеологии новый виток закрутки, в горкоме-крайкоме тотчас спохватывались: «А что, Садовников на месте? В Москве? Почему же в Москве, если он нужен для такого мероприятия?»

В Москву Георгий обычно приезжал по приглашению главного редактора «Юности» Бориса Полевого, человека дошлого, имевшего достаточное представление о провинции и ее нравах. В какой-то острый момент он вытаскивал Садовникова из его болота, как бы для редактирования, а на самом деле просто для передышки.

И тогда в Москву, в журнал «Юность», из здешних кабинетов летела срочная телеграмма с указанием коммунисту Садовникову немедля явиться по месту прописки для предстоящего «творческого собеседования». Так именовалась у нас проработка. А как заканчивалась очередная сессия, или бюро, или собрание писателей (та самая «орава Варрав»), опального писателя нехотя отпускали, взяв с него твердое слово до следующего мероприятия не удаляться слишком далеко.

Садовников был мальчиком для битья, и оттого им особенно дорожили. Практически он один самим фактом литературного существования, не очень легкого, кормил целую идеологическую свору горкомовско-крайкомовских нахлебников.

Завидев теперь среди участников десанта некоторых бывших своих гонителей, Георгий старался огибать их, но ни о ком не сказал дурного слова. Все они были вполне приличные, по нынешним понятиям, люди. В меру испорченные и в меру начитанные и неглупые. Вот только дубасили его по голове да лупили чем ни попадя, и исключали, и изгоняли, и в конечном итоге изгнали-таки, выкинули из «красного» города... В белокаменную столицу...

Кажется, впервые с тех самых пор и приехал Георгий на эту не очень-то приветливую для него землю. Да и на «десант» согласился, чтобы не бросать меня одного.

Внешне Георгий похож на польского президента Леха Валансу, только помоложе, такое же округлое лицо, вислые усы, добрые усталые глаза. У Георгия не только покладистый характер, он незлобив и не считает для себя главным помнить чужое зло. Ну а если, как бывало, приходилось защищаться, он проделывал это с грустной иронией, с шуточкой, но чаще над собой, а не противником. Противника он в упор переставал замечать. Только и всего.

Вот повествует он, как, собираясь в Москву, получал от всех соседей просьбы, записочки и целые списки что-то там купить, достать, привезти... И вез, пока не сообразил, что просьб становится больше и больше, а времени для

себя все меньше и меньше. Только и успевай оглядываться на витрины: тут дружки для новорожденного просили, тут для молодоженов, для знакомого пенсионера или для дальней родственницы...

Не умея отказывать, он однажды совершил решительный шаг: положил длинные-предлинные списки вместе с деньгами в ящик письменного стола и уехал в Москву налегке, ощущая необыкновенное чувство освобождения, потому что мог свободно погулять по городу. А когда вернулся, рассказал придуманную историю, которая вполне могла и быть, что встретил он в Москве приятеля, да завалились они в ресторан, там в аэропорту, да все и просадили... Сперва свое, потом, как вы понимаете, чужое... Но с кем не бывает! Да, да! С кем не бывает?

Эта форма особенно доступна для окружающих и вызывает даже иногда сочувствие. Притом что от долга не отказывался и клялся и божился, что деньги он, хоть и не сразу, вернет...

Деньги он, конечно, вернул. Но в очередной заезд, когда стал собираться в столицу, выяснилось вдруг, что никому ничего от него не надо.

Теплоход между тем отчалил. Заиграла музыка. Народ будто смыло с палубы: все кинулись куда-то по железным ступенькам вниз, в глубь судна, и исчезли. Оказалось: в кают-компании накрыт банкетный стол и дают гостям-десантникам бесплатно выпить и закусить.

Мы с Георгием полюбовались на воду, на зеленые в садах и огородах берега, а когда оглянулись, увидели, что на палубе стало повеселей: зазвучали песни, кто-то захотел даже танцевать...

Мы хоть и в последнюю очередь, но тоже сообразили, что надо пойти и что-то поискать, если хотим быть вровень с другими. А под тех, кто не ищет, как под тот лежащий камень, никакая вода не потечет. Водка тем более.

Один мой приятель рассказывал, что попал на какой-то юбилей родного города в тот момент, когда ввели в стране сухой закон. Сидел, как на чужом пиру: стол ломился от

яств, но ни одной захудалой бутылочки вина... Страшное наказание, признался он, — быть на юбилее и сидеть, как болван, без рюмки! Такая злая тоска подступила к горлу, что, в сердцах прокляв и себя, и праздник, пошел он в туалет, и тут вдруг выскочил, как черт, из-под толчка человек и радостно прошептал: «Направо, направо! Там ждут! Ждут!» А направо, прямо перед писсуаром, был накрыт другой столик, и уж на нем-то было все... Там и правда ждали разные крепкие и некрепкие напитки. Сходив в заветный туалетик разок-другой, наш приятель, по его словам, ожил, почувствовал себя полноценным человеком... Как и собратья по столу, которые то и дело выбегали по надобности, а возвращались одухотворенные и довольные жизнью. И тут искать долго не пришлось. Мы спустились по крутым ступеням в сумрачное нутро судна и по гулким, будто из бочки, голосам, по особому гудению, которое сопровождает любой подобный праздник, обнаружили кают-компанию с длинным столом, нагруженным угощением. Было много дешевой водки, закуска же была символическая: жирная колбаса под названием «Украинская», нарубленная большими кусками, обмякшее сало да зеленые огурцы.

Народ пил из граненых стаканов и громко возглашал тосты. За родную Кубань, за колхозный зажиточный край, за отцов-кормильцев, которые... И далее в том же духе. Отцы-кормильцы, не снявшие даже здесь, в помещении, своих длиннополых фетровых шляп, благодушно кивали, хрустя огурцом, а чуть подзаправившись и оглядев хозяйским взором халявщиков, суетившихся у стола, распорядились поэтам читать свои стихи.

Но поэты и сами рвались в бой. Один из них, размазывая жирные космы по щекам, чуть покрасневшись от принятого, провыл стишки об отчем крае, который цветет и зреет, и чем дальше, тем, значит, зрелей...

Другой задумчиво, со слезой в голосе, объяснился в любви родному колхозу, который в свое время сделал из него человека, доверив ему общественный комбайн... С тех пор он всегда навещает свой колхоз, чтобы приложиться к святой водичке правды, которую он здесь черпает. И будет черпать и далее.

Отцы-кормильцы одобрили поэтов, кивая шляпами, и поднесли с доброй отеческой улыбкой каждому из них по стаканчику той самой, надо понимать, святой водицы... И тогда один из них, тот, что первым «выл стихи», вдруг запел... Высоко, чуть грассируя (у него оказался недюжий голос), о партии, которая... «наш рулевой».

Там были такие поэтичные слова:

*Партия наши народы сплотила
В братский единый союз трудовой,
Партия наша надежда и сила,
Партия наш рулевой...*

И грянули кругом, аж пароход задрожал от могучего слияния голосов, рвущихся из самых глубин души. Пели с редким чувством единения и гордой радости за объединившую нас партию (надо понимать, и здесь за столом), которая вела, ну как этот корабль, к желанной и близкой цели. С таким же напором чувств и внутренней, неисребримой богатырской силой было исполнено о Стеньке Разине и далее свое, революционно-казачье...

— Михалков? — попытался проявить осведомленность один из нас, имея в виду песню про партию, которая его, Михалкова, рулевая. Все-таки сам водит машину и всегда знает, куда рулить.

Но второй из нас возразил:

— Это Долматовский... Он про тачанку написал! Лети, мол, с дороги птица... И зверь... А то из пулемета... Все четыре колеса...

— Так это же Рудерман!

— Нет, он же про пароход... который на стрелке... где в рубашке нарядной подруга... значит, живет...

— И еще про красавицу Волгу, которая народная и полноводная...

— Это — Алымов!

— А может, Софронов... А может, Грибачев... а может, Гусев... А может, Сурков... или — Лебедев-Кумач!

За песнями, как выяснилось, промахнули и первую запланированную встречу... Едва удалось охватить глазом

пристаньку, вокруг которой толпился организованный для встречи народ. Впереди остальных темным монолитом местное начальство, все в плащах и шляпах, а чуть в стороне оркестранты с барабаном и блестящими трубами, а за ними невинные жертвы революционного десанта: детишки в белых рубашках и красных галстуках с букетами цветов в руках, истомленные ожиданием и жарким солнцем.

Но один из отцов-кормильцев отмахнулся: «Обойдутся! Пое-еха-ли!» И прокатилось следом дружными голосами: «Поехали! Поехали!»

Матрос дал отмашку, пионерам и всем жаждущим отеческого слова было просигналено гудком, что теплоходу, мол, некогда, он торопится в дальнюю станицу, а тут пусть празднуют без него, как предписано и утверждено свыше. В газете же как надо осветят и напишут. На то их и поят, чтобы знали, что и о чем писать.

К нам подсел один из культурных деятелей, уже навеселе, тоже в фетровой шляпе, и поинтересовался, как нам, столичным гостям, нравится их Кубань. С этого вопроса обычно начинались здесь любые разговоры.

— Но она и моя в общем-то, — скромно напомнил Садовников.

— Ну, вы как бы отломились, — хохотнул тот. — Иные, уехав, даже забывают, чей они хлебушек едят.. Но не все, не все! Наши-то пииты каковы, а ведь не отрываются, нет!

Он указал на поэтов, которые в этот момент, и правда, не отрывались от стаканов, по пути снова затеяв чтение стихов. Но их уже не слышали. Да и отцы-кормильцы отвалили в сторону, исчезли за дверями одной из кают, где был накрыт для них другой столик, более основательный.

— Давай-ка выпьем за нас, за русских, — предложил деятель, разглядывая нас в упор, и добавил, будто готовился к выступлению: — В русских — особая статья, как говорит в своих песнях Людмила Зыкина... Мы еще покажем, на что мы способны!

— Да уж показали, — произнес Садовников, но вполне миролюбиво.

Но деятелю почему-то не понравилось, как он это сказал. И он тут же начал задираться.

— А вы, кстати, где родились, Георгий Михайлыч? — спросил с вызовом.

Меня он до поры не трогал.

— На Волге, — отвечал Садовников. И почему-то добавил: — Вообще-то мы из рода Собакиных...

— Кого? — не понял деятель. — Собаководов?

— Я говорю, мы из древнего боярского рода... Собакины... Небось проходили по истории, когда учились?

— Ах, вон что! — Деятель вдруг засуетился, вертя головой, и, кого-то заметив в толпе, сказал: «Я сейчас» — и быстро отвалил. Скорей всего, побежал пить коньячок в ту самую особую каютку.

Я заметил, что о своей учебе эти типчики не любят вспоминать. У всех у них, как говаривал мой знакомый, высшее образование без среднего... Какая-нибудь парашкола...

— Так какого ты рода? — спросил я у Садовникова.

Он ухмыльнулся в усы и произнес важно:

— Собакины мы... А разве предосудительно?

И рассказал, благо времени хватало, как много лет назад, когда проживал он в Краснодаре, приехали для выступления два молодых поэта из Москвы, тогда уже довольно известные, и попросили его зайти к ним в «Красную» гостиницу.

Георгий зашел после работы — он преподавал историю в вечерней школе — и еще на подходе увидел одного из поэтов, который высовывался из окна на третьем этаже и что-то кричал. Что-то о женщинах Краснодара, которых он всех, всех любит. А может, что хочет любить... Не разберешь.

У входа Георгий столкнулся со вторым поэтом, которого немного знал по Москве. Тот летел к выходу и на ходу прокричал Георгию, что торопится, что скоро вернется, а он, Георгий, пусть пока потолкует с его приятелем, который там, в номере... С тем и исчез. Это было похоже на бегство.

Георгий еще постоял в раздумье, но решил зайти. Ведь звонили, просили...

Он отыскал номер на третьем этаже, постучался и услышал:

— Кто еще?

— Простите, — сказал Георгий, приоткрывая дверь, — я Садовников...

В кресле, вальяжно развалясь, пребывал Поэт, тот самый, который высовывался из окна и объяснялся в любви краснодарским женщинам. Был он в одних трусиках, в вытянутой руке, как скипетр, держал бутылку с коньяком.

Разглядывая Георгия, переминавшегося у дверей, он произнес высокомерно и с вызовом:

— А мы, между прочим, Рюриковичи!

И упер руки в боки, отложив бутылку к ногам и зажимая ее босыми ступнями, чтобы, не дай бог, от неловкого движения она не опрокинулась.

Георгий в общем-то не привык нарываться, но и его задело нахальство приезжего, который разговаривал с ним, как с последним холопом. А несколько дней до встречи, так совпало, пришлось ему перечитывать «Бориса Годунова», где наткнулся он на фамилию Собакиных, один из старейших боярских родов, которые соперничали в ту пору в борьбе за власть. Им потом, кажется, всем отрубили голову. Но это не смутило его.

— А мы — Собакины, — произнес он с достоинством, как и полагалось представителю столь знатного рода. При этом, чуть нахмурясь, поджал губы, что должно означать: мы не спесивы, но мы горды, дорогой Рюрикович, и обиды, даже четырехсотлетней давности, прощать не намерены.

На Поэта слова гостя произвели необыкновенное впечатление.

Откинувшись в кресле, он долго обдумывал ситуацию, к которой, кажется, не был готов, и после томительной паузы (Георгий все это время продолжал стоять у дверей) выдавил из себя с трудом:

— Но... тогда... надо де-ли-ть-ся?

Георгий кивнул. Он был согласен, что делить власть им все равно придется. И лучше это сделать сейчас.

Поэт предложил ему, уже почти как равному, присесть за стол и тут же на обороте плаката с фамилиями поэтов начертал, весьма произвольно, карту Российского государства, обозначив на ней Урал и некоторые моря. Но почему-то прихватил при этом Финляндию, Польшу и даже часть Швеции. Старые замашки Рюриковичей, предков, явно повлияли на генотип их далекого потомка. Вот где угадывалась порода.

— Делим по Уралу? — спросил он нервно.

Георгий согласился. Можно и по Уралу.

— Только вот что... Давай сперва выпьем, — предложил Поэт.

Георгий выпил, как приходится пить в гостиницах: из крышечки кувшинчика для воды — стаканов здесь из экономии не дают.

Рюрикович хватил прямо из горла, и в этом тоже ощущалась древняя закваска.

— Ну, тогда я... первый? — предложил он не без тревоги.

— Выбирай, — сказал покладистый Георгий.

Он понимал, что гордые Собакины его бы за такое поведение одобрили.

Поэт склонился над картой, но после некоторых колебаний откинулся и настороженно спросил:

— Сибирь — ведь больше?

— Сибирь — больше, — подтвердил Георгий. — Там нефть и лес... И ею будет прорасти Россия... Это не я, это — Ломоносов.

— А Европа — меньше?

— Европа много меньше, — сказал Георгий. — И там полно народу, который надо кормить. Не то бунтами изведут!

Рюрикович разглядывал чертеж, мучительные сомнения отразились на его лице.

— Давай выпьем! — предложил он со вздохом. — Непривычно, знаешь ли, первый раз делюсь! В прежние-то вре-

мена голову отрубил, и весь дележ! А нынче... У каждого, понимаешь, норов...

— Да. Случай особый, — подтвердил Георгий. — Не каждый день...

— Вот и я говорю. Тут в два глаза смотреть надо! Вон Аляску-то проворонили! И Крым Никита подарил... А теперь локти-то кусаем!

Они выпили по новой: Георгий вновь из крышечки, а Рюрикович из горла.

— Так вот, слушай наше решение, — более уверенно произнес он. — Мы берем себе Сибирь. Она будет прорастать... И так далее... Согласен?

— Да, в общем, согласен.

— Но сознайся: жалеешь?

Садовников промычал, подумав:

— Да как сказать. И у нас тоже ведь кое-что осталось.

— Что же?

— Ну вот на Волге черноземы... Хлеб, рыбка... Проживем, — скромно ответил Садовников.

— Постой, постой! — опомнился вдруг Рюрикович. — А Махачкала где будет?

Георгий удивился вопросу, но виду не подал и подтвердил, что Махачкала будет на его нынешней законной территории.

— Слушай, отдай мне Махачкалу, — попросил вдруг Поэт. И в его голосе прорезались иные и чуть ли не жалостливые нотки. Просьба для истинного Рюриковича и правда необычная. Если только не какая-нибудь княжеская блажь. Мало ли какой городок им еще приглянется. Так и Москву с Питером потерять недолго.

— А зачем тебе Махачкала? — подозрительно поинтересовался Георгий. В нем, неожиданно для него самого, разыгрались державные амбиции.

Поэт, поколебавшись, признался:

— Продавщица у меня там знакомая живет... Как же я к ней ездить стану... Ты небось и визу потребуешь?

— Отдал небось Махачкалу-то? — спросил я не без некоторого осуждения.

— Но продавщица... — оправдывался он. — Это уже серьезно.

— Попросил бы взамен Тобольск! Пусть не жметя!

— Не догадался.

— Нет, ты не Собакин, — сказал я. — Нет в тебе этакой хозяйской жилки, чтобы хапнуть лишнее... А без этого тебя сожрут.

— Это уж точно, — согласился он грустно.

Теплоход между тем дал гудок, один, второй. Мы поднялись на палубу. Вся публика собралась около борта, где происходило нечто, взволновавшее всех. Оказалось, что кто-то из пенсионеров, поддав более, чем нужно, уронил невзначай шляпу и теперь ее пытались всем миром оттуда достать при помощи багра. Для чего судно выделявало на воде кренделя и круги, и все вокруг одной важно плавающей шляпы.

Советчиков было много, каждый предлагал свое, при этом громко кричали, а шляпа между тем не давалась... Ее относил волной. Уже появились и отцы-кормильцы и стали давать свои ценные указания, от которых шляпа и вовсе ушла на дно.

Происшествие со шляпой заняло около часа, и оттого пришлось пропустить следующую очередную встречу на берегу. Мы лишь увидели детишек с цветами и каких-то людей, призывно смотрящих на нас с берега. Некоторые помахали нам рукой. Грянула уже и музыка, торжественный марш, но тут же замолкла, потому что в ответ понеслась от нас сирена, означающая отход, и наше десантное судно стало удаляться от берега, лишь блеснули прощальным золотом трубы духового оркестра.

Некоторые на радостях бросились опять вниз, к столам, где оставалась еще водка и огурцы. Но большинство, налившись до краев, разбрелось по уголкам да скамеечкам, чтобы всласть подремать. Десант — дело не шуточное и сил требует немало.

Не рассчитали своих силенок и поэты: они рыгали, перевесясь через борт, причем оба одновременно, а культурный деятель, наш знакомец, заботливо поддерживал

их сзади, чтобы, не дай бог, они не слетели за борт, подобно той шляпе... Как без поэзии тогда проживет родная Кубань?

Но дела их, судя по всему, становились все хуже, и пришлось по велению отцов-кормильцев причаливать в каком-то непредусмотренном программой месте и выносить их на берег, чтобы переправить обратно в город. Вместе с ними улетучилась и большая часть руководства.

Остальные же стали совещаться, потому что до названной станицы оставалось плыть еще несколько часов, а люди, согласно тем же инструкциям, выведенные на площадь, там уже ждали. Наконец было решено еще раз причалить и, оставив судно, продолжить «красный десант» уже на автобусах. Не беда, что не выходило по повести, жизнь всегда вносит свои коррективы.

Во время перегрузки вывели под руки и нашего исторического участника, сонного и в помятом костюме. Не разобравшись, он тут же принялся повествовать свою эпопею, но его деликатно прервали («Потом, потом!») и потащили на берег... Мы двинулись следом.

В автобусе уже спали все. В станицу мы приехали с темнотой, когда большинство жителей, собранных на пристани, тяпнули на радостях, что мероприятие закончилось, и разбрелись по домам, где их в спешном порядке опять собирали. Народу в клуб набралось немало. Но почему-то не оказалось света, и заседали при свечах, как в старое революционное время.

На трибуну, после докладчика, очень обстоятельного, который рассказал об успехах сельского хозяйства, но совсем забыл упомянуть про десант и про его историю, выпустили наконец и нашего участника давних революционных событий. Но он за долгую дорогу совсем вышел из строя и лишь испуганно озирался, стараясь понять, куда же его привели.

— Ну расскажите, расскажите нам, — попросил ележным голосом председатель, наш идеологический знакомый. — Как это вы сумели... тогда... в девятнадцатом... взять станицу...

Старичок вздохнул, напрягся и вдруг жалобно произнес:

— А хрен его знает.

Зал затих, внимая очевидцу.

А тот помолчал, вспоминая что-то еще, и добавил:

— Они, значит, стреляют, а мы тоже, значит, стреляем... А потом этот... как его... написал... Десант, дескать... Красный... Такое вот дело. — И вдруг хрипло запел: — Смело мы в бой пойдём...

Голос его сорвался, и он попросился в туалет. Участники опять взяли под руки и увели, а дальние потомки тех дедов, в которых, видимо, и стрелял наш старичок, дружно захопала. Потом весь десант потащили в предбанник, где снова были накрыты столы, водка и много, много кур: колхоз со времен давнего десанта восстановился и уже имел свою птицеферму. Правда, до десанта, как выяснилось, тут и без фермы богато жили.

Вновь произносились тосты за нынешнюю, такую славную советскую жизнь, которую завоевали своей кровью наши героические деды. Но пилось уже неохотно, и кто-то, не выдержав праздника, сел в автобус и велел ехать в город, остальные, мол, сами разберутся, куда они хотят. Водитель, которому было все равно, кого возить, завел машину и уехал. Остальные же, выйдя из клуба и не обнаружив автобуса, подняли скандал: у одного пенсионера разыгрался диабет, а у другого схватило сердце... А главный участник исторических событий срочно попросился опять в туалет и надолго там закрылся.

Гости бродили по пяточку вокруг клуба и вяло матерились.

Автобус, спешно возвращенный из города по телефону, с водителем, который клял и нас, и десант, и все остальное, прибыл в два ночи. Десантники бросились к нему, отталкивая друг друга, чтобы занять себе места. И лишь на подъезде к городу кто-то вспомнил, что в суете забыли про главного участника десанта. Его, как рассказывают, нашли в туалете под утро, уснувшего с самой лучезарной и даже счастливой улыбкой, и отправили в город отдельным рейсом.

— Георгий, за тебя, что ли, — произнес я, наливая очередной наперсток и кладя крепкие капли на язык. Мы тогда с ним бойко прокатились через весь юг, а в родном городе Георгия мы сходили на тамошний базарчик и на память сфотографировались. На фото мы изображены вдвоем, мирные, тихие, как два голубка, это произошло как раз после десанта, и на наших физиономиях без труда можно обнаружить следы некоторой отвлеченности и даже просветления.

Ну, почти как у того старичка.

Фотография обрамлена по всем правилам провинциального искусства — изящной виньеткой с цветочками ландыша и нижеследующей надписью: «ПРИВЕТ ИЗ КРАСНОДАРА».

Эту фотографию мы отправили в Париж нашему общему другу Толе Гладилину, и он был от нее в восторге.

— Гы-гы, — хохочет Шерман. — Если у нас замерять, то метр понадобится!

И весь стол захлебывается, смешно им, что сантиметром алкоголь мерят! Задумчиво улыбается Шапиро, и Поленов скалит белые зубы... А неподалеку, за столом, мой северный дружок Валя Гринер стихи дует... «Мы пришли пареньками в этот снежный простор, из горячего камня разложили костер...»

— В лифт, в лифт вы пришли! — кричу я Вале. — А снежный простор... Это там... Это где живет белый олень...

ГДЕ ЖИВЕТ БЕЛЫЙ ОЛЕНЬ

(Валентин Гринер)

Гостиница называется «Север». Да тут все — и кафе, и ателье, и детский сад — сплошь «Север»! И даже коктейль в местном буфетике из какой-то жуткой отравы поэтически именуют «Северное сияние». И пьют тут по-северному: много и всегда.

Гостиничка — единственная, кажется, здесь — неуютна, шумна, бестолкова. В какие-то времена пуста, потом набегают люди, снабженцы, хозяйственные работники, заготовители пушнины, рыбаки — словом, командировочный люд, своеобразный, закаленный в здешних стужах, фанатично преданный Северу, и тогда казенные, крашенные в желто-ядовитый цвет коридоры гостиницы напоминают огромную коммунальную квартиру.

Из «постоянных» в одной из комнат жили два «пидера», и все об этом знали. В других размещалась семья военнослужащих с ребенком, заезжий журналист, но этот, правда, не сидел на месте, а мотался по округе, и два студента-практиканта из Ленинграда.

Между тем приближался Новый год, и началась предпраздничная лихорадка: доставание елок, которые напоминали палки, мандарины, подарки... Какой-то старик в гостиную барабанил на расстроенном пианино, а заезжий командировочный, в домашних тапочках и спортивном

костюме, танцевал с полногрудой буфетчицей. Для меня при входе у дежурной лежала записка: «Позвоните, заходите, хочу познакомиться, Валентин Гринер». И далее адрес и телефон.

— Гринер? Это кто?

Оказалось, здесь нет никого, кто не знал бы Гринера.

— Ну как же! Гринер — это...

И далее как по писаному: Гринер старожил. Работает в управлении «Воркутауголь», пишет доклады и стихи. Поэт. Душа общества. Свой парень, его дом как клуб... Там, в общем, все бывает. А на Новый год тем более... Шел третий день нового года. Точнее, третья полярная ночь.

В полдень чуть проклевывался сумрачный свет, а через полтора часа город погружался во тьму. Лишь белая метелица вокруг редких фонарей, как рой бабочек, и тускло освещенная центральная площадь с единственным в городе светофором.

Дома на этой площади — оштукатуренные, деревянные, но с колоннами, как в Ленинграде, выкрашены сплошь в желтый цвет. В центре памятник Кирову.

Рассказывают, что в не столь отдаленные времена на этом же месте высился Сталин, огромный, метров десять высоты, с рукой, протянутой к тундре. Указывал своему народу, куда идти. Здешние ээки этот маршрут освоили: в тундре остались их безымянные могилы.

В день смерти Сталина, пятого марта пятьдесят третьего года, жители города, проснувшись, обнаружили, что голова у бронзового идола отрезана автогеном и приварена к руке.

Все произошло ночью, в центре города, где милиция и всяческая охрана... Возвращение же головы на место, как утверждают старожилы, заняло около недели, с применением кранов и прочей специальной техники.

Ну а Киров на этом месте возник потом.

Было темно, черно. По прямым и белым, словно больничные коридоры, улицам гуляла метелица, резала ножовкой по глазам. Люди шли спиной к ветру. Я отыскал стандартную пятиэтажку, поднялся по лестнице, дверь в

квартире приоткрыта. Постучал для порядка, зашел. Здесь бушевал праздник. Но меня заметили, тут же встал и подошел человек в белой сорочке, темноволосый, курчавый, немного носастый, но такой домашний, обходительный, что я сразу сообразил — Гринер.

Поговорить нам в тот вечер не удалось по причине того же праздника. О хозяйке не говорю: Эмма, полноватая, чернобровая, с грустными еврейскими глазами, всех успевала одарить улыбкой и закуской, но она валилась с ног и была вне общения.

В какой-то день, вернувшись из тундры (где мы застряли на вездеходе километрах в ста от города, при морозце в сорок градусов, и чуть не отдали Богу души, да спас механик, тоже умелец, сумевший из ботинок извлечь нужный гвоздик и этим гвоздиком заменить в карбюраторе сломанную деталь...), я нашел записку от Гринера, где он опять же просил заходить.

Шла десятая полярная ночь, и белые сполохи полярного сияния полосовали небо. А в квартире у Гринера будто и не кончался праздник (Рождество? Сочельник? Крещение?), и я опять был принят и обласкан. И конечно, накормлен... И опять, как в прошлый раз, мы не смогли в пылу разгула пообщаться друг с другом.

Ну а в третий раз, уже без всякого праздника, я зашел и увидел Гринера в другом обличье: был он бритый, свеженький, в белой рубашке, будто никакого многодневного загула и не было.

— Ну, какая там погода? — спросил, будто только меня и ждал.

Говор у него южный, с мягким украинским гхаханьем.

— Метель стихла...

— Да. Сегодня потеплело, — подтвердил он. — Всего-то двадцать семь. — И при этом внимательно меня осмотрел.

Перед отъездом на Север в редакции «Литературной газеты» мне предложили амуницию: полушубок, унты, меховую шапку. Приехав, убедился: воркутяне так одеваются, когда выезжают по делам в тундру. Здесь же, в городе,

стараятся выглядеть по-городскому и, чуть потеплеет, с сорока, скажем, до двадцати пяти, скидывают тяжелые меховушки и обряжаются в модные пальто.

— Вас тут отыскать не трудно, — сказал, усмехнувшись, Гринер. — Так и говорят: увидите посреди города полярника, это вы и есть!

Мы идем прогуляться, и сам он облачается в осеннее клетчатое пальто, в желтые ботиночки, ворот распахнут настежь.

— К оленю-то вас не водили? — спрашивает на ходу.

— Нет.

— Значит, поведут.

Пояснил, что обычно гости просят показать им живого оленя, и комбинатское руководство содержит для этой цели оленя Мишку.

Звонят в хозяйство: тут, мол, заезжие корреспонденты, готовьте для показа Мишку!

С Гринером ходить по городу как по большой деревне. Все его знают, здороваются, у каждого к нему разговор.

Зашли и на работу в управление комбината на центральной площади. Личный кабинет Гринера зарос пылью, на столе бумаги, старые газеты, пустые бутылки... На одной папке начертано: «А-ла-ла. Том 2».

— Что такое «А-ла-ла»?

Гринер отмахнулся:

— «А-ла-ла» значит «А-ла-ла»! — и добавил, усмехаясь: — Ну, доклады, речи, выступления...

— Можно посмотреть?

— Бери... Только не удивляйся, там моей фамилии нет. Начальник комбината, заместитель, который двух фраз связать не может... Скажет слово, а потом сразу серединка второго. Я, говорит, писать не силен, но зато скажу так скажу... А еще бригадир Бортников, будущий герой, значит.

— Почему — герой?

— Потому что задача такая: десяток статей, и будет героем!.. На «Гертруду» вытягиваю. Статья в «Социндустрии»... А сейчас он пишет героическую биографию... Я уже три эпизода сочинил: прочтешь и зарыдаешь...

Я дома открыл папку «А-ла-ла. Том 2». Прочел: «Сладкая полынь». Поехал представитель шахты в Москву, поскольку запчасти нужны, а без них комбайн простаивает, уголек не идет... Денег не платят. С собой везет ногу оленью копченую, десяток пыжиковых шапок... Для взяток... Но чиновники плодятся быстрее, чем олени, из которых шапки делают... И, прокляв чертову столицу и ничего не добившись, заваливается представитель в кабак и пропивает последнее... Знает — вернется, его убьют свои за пустые руки...

Прочел я, набрал телефон Гринера:

— Ты в этом деле и правда рубишь?

— В каком?

— Ну... в запчастях... В шапках опять же...

— О господи, — простонал он. — Да там моя собственная поездка в Москву описана! Знаешь, один чудак объяснял другому, что такое рыбалка... «Наливай и пей. Наливай и пей»... Ну и здесь... Кстати, как ты насчет выпить?

— Нет, — настаивал я. — Сколько времени у тебя уходит на такие доклады?

— Ночка... Больше не дают. Ставишь перед собой стакан... бутылку... И к утру готово...

— Валя, ты — гений, — решил я.

Он грустно согласился:

— Буду... Если зайдешь... А я успею достать к бутылке селедочку...

Сейчас он лишь недоуменно осмотрелся, пожал плечами и заторопился на улицу, пояснив, что делать тут в кабинете ему, в общем, нечего. Доклады пишет дома, а когда понадобится начальству, оно найдет. Не найдет — еще лучше. Как учили в армии: не спеши выполнять приказ, будет команда «отставить».

Другое дело редакция газеты «Заполярье», куда мы с Гринером зашли. Там у него в номер стихи идут... Заказные... О технике безопасности в шахте... Поэма! Шедевр! Сто с чем-то строк... Сочинил за ночь... За полярную...

Полярную ночь Гринер хвалит. А полярный день недолюбливает. И не потому, что одеялами окна надо закрывать...

— Возвращаешься в два ночи от чужой жены, — говорит, — а все любопытные, которые не спят, смотрят в окошки и комментируют: «А вот и Гринер... Возвращается от Татьяны!»

— Итак, ее зовут Татьяной? — спрашиваю.

— Это я к примеру. А ее зовут... по-разному. — И громко на всю улицу захохотал.

У Дворца шахтеров, монументального здания с колоннами, тоже шедевр времен культа, высятся две столь же впечатляющие фигуры рабочих: один с отбойным молотком, другой с вагонеткой.

Зэки, которых прогоняли мимо на работу, ухмыляясь, приговаривали: «Этих-то не посадили... Пока стоят...»

На фронтоне аршинными буквами стихи. Уж не Гринера ли?

*Когда идет шахтер навстречу, благоговей,
Он света нового предтеча, он — Прометей!*

Говорят, в сталинские годы, военные и послевоенные, тут был театр, поражавший созвездием блистательных имен заслуженных и народных артистов, которых свозили со всего ГУЛАГа по личному распоряжению генерала Доброва. Он был тут и царь и бог.

Этого генерала мне довелось наблюдать в домашней обстановке, в доме чекистов на Садово-Триумфальной. Генерал был отцом моего приятеля, к которому я заходил домой. Выйдя на пенсию в хрущевские времена, дядя Коля здорово поддавал, а приняв норму, это было не менее полулитра, повествовал, весьма красочно, как со знаменитыми актрисулями осваивали они тундру, выезжая туда на американских виллисах, полученных в счет ленд-лиза, и в соответствующем сопровождении: со свитой, с музыкой и вином...

— Лучший театр в стране был... Но, правда, без зрителей... — похвалялся он. — «Зрителями» был только сам.

Теперь днями он просиживал у телевизора, а если на экране возникал образ вождя и лучшего друга чекистов, рыдал, вытирая слезы ладонью...

Запомнилось, что его генеральская шинель с золотыми погонами и голубыми лычками всегда висела на вешалке в прихожей, будто хозяин собирался по первой же боевой тревоге снова ее надеть.

Прогулка с Гринером по городу подзатянулась, хотя город не велик. Ныне в Воркуте четыре района, а если скажут, что кто-то переехал в пятый район, это — на кладбище.

С продуктами в городе, как и везде, перебои... Но в отличие от Средней России, нет базарчиков, а здешние сочинители поют частушку: «Птицеферму мы подняли, и другая строится. А шахтеры видят яйца, когда в бане моются...»

В редакции суета, выпуск номера, и фотокор Роман Юнитер, худощавый, с остренькой бородкой, рассказывает, как сегодня водитель рейсового автобуса забежал в магазин за хлебом, а кто-то находчивый сообразил: сел за руль да и повез сам себя домой. Он-то смылся, а пассажиры сидят, ждут...

Но это пустячки... Тут на шахту возят заключенных, а дорога-то, объединяющая все шахты, одна, в ширину машины, если застрянет кто, пробка на десяток километров... Возят заключенных в вагоне, поставленном на автомобильную платформу, называют почему-то «Марат». Так вот, «Марат» застрял на дороге, и охрана, обматеренная шоферней, открыла дверь и попросила зэков толкнуть дружно машину. Ну, они и толкнули... разбежались...

А еще новость: звонят с рудника, где живут геологи: «Приезжайте, у нас книги жгут!» — «Какие книги?» — «Да те, что хранились в шахте!» — «Книги в шахте?» — «Ага. Тысячи... Как в Ленинке все равно...» Выяснилось, что в середине войны, когда запустили дорогу Воркута—Ленинград, ее зэки строили, пошли в блокадный замерзший город составы с углем, а обратно благодарные ленинградцы загружали вагоны книгами. Посылали целые библиотеки, то лучшее, что оставалось бесхозно в пустых домах (хозяева, большей частью интеллигенция, умерли от голода...).

Но кому было в Воркуте читать книги из профессорских библиотек, если сплошь лагеря! Прибывшие книги свозили на рудник и сваливали в тамошнюю шахту, где они

благополучно долежали до наших дней. Теперь их подняли наружу, свалили в кучу, выше дома, и подожгли.

— Я на дежурный «газик» — и прискакал, — рассказывает Гринер, — а там польхает, не подойти... Палочкой поковырял, пододвинул одну тлеющую книжицу к себе, а это, мать честная, прижизненное издание Пушкина... Раритет!

После редакции — клуб, где Гринер читает школьникам из старших классов свои стихи.

*Мне всю жизнь везет на вагоны спальные,
Мне всю жизнь везет на дороги дальние,
Я на Север пришел не по глупому случаю,
Я пришел потому, что ужасно везучий.
Я пришел отогреть эту землю руками,
Я пришел разбудить эту землю стихами...*

Это был мой первый визит за Полярный круг.

А уж замечено, кто сюда хоть раз попадет, непременно захочет вернуться. Север — болезнь такая. Магнит для эмоциональных душ, затягивает необычным стилем жизни, стихией, вольницей, непривычной для нас, москвичей.

Но известно и другое: Север много дает. Но еще больше берет...

Я зачастил сюда, пока... не влип в одну историю.

В какие-то времена познакомился со здешним молодежным театром, руководил им человек по фамилии... ну, скажем, Лююн. Из обрусевших китайцев, некрупный, подвижный, бойкий.

Один мой приятель, невлюбивший его с первого же взгляда, прозвал его «китайским шпионом». В ту пору отношения с Мао у нас были не лучшие.

С Лююном и с его питомцами мы встречались чаще в домашних условиях, читали стихи... Пили водку. Однажды он пригласил меня в здешний ТЮЗ...

А на следующий день начались неприятности: приехал из Сыктывкара полковник из органов и устроил присутствующим допрос. Поступил к ним сигнал, что я рассказы-

вал о Солженицыне, о Копелеве, о Викторе Некрасове... Их имена были в ту пору под строжайшим запретом...

Секретарь горкома по идеологии, некий Шишкин, суховатый, маловыразительный, в очочках, лично выдернул на допрос Гринера — я останавливался у него, — а потом и моих слушателей...

Результатом стали нервотрепка и долгие разборки и в Воркуте, и в Москве...

*Растут дубы, растут дубы,
Растут дубы на благодатной почве,
Они на то посажены, дабы
Вот эту почву прочную упрочить...*

Думаю, эти строки у Гринера возникли как раз после встречи с Шишкиным. Дубочек так себе, один из многих... Но кровь он мне попортил...

Наш доблестный чекист, генерал в отставке и главный надзиратель за мозгами московских писателей, Ильин Виктор Николаевич был суров, требовал письменного объяснения, а потом, в виде кары, было спущено от него (или от тех, кто за его спиной) по всем организациям: не печатать... не выбирать... И уж конечно, никуда не выпускать.

Он был из мощных дубов, мы знали. В тридцатые годы, наверное, сажал и сам сидел, а закончил трагически: пребывая на пенсии, попал странным образом под машину, когда переходил улицу. Природная бдительность, которую он повседневно проявлял на службе, здесь его подвела.

Кстати, он лично поставил в каких-то черных списках галочку, из-за которой я до пятидесяти семи лет не смог выезжать за рубеж, разве что в Болгарию. Пресловутая галочка держала меня на привязи до самого ухода Ильина на пенсию, пока служащая из Союза писателей, Наташа, посаженная на оформление документов в загранпоездки, не позвонила куда-то, а там странно так спросили: «Вы что же, галочку снимаете?»

Но это потом. А тогда первым и единственным человеком, который бросился мне на помощь, был Гринер. Хотя

ему тоже это грозило неприятностями. Он ходил на прием к Шишкину, писал какие-то объяснительные, приезжал в Москву и даже попал к Ильину...

Но кого это уже интересовало? Я был клеймен, и дьявольская отметина в виде галочки решала мою судьбу.

Передо мной на столике групповая фотография, где мои слушатели расписались на память. Надо полагать, на благодарную память. Такие ангельские, одухотворенные лица, что, право, не хочется ни в ком предполагать доносчика. Но доносы, их копии, тоже здесь, они хранятся в одном пакете с фотографией... Пять доносов... В конце каждого стоит имя и адрес.

Сейчас я прикидываю: моим милым доносчикам было тогда лет по семнадцать. Прошли годы, и теперь их детишкам уже лет несколько не меньше. Как-то они прожили свою жизнь, о чем говорят потомству, какие примеры приводят, поучая праведно жить?

Я так и не решился опубликовать фотографию вместе с доносами, хотя меня уговаривали в одном журнале.

Рука не поднялась... Такие удивительные, такие чистые глаза...

У Лермонтова, помните: «Воздух чист, как поцелуй ребенка».

Есть у него же, но менее известное: «Воздух чист, как молитва ребенка».

Если перефразировать: «Донос был чист, как молитва ребенка!»

В одном человеке из всех я уверен — Володе Набойщикове.

Стройный, светлоглазый, он у Лююна обычно вел концерты. Но главное дело Набойщикова — хирургия, он возглавлял детскую клинику и работал по совместительству в санитарной авиации, а регион у него — целое государство.

Однажды послали его на курсы усовершенствования врачей в Москву... Он истомился, выслушивая длинные лекции, а когда коснулось практики, взял в руки хирургический инструмент и стал оперировать почечных больных.

— Они тут по месяцу к каждой операции готовятся, а я практик, я работаю в полевых условиях, почти как на фронте... Такие операции чуть ли не каждый день делаю, — говорил он.

Как-то он захватил меня с собой, летел на Кару, в поселочек на Карском море, в Ледовитом океане, где обитают ненцы. «Одевайся потеплей, — предупредил. — Все, что есть, надевай, а пимы я тебе свои привезу».

Вертолет с запасной емкостью на боку, ярко-желтой — для горючки раскрутил обмерзшие винты и, поднимая метель, рванулся в белое небо.

Этот рейс я хорошо запомнил. За бортом мороз, и в вертолете мороз, мы сидели на железных откидных сиденьях, на старых меховых куртках, прикинувшись к круглым иллюминаторам.

Справа, сверкая на солнце острыми гранями, тянулся горный хребет Заполярного Урала. Реки и речки угадывались по темно-синему следу, озера зеленели от вылизанного, выскобленного ветром льда. Ближе к нам тундра, белая пустыня, те же барханы, в изломах и солнечных пятнах, лишь где-то одинокой кляксой мелькнет чум кочующих здесь ненцев да вдруг откроются темными вытянутыми бараками бывшие гулаговские строения...

Рассказывают, что в них до сих пор обитают те, кто не захотел после освобождения возвращаться в обычную жизнь.

— Чем же они живут? — спросил я Набойщикова.

— Промыслом, рыбкой... Ягодой, грибами... тут всего вдоволь.

— А хлеб? Соль? Сахар?

— Ну, разок-другой появятся в городе: что-то продают, что-то закупают... У них и камешки драгоценные, таких в музее не увидишь, — сказал он.

Из этого в общем-то случайного разговора вскоре зародится невнятный, долго мучивший меня замысел романа «Вор-городок».

Кара — поселочек, с полсотни деревянных домов, на окраинах — чумы. Садимся прямо в центре, на узкой пло-

щадке, и пока перегружают доставленный груз, горючку и продукты, идем в ближайший дом, где заболела женщина. В помещении грязно, на полу мусор, земля. Тяжкий запах кожи и тухлятины. Старая ненка, маленькая, смуглая, личико — как печеное яблоко, поднялась с меховой, пропахшей псиной лежанки, уставилась на нас.

— Это комиссия? — спросила хрипло.

— Нет. Это врачи, — сказала медсестра из поселка.

— С рентгеном?

— Без рентгена.

Женщина показала на грудь. Набойщиков осматривает, ощупывает, с удивлением обнаруживает, что сломаны два или три ребра.

— Муж побил? — спрашивает. — Где он сейчас?

— Лежит, — говорит женщина.

— Пьяный, что ли?

— Ага. Трезвый не бывает.

— Он что, дрался?

— Я не помню.

— Тоже пила?

— Ага.

— Бил ногами, — добавляет медсестра.

— Поедешь со мной? В больницу? — спрашивает Набойщиков, складывая в чемоданчик инструменты.

— Не поеду, — отвечает женщина.

— Будешь долго болеть... — предупреждает он. — Кто станет лечить?

— Никто. Встану.

— А если опять изобьет?

— Я его сама изобью.

— Но тебе пить нельзя... Запомни. — Ненка молчит. — Вот, оставлю тебе лекарства... Но лучше бы в больницу, — говорит он безнадежно. И поясняет, как перевязаться полотенцем, чтобы быстрее срослось.

Мы торопимся на улицу, там морозно и легко, и уже крутятся винты вертолета, поднимая столбом снег. Пока грузимся, летчик еще успевает выторговать у кого-то из аборигенов пару мешков мороженой рыбы. Платит, как водится, спиртом.

Наступают быстрые сумерки. Со мной в вертолете сидит молодой ненец Коля, у него поморожена правая рука. От него я узнаю, что он охотник, живет одиноко в избушке, заснул и поморозил.

— Но ты же в малице был? — спрашиваю его.

— Да.

— Как же поморозился?

— Не знаю.

Малица — меховая рубашка с зашитыми наглухо рукавами. Если ее не снимать, рук не поморозишь, ясно. Ненцы вообще редко обмораживаются. Этот, видать, крепко выпил и снял малицу...

— А семья есть?

— Нет. Я один.

— И не женат?

Вопрос глупый. И он простодушно отвечает:

— Где же ее найдешь на Ледовитом океане... Я месяцами один!

— А если что с рукой?

— Не знаю, — крутит головой. — Я ничего больше не умею делать. Умею попадать дробиной в глаз зверю.

На другой день мы сидим у Набойщикова в теплой квартире. Жена его, тоже врач, хлопочет по хозяйству. Между делом ведут разговор. О том, что в клинику вчера поступила девочка, такая веселенькая, хорошенькая, а сегодня приходят...

— А этот... Ну, охотник? — спрашиваю не без опаски. Так же просто Володя говорит:

— Ампутировали... Гангрена. По кисть, пока.

— Как же он жить-то будет?

— Так и будет. Если будет, — и предлагает выпить, чтобы уйти от неприятных разговоров.

С Гринером же было так. Я довольно часто наезжал в Воркуту, знал его детишек и все удивлялся, что они такие разные. В старшем ничего от папы и мамы, угрюмый малый, с узким лбом из-под челки, с короткой шеей и длинными сильными руками, похожий даже походкой на гориллу. Мне не удалось с ним ни разу поговорить.

Из-за него-то и начались у Гринера неприятности.

Однажды приехал он в Москву в особенно скверном настроении, я таким его прежде не видел. Мы выпили, и он в порыве откровения поведал мне историю своей семьи.

Работали они тогда с Эммой в геологической партии на Севере, жили в избушке, и однажды им подбросили грудного ребенка. Эмма выдала ребенка за своего. Лет через пять у них родился мальчик, курчавый ангелок, добрый и тихий, я его, кстати, знал.

Но все делалось в семье так, чтобы первому было лучше... Это и понятно. Родительские комплексы. Но старший подрос, и началось...

В школе, в старших классах, стащил телевизор, пропил, Гринер едва вытащил его из милиции. Все друг друга знают, помогли. Потом по пьянке подрался, избил кого-то...

Попытался Гринер через военкома, тоже знакомого, спихнуть парня в армию, а тут новое преступление...

Эмма слегла с сердцем, Гринер вымотал все нервы: в городе, где его уважают, такие вдруг дела. Встал вопрос об отъезде...

Это было как бегство, они даже квартиру не реализовали.

Жили (доживали, наверное, будет точнее) под Киевом, в домике отца, не очень ухоженном, две комнатухи и веранда. После его смерти дом перестроили, утеплили и даже пригласили меня в гости. С Люсей, Борисом и Садовниковым, когда ездили по Украине, заезжали к ним и были тепло приняты. Дом Гринеров по-прежнему хлебо-сольный.

Эмма прибалывала — она так и не смогла оправиться после Воркуты, — а Валентин хорохорился и показывал какую-то шубу, которую сам сшил, пройдя учебу у здешнего скорняка.

— Овладеваю новым ремеслом, — пошутил бойко. — Надо, понимаешь, зарабатывать... На пенсию не вытянуть, да еще после северных замашек.

— А дети?

Специально спросил так расплывчато. Захочет — скажет, а не захочет... И он тут же заговорил про младшенького, Женю, который окончил в Архангельске медицинский институт, пошел по маминной дорожке, женился, работает хирургом в больнице...

А однажды, году так в девяностом, раздался у меня дома звонок: Гринеры в Москве, все сразу, и на следующий день уезжают в Израиль.

Нам так и не удалось тогда встретиться.

Осталась коротенькая записка.

Недавно, разбирая рукописи, я на нее наткнулся. Размашистый почерк, всего несколько слов: «...Завтра утром я покину нашу великую державу и отбываю в полную неизвестность. Без денег, без здоровья, а уж о прочих муках говорить не приходится. Очень жаль, что не пришлось нам встретиться в Москве. Буду жить надеждой на свидание в другой стране, если на то будет Божья воля. Обнимаю. Всегда преданно твой Вал. Гринер. 9.11.90 г.»

А потом пришло письмо из какого-то маленького городка в Израиле, где все они поселились. Женя и его жена работают, а сам Гринер с Эммой как бы предоставлены себе. Полная пустота и холодное одиночество. В тундре было, писал он, не так пустынно...

Нелегкое было письмо. Я сразу не смог на него ответить.

Потом, как бывает, затерял конверт с адресом. А другого письма не последовало.

Где-то на стенке, в старой квартире, рядом с автографом Яна Вассермана были начертаны, в какой-то приезд, и стихи Гринера. Обои сменились, да и квартира с тех пор менялась не раз, а стихи остались в памяти.

*Среди родни святой затертых Божьих ликов
Живет Приставкин мой большой, но не великий...
А если, вознесясь на небеси земные,
Он крикнет: «Дай мне власть!» Не дай ему, Мария!
Пусть среди нас живет, покуда мир не вымер,
Не то его убьет не Каин... Валя Гринер!*

А я вдруг вспомнил, как Валя однажды исчез и дня через два появился с пимами из оленьего меха. Такие пимы делались на заказ и в самом городе, но Вале захотелось подарить нечто необыкновенное. Он исколесил сотни километров по тундре, чтобы найти аргиш, кочующее стадо, а в нем белого оленя и из его камусов (срез с ноги) изготовили маленькому тогда моему сыну Ванюшке и его маме две пары белых-пребелых сапожек, разукрашенных по голенищу цветными лоскутками кожи. Это было произведение искусства.

— И не жалко? — спросил я Валентина. — Оленя? Да еще белого?

Он засмеялся, открыто, как ребенок.

— Его в тот день уже отловили на заготовку.

— Врешь небось?

— Может, и вру, — согласился он. — Но... сделали-то красиво?

— Красиво.

— И форсите на здоровье. Ни у кого в Москве таких вторых не будет.

Это правда. Ни у кого таких сапожек не было.

Но для московской сырой зимы они оказались мало-пригодны и провалялись на антресолях зиму или две... Пока их не сожрала моль.

Я плеснул «Плиски» в золотой колпачок.

— Гри-не-ры-и!.. — заклинал. — Ну не исчезайте же, черт возьми!

Из России — ладно. Но будьте хоть где-то, в этом не лучшем из миров...

В Ялте, на семинаре народов Севера, собрались якуты, селькупы, ненцы... Распахивали в изумлении косые щелочки глаз на цветущую глицинию, на зеленые листья лавра, на море, посверкивающее за верхушками кипарисов, и погружались... в питье.

Семинаристка Дуся, коротенькая, как подросток, ножки кривые, а грива черных волос до колен... Пишет песни, сказки и душевно рассказывает про бабушку...

— Как исполнилось мне двенадцать лет, — говорит, — вошла в чум бабушка с трубкой во рту и поздравила... Всего тебе, внучка, хорошего, говорит, учись, расти, а подарок-то я тебе возле чума поставила... Выскакиваю, у выхода вижу: бабушка у меня доб-рень-кая... Целый ящик водки подарила! А потом подросла, стихи писала. Нам объявили, что поэт из Москвы прилетит, расскажет, как писать стихи надо. А он в самолете-то принял, а в Иркутске его уже в другой самолет переносили. К нам когда прилетел, положили в гостинице, укрыли потеплей, мы на цыпочках ходили, чтобы не потревожить... А как стал уезжать, снова в самолет снесли, в Иркутске опять пересадили, а к Москве, говорят, он уже сам мог идти. О-очень хороший поэт был...

— Да знаем, знаем, сами были... — откликаются за столом. И уже звучит мотивчик такой знакомый... — «Из полей до-но-си-т-ся на-а-лей!»

— Господи, и это мои дружки... А еще интеллигенция... А шуточки-то на уровне... Да и все ли тут?.. Тезка мой, Шумов, где?

Возбужденные лица... И вижу знакомую бороду...

ДОВЕРЧИВЫЕ ОСЕТРЫ

(Отец Анатолий Шумов)

Нашу семью: меня, жену и ребенка — поселили на третьем этаже блочного дома, неподалеку от обводного канала. По утрам я мог наблюдать из окошка белые палубы и косые трубы судов, выглядывающих из-за бетонного парапета, казалось, они плывут по воздуху. Их гудки напоминали о дальних странах.

Моя родина далее проверенной и надежной Болгарии меня не отпускала. А в идеале рекомендовалось познавать свое, родное, исконно-посконное, глубинно-кондовое, что я и делал.

Чтобы не ощущать себя обделенным, на отшибе, оклеил я стены своего жилья географическими картами. Да и обои все равно не продавались. Зато карт сколько угодно, и некоторые выглядели живописно, как, например, карта природных ископаемых или карта по истории страны, где на месте моего нынешнего обитания жили хазары...

На одной из карт мы нарисовали цветным карандашом путь, проделанный нами от Москвы до Балакова.

Мы приехали в группу рабочего проектирования на строительстве саратовской гидростанции, ее возводили чуть ниже поселка. Но если по правде, мы начинали тут строить собственную жизнь. Надо было зарабатывать на хлеб, а мои книжки были надолго запрещены, да и сам я, после Севера, как бы уже и не существовал.

Должно пройти время, так говорили друзья. Чтобы забылось, стерлось... А для этого лучше куда-то уехать. И выпало нам Балаково, о котором никогда прежде не слыхивал.

Городок понравился, зеленый, просторный, у воды. Особенно пришлась по душе старая его часть: вытянувшиеся на километры одноэтажные деревянные домики, и среди них такая же деревянная церквушка, где я и встретился с Анатолием Шумовым.

Крупный, бородатый, громкоголосый, истинный поп из провинции, какими их рисует народная молва. Глаза яркие, голубые, бойко-озорные. Волга отразилась в них. А говор мягкий, журчащий, окающий. Одевался просто, но носил фетровую шляпу.

Если по порядку, то решили мы переезжать сюда на моем горбатеньком «запорожце», нагрузив его доверху барахлом и многими почему-то банками варенья, которые нам подарила теща. Наверное, опасалась, что на Волге мы будем голодать.

По гладкому шоссе до Пензы моя жужжалка кое-как еще дотянула. Но далее, на степных проселках, по которым мы рискнули ехать по совету друзей, сокращая путь на сто лишних километров, машина не выдержала перегрузок и где-то на въезде в город Вольск, километрах в сорока от нашего нового дома, всхлипнула, заскрипела, заверещала, как раненый зверек, да и повалилась набок. Отлетело колесо.

Это случилось поздним вечером. Помню, в отчаянии я воскликнул, что тут ее, проклятую железку, и брошу к чертям, так она мне надоела... Но жена погладила мой рукав и стала утешать: «Ничего, ничего, я же рядом, ты разгрузай, а я рядом, понимаешь?» И хоть не сразу, но отлегло.

Ребенка с женой удалось устроить на ночлег в ближайшем доме, а сам остался караулить машину, прикорнул, скорчившись на сиденье. Проходившие с танцев подростки заглядывали в окошки; им было занятно, что в такой коробочке кто-то еще ночует.

А утром, спозаранку, проходил на работу человек и, ни о чем не спрашивая — да и что спрашивать, все и так видно, — осмотрел место слома, присев на корточки, даже руками пощупал, распрямляясь, сказал: не смертельно. И указал на здание пожарной команды недалеко: «Спросите Диму»...

Дима оказался истинно умельцем. И руки золотые, и характер.

Насвистывая песенку, он тут же, при мне, насыпал в посудину карбиду, добавил воды, а когда забурлило, наладил сварочный агрегат и приварил обломанную полуось, развальцевал медную трубку для тормоза (ее разорвало), проверил, не течет ли тормозная жидкость, для чего проехал со мной по улице... Взял за работу сущие крохи, рублей, кажется, пятнадцать. Да я бутылку «Московской» подарил.

По серовато-белым улицам Вольска, плод работы огромного цементного комбината (цемент тонкой пылью покрывал даже листья и траву), мы двинулись по направлению к Балакову.

Балаково я осваивал по частям.

Мы уже стали привыкать, что все тут рядом.

Магазинчик «Шайба», неподалеку от шлюза, деревянный, круглый, крашеный в голубой цвет. Еще один, продуктовый, в соседском блочном доме на втором этаже... Неподалеку и универмаг, а рядом овощной базарчик, овощи недорогие, особенно помидоры под названием «бычье сердце».

На рынок же привозили совхозное молоко, продавали в разлив из железной бочки. Мы с сыном, завидев из окна знакомую бочку, брали трехлитровый бидончик и занимали очередь.

Рыбку можно было купить в магазине, даже стерлядку, но лучше прокатиться за ней к Волге. Там, на берегу, чуть поддавшие веселые мужички доставали ее прямо из прицепа мотоцикла, где она плавала в воде. Лещ и судак шли по рублю за килограмм. Торговали без весов: рыбаки прикидывали рыбку на руке и никогда не ошибались.

Осетры же продавались на рыбном заводе, огромные, с икрой — три рубля килограмм, а без икры — два с полтиной.

И однажды, вернувшись из Москвы, я обнаружил в нашей ванне, где собрался с дороги помыться, метровую рыбину, которую моя жена с подругой купили на двоих и, взвалив на плечи, едва доволокли до дома.

Рыбину, этакое полено, мы распилили одноручной пилой и по здешнему рецепту, выдержав в соли, подвесили на кухне, над тазиком, за хвост, чтобы стекал жир... Отрезали от нее, розовопряной, хрящеватой, нежную мякоть, пока она не задубела от времени.

Сперва ели в охотку, а потом уже и видеть не могли.

Стерлядку покупали по воскресеньям, как праздничное блюдо, и запекали, по здешнему рецепту, кусочками в духовке, положив сверху кружок лука и полив майонезом. На стерлядку было принято приглашать гостей.

Ну а всякое здешнее начальство, включая и областное, кормилось у рыбоподъемника...

На глазах всего поселка подкатывали на черных служебных машинах, бесплатно отоваривались.

Есть на плотинах такое хитрое приспособление: рыбоподъемник, вроде водяного лифта; по замыслу ученых ему положено пропускать рыбу во время нереста вверх по течению, поскольку плотина встает непреодолимой преградой на пути.

Вот тут-то ее, легковерную, и берут голыми руками, как большевики некогда Россию.

Рыбка в подъемник, с надеждой на близкий исход, тяжелая от икры и чуть безумная в своем неистовом желании освободиться, выметать и продолжить потомство... А наверху уже стоит этакий жлобина с острым железным крюком.

Подцепив под жабры трепещущую, полную жизненной силы и любовной страсти сударушку, волочит ее в багажник «Волги», пока хозяин любуется красотами природы с высоты плотины и рассуждает с кем-нибудь об этаком отвлеченно прекрасном, как о стихках Некрасова, еще кого-то, кто написал о нашей русской Волге... Красавица, мол, народная, как море, мол, полноводная... Ну и так далее, ценили классики, ничего не скажешь, нашу реку...

А водитель уже кричит от машины: «Ван Ваныч, можно ехать!» Ван Ваныч оторвет с неохотой свой глаз от ландшафта и спросит строго: «Поработали, достаточно?» На что последует ответ: «Как же, повезло, там такая дуреха подвалила! Буйная, пыталась прямо из рук скакнуть, а мы ее ножичком... Ножичком... Усмирили...»

В старый деревянный поселочек я забрел случайно, туда ходил древний автобусик, сорок минут по скверной дороге. А там и церковь, тоже деревянная, как не заглянуть. Как зашел, сразу увидел Шумова. В просторной рясе, с пятнами проступающего пота на плечах и спине, стоял посреди церковки и причащал старушек.

Когда он дома снимал рясу — а жил напротив церкви, — попросил меня подержать ее, и я, приняв в руки, чуть не уронил: она была тяжела, как рыцарские доспехи. Огромные карманы набиты мелочью...

Потом-то я узнал, что деньгами в церкви распоряжается казначей, приставленный от государства (если только не от милиции), который призван контролировать священнослужителей — если поборы и сокрытие доходов. Излишки народных, словом, денег. Но прихожане догадались: стали ловко совать мелочь во время службы в карманы рясы, которые были для этой цели сшиты практичной попадьею из особо прочной ткани чуть ли не до колен.

Как-то Шумов попытался мне объяснить всю эту денежную кухню и про налоги, уходящие государству от церкви, где главный доход поступает в казну от продажи свечей.

Годика три назад налог в рублях составлял тысяч десять. Потом его приказали увеличить до двадцати, пришлось повышать и цены на свечи. В прошлом году налог повысили до тридцати тысяч, и свечи снова подорожали... А в этом году довели налог до пятидесяти тысяч. И те же свечи стали и потоньше, и короче, и дороже...

Как выражаются на Руси: тех же шей, да пожиже влей! Но старушки и это купят. Бездонную государственную бочку, из которой черпает за бесплатно на прожитие номенклатура, заполняют рублями и за счет богомольных наших старух. Вот что я понял из этой безбожной бухгалтерии.

— Ну а чтобы не обвинили в воровстве, — продолжил Шумов, — раз в полгода я вношу добровольный взнос в Фонд мира, который на наши денежки покупает танки и пушки и тем сохраняет мир во всем мире. А если, скажем, какая ревизия, а их сотни, и все кормятся, и всем подарки, то им под нос бумажка: так, мол, и так, ко всем прочим налогам, поборам и взяткам отец Анатолий лично подарил родине свои кровные рублики в размере пятнадцати тысяч... И никаких вопросов. Ревизоры получают «на лапу» и убираются восвояси... Сытые, довольные и нос в табаке!

Как выяснилось, при скромных размерах церкви (да и поселочек невелик) денег их приход собирает чуть ли не больше всех по Саратовской епархии, а причина здесь — в народной любви балаковских жителей к своему священнику.

Как проявлялась та любовь, я смог наблюдать. Тем более знал другой приход, в Осташкове, на Селигере — тоже Волга, самое ее начало, там и деревенька существует: Волгино Верховье... Так вот, из осташей редко кто рубль отнесет в церковь, а если появится у них тот рубль, то пропьют, а потом около прихода нахулиганят!

Знамениты они еще тем, что поляков в войну держали в монастыре Нилова пустынь, и не только охраняли, но потом и расстреливали неподалеку в Медном...

Потому и вырождение, никакой Бог их к себе не примет.

Ну а в первый мой визит мы посидели у Шумова в подвальчике, сумеречном и прохладном.

Тут же из бочек извлекалась закуска в виде пряно посоленной осетрины, тоже засоленного сома с нежнейшим розовым мясом... Огурчики, лучок, веточки укропа и прочая зелень поступали на стол прямо из своего огорода.

Попадья, как я успел рассмотреть, чуть располневшая, как у нас говорят, дородная, с округлым светлым лицом, серыми блестящими глазами, быстро и бесшумно обслуживала нас, сама же не присела ни разу.

У нее пятеро детишек, хозяйство, огород, и за церковью надо присмотреть... Все это она крепко держит в

своих руках. И насколько я смог увидеть, баба-то не просто цепкая, а прижимистая.

Шумов знал ее такую слабость и скрывал, когда отдавал деньги на помощь нуждающимся.

Мы благополучно прикончили вторую по счету бутылку, которая проскочила особенно легко, и лишь тогда Шумов спросил, хитровато ухмыльнувшись, что же привело меня в церковь и кто я буду на самом деле.

Я немного удивился, но повторил и про себя, и про свою работу.

— Так ты что... взаправду сочинитель?

— Не похож?

Шумов рассмеялся:

— Извини, не хотел обидеть...

Пояснил простодушно, что в церкву к нему идут разные люди, просить денег... Кому на хлеб, а кому на билет или еще на что...

— На бутылку, — вставил я.

— Бывает, и на бутылку, — подтвердил он. — А разве грех, если такая потребность аль болезнь? У тебя не случилось, — спросил Шумов, — чтобы остался без денег в чужом городе?.. Обокрали или отстал от поезда...

— Не дай бог, — сказал я суеверно.

— А идти-то надо в церкву, — поучал он. — У нас и фондик такой специальный, для всяких несчастных... больных... Мы паспорта не спрашиваем. Дело в сострадании... Прости, но подумал, ты один из них!

— Один из них, — подтвердил я. И в общем-то не соврал.

— Ну, раз сочинитель... — И, заглянув мне в глаза, крикнул попадье тащить бутылку.

— Третью ведь, — напомнил я, но не очень решительно.

— А мы по е-ди-ной!

Пошла горячая закуска: пельмени и грибки в сметане, ломти горячего осетра. Его здесь кромсают огромными кусками и подают не в тарелке и не на блюде, а в огромной миске, похожей на эмалированный тазик... Чтобы было, значит, много и стояло на видном месте, посреди стола...

Дымится тот осетр, пышет в лицо рыбьим духом, и сочится и истекает горячим жиром на изломе, и приманивает нежными хрящами, такой весь панцирный, старинный, сказочный... Из царских прямо палат.

Тут лишь, после третьей, смогли неожиданно для себя выяснить, что служили мы с Шумовым в одной и той же воинской части, в славном городе Саратове, и даже в одно время: в пятьдесят третьем году. Он там был в особом, секретном, отделе. Но где-то в столовке мы, конечно, встречались...

Но вот откуда церковь взялась?

Он призадумался и, даже будто сам удивляясь, пояснил, что это такая история... Такая история...

И предложил выпить за нашу «боевую» молодость, ибо судьба его круто повернулась как раз во время службы в армии. Хотя нынешнее-то дело, которым он занялся, побоевей прошлого будет!

А началось с телеграммы, в которой сообщалось, что умер у него родной дядя, священник, в одном из астраханских приходов, и поскольку наследников у него не было, предложили приход принять на себя племяннику, то есть Анатолию Шумову.

Он съездил, огляделся... Да и согласился. Но тут уж взяли в оборот его, да с тех пор и не оставляют...

Отовсюду, откуда можно, изгнали, и уехал он, бывший военнослужащий танковых войск, в Загорск, в Духовную академию...

Жаловаться не умел и не хотел. Но за рюмкой попенял на здешнюю власть в лице какой-то идеологической бабы, которая выперла его детишек из детского сада... Мол, дети работника культа будут дурно влиять на других детей.

— В детском-то саду?

Он усмехнулся в бороду.

— Да я и без них устроил — у меня каждая заведующая возьмет... Но потом-то узнают, выдворяют. Уж я им объясню, мол, пусть лучше у вас учатся... (Знаете политбеседу для яслей: «Сталин нака, Черчилль — бяка!») Это же лучше, чем им при церкви толкаться? А у меня двое своих да трое

приемных... Ну, не в саду, так на даче могли быть, но они и дачу прибрали...

— Что значит — прибрали?

— Присвоили. У них железа больше.

— Какого железа?

— Ну, байка: на перекрестке зеленый светофор, а «жигуль» ни с места, потому что на красный свет самосвал проезжает... Почему? Да у него железа больше...

Дали ему землю, на берегу Волги, построил дом. Неплохой дом, но кому-то из властей приглянулся. Реквизировали... Служитель культа, то да се. Для очистки совести выделили другой участок, а он-то по наивности — мол, второй раз хапать не станут — возвел другой дом. Приехали, осмотрели и...

— У которых железа больше?

— Конечно, больше... — подтвердил он. — Но тут природа вмешалась, а она всегда на нашей стороне... Случился, понимаешь, разлив реки, и дом тот залило... Снесло паводком. Звонят: там вашу хибару снесло... А я в ответ: «Это уже вашу хибару снесло, моего там ничего нет». И тут они заявляют: нам, мол, чужого дома не надо, забирайте его себе... А чего забирать, кроме размытого фундамента? Ну, я не гордый, забрал. В прошлом году завез материал, отстроил... А недавно...

— ...Опять... Железо?

Он со вздохом подтвердил:

— Видать, положили глаз... Приезжают на «Волгах», осматривают...

— Ну а вы — как тот осетр на крюке... Поверили рыбоподъемнику... А вас под жабры и в тот багажник!

Он захохотал, вздымая высокую грудь. Помотал головой, мол, я другие ходы через ту плотину знаю.

— Я осетр, да не тот, меня крюком не возьмешь... Пытались, да не вышло.

Так он мог сказать. Но сказал другое:

— Все мы доверчивые осетры...

Тут мы еще бутылочку открыли: в подвале ведь не заметно, что вечер наступил. И просидели там часиков пять-шесть.

Поведал Шумов, не без юмора, как предложил он за свой счет построить для всей улицы водопровод, километра три, но с условием, чтобы и к нему воду подвели, а его дом стоит на краю улицы.

Улицу водичкой обеспечил, а как дошло до его дома, стоп-машина... Дальше нельзя, потому как идеологическая баба заявила: «Нечего воду в церковь подавать, они там крестить станут...»

— Так улица за ваши денежки пьет?

— На здоровье... Пусть пьет.

— А вы не пьете?

— Ну почему? — добродушно отвечал Шумов. — И я пью, и мои дети пьют, и ты сейчас, хотя это и незаконно...

И пояснил, что не стал пререкаться с дураками (дурами?), а нанял рабочих, они в земле прорыли ход к трубе, там и оставалось-то метров сто, и подсоединили...

— Вот, — протянул кружку, — пей, в горькоме не узнают!

Я потом выбрал время, записался на прием к секретарю по идеологии. Она оказалась такой, как я представлял: серенькая мышка с суконным выражением лица и бесцветными глазами. Сколько уж я их нагляделся, и все будто вышли из одного инкубатора: безлика, ни грудей, ни бедер, ничего женского...

Долдонила про достижения в области просвещения, решив, что я залетная пташка и все проглочу. Вещала до того момента, пока я не спросил про отца Анатолия. И хотя задан был вопрос как бы невзначай, попутно, но вызвал переполох в ее душе, если таковая была, даже глазки забегали, засуетились.

Но спросил я так:

— А чего же это у вас, Марь Петровна, детишек-то преследуют?

— Каких таких детишек?

— Ну, вот у Шумова, священник который, их пятеро, и всех, значит, убрали из детского сада...

— Первый раз слышу! — И покраснела. И глазки наставила в окна, тужась сообразить, отчего же я все знаю

и не был ли сигнал в центр, то есть в Москву, на который им теперь реагировать.

А я как бы попутно еще заметил, доверительно, как товарищу по общему делу, что, дескать, дети-то наше будущее и кому же, как не нам, о них беспокоиться, чтобы росли они идейно закаленными, нашими, а не чужими детьми...

Каюсь, из суеверия я в кармане крестик из пальцев делал при слове «наш», ибо у меня с этой серой мышкой ничего «нашего» не могло быть.

Через год, уезжая, узнал я не без удивления, что все детишки Шумова самым лучшим образом устроены и дачу вдруг оставили в покое, чего он не ожидал. Еще и посетовали, что отец Анатолий редко к ним в горком заглядывает, а полезно, знаете ли, иногда поговорить по душам.

Вот и о душе вспомнили.

Однажды с Шумовым съездили мы в степной район, к его дальней родне. Приняли нас по-семейному, накормили, напоили, а потом повезли на бахчу, а при ней пасека, и угостили арбузиками, не очень вызревшими, — отчего-то стали они в этих краях плохо вызревать. Но мед зато был отменный, тягучий, душистый, цвета янтаря. А еще угостили нас медовухой.

Сейчас уже мало кто помнит, что это за напиток. Прежде-то его цари да князья пили, предпочитая заморским привозным винам. И в разных книжках о нем есть, хотя его-то самого нет. И если где-то прочтете, что царь принимал за столом медовые напитки, не удивляйтесь, он пил лучшее, что умели создавать наши предки. А они были по этой части не дураки.

Рецепт же прост, как все гениальное: чистая родниковая вода, да мед, да время... Чем дольше стоит, тем забористей и приятней. Вкус, поверьте, вовсе не меда, никакой приторной сладости, а лишь необыкновенная душистость и нежность. Ну и как водится, приятное похмелье, без всяких там последствий. В общем, медовуха пришлась мне по вкусу.

— Сколько же ей времени? — спросил я пасечника, мужичка в старой солдатской форме и фуражке, ему было лет за семьдесят.

Он указал на подвальчик, где врыты в землю огромные, оцинкованные изнутри бидоны с медовухой: там были и двухлетней давности, и пятилетние, а один бидон — лет под семнадцать, из него нас и угощали.

— А что, — поинтересовался я, — можно хранить и дольше?

— Да хоть сто лет, — отвечал пасечник. — У Романовых, говорят, хранились в бочках чуть не века. Но это уже драгоценный напиток... Его не ковшами, не стаканами, его из чарочки золотой хлебнул — и счастлив!

На память он наполнил мою фляжечку из самого старого бидона. Специально для Москвы. Я собирался похвалиться истинно царским медовым напитком перед своими застольными друзьями. Но в какой-то момент забыл о нем, а когда хватился, выяснилось: жена слила его в туалет, приняв за старый квас.

Потом я где-то прочел о медовухе, что было их много на Руси разных: вареные, сыченые, ставленные, ягодные и так далее. Но все они требовали выдержки по десятку лет.

Иногда отец Анатолий появлялся в Москве, останавливался у меня. В ту пору у нас уже была Дашка, из-за которой нам пришлось покинуть Балаково. Отец Анатолий ее окрестил, заметив, что везде нас возьмут на карандаш, ибо положено сдавать списки в местные органы... Он же ни разу этого не делал.

Привозил он и своих детишек. Таскал по всей Москве: и в Кремль водил, в парк культуры, в детский театр, в который мне удалось достать билеты. Из каждого такого выхода в свет Шумов приводил новых знакомых, для которых тут же устраивал угощение, это он умел делать. Так что к концу его гостевания у нас в доме перебивало чуть ли не пол-Москвы... Но в один приезд был он особенно торжествен и показал мне орден Красной Звезды, который ему в этот день вручали.

— За войну, — сказал не без гордости. — Я же, тетка, повоевать успел.

— В двенадцать лет?

— А кто считает!

И рассказал, что у них в доме — жили они в Донецке — был наблюдательный пункт действовавшего там партизанского отряда. А он, мальчишкой, ходил в разведку... Собирались подать документы на его награждение, но стал священником... И — отпало. А нынче хоть с опозданием, но...

С Волги он слал нашей семье поздравления. Дважды в год мы получали пестрые открытки: с «Рождеством Христовым» и со «Светлым днем Пасхи»... И рыбку зимой присылал, замороженную... И все звал, звал к себе, чтобы пожили мы с детишками на его, теперь уж точно его, даче. Однажды решились: сели мы с дочкой в машину, ей было лет десять... Значит, столько не были мы в Балакове...

Встретили как родных. Жили и правда на даче, прямо на берегу Волги, а купаться ходили на песчаный пляжик возле какого-то затопленного баркаса. Вместе с нами поселился еще один друг Шумова, полковник из органов безопасности, из Харькова, со своей возлюбленной, пышнотелой крашеной блондинкой, которая замечательно готовила нам украинский борщ.

Полковник же здорово поддавал и начинал это дело прямо с утра. Благо, что хозяин в первый же день завез нам ящик водки, которую за неимением шкафа сложил в огромную печь.

Потом привезли машину арбузов, свалили прямо в углу прихожей. Вообще быт наш был до предела аскетичен: железные общежитские койки, стол, табурет. Вот, пожалуй, и все. Каждое утро рыбаки приносили свежую осетрину, иногда белорыбицу... Я уж думал, что белорыбица вообще существует только в воспоминаниях волгарей.

Но Шумов гордо заявлял, что попадаетея она и правда реденько, но уж если придет в сеть, то сперва «приплывет» на стол к нему, а уж потом ко всяким там балаковским прихлебателям.

Однажды он попросил меня, очень деликатно, использовать мою машину, чтобы подвезти краски и олифу к церкви.

Где-то на новостройке мне загрузили в багажник бидон олифы да ящик краски, но тут объявилась «дружина», которая взяла меня в оборот: кто да откуда, почему везу ворованное добро. И акт начали составлять, и в милицию звонить, но появился Шумов — он задержался в вагончике у строителей — и спросил: «Что тут происходит?» С улыбкой, будто всех давно знал. Но они-то уж точно его знали, и один, самый свирепый, сказал с укором, но не Шумову, а мне: «Чего ж не сказал, что для церкви?» И с тем отпустили.

А однажды потребовалось позвонить мне срочно в Москву, и ни одного действующего в городе междугородного телефона.

— А ты пойдти к «Матери-родине»... Скажи — от меня, — предложил Шумов. И пояснил, что так зовут они нынешнюю правительницу города, ибо похожа она на памятник посреди Балакова, который здесь именуют официально «Матерью-родиной»...

Правительница была точь-в-точь как описал мой тезка: пышнотелая, пышногрудая, с буклями белых от химии волос. Меня она приняла нелюбезно, а когда я сказал, что от газеты, отмахнулась, сухо заметив, что у нее тут не телефонный узел и всяким командировочным она бы посоветовала звонить из города.

Это были уже другие времена, и никого из местных воротил даже тут, в провинции, удостоверение от столичной газеты не пугало. В годы «болотного цветения», при Брежневe, аппаратчики стали особенно наглы и уже ничего не боялись.

Но вот когда упомянул о Шумове, у которого гощу, лицо «Матери-родины» просветлело. Губы сложились чуть ли не в поцелуй, она по-птичьи прощebetала, и голос объявился, и чувства даже: что же вы сразу-то не сказали, что отец Анатолий... Да звоните, звоните, я вам сама ваш номерок наберу!

Ну конечно, побывал я и в церкви во время службы, в воскресенье, думаю, что это был Яблочный спас. Народ

валил в церковь, и попадья не успевала уносить корзины с батонами...

Работал Шумов по-мужицки: весь световой день. С шести утра на ногах, и было у него вдохновенное лицо творца. Особенно когда венчал молодых и говорил им нужные для жизни слова. Я и то чуть не прослезился. И тогда же подумал: церковь — особое призвание, владение тайнами души человека, сюда не могут попасть дикари из руководящей братии. Кому бы из них доверили эти бедняки самое святое, что у них есть: свою веру. И принесли бы свой хлеб...

А он в обед перешел улицу, мокрый от пота, скинул тяжкую рясу, умылся и, как бы извиняясь, сказал, что не может побыть со мной, там у него еще исповедь, да отпевание, да крещение... Так до ночи.

— А хлеб-то зачем? — спросил я Шумова. — Батоны?

— Христос завещал, — отвечал он кратко.

В тот день мы с дочкой уезжали.

Нам принесли на дорогу рыбки, насыпали яблук и груш прямо в багажник и одарили хлебом. Мы пересекли Волгу по железной, гулкой плотине, той самой, что навеки стала поперек реки и поперек жизни красивой и сильной рыбы, выехали на трассу, ведущую в Москву.

Прошло много времени, минули годы, уже и дочке двадцать пять, и в суете я не заметил, что не приходят открыточки из Балакова, и отец Анатолий уже не отзывался на письма. И не звал к себе. И лишь встретив одного знакомого из Саратова, узнал я, что Шумов умер.

— Что стало с его церковью? — спросил я.

На этот вопрос мне не ответили.

А я подумал: вдруг да принял ее, как некогда бывший танкист Шумов от дядьки, кто-нибудь из его сыновей, которым он так неистово дарил и доброту, и свою жизнь, и веру...

Так хотелось...

Я налил в свой наперсточек и выпил за упокой неумемной души Шумова, он меня бы одобрил. Не за меру, за замысел...

Случилось, писатель Юлиан Семенов, любивший компании, приглашал к себе на дачу кучу приятелей и после обильного возлияния стал демонстрировать новейшие западные таблетки, снимающие алкоголь. Все с азартом принялись пробовать, а когда протрезвели и захотели выпить, выяснилось, что спиртного в доме нет и до утра умри, но ничего не достанешь. И бабки той сердечной нет, которая через форточку в любое время суток, особенно после закрытия магазина, сунет тебе заветный бутылек с мутной жидкостью неизвестного происхождения. Как признался потом один из гостей Юлиана, это была самая мучительная ночь в его жизни. Озверевшие от недопития гости бродили по даче с постными лицами, ненавидя друг друга, а заодно и гостеприимного хозяина, который укрылся в одной из дальних комнат: может, боялся, что на трезвую голову могут и поколотить?

— Да были, были мы там... Юлик тоже хорош, царство ему небесное! — кричат мне из-за стола. — Любил гостей... Однажды в своем «ЗИМе» (а у него был черный, огромный, как корабль, «ЗИМ») уместил одиннадцать человек... Когда ехали на пьянку... Но об этом потом...

Вглядываюсь, узнаю моих дружков-поэтов... Андрей, Серега, Петя... Неожиданная троица. «За неожиданность!» — кричат.

САГА О ТРЕХ ПОЭТАХ

(Андрей, Серега, Петя)

Я не был с ними достаточно знаком, мы встречались в Доме литераторов в Москве. Теперь встретились в Иркутске, в редакции молодежной газеты, обрадовались друг другу, даже обнялись.

Не теряя драгоценного времени, они тут же направились к столу главного редактора Комарова, плечом к плечу, как на приступ вражеской крепости, требуя немедля гонорар, который им причитался.

Впрочем, оказалось, что не совсем причитался, скорее мог быть авансом за стихи, принесенные накануне. Но поскольку командировочные на исходе, а ехать куда-то, кажется на Байкал, надо, и за гостиницу платить, и есть, и пить, то...

Комаров был достаточно опытный редактор и долго не спорил. Попридержав напористых гостей ладошкой, тут же позвонил в расчетную часть и после некоторых препирательств по телефону объявил, что денежки им сейчас выпишут, а вот стихи пойдут на следующей неделе.

— Вы согласны? — спросил тактичный Комаров. Я знал его еще по Братску: голубоглазый, светлый, работал в комсомоле и слыл покладистым парнем.

— Согласны, — нахально отвечали поэты.

Забыв поблагодарить хозяина, они ринулись в бухгалтерию.

На улицу мы выходили вместе, вид у них был вполне умиротворенный. Поэты завернули в ближайший магазин, рассовали по карманам закуску и вино, пригласили меня в гости. Выяснилось, мы живем в одной гостинице, только на разных этажах.

По дороге они зашли в здешний театр, где в это время гастролировала группа балета одного из сибирских городов. Афиши о гастроях висели на дверях нашей гостиницы: длинноногие красавицы с головками, склоненными чуть набок, в белых пачках исполняют танец маленьких лебедей. Такая картинка не могла не возбудить фантазий наших поэтов. Но начали они, разумеется, с администратора, которому еще с утрачка, изучив афишу, успели позвонить.

Невысокого росточка лысоватый грустный еврей по имени Павел Семенович поздоровался с каждым отдельно и сразу спросил, хотят ли уважаемые гости из столицы провести вечер в театре в качестве зрителей или... как-то иначе?

— Иначе! Иначе! — произнесли чуть ли не в голос поэты.

Были они все трое крупные ребята, и занавес рядом заколыхался от их могучих голосов.

Особенно выделялся медвежьей фигурой Андрей. Серега был стройней и выше, очки в старомодной золотой оправе делали его похожим на иностранного профессора. Петя был и поемче, и помоложе. Миловиден, тих, голубоглаз.

— В театре шумновато, — сказал Серега, поморщившись.

Андрей уточнил, что лучше бы поскромнее, в творческой, знаете ли, обстановке...

Павел Семенович слушал потупясь.

— Разве что в гостинице? — предположил деликатно.

— Да, да! — подхватили поэты. — Ну конечно, в гостинице... Как мы сами не подумали, что в гостинице...

— Творческая группа, скажем... из четырех человек вас бы устроила?

— Именно группа, из четырех...

— Тогда после спектакля в девять, — подтвердил буднично Павел Семенович. — Мы, кстати, и остановились с вами в одной гостинице...

Поэты горячо простились с администратором и покинули здание театра.

День у меня выдался суетный, жаркий, так что вернулся в номер поздно и уже ни о чем не мечтал, только бы принять душ да завалиться в кровать. Утром в пять часов у меня теплоход на Байкал.

Тут и позвонили поэты по местному гостиничному телефону.

— Зайди на чуть-чуть, — сказали. Кажется, звонил Серега. — Время-то детское, а мы стихи читаем.

Должен отметить, что это были хоть и молодые, но уже известные поэты, их печатали столичные журналы, хвалили в прессе. Частенько встречал я дружную тройку в писательском доме, в ресторане, где они шумно праздновали очередной успех.

Соблазняясь стихами, я спустился этажом ниже и постучал в дверь, из-за которой доносились громкие голоса.

Павел Семенович сдержал обещание и привел четырех молоденьких актрис. Сам же скромно посиживал в уголке и со стороны наблюдал за процессом творческого общения. Зато поэты блистали красноречием: читали стихи, произносили тосты, острили, импровизировали.

Вскоре тишайший администратор откланялся с извинениями и удалился, прихватив с собой одну из девиц. Пирушка же продолжалась. Стало шумней и раскованней. Подшучивали над Андреем, который якобы во Внукове так перегрузил собой самолет, что его пришлось облегчать за счет багажа, то бишь многочисленных рукописей. Аэродромная обслуга рыдала, читая разбросанные по летному полю белые листочки со стихами, и заучивала их наизусть...

Андрей парировал выпад байкой про влюбчивого тихарика Петю, который назначил миловидной стюардессе свидание в городе Иркутске, у памятника, но забыл, какого именно. Потом они оба накинулись на Серегу и стали вы-

говаривать за брошенную в Москве некую брюнетку, от которой он и бежал в Сибирь...

Девушки дружно смеялись. Однажды лишь возникла неподвиженная пауза.

Кто-то из компании, кажется Петя, из чувства справедливости предложил друзьям-поэтам сделать трехминутную паузу и дать слово другой стороне.

— В конце концов, интересно выслушать и «маленьких лебедей», — сказал он. — Хотя понятно, что главный их язык — пластика... Не случайно кто-то из великих говаривал, что совершенство человечества воплощено именно в балете!

Девушки переглянулись и дружно заверили, что они никакая не пластика и совсем уж никакие не «маленькие лебеди», о которых так красиво говорил поэт Петя. Хотя танец «маленьких лебедей» они обожают. Наверное, восприняли слова Пети как оригинальную шутку столичных гостей.

Но гости-то удивились. И Андрей, упираясь глазами в закуску, поинтересовался:

— Так вы хотите сказать, что вы... не ба-ле-ри-ны?

— А почему мы должны быть балерины? — спросили, в свою очередь, девушки.

— Но кто же вы тогда? Если вы... не ба-ле-ри-ны?

— Как — кто? Мы «не ба-ле-ри-ны»... — отвечала одна, не самая робкая из них.

— И не актрисы?

— Конечно, нет.

Вот тут и наступила неловкая пауза. Обстановку разрядил рассудительный и почти трезвый Серега.

— Ай да ваш Павел Семенович! — воскликнул он. — Ай да умница, сукин он сын!

— Почему — наш? — парировали девушки. — Может, он «ваш» Павел Семенович?

— Наш! Наш! — завопили поэты. — Ге-ни-аль-ный ад-министратор!

— У Даля, между прочим, — сказал умный Серега, — слово «администратор» обозначает — исполнительный человек...

— Исполнил! Исполнил! — было единодушно решено. И веселье продолжилось далее.

Было тут же предложено выпить за здоровье Павла Семеновича, который столь тонко и глубоко смог постичь душу поэта.

— Три души, — добавил я и, пригубив вино, поспешил откланяться.

Меня, кажется, и не удерживали. Творческих единиц после моего ухода оставалось ровно столько, сколько нужно для полного взаимопонимания.

Прощаясь, я успел перекинуться с поэтами по поводу будущей нашей встречи, поскольку вслед за мной они собирались побывать на Байкале.

— В Слюдянке... Через три дня. — Серега, поблескивая золотыми очками, привстал и протянул мне рюмку. — Предлагаю выпить за неожиданность!

Неожиданно, так я понимал, встретились в редакции. Неожиданно получили гонорар за ненапечатанные стихи... И девушек подцепили...

— За неожиданную встречу на Байкале, которую ожидаю. — Я выпил последнюю рюмку и ушел к себе в номер.

На пути пароходика оказалась Листвянка. Полукурортная, полутаежная Листвянка: лесистые взгорья, мягко огибающие «славное море», искрами вспыхивавшее у горизонта; повидал и порт Байкал, крошечный, обжитой у берега пятачок, где на узкой кромке, под скалой, приткнулся стальной аппендикс заброшенной Транссибирской магистрали, а на нем, прямо на рельсах, паслись лошади, выщипывая траву между шпал...

А еще через три дня я оказался в Слюдянке. Поселочек на самом юге Байкальского моря. Тут проходит новая, спрямленная трасса железной дороги, и тут же в горах добывают мрамор, всех цветов радуги. Я подобрал несколько осколков на память, но прежде попытался узнать, не наезжали ли сюда трое московских поэтов.

В ответ услышал, что были, как же! Приехали, расположились, собирались выступать в местном клубе, но

вдруг сорвались и... Даже вещички кой-какие оставили... Рубашку вот, плащ...

— Первая неожиданность, — только и смог я произнести.

— Да, — сказали в гостинице. — Мы тоже не ожидали. А вещички-то куда девать? Может, захватите? Вы же в Москве небось встречаетесь...

— Бывает, — отвечал я, поглядывая в окошко на сверкающую водную гладь. В памяти прокручивалась песенка, услышанная на пароходе:

*Избушка на Байкале, сиреневый дымок,
Избушку не искал я, но миновать не мог,
Не мог не обратиться к рыбачке молодой:
Напои меня, рыбачка, байкальской водой...
Рыбачка напоила, спросив, далек ли путь,
И тихо предложила немного отдохнуть,
Был взгляд рыбачки светел и, как Байкал, глубок,
Трепал морские сети култукский ветерок...*

Не знаю уж, как там с рыбачками, которых якобы встречаешь на Байкале, а вот «култукский ветерок», насколько я понимал, — это стихия, которая приносит неожиданность... Непогоду, и бурю, и заезжих поэтов... Или их вещички...

Я забрал рубашку и плащ, решив про себя, что, пожалуй, нагоню их в Усть-Баргузине, где у них запланирована встреча с тамошними промысловиками.

Но и в Усть-Баргузине, темноизбяном поселочке, стоявшем у исхода таежной реки Селенги, где водятся заповедные соболя, а рыбаки на лодках-«мотодорах» выезжают на вечернем теплом закате ловить серебряного омуля, поэтов я не нашел.

— Приехали да уехали, — был ответ. Пожилая дежурная в здешней гостиничке, темнокожая кержачка с раскосыми глазами, немногословна. — Бумажки свои, авторучку на столе бросили...

— Давайте бумагу. Давайте ручку, — сказал я. И не очень уверенно добавил: — В Верхнем Ангарске увижу, отдам. Они обещали меня ждать.

Дежурная покачала головой и ничего не ответила. Мало ли за свои годы повидала она всякой залетной публики: охотники, рыбаки, гидрологи, лесовики, жулики, браконьеры...

Теперь вот поэты из Москвы.

— А вы не поэт? — спросила сурово, когда я расплачивался за «койкоместо». На самом же деле это была чистенькая, по-домашнему обихоженная комнатуха с окошками, обращенными на Байкал.

— Нет, нет, — открещивался я, хоть понимал, что предаю своих друзей. — Я только одни стихи знаю, про култукский ветерок.

— Это что, — отозвалась дежурная, подобрев. — У нас тут свой ветерок, баргузин называется, да такой... Окошки выдавливают! Но раз вы не поэт, не торопитесь. Ныне рыбка пошла, так рыбкой подсластитесь...

На берегу уже вовсю польхали костры, высоко вздымая белое пламя. В громадные закопченные котлы корзинками сыпали живое серебро... А остроносые лодки-«мотодоры» словно выныривали из темных вод, и появлялись въяве, будто Черноморы из вод, сами рыбаки, в высоких сапогах, в прорезиненных фартуках, озябшие, но веселые, вприщур поглядывали на самых нетерпеливых, охочих до сладкой рыбки.

Но рыбки у костра хватало всем. И я вечер-другой приходил сюда полакомиться, пока дожидался нужного мне рейса до Верхнего Ангарска — следующего пункта, который мы согласовали с поэтами для встречи.

Впрочем, там их тоже не оказалось.

Несколько командировочных, геологов да десяток жаждущих подлечиться на местных горячих источниках. Алечатся тут просто: раздеваются и лезут в ямку с горячей, будто кипящей, в пузырьках, водой.

Иные над ямкой разбивают палатку или ставят навес от дождя. Так и живут неделю-другую. Я уже и под навесы заглянул, так, на всякий случай. И по поселку порыскал, пока в здешнем поссовете мне не объяснили, что приезжали трое, прозывали себя поэтами, но только уехали, торопились в Иркутск.

— Вещи... оставляли? — спросил я утрюмо.

— А как же! Фотоаппарат, книжку... Бритвенный прибор еще.

Я забрал аппарат, бритвенный прибор и книжку — это был путеводитель по Байкалу — кажется, ни разу не открытый.

В Иркутск я вернулся в тот самый день, когда они отчалили на самолет. В гостинице мне отдали брошенный ими впопыхах чемодан. Я сложил в чемодан вещички и привез его в Москву.

В какой-то день, выяснив по телефону, что мои друзья посетили писательский ресторан, я приехал туда вместе с чемоданом.

Все трое восседали за крайним левым столиком в углу и, судя по всему, праздновали благополучное возвращение из Сибири.

Пирушка была в разгаре, когда я вынырнул перед ними, как черт со дна Байкальского моря. Дымилась на столе, застеленном белой скатеркой, картошечка, приправленная зеленым лучком, желтые квадратики сливочного масла в блюдечке, розовела гурийская капуста рядом с початой «Столичной», еще сохранившей на стекле холодный налет...

Меня встретили громкими возгласами. Меня и особенно чемодан, который и не чаяли увидеть. Чемодан на радостях «посадили» на четвертый свободный стул, подчеркнув этим его особую значимость, а мне налили рюмку водки.

Тост прозвучал так: за славный сибирский город Иркутск, в котором мы встретились, и за славное море Байкал, на котором мы почему-то не встретились...

— Может, за неожиданность? — спросил я.

Они разом загоготали в три здоровых глотки, так что за соседними столиками испуганно оглянулись.

— Да, да, это было так неожиданно, — произнес как-то странно Андрей, взглядывая исподлобья на своих дружков. Но те уткнулись в тарелки, вдруг вспомнив, что пора и закусить.

— А что, были и другие неожиданности? — поинтересовался я.

— Было кое-что, — пробормотал Серега, блестя золотой оправой очков. — Ты закуси давай... Никуда же на этот раз не торопишься?

И вот что я узнал.

Памятная пирушка в иркутской гостинице после моего ухода продолжилась, как ей и полагалось, до утра. Потом еще весь следующий день, и вечер, и ночь, и снова утро, и день. В пылу устоявшегося застолья Сереге вдруг показалось, что он влюбился в одну из девушек, бесповоротно и на всю жизнь. А поэтому должен на ней жениться. Было решено тут же сыграть свадьбу. Девушка, кажется, не возражала. Да и остальные от такой прекрасной идеи были в восторге.

— Ее звали Светой. Не помнишь?

Я сознался, что Свету не помню. Но в целом они смотрелись и были ну почти как... Как «маленькие лебеди»...

— Да ты должен был запомнить! — сказал Серега, постаравшись не заметить упоминание о «лебедях». — Она сидела от тебя по левую руку... — и добавил со смешком: — От нее-то и сбежали!

— Сбежали... На Байкал? — спросил я.

— С Байкала тоже.

Далее рассказ зашел о самой свадьбе, которую сыграли по всем правилам, одарив молодых и цветами и стихами. И в спальню, как водится, проводили, и...

— Ну к чему такие подробности? — запротестовал вдруг Петя. — Сами-то мы были не очень...

— Не очень — что?

— Не очень — кто, — поправил он. — Не очень были мужчинами.

— Ну, ты преувеличиваешь, — вяло возразил Андрей. — Смылись. Правда. Но ведь и дела были... На Байкале.

Оставив новобрачную в номере, пока она спала и видела золотые сны, на зорьке, крадучись, поэты удрали на Байкал, и молодожен Серега тоже. Любовь его к этому времени поостыла. А бегать от женщин он, сдается, привык.

Через день получили от молодой жены Светы телеграмму, что она едет к ним на Байкал и просит дождаться ее в Слюдянке. Недолго раздумывая, поэты рванули в Усть-Баргузин. Новобрачная их догнала, застав в гостинице. Но пока объяснялась с дежурной, они махнули через окошко на пристань, благо у причала стоял рейсовый теплоход «Комсомолец»...

Света помахала им ручкой с причала и направилась к знакомым геологам, подсев на вертолет, который направлялся в верховье Байкала. Но, видимо, не рассчитала: пока добиралась от геологов на попутном вездеходе до Верхнего Ангарска, дав по радиации знать в поселковый совет, чтоб поэты ее ждали, последние немедля вернулись на теплоход, который заночевал в Ангарске, и уплыли в Листвянку, а оттуда в Иркутск.

В иркутской гостинице она их таки настигла. Дежурная торжественно объявила Сереге, что к нему приехала жена и ждет его в номере.

— Жена? — переспросил он почему-то охрипшим голосом. — Это какая?

— А у вас их что, много? — удивилась дежурная. — Ну, значит, та, что половчее других...

Бедный Серега аж зарыдал от горя... Он так соскучился по Москве, по москвичкам, по ресторану в Доме писателей... Хочет туда лететь!

При упоминании о ресторане друзья немедля поддержали его.

Ну и далее: самолет, такси, Дом, ресторан...

— И чемодан, — добавил без улыбки Петя.

— Это и правда неожиданность. — Я с сочувствием посмотрел на Серегу. Он снял очки, на глазах его были слезы.

— И как это я... — всхлипнул, шмыгнув носом. — Ума не приложу... Но она мне правда понравилась...

— Великолепная девчонка, — подтвердил Андрей. — Выпьем за нее?

— А если она в Москву нагрянет? Великолепная ваша... — поинтересовался я и посмотрел на чемодан. И вслед за мной все посмотрели на чемодан.

Сергея вздрогнул, слезы у него мгновенно просохли.

— Нет, — сказал он, заикаясь. — Не может приехать. Не должна... И зачем?

— Как — зачем? Ты муж? Или не муж?

— Не знаю, — бормотал Сергей.

— Но ты хоть написал ей?

— Я потом, — пообещал Сергей. И, подумав, добавил: — Когда успокоюсь.

— Хочешь, я напишу? — предложил Петя. Теперь все смотрели на Петю, он невозмутимо уплетал картошку, сочно похрустывая гурийской капусткой.

— М-да, — промычал Андрей. — А такая была любовь! — Мне показалось, что он ерничает.

— А у поэта не бывает «не такой любви», — парировал Сергей.

— После которой остается лишь чемоданчик... — съязвил Петя, подцепив на вилку маслянистый бочок селедочки.

— Ну ладно вам! — завопил Сергей. — Разве я один... Играл... В свадьбу?

Так странно оговорился.

— Ты прав, старик, мы все играли, — качнул могучим плечом Андрей и шумно вздохнул. — И Петя тоже прав, предлагая вернуться к закуске...

Андрей слишком старательно разливал водку по рюмкам, потом окинул глазом стол, подвинул к себе картошку, масло и, вдруг решившись, выдохнул:

— За «маленьких лебедей», что ли?!

Пока друзья-поэты пируют, хочу отвлечься и попытаться понять, что же произошло.

Конечно, не за столиком, это я потом додумал.

Мне вовсе не хочется, чтобы все тут рассказанное (и кое-что нерассказанное) выглядело как издевательство столичных сытых мальчиков над бедной провинциальной девушкой.

Тем более что история на этом не кончается. Верней предположить иное, что в пылу праздника, когда блистательно сошлись воедино молодость, вино и стихи, Сергей и взаправду влюбился.

Тогда можно как-то объяснить (и даже оправдать) поведение почти не знакомой мне Светы, которая не смогла противостоять напору и решилась в одночасье круто изменить судьбу.

Признаемся, а разве мы в какие-то минуты, не самые лучшие, не ждем чуда, которое бы перевернуло нашу жизнь?

Спустя полгода встретил я Андрея и узнал финал истории, который при всей нашей фантазии трудно вообразить. Света, покинутая в первую брачную ночь, приехала-таки в Москву в поисках своего непутевого мужа. А Серега трусливо удрал на дачу и там отсиживался, пока самый добропорядочный из всех троих, Петя, опекал ее. И, опекая, влюбился. Разумеется, с согласия Сереги, — хотя, если подумать, при чем тут он, — Петя и вступил с ней в настоящий брак. Концовка получилась совсем в духе американских киномелодрам... Но концовка ли...

Знаю, что прожили они счастливо лет десять, пока Светлана в тридцать своих лет не умерла от порока сердца. У Пети на руках остался ребенок, девочка, ее воспитанию он посвятил свою жизнь.

Сейчас, когда я рассказываю эту историю, ребенок вырос, а сам Петя изрядно поседел, хотя выглядит бодро и пишет оптимистические стихи. Только не о любви. Иногда я встречаю его в нашем писательском клубе. Но всех троих вместе не видел ни разу.

Здороваясь с Петей, я спрашиваю о дочке, о делах. Разговариваем о чем угодно, только не о прошлом. И все равно я замечаю, как темнеют его глаза. Как Байкал в грозу. Прямо-таки ощущаю, как накапливается в них тоскливая тяжесть. Мы торопливо прощаемся. Но я еще успеваю глянуть ему вслед и подумать о том времени, когда были мы молоды. И резвы. Так беспечно резвы, что казались почти счастливыми...

Где же это все? И отчего тоскливо сжимается сердце, когда осознаешь вдруг, что никаких неожиданностей в жизни уже не будет; Петя оглядывается и тоже смотрит мне вслед.

Наверху что-то громькнуло. Я решил было, что это опять коты, но тут же услышал громкий шепот и звук поцелуя.

Задрал голову вверх, до ломоты в шее, окликнул, но не громко:

— Эй, там! Кто-нибудь меня слышит?

Наверху замолчали, а потом раздался женский негромкий смех и всякие «охи» и «ахи», говорящие о том, что там происходило самое что ни на есть любовное действие.

— Эй! Лю-ди! — крикнул я сильнее. — Вы — люди или... Не люди?

Никакого отклика на мой призыв не последовало. Там наверху шла своя ночная жизнь. Мое появление ни в чьи планы не входило.

А значит, меня как бы и не было.

От подступившей обиды завопил во все горло, мой крик разбудил бы мертвого.

— Эй-черт-бы-вас-побрал! Трахайтесь себе на здоровье... Сколько влезет... Но помогите же! Человек пропадает! — И повторил по слогам: — Че-ло-век про-па-да-ет!

Шум наверху стих, но вскоре возобновился, и стало даже слышней, я отчетливо различал, как всхлипывает от сладкой страсти женщина и бормочет, бормочет слова любви, понятные только им двоим.

— Это неприлично, — проговорил я, но уже самому себе. — Это несправедливо и незаконно. Сидеть тут в железной клетке, да еще слушать, как они там...

И топнул с силой ногой. Но этих двоих ничего не интересовало. Кроме, конечно, их самих. Любовь грохотала по всем этажам, и никому от этого, кроме меня, не было плохо. Чтобы не слышать, я стал напевать какую-то песенку, но все равно эти, наверху, были громче меня.

— А все-таки любовь должна быть поскромней, — безнадежно решил я, обращаясь к нарисованной девице. — «Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне...» Так я запомнил с юности. А может, любовь — это как раз и вздохи, и прогулки? И вот так...

Я присел на пол и песенкой постарался заглушить звуки...

АНАТОЛИЙ ПРИСТАВКИН

*...Был взгляд рыбачки светел...
И, как Байкал, глубок...*

В лифте голос звучит глухо. А о «култукском ветерке» только в подвале с крысами и вспоминать. Но кстати... Кстати! Там на Байкале была еще встреча с Мироновым... Но где он, среди моих дружков-застольников?.. Вглядываюсь в память...

БАЙКАЛ ЧЕРЕЗ ПОЛ СЛЫХАТЬ

(Мироновы)

К Миронову я зашел потолковать о жизни. Зашел домой, но не застал. «Он на пристани, — сказали. — Да вы его узнаете, длинный да сутулый... Его тут все знают».

И правда, Сергей Афанасьевич — человек видный издавека: в белой рубахе, худощавый, жилистый. Он стоял у воды и глядел на Байкал.

Я встречал таких людей, живущих близ воды, они по-особенному к ней относятся.

Знакомый мужичишка на Селигере сядет на берегу и смотрит. Часами. Спрашиваю: «Смотришь?» — «Смотрю». — «Ну и чего высмотрел?» — «А ничего. Просто смотрю... Ведь красиво?»

Сергей Афанасьевич, будто меня и ждал, по-свойски протянул руку:

— Москвич? Ну и ладно. Пошли. Щас жена щец согреет.

От «щец» я отказался — только из столовой. Не ахти какая тут столовая, блины, да сливки, да глазунья, да чай, но подается все в чистой посуде и непременно горячим.

Миронов согласился:

— Ну, понятно, щи... Вот ушицы омулевой похлебать! Только это в другой раз, щас не наловилось, лады? — И весело подмигнул. Потом достал из кармана серебряную монетку, швырнул в воду. — Смотри, москвич!

Монета медленно скользнула в глубину. С минуту была видна. Сперва ярко, потом, потускнев, просвечивала, как луна сквозь дымку, белым пятном... Какое-то время угадывалась, пока не исчезла.

— Двадцать пять метров... Такая видимость! — похвалился Сергей Афанасьевич. — Нигде в мире нет такой воды. Как уезжать, не забудь бросить! Чтоб скорее вернуться...

Плыть на шатком парходике, а таковым он мне показался в первое мое плавание, страшновато. Среди тишины, и покоя, и ласковой глади вдруг задымились фиолетовые, нарисованные на горизонте горы и будто начали гнуться, растворяясь в белом молоке, и поднялось, как лохнесское чудовище из глубин, нечто черное высотой до неба.

И понесло.

Однажды я увидел Байкал с вертолета и горы, остроугольные, с выбеленными боками, так что смог представить, как спящие на них ветры, не удержавшись на крутых склонах, покатаются по холодным срезам скал, обламывая по пути стеклянный лед, и ударятся о землю, а разбившись на сотни мелких струй, вспенят береговую воду. Тогда и взовьется Байкал, становясь сам как горы, высокий и грозный, и густые брызги падут далеко на берег, зазвенят окна в рыбацких домишках...

И весь Байкал вдруг покачнется, словно блюдечко в нетвердых руках, и пойдет валить стихия: один вал выше другого, и покажется, что ничего в мире уже и нет — ни берегов, ни неба, — а одно безумство природы, некое помутнение, крушение всего и вся... Словом, конец света.

Наш «Комсомолец», переделанный из старой самоходки, вознесся, как игрушечный, под самые небеса, а потом провалился в преисподнюю... Сердце обрывалось от долгого падения вниз... И снова вознесся на адских, на сумасшедших качелях вверх, и снова пал...

И звук, я точно помню, это был не рев, не вой, а протяжный непрекращающийся звук, как из невыключенного динамика. Воспринимаемая вовсе не ушами, а кожей тела, мелкая дрожь парходика, напрягающего последние

силенки, чтобы не сгнуться. И остановившееся время. Ибо это безумие вокруг продолжалось, оказывается, всего два или три часа.

И так же мгновенно улеглось, и наступила ошалелая тишина, и вода стала гладкой и зеленой, ну такой зеленой, что и слова зеленей не придумать. Как свежесть первых листьев, как цветущая рожь... Даже небу, у горизонта, трудно было навязать Байкалу свой интенсивный синий-синий цвет.

А жизнь на пароходике обрела домашние формы: кто-то стирает в тазу, а кто-то ужинает, кто-то притерся к трубе, которая занимает половину палубы и горяча, как дедушкина печка. Трубы хватает всем. И конечно же вечерние танцы на палубе под радиолу.

*Над водами многоструйными
Бренчит радиола струнами,
Доносит грусть итальянскую
Ребятам, что едут с тальянкою
На дальние приисковые,
Русские земли исконные.
И бабы заслушались шустрые,
Забыли про черемшу свою,
Танцует бурят смуглолицый,
И проводник с проводницей,
И — бородатые ежики —
Танцуют, обнявшись, таежники.
Весело тут и жарко им,
По палубе ножищи шаркают,
Душа их до жизни жадная,
А жизнь словно палуба шаткая,
Бродячая жизнь, бескрышая,
Им лишь пароход передышкою...*

Так запомнилось. Записалось.

А еще записался разговор со штурманом Мироновым, который тот пароход вел. Он-то первый и поведал про деда своего Василия Афанасьевича, веселого, удалого человека, руководившего артелью. Когда пароход на стапеля ста-

вить, по отзыву штурмана Миронова, нужны руки, ворот да русская «Дубинушка». Вот дед Миронов и запевал ее, да так, что слышали окрест и говорили: Мироновы работают...

Сын его, Афанасий Васильевич, участвовал в революции, водил ледокол «Байкал», который сгорел от снаряда колчаковцев. Потом Афанасий Васильевич водил другой пароход до самой аж Отечественной, пока глаза не стали плохо видеть. И передал дело сыну. А внук Василия Афанасьевича, тоже Василий Афанасьевич, начал тут плавать матросом с довоенных лет. И до сих пор плавает.

На другой день мы сидели, как водится, за бутылочкой, за омулевой ухой, которую подали, конечно, не сразу, а по существующему ритуалу, после определенной выдержки да разговора.

Разговор опять же вокруг Байкала. Как та серебряная монетка, то ярко проблескивал, то погружался в глубь времен и мерцал оттуда едва-едва.

— Родился я в Листвянке, — начал Сергей Афанасьевич, положив темные крупные руки, с пальцами в узлах, на белую скатерть, которую в честь гостя постелила на стол его жена. — Родился тут, тут и умирать буду. В сороковом, когда стукнуло мне восемнадцать годков, на клепке ледокола «Байкал» покалечился... А работать пошел с двенадцати лет. Глаз, значит, повредил, двадцать пять процентов зрения стало, а потом и они сплыли. Это я про левый глаз говорю. Но и на правый повлияло. А руки, это мне вывернуло во время шторма на пароходе «Ангара». Логинов, с которым вместе плавали, знает. Но акта я тогда не составил, дурак, молодой был...

Ну а про деда, знаменитого Миронова, что сказать: работал он кузнецом на судостроительном в Листвянке. В войну, так случилось, послали их за деньгами в Иркутск на лошадях. Они подзаложили на дорожку, да и вывалились из кошевки, а были они в тулупах. Проспались на снегу, но застыли, деда разбил паралич. Десять лет еще прожил и умер.

О силе же его ходили легенды. Скат паровозный, колеса с осью, около тонны, он брал на грудь и с пути на

путь переставлял. А кувалдочкой, мы ее «понеделником» зовем, сто пятьдесят ударов за один заход... Один так мог! Ну а иногда пятак медный возьмет и «фигушку» сделает: двумя пальцами держит, а третьим, большим, проминает. И мне протягивает: «На-ка, выправи обратно». Да разве выправишь? Гнул он подкову одной рукой, а гвоздь, сотку, кулаком в дерево загонял.

Пили же они так: приедут с лесничества, с Усть-Баргузина, и четверть на стол, а в ней три литра... На троих... Но пьяные не бывали.

Сергей Афанасьевич полез в комод, стал искать дедову фотографию, не нашел. Достал отцовскую: крепко скроенный высокий мужчина, чуть вытянутое лицо, седые усы и крошечные иголочки глаз. Но характер мионовский виден сразу.

— Был метр восемьдесят семь, как и я, — подтвердил хозяин и убрал карточку в альбом, а альбом в комод. — Сто пять килограммов веса.

И сразу же, без перехода, про свою семью, про дочку, которая тут в Баранчике работает, да про четверых сыновей: один учится на юриста, второй военный летчик, третий, неродной, научный работник, астроном, а вот четвертый... Александр, Сашка... Золотые руки, музыкант, да говорить о нем стыдно. Пьет и хулиганит. Раскидал детей по белу свету, а сам получил два года условно за многоженство. Работал завклубом, а там девок много. Да еще художник. Да еще музыкант... Как говорят, первый парень на деревне.

— Я и сам употребляю, — признался Сергей Афанасьевич. — Отчего не употребить, когда отработаешь и отдых душе нужен. А вот вчера с вами встретились, я был чист, потому что сантехник, работа такая... Отопление в пожарке переделываем. Там у меня четыре человека, подчиненных... Они про меня знаете как говорят? «Вредный». Иду на работу и слышу: «Вредный пришел». А я им в ответ: «Вас, дружочки мои, посадить бы на наряды, вы и на хлеб не заработаете!» Велели им батарею переставить, полтора рубля по расценкам, а они вчетвером с той батареей второй

день возьмется, ее замучили и себя тоже... Но еще и сегодня сходил посмотрел: не сделали. Пятнадцать копеек на душу! Вот им цена! А почему? Да лень раньше их родилась. То они за бутылкой понесли, то на моторке за рыбкой или еще куда... Тогда я встаю и молча их дело делаю. Они посиживают, а я делаю. Они опять же смотрят, а я делаю. Им ни слова. Ноль внимания, кило презрения. Будто и нет их. Тогда совестятся: «Афанасьич, давай подмогу». А я не гордый: бери инструмент, кто ж тебе не дает.

Вот так мы и работаем, москвич! Ну, они молодые. Мне-то, пенсионеру, зачем это нужно? А вот зачем: проводили меня, от профсоюза тридцатку сунули... «Все?» — спрашиваю. «Все», — отвечают. Тогда я говорю: «Это что же, за сорок лет и еще два года бессменной работы? Или — на похороны? Тоже маловато... Хоть на венки добавьте!»

Директор порта у нас новый, он меня не знает, я к нему и не пошел. А у старого директора шкипер сгорел в пьяном виде... На судне... от буржуйки... Еще один за борт по пьянке свалился, утоп... Ну, директора и сняли. А пенсию мне положили сто одиннадцать рублей, да старуха шестьдесят приносит, живем. Еще сынку помогаем, который на юриста учится, со стипендией туговато там... И нам туговато. Но пока руки-ноги гнутся, надо помогать... Как нам дед-отец помогали...

И снова колесо воспоминаний повернулось к прошлому, пройдя зубчиками годов по всей биографии Сергея Афанасьевича, что-то зацепив, а где проскочив мимо.

Сам он куда как горяч: встанет, сядет, а то подскочит и руками размахнется. Характер такой беспокойный: болеет за все.

Плянет в окошко на Байкал и полезет в комод фотографию искать или вырезку из газеты... И понятно становится, что заводной, и не простой, и не легкий человек. А «вредный» потому, что совесть у него.

— Дед по старинке, как я запомнил, «Александровский централ» любил петь, а еще «Дубинушку»... И отец такой же, в деда. Омuleвую бочку на сто пятьдесят килограммов поднимал...

А все дед, приучил с малолетства бычка таскать. Каждый день вокруг двора. Поленится, так дед его наругает или накажет. А потом, как быку четыре года исполнилось, не поверите, отец к нему подходит, подлазит под него и на горбушке волокет, только ноги у быка болтаются... И бык, вот что занятно, привык, чтобы его таскали: с утречка уже трется возле крыльца, мычит, зазывает...

Работал же отец боцманом и водолазом на ледоколе «Байкал». На том самом, который Колчак сжег в восемнадцатом году. А как сгорел ледокол, ушел батька в партизаны. Ему голову в собственном доме хотели отсечь клинком, да только поранили. А мать-то скорей оружие в прорубь, а ево самого в тайгу...

Это все в Листвянке было. Первое задание в партизанах, как он рассказывал, взорвать вагон с динамитом, что тут, в порте, стоял... Видите рельсы? Как раз на них... Около моего нынче дома...

Сергей Афанасьевич распахнул окошки и, высываясь, показал то место, где это происходило: «Прям тут, на рельсах».

— Кудашов, да Банков, да отец... Ночью, значит, на лодчонке из Листвянки перебрались через Ангару и залезли на гору. Подползли к краю и сверху гранатой... Как шарахнут! Половину станции от взрыва как корова языком... А я-то все знаю от матери, которая рано померла. Сам же отец не любил много говорить. У него, к примеру, шрам через весь лоб, на фотографии ево не видно, а я-то спрашиваю: «Чем это вас, Афанасий Васильич, резануло?» Я ведь одно время, мальцом, у отца в подчинении работал, по имени-отчеству ево звал... На работе удивлялись, мол, батю как чужого кличет. А он-то ближе к пенсии начальником цеха на судоремонтном, а я, значит, клепальщик. Так я уважительно про шрам-то и спрошу, а он, как вспомнит что, потрогает пальцами и буркнет: «Было». Одно словечко и произнесет, мол, было. А что было-то? Такой-то у наших стариков характер. Соберутся, значит, они в перерывчик в курилке — Банков, да Басько, да Захарский — и вспоминают меж собой, а я-то из уголка и слушаю. Да не дыша,

чтобы не увидели: сразу погонят во двор. Вот и считай, я не только железные заклепки, а на память такие заклепки наклепал, что на всю жизнь хватило!

Учился у стариков, как дело делать, и еще боле — как человеком стать. Они хоть и неученые люди, однако высоко себя держали, знали свою гордость. Все в них было в самый раз...

А вчера у меня сварщик-то сбежал похмеляться и второй день нету. Старики себе позволить такого не могли. А я хоть с одним глазом, но встаю на его место и варю. В прошлом годе на теплоходе труба лопнула ночью. Где сварщика взять? Ко мне опять же пришли, и я сварил...

В чем тут дело, спросите? А в сезонной работе. Механики у нас теперь молодые, летом плавают в охотку, и сто процентов идет. А зимой — тягу! Потому что зимой восемьдесят процентов, и бегут... Кто учиться, кто жениться... Кто в отпуск — на Кавказ... Ремонт ложится тогда на плечи старичков, таких, как я. Да пока тиха погода-то, дизеля еще тянут. А как шторма ударят, по осени, того и гляди... Где чево нарушилось да полетело!

Тут Сергей Афанасьевич перекинулся на местного кладовщика Дремина, от которого уже десять дней не может добиться баллонного газа.

— Пока его с женой, с Дремихой, значит, бутылкой не отмажешь, не получишь. А без газа-то трудно, дома без печек построены. Вот и выкручивайся! Жена моя, Марья Григорьевна, психанула да письмо в Баскомфлот написала. Сама она сорок лет в торговой сфере проработала, в Листвянке и в порте... И завпекарней, и рестораном заведовала, в магазине трудилась. Где прорыв, туда и совали. Да ее и сейчас зовут. Но руки у ней болят, ревматизм замучил. Надо бы денег скопить, на курорт съездить. У нас по привычке любят кричать, что торговля — это воры...

Сергей Афанасьевич сердито руками замахал.

— А Григорьевна сорок лет оттрубила в торговле, и чисто у ней. А Дремов с Дремихой, она у него отчет ведет, а он кладовщик, чево только не тащат! Я у него выписал для дела десять литров ацетона, а отпустил он только шесть...

Расписался-то я за десять! Куды, спрашивается, он четыре литра девал? И с бензином тоже. Для работы у него нет. А как левак, за бутылку хоть бочку нальет. Вы спросите, почему же молчат? Непонятно, да? А потому, что газ, да тес, да горючка... Все у него. Кто же захочет ссориться?

Сергей Афанасьевич вконец рассердился, даже рукой махнул, ушел к окну. За окном уж вечерело. На Байкале вечера долгие, сумерки не гаснут до полночи, а вода тускло серебрится, и смотреть можно бесконечно, как меняются цвета, от серебристо-блестящего, будто рыба чешуя, до бездонно-синего, потом ночного, аспидного: чернь по серебру.

В белой сорочке, ссутулившись, стоял Сергей Афанасьевич у окошка и молчал. А мы его не тревожили, и жена шепотком: «Пуцай отмолчитя. Уляжется, успокоится... Времени у нас много...»

Она же протянула мне несколько исписанных листков, вырванных из общей тетради.

— Тут факты изложены, — сказала.

А Сергей Афанасьевич от окна произнес:

— Вот, домики наши... Они же на сваях построены. Под ними же Байкал плещется! Ево через пол слышать... Ну, пока молоды, можно где хошь жить. А дальше-то что? И с портом — тоже... Ево то откроют, то закроют. Когда Транссибирская здесь проходила, он сильно процветал. А потом железку выпрямили, и мы не у дел оказались. Дома в Баранчике и Молчалинской Пади на дачи распродали, иркутяне их задарма скупили. Начальство, что ни день, новое. Их тоже лихорадит. Они и про себя ничего понять не могут, не только про нас... Вы когда в Иркутске-то будете, расспросите, пусть сообразят, тогда и нам легче станет!

О жизни с кем ни поговоришь, всякие болячки вылезают. А уж Мироновы-то, с их беспокойным характером, да чтоб не выложить приезжому всего, что накипело? В их понимании любой, проживающий в Москве, какая-никакая, а власть.

А письмо, с разрешения Мироновых, я списал на память, передав оригинал по назначению, не очень-то уверенный, что будет какой-то результат.

Никакого результата и не было.

Привожу письмо, не изменив ни слова.

«К вам обращается с жалобой жена Миронова Сергея Афанасьевича, пожалуйста, хоть вы обратите внимание, если у вас есть коммунистическая совесть. Я писала в Баскомфлот, но ответа не получила. А председатель местного комитета порта товарищ Якунин он на моего мужа недоволен, что работал на своей вахте без механика, они закрывали его подлые поступки, что часто уходил с дежурства с вахты, хоть и механик, и спал дома пьян и ездил на рыбалку по многу часов... И он сказал на моего мужа: я тебе отомщу, выгоню на пенсию. И сделал. За то, что муж сказал вахтенному кочегару Еремееву, что зачем отпускаешь механика на рыбалку, а они его, значит, на пенсию.

В октябре ему исполнится пятьдесят пять. Всех граждан провожают с почетом — и как ветерана, и как инвалида войны, и как инвалида труда. Взяли его в армию с одним глазом зрелости 25 процентов, а другой глаз 75 процентов. В боевых сражениях он мало участвовал, а служил в стройбате. А его отец был комиссаром в отряде красных, его два раза ловили, и капелевцы по 25 розог дали и убить хотели, но товарищи его спасли. И он участвовал в защите родины. Был тяжело в голову ранен клинком колчаковцев и снова поправился и сражался за нашу родину.

Муж мой не смог вступить в партию, потому что не мог прочесть и выучить устав, не имея ни одного класса, и все потому, что детство было тяжелое и мать болела. А мой муж старший был в семье и с восьми лет пошел работать. Кому дров наколоть, кому уборную почистить, то там дадут хлеба или крупы, он несет домой мамке, и еще трое младше и все живы: две сестры главные бухгалтеры, а брат младший капитан водного транспорта. А мой муж с моей помощью стал помощником механика...

Я как вышла замуж, стала его учить читать и писать, а практика на механика в его была сильная. Он с 12 лет на водный транспорт пошел работать, помогал сварщикам на разных работах, где ученик слесаря, а где куда пошлют. Наконец стал работать у своего отца помощником котельщика,

и при исполнении работы клепами на судоверфи имени Ярославского на судном борте отлетел металлический клеп и выбил ему глаз.

При хорошей внимательности хирурга глаз был восстановлен, но только на 25 процентов зрелости, и он продолжал работать как инвалид второй группы, а капитан Марфин взял его плавать на судно. Был он старшим кочегаром на «Ангаре», отвечал за все смены кочегаров, которые были одни девушки, потому что мужской пол ушел на войну.

А потом и сам ушел на войну и до сорок шестого года в декабре служил и в последнее время в танковой части по наводке орудия. А как служил, был до того связистом, копал окопы, охранял границу, где стоял на посту и простыл и был очень болен, получив мокрый плеврит легких, и проболел почти год в госпитале. После того сражался с Японией, был ранен в голову и в ноги рикошетом. А в сорок шестом вернулся и стал машинистом, а потом вторым помощником капитана, а до ухода на пенсию работал на бункербазе в порте Байкал...

При исполнении работы на судне «Ангара» при шторме упал сильно с лестницы, и получилась травма рук, их выбило из суставов в плечах, что неоднократно устанавливали врачи с помощью наркоза. Всего двенадцать раз принимал наркоз и снова вступил в строй своей работы.

На пароходе «Бабушкин» был машинистом, и при аварии антинакипином с котла выбило пробку и сильно пожгло все лицо, и вся на голове шапка меховая сварилась, и снова обожгло глаза.

Он лежал в областной больнице около года завязан и ничего не видел. Потом стал понемногу отходить в темноте и стал видеть как через сетку, вдали народ не различал, кто там стоит, мужчина или женщина. Спасибо Ф. Кабинецкому, он один глаз установил на 50 процентов зрелости, и до сего времени трудится с этим процентом глаза.

Всех рабочих провожают с большой датой на пенсию или отмечают юбилей, а ему ни то ни се. 42 года потрудился и сейчас продолжает, хотя два раза был на курорте, ноги отнимались, и была еще малярия. Он на свой счет купил

путевку и уехал лечить ноги на курорт Учум. А второй раз с бронхитом, который у него после плеврита в 43 году.

Сейчас здоровье плохое, одышка, чуть остынет, на ровном месте задыхается, а ведь стыдно и обидно ему это. Товарищ Кузьменко, начальник порта, дал на проводы 30 р. Как будто поторопились, на смерть и то больше выделяют, кому сто и больше, чтобы оградка была и памятник, и все бесплатно. А он пока живой и трудится, преодолевая свои боли.

А я как жена получаю махонькую пенсию, болею ревматизмом всех ног и рук всех суставов. Мы с мужем имеем четыре сына и дочь, на них никто ничего не давал, всегда говорили: твоя жена продавец, обойдется. И квартира была частная. Сейчас только и пожить, и жильем мы обеспечены, и два телевизора, и ни один не работает. А Байкальск часто вообще не показывает, и газ трудно получать. И в квартире холодно летом, а зимой тепло, потому что водное отопление. А летом холодней, чем зимой. А еще и варить не на чем, потому что газ не подвезут, а печей нет.

А на днях мужу местный комитет выделил три метра ковровой дорожки без очереди на наличные деньги и грамоту и более ничего. Будто он нигде не работал и не болел, неужели он не заработал от месткома на курорт бесплатный? Ведь жить-то охота, 55 лет всево, а человек не живет, а существует, а ведь стыдно от детей своих, что их отцу от ворот поворот сделали.

Память, что прожито и что оплатили человеку как ветерану, как труженику в машинном отделении, где уголь, соляр, мазут, — все газы легли ему на легкие, на глаза и на всю его жизнь...»

Прощаясь с портом, на теплоходе до Листвянки, а потом до Иркутска, бросил я в воду деньги, чтобы, как сказал Сергей Афанасьевич, когда-нибудь сюда вернуться. Не как в море, с берега горстью, а лишь одну серебряную монетку...

Бросил и смотрел, перевешиваясь через стальные поручни теплохода, как тонула она, и не могла утонуть, и долго светилась в прозрачно-сумрачной воде. Сперва ярко, потом затуманенно, и таяла, таяла, угадываемая на недосягаемой глубине, пока вообще не исчезла.

Не так ли и чья-то другая жизнь?

Было это много лет назад. На Байкал я с тех пор не приезжал ни разу. И монетка не помогла. Но все думаю: а как там Мироновы? Их образ угасает, но еще светит мне из глубины прошлого...

Живы ли? А если их уже там нет, как без них Байкал?

Грузовичком пробивались мы среди заснеженной тайги по зимнику к Усть-Илимску, съезжая временами прямо на Ангару и обходя черные промоины, чтобы не свалиться под лед. И вдруг навстречу лошадь с санями и без седока. Понуро так бредет сама по себе. А через километр или два и человек на дороге в тулупе, пьян и спит. Выпил, бедолага, у свата в соседней деревне, да и прикорнул и не заметил, как выпал из саней. И лошадь не заметила. Бредет, а куда бредет? Ну, встали мы, осмотрели мужичка. Целе-хо-нек! Даже не проснулся. Похрапывает. И хоть тяжел, да еще с тулупом-то, перетащили мы его в сани, положили на соломку, прикрыли брезентом, да и пустили снова по зимнику... Лошадь-то не пропиалась, привезет прямо к дому.

— Спи, мужичок, — сказали. — Твоя лошадь-Россия давно плетется без тебя, не догадываясь, что ты по пьянке выпал и где-то околеваешь на дороге... Сам, значит, по себе...

— Не трожь мужика! — кричат из-за стола. — Не т-р-о-жь... Он корень жизни... Да! Да! Основа всему!

— Не трогаю, — отвечаю. — Без мужика-то куда... Вот, помню, собрались аграрии... А-л-е-сь? Ты — здесь?

Алесь даже рюмку отставил, насупился. Осуждает за такой несерьезный тон. Не все же спились, бабы остались... Да и кто-то еще из старичков!

— Да ладно, — говорю. — Не мы же первые... По той винной дороге... А за вино — чья вина? Потом ведь распишут в печати, мол, книжку с пьяных глаз накатал, и пьют, и пьют... На каждой странице... И без того знаем. А напоминать-то зачем?

Не слышат, а стишки читают... Водка — яд, от водки деревни горят, так заливайте водку себе в глотку...

ТАНЕЦ МАЛЕНЬКИХ УТЯТ

(«Лев Толстой»)

На Новый год поставили в столовой елку, но не такую роскошную, как прежде. Когда-то зал Дома писателей в Дубултах, под Ригой, украшала густомохнатая красавица, ростом под потолок, вся в золоте и серебре и в гирляндах из мигающих лампочек.

Изменилось время, и елка, и игрушки на ней, и даже лампочки — все побледнело и как бы потускнело. Упростилось, мягко говоря. А обычный ансамблик старичков пенсионеров, помнивших мелодии своего времени, знавших танго и фокстроты тридцатых и сороковых годов, заменили на громкий магнитофон... Но дух праздника сохранили: были приглашены Дед Мороз со Снегурочкой и с Микки-Маусом, которые принесли мешок подарков, купленных на деньги, собранные заранее.

Дед Мороз был весел, много и в духе времени острил по поводу цен на продукты, а Снегурочка, статная женщина с большими грустными глазами, с удовольствием водила хороводы и увлеченно пела детские песенки. А Микки-Маус был в ярко-красном костюме и всех потешал своими прыжками и кульбитами. Моя Маша, дочка, как к нему прилипла, так и не отходила до последней минуты, пока он, проделав переворот через голову, прощально не воздел руки кверху и — исчез, к огорчению всех детей.

Мамы, папы, бабушки, и дедушки, и всякая другая публика сидели вдоль стен, по кругу, и как бы соучаствовали в празднике, не сходя с мест, они аплодировали Деду Морозу и любовались на своих малышей, особенно когда они бросились танцевать танец маленьких утят.

Многолетней давности танец и вроде бы вышел из моды, но дети по-прежнему его любят и танцуют до сих пор. А хорош он тем, что там надо изображать маленького утенка: приседать, подпрыгивать, скакать по кругу и трепыхать руками, как крылышками... В общем, удовольствия полный рот.

И я сидел и смотрел среди остальных и вдруг вспомнил свою первую поездку за границу. Огромный пятипалубный теплоход мощно резал стальным носом воды теплых морей, направляясь от Одессы к Риге, а мы танцевали...

Каждый вечер оркестр молодых ребят, опрятных, улыбчивых, музыкальных, уж в такие круизы брали самых-самых, не просто лабал, а превосходно импровизировал на тему любимых мелодий. Особенно в моде была тогда эта, итальянская, про маленьких утят.

И все окунались в чуть смешной и трогательный танец, а я сиживал за столиком, заказав чешское пиво (тоже роскошь, но не в круизе), посматривал на своих танцующих приятелей и все не верил, что я и вправду прорвался в загранку, пусть она ограничена, в большей части, палубой этого судна. В памяти прокручивались последние часы перед отъездом, от которых пока не мог опомниться. А руководитель нашей писательской группы Дима, которого можно было бы презирать за дурную прозу, не будь беззлобным и «своим» он парнем, подходил и все спрашивал: «Почему не танцуешь? Тебе хорошо?» На что я односложно отвечал: «Спасибо. Любуюсь. Мне хорошо».

Дима-то немного знал, а может, догадывался, что мне пришлось пережить, чтобы теперь так посиживать и делать вид, что мне тут хорошо. Хотя мне и вправду было хорошо.

В ту пору меня еще не было велено пускать за рубеж, но вдруг разрешили. Что-то там нарушилось в хорошо

смазанной машине специалистов по нашим жизням, и она дала осечку. Но Союз писателей, бывший издревле филиалом той машины, не дремал, он сделал все, чтобы никуда я не поехал.

Ну представьте, в субботу поезд уходит в Одессу, откуда на следующий день теплоход «Лев Толстой» отчалит в круиз вокруг Европы, а в пятницу в три часа дня тебе звонят в Переделкино (за тридцать километров от Москвы) и сообщают, что «пришло разрешение». Только нужно внести в кассу деньги (две тысячи рублей), а касса в Измайлове, в туристском комплексе, какой-то там корпус... «Их, в общем, там много, корпусов, но вы найдете. И работает касса до пяти, но лучше там быть пораньше, потому что пятница — предвыходной день... Поторопитесь».

Ничего себе «поторопитесь», что у меня, личный самолет, что ли? И уж точно разрешение пришло вчера или позавчера и его выдерживали до последнего, чтобы потом сказать: как же, он сам не поехал, мы-то старались, искали его, звонили...

Иезуитство, тончайшее, изобретательное, было характерной чертой Союза писателей. Это все знали. Так я подумал и еще подумал, что никакой мне Европы никогда не видать. Но вдруг решил попытаться перебороть судьбу. Знал, что хуже не будет. Надо только на машине, слава богу, она под рукой и заправлена, и даже на ходу, доехать до центра, взять деньги в своей кассе, а потом махнуть в Измайлово...

Доехал, если не долетел, и гаишники не остановили (тоже везение!), и в кассу народу не было, так что деньги дали сразу, и за то спасибо. Отсюда я взял такси, пообещав водителю двойную плату за скорость... Сидя в такси, высчитывал минуты, и получалось, что могу успеть, если найду нужный мне корпус... Ведь везло же до сих пор — знак, что повезет и дальше.

Измайловский международный центр, где я никогда не бывал, огромен. Я обежал несколько высотных корпусов, и никто о моей кассе даже не слыживал. Минуты, отпущенные судьбой, между тем иссякали.

Наконец я разыскал ее в ряду остальных, в последнем гостиничном корпусе, на каком-то седьмом или восьмом этаже.

Я просунулся в окошко, которое было прикрыто... Часы показывали без восьми минут пять. Сердце барабанило от такого шального гона в ушах, и я сам не расслышал собственного голоса. «Я... вот... деньги... За круиз...»

И услышал ответ, именно тот, который мы всегда ожидаем.

— Рабочий день закончен, приходите в понедельник, — бросила на ходу девица, собирая в сумочку вещи. На меня она не смотрела.

— Но у меня завтра отъезд...

— А чего тогда ждали? Не могли с утра прийти?

— Не мог...

— А я сейчас не могу.

Привычное, в общем, положение, когда находишься в позе просителя, желающего умолить, умилоствивить, задобрить. И голос сразу становится такой елейно противный, если послушать со стороны. Моя бывшая жена говорила, что он напоминает ей голос мужчины, который играет в китайской опере женщину...

Но знак везения мне был, и я, отчаиваясь и униженно склоняясь к окошечку (да они и сделаны таким образом, чтобы ты ему поклонился), чего-то ждал — и дождался. Помощь пришла с неожиданной стороны.

Женщина из соседней кассы, подкрашивающая перед уходом губы, произнесла, глядя в зеркальце:

— Да возьми у него, Зин... Все равно еще деньги не сдавали.

Зина впервые, кажется, взглянула на меня и, наверное, поняла что-то, а может, мой ангел-хранитель положил ей в это время ладонь на задубевшее от паскудной жизни сердце, и оно чуть оттаяло.

Она отложила свою сумочку, глянула на часы, было без одной минуты пять, и сказала:

— Давайте уж... — Потом добавила: — Только учтите, в другой раз не возьму!

— Конечно! Конечно! — заверещал, забулькал, затренькал благодарно я, издавая самые нежные любовные звуки. — В другой раз не опоздаю. Честное слово! В другой раз я... Но такое спасибо! И вам! И вам! И всем!

О господи, какой там танец утят в круизе, когда по сто раз передумывал, переживал все это, и, представляя, как я выглядел, я ненавидел себя за себя же такого.

Да, конечно, чудо свершилось. Я сдал деньги, собрал вещи, попал на поезд — тоже проблема, но не такая, не такая — и на теплоход... И целый месяц (ах, видела бы кассирша теперь мое лицо!) я плыву вокруг Европы... Той самой, недоступной, потусторонней, запредельной и навсегда от меня отрезанной, которая в одночасье стала моей.

И хоть плыли мы больше, чем стояли, и даже когда стояли, мы видели Европу со своей палубы, а не с берега, на который нас выпускали организовано и не очень охотно... Но... Но... Но...

Небо, воздух, солнце и вода Европы. Это ощущалось кожей души.

— Почему не танцуешь? Ну, тебе хорошо?

— Спасибо. Любуюсь. Мне хорошо.

Дима не зря подходил: он был нештатный стукач и любил выпить на халяву, и мы ему ставили. Пусть за эту поездку, в отличие от нас, он заплатил лишь треть цены именно потому, что руководитель. Но мы знали, что в конце круиза он будет писать на нас так называемые характеристики, по сути доносы, от которых зависит многое другое. И дальнейшие поездки...

Поселили нашу писательскую группу, впрочем, как и литовцев, и братву из Союза журналистов, в каютах четвертого класса. Что это означает, мы узнали лишь на теплоходе, когда спустились на четыре этажа вниз и увидели железные каютки-пеналы без всяких там иллюминаторов и других удобств. Днем мы еще могли пребывать на палубе, ночи же превращались в сплошную пытку.

Мы задыхались в наших жаровнях, четыре человека, всунутых в духовку размером с кузов легковушки, хотя спали, распахнув двери в такой же душный коридор.

А вскоре мы стали хранителями одной из самых строжайших тайн, о которых обычно знает весь мир, кроме нас самих. Тайна была такая: судно наше хоть и туристическое, но построено так, что в случае войны могло сразу стать десантным кораблем, а самая нижняя его палуба, якобы предназначенная для автомашин, на самом деле должна доставлять танки. А это значит, что и наши железные коробки-каюты создавались вовсе не для путешествий писателей, а для десантников, которым окошки и впрямь ни к чему. Меньше пуль залетит!

А вот к нам сюда залетал звук радио... И долетал. И был здесь всегда. И не было от него спасения. Я говорю о трансляции радио. Родившись на свет не без Божьей помощи (первым было СЛОВО, и это было звучащее слово: ЛОГОС), звук скоро заполнил собой наш довольно емкий мир и как бы зажил в нем своей собственной жизнью. Улицы, машины, самолеты и, наконец, радио во всем своем многообразии терзают наш слух, где бы мы ни находились. Даже на таком теплоходе, как этот, посреди океана. Здесь радиофицирована каждая каюта, каждый коридор, ресторан, палубы... И где бы ни пребывал, ты не можешь не знать обо всем, что тебе воткнут насильно в мозги: последние известия, музыку, распоряжения по судну, приходящие радиogramмы и тому подобное.

И нет этому звучанию (зз-в-у-у-уччч-а-ннн-и-ю-ю-ю!) конца.

В один из дней, когда смотреть с палубы было не на что, а пить водку уже не хотелось, я потратил время, от сна до сна, чтобы обойти все закоулки нашей громадины, нашего чудовища и попытаться найти любое помещение, куда бы не проникал ЗВУК. Скоро я понял, что это бессмысленная работа: ЗВУК был ВЕЗДЕ. И лишь к вечеру, вымотанный пустыми поисками, я таки нашел единственный уголок, комнатку для пинг-понга, куда ЗВУК проникал, но проникал не так громко.

Я прилег прямо на пинг-понговый стол и лежал, наслаждаясь почти тишиной. Какое это было блаженство — ничего не слышать.

«Ну, тебе хорошо?» — «Спасибо. Мне хорошо».

Правда, из-за этого я пропустил запрет, переданный в одном из приказов по судну, на приготовление чая в помещениях и каютах при помощи кипятильника. Мы все ими тут пользовались. Я не говорю, что это несправедливо: как раз в это же время на Дальнем Востоке от такого кипятильника сгорел какой-то корабль.

Но и тут все было сделано не по-человечески: воспользовавшись отсутствием пассажиров, которые были на берегу, у нас обшарили багаж и изъяли из сумок и чемоданов все огнеопасное, с их точки зрения.

Практически же это был давно мне знакомый лагерный шмон в самой что ни на есть грубой форме. На международном языке это, кажется, называют насилием над личностью. Но никто, представьте, ни один из пятисот пассажиров, среди которых, наверное, были «личности», не запротестовал, не устроил скандала. Привыкли. Хоть и теплоход, но крошечный островок родины... А как на родине без лагерных привычек и без шмона?

Да и круиз, если посудить, каждому из этих пятисот, в том числе и мне, был дан как некая милость сверху. Захотят — еще дадут, но могут ведь и не захотеть...

Руководителем круиза числился какой-то казах из алма-атинского «Интуриста», этакий породистый хряк с манерами уличного шашлычника. Впрочем, национальность тут ни при чем. Скотов хватает и среди русских. И я согласен с определением моей жены, утверждающей, что у торгашей, как и мафиози, национальности не бывает... Все они практически международные уголовники, которых разыскивает (или не разыскивает) Интерпол.

Но хоть нам и представили казаха как руководителя круиза, мы быстро доперли, что на самом-то деле руководит вовсе не казах, а полковник органов безопасности, моложавый и улыбчивый мужчина в спортивной одежде.

Вот вам, кстати, и ключ к загадке, почему нас так шмонали.

А сидел полковник за отдельным столиком и был как бы от всех в стороне. До поры, конечно, пока не случилась накладка с казахом, когда тот во время переговоров с фир-

мой (а переговоры происходили почему-то при каждом нашем прибытии в порт и подолгу) надрался до беспамятства за счет той фирмы и его на глазах пятисот человек, прозябавших на палубе в ожидании берега, стали поднимать на борт при помощи всяких механических средств: кранов и лебедок. Сам он был, как говорят, нетранспортабелен.

Это произошло в испанском порту Валенсия. И было понятно, что руководитель круиза ведет себя не так, как должен вести советский человек, представитель великой державы в этом чужом и буржуазном мире... Он рыгал, будучи подвешенным на тросах, и все порывался прыгнуть из люльки в воду. А под конец стал грязно материться и грозить нам, смотревшим на него сверху, кулаком. Впрочем, досталось и испанцам, и порту, и Валенсии... Которых он тоже обматюкал.

После этого случая казах словно испарился, некоторые утверждали, будто его ссадили в ближайшем же порту и отправили в родной Казахстан авиабагажом. На самом же деле он сидел под домашним арестом весь круиз, и одно это доказывало, что на судне есть некто, кто имел власть куда большею, чем наш провинившийся.

Руководство круизом, как и полагалось, взял в свои железные руки полковник и довел теплоход до конца, то есть до Риги. И никто, представьте, не сбежал, никто нигде не попросил убежища, даже непутевые литовцы, которые как бы заранее подозревались, причем все сразу, в потенциальной измене родине. Их в Одессе шмонали особенно тщательно.

Вот только о какой родине идет речь?

Кстати, в Гамбурге у них оказалась масса родственников и земляков, которые собрались на пристани и громко приветствовали, а потом волокли им подарки. Я еще тогда подумал, что, наверное, не сладко быть в Советском Союзе литовцем, но совсем при этом неплохо иметь родню за кордоном. У нас же никого нигде не было. Но были выходы на чужеземный берег.

В основном же судовые чудо-винты добросовестно перемалывали океанскую воду, и где-то в десятке всего

километров, так хорошо просматриваемая, миновала Греция, а мы, как мыши в консервной банке, жили вполне советской жизнью.

И если отрешиться от того, как должно на самом деле быть, если бы все делалось как надо, мы оставались даже довольными нашей круизной жизнью.

И на вопрос: «Ну, тебе хорошо?» — я мог бы с чистой совестью ответить: «Спасибо. Мне хорошо».

Нам хватало впечатлений и без разных там стран. Плы-вешь себе, а тут по курсу натовские военные корабли, и все мы высыпаем на палубу, чтобы увидеть лицом к лицу своего, как нам внушали, потенциального врага.

Или в Стамбуле: стоим полдня у причала, пока казах (это было самое начало плавания) торгуется и пьет горькую. А делает он это не торопясь, потому что ждет от фирмы подарков... Так вот мы ждем и торчим на палубе, а на берегу дом высотой как раз с наш многоэтажный корабль. Оттуда, из окон, выглядывают ихние люди, турки, и смотрят на нас, а мы смотрим на них. Так и пялим друг на друга глаза, пока им первым не надоедает. А может, у них рабочий день закончился. Они закрывают окошки и идут по своим турецким семьям. А нас наконец-то выводят на берег, чтобы мы посмотрели Турцию.

А Турция — это захудалый ресторанчик, где полуголая девица очень виртуозно изображает танец живота. После чего нас возвращают на корабль и мы отплываем, считая, что достаточно ознакомились с одной из обозначенных в программе стран. Лишь кто-то произносит недоуменно, глядя на золотые, голубые и зеленые купола Стамбула: «И чего турки такие странные, что все танцуют танец живота? А что они еще умеют делать?»

Впрочем, как выясняется, трое с нашего теплохода сбежали от этого самого танца и попали в Святую Софию и сказали, вернувшись, что именно это надо было смотреть. А жирный казах и слыхом не слыхивал, что существует храм Святой Софии, и танец живота вполне на его уровне.

Так отбившиеся от группы говорили после отплытия, и тотчас на них стукнули... Смельчаков выдернули наверх для разговора, но ничего не добились: не пойман — не вор... были они на танце живота или не были, а может, они просидели в туалете этой забегаловки, доказать уже невозможно. Вот если бы их искали, а их не оказалось вовремя на судне... И дело замяли, временно, пообещав разных неприятностей по возвращении. Но я сам слышал, как эти трое сказали вслух, не путаясь стукачей, что плевать они хотели на такие угрозы... Вот если бы, побывав в Стамбуле один раз в жизни, они не увидели Святой Софии, это и правда было бы несчастьем...

А корабль плыл да плыл, а мы выплясывали под молодежный ансамбль, наяривающий с утра до вечера своих знаменитых «Маленьких утят»... Что нам Европа и все остальное... Лишь успевали прозвучать начальные ноты песенки, как первыми срывались с места наши отцы-командиры, успевшие уже поддать для пуцего веселья. Они хищно устремлялись на полукруглую эстрадку, поближе к оркестру, подхватив своих пополневших, но довольно игривых на отдыхе дам.

За ними, пританцовывая на ходу, следовали комсомольские вожаки из Одессы, валютные проститутки, входившие тогда в силу, и наши доморощенные стукачи. Постепенно вживались, вплетались в танец чуть замедленные литовцы, вечно опаздывающие журналисты и наши вяловатые письменники, с трудом оторвавшиеся от рюмки. Хлопал крылышками директор центрального московского издательства, занимавший каюту из двух огромных комнат с большими даже не иллюминаторами, а окнами и личной баней.

Все, все бросались с головой в танец, и подпрыгивали, и приседали, и трогательно взмахивали руками, изображая крохотных утят.

А в общем-то все мы были задействованы в танце, охвачены единым безумием самопогружения в эту ирреальную пароходную жизнь. Так, возможно, мы побесились бы в детстве, но, право, могло ли оно быть в нашем бедном дет-

стве, это диво дивное, чудо чудное, вышедшее из сказки о Коньке-Горбунке в виде кита, на котором плавала такая российская деревня...

И все это посреди такой же нереальной для северного глаза, ярко-фиолетовой, как химические чернила, средиземноморской воды.

Какая там к черту Европа, на кой хрен и кому она нужна, когда мы выдавали, с пристукиванием об пол подметками, свои искрометные «па»? Это и была наша Европа, все, что нам от нее осталось...

Впрочем, нет. Неправда. Не только это. Но ЭТО прежде всего.

Было кое-что, что станет для нас рождественским сюжетом, немного грустным и немного смешным. Но не страшным уж точно, как и положено в любой байке под Новый год. А все описанное выше принимайте как некий абстрактный фон, как пейзаж из окна поезда — дальние колхозные деревеньки с домами под соломой и ободранными колоколенками, которые тем не менее со стороны кажутся вполне живописными, даже привлекательными, если к ним не приближаться слишком близко.

— Ну, тебе тут хорошо?

— Спасибо. Мне тут хорошо.

Я же поведаю историю, которую бы назвал так: «КАК ТОЛСТЫЕ ВСТРЕТИЛИСЬ С САНЧО ПАНСОЙ».

По каким-то неведомым нам инструкциям, в правильности которых я нисколько не сомневаюсь, следовало на судне провести учебную репетицию на случай непредвиденной аварии. Нам объяснили, что по трансляции объявят для нас учебную тревогу и не надо пугаться, теряться или паниковать, а надо лишь побыстрее спуститься в свою каюту, отыскать там спасательный жилет оранжевого цвета, со свистком в кармане, а потом лететь стремглав на палубу, где нас будет поджидать спасательный бот.

— А свисток зачем?

— Ну, чтобы свистнуть в него, если и впрямь окажешься в океане, говорят, помогает. Посвистишь на

прощание, вспомнишь свою жизнь, которую так же вот просвистел...

Ну и понятно, что надо торопиться, на все дано пять минут до погружения в бот, которого на самом деле нет, потому что групп много, а ботов — раз, два и обчелся. Кто успел, тот и занял.

Остальные, по-видимому, свистят им вслед... На прощание.

Весь день мы протомились, ожидая «тревогу», а прозвучала она как-то неожиданно, когда стали о ней забывать, уже к концу дня. Все сразу запаниковали, бросились бежать не в ту сторону, а некоторые вообще в буфет. Я пытался найти свой жилет в каюте, но его уже кто-то нашел до меня, а я схватил чей-то чужой и успел еще подумать, что так, наверное, и будет, когда станем тонуть не понарошку. Только бардак будет еще больше.

Я бежал сзади за другими писателями, которые трусили по палубе, и тут обнаружил (для этого надо быть обязательно последним), что на спине каждого крупно написано: «ЛЕВ ТОЛСТОЙ».

Это было фантастическое зрелище. Я даже замедлил бег и замер от восторга: не каждый день можно увидеть сразу три десятка писателей, в жилетах со свистком, и все они до одного были Львом Толстым. Какая находка для нашей нищей литературы!

А Львы Толстые добежали между тем до места, где по всем инструкциям нас ожидал спасательный бот. Но его, как я уже объяснил, не было, и мы, потоптавшись на месте, побрели обратно в каюты, а некоторые снова в буфет.. Чтобы тяпнуть, значит, на радостях, что мы целы, а значит, и вся наша советская литература находится на плаву.

В нашей каюте жили четыре Толстых, все примерно одного возраста. Виктор — худощавый, смешливый, легкий на подъем, консультант иностранной комиссии по польской литературе. Еще один Толстой — башкир, известный поэт, чуть моложе остальных по возрасту, но по внутреннему ощущению почти старик, любитель поохать, пожаловаться

на плохой сон, на здоровье, на погоду... Он возил в чемодане мешочек всяческих лекарств и специальную тетрадочку с описанием болезней и средств, которые в каждом случае необходимо принимать.

Водку он не пил из-за диабета, «Утят» не танцевал из-за полноты и одышки, а в остальном был вполне покладистым спутником... Мы с ним даже потом переписывались и поздравляли друг друга по праздникам.

Третий Толстой был лысый и энергичный полковник в отставке Николай Николаевич, это все, что о нем можно сказать. Водку он тоже не пил, зато поднимался раньше остальных и делал на палубе зарядку, а после обливался холодной водой. В нашей компании он как-то не удержался, да мы особенно его и не приглашали. Он был не свой.

Не пригласили его прогуляться и в порту Валенсия, где мы стали на три дня. Делать там оказалось совершенно нечего. Программа была составлена на один день: музей керамики и местный рынок, остальное время все были предоставлены сами себе.

Был тут и свой крошечный базарчик, и мы могли подсчитать, что фрукты в Испании недороги, надо лишь обменять по доллару, и хватит, скажем, на пару килограммов винограда.

С долларами у нас было негусто. На весь круиз нам выдали по сорок девять долларов (то есть семь долларов на каждую страну), и если учесть, что приходилось доплачивать за музеи, и за путеводители, которыми мы очень дорожили, и за прохладительные напитки, как, например, во время пресловутого танца живота, то их оставалось и вовсе крохи.

В круизе вообще советских денег не полагалось, их заменили бонами, чтобы в корабельном буфете можно было купить себе водку или пиво. Наверное, кто-то посчитал, что Европа с жадностью набросится на русские рубли, стоит им объявиться, и тем подорвет нашу могучую социалистическую экономику.

Был случай на рынке в Валенсии: мы показали пожилому крестьянину, торговавшему фруктами, двадцать копеек, завалившиеся у кого-то из нас в кармане. Он с

интересом повертел монету и, видимо, решил взять на память, чтобы показать дома, а нам за нее отвалил три огромных краснощеких яблока. Все были довольны.

И все-таки мы решились: сложились по одному доллару и направились в здешнее отделение банка, располагавшееся в одном квартале от порта. Драгоценную ношу — три доллара! — мы вручили хранить Виктору, но при этом не отступали от него ни на шаг.

В банке висела табличка с обозначением курса валют, и там за один доллар предлагалось по пятьдесят песет — стоимость двух килограммов винограда. В окошке банка потребовали паспорта, которые у нас забрали в первый день нашего круиза. Для учета же сходящих на берег нам выдавались цветные открытки с видом набережной Одессы и памятником Дюка. На обороте стоял порядковый номер и фамилия. Эти открыточки мы и предъявили в банке.

Клерк, сидевший за окошком, долго вертел наши открытки, разглядывал памятник Дюка, потом скрылся за перегородкой. Когда он вернулся, на лице его было недоумение.

— Сеньоры, — произнес он с вежливой улыбкой, — этот документ мы не знаем. Здесь нет даже ваших фотографий. Из какой вы прибыли страны?

Мог бы и не спрашивать: перед окном во весь свой гигантский рост маячил наш теплоход. Да и кто, кроме советских туристов, мог менять три доллара и при этом предъявлять дурацкие открытки!

Мы указали рукой на теплоход, и он все понял. Но при этом сочувственно развел руками, возвращая нам Одессу с памятником Дюка:

— Простите, сеньоры, но обменять деньги мы не можем.

— Типичный бюрократизм, — сказал один из Львов Толстых, и мы вышли на улицу, на этот раз особенно ощущая свою неполноценность. Даже бесценные доллары, обладание которыми составляло нашу гордость, здесь не захотели брать.

Вспомнилось русское присловие, из другой, правда, жизни, но по такому же глупому поводу: «Что за странная

деревня, хлеба не на что купить!» Оказывалось, это можно произнести и в Москве, и в испанской Валенсии с равным успехом. А еще говорили: Валенсия! Валенсия! Европейская житница! Ну что нам Валенсия! Наша Валенсия — это теплоход «Лев Толстой», где хоть водку на боны продадут...

Может, поискать под ногами, ведь теряют же деньги?

Один мой приятель, практичный человек, когда впервые выехал за рубеж, в Югославию, но почти без валюты, наставлял свою жену смотреть под ноги. «Люди везде одинаковы, и везде есть рассеянные, которые теряют деньги». По возвращении я спросил его, как там насчет рассеянных. Он гордо заявил, что за восемь дней пребывания они дважды находили деньги. Небольшие, но хватило на дамскую сумочку жене. «А что вы там видели?» — спросил я его жену. «Мы ничего не видели, — созналась она. — Мы все время смотрели под ноги».

В Валенсии же, в порту, мы и столкнулись с одним из наших Львов Толстых по имени Миша Пляцковский. Совсем некрупный, но живой, даже боевитый (ах, как я обожаю это словечко, рожденное в мозгах комсомольских вожаков!), он писал хорошие песни и имел валюту.

— Что за проблемы? — произнес он на ходу. — Вон за углом банк, я только сейчас обменял там сто долларов, и никаких паспортов!

Он указал, где нам искать банк, и исчез, торопился реализовать обменные деньги. Мы со вздохом посмотрели ему вслед: сто долларов! Возможно ли представить?

Впрочем, у Миши была масса родственников: детей, теток, дядек, племянников и так далее, которых он должен был обеспечить. А я знал двоих писателей, попавших в Германию. Один пропивал дойчмарки в пивных автоматах, в то время как другой, обремененный списком покупок, стоял за спиной друга и подсчитывал: «Колготки пропил... Двое колготок пропил... Трое...»

За углом мы и правда обнаружили банк. Сдали свои три доллара, то есть сдавал Виктор, а мы стояли за его спиной и смотрели, как это делается, когда одни деньги превраща-

ются в другие. Никто из нас никогда в жизни не обменивал валюты.

Молодой клерк, несмотря на жаркий день, в черном костюме и при галстукe, принял наши деньги, заложил в печатающую машину бумагу и что-то на ней отштамповал, нажимая на кнопки...

Хотя чего там считать: три помножить на пятьдесят будет сто пятьдесят... Это мы и наизусть помнили. Нам отдали бумагу, а в другом окошке по бумаге отсчитали деньги. Мы тут же, не отходя далеко, стали их делить и обнаружили, что нам за три наших доллара (целых три!), выдали всего шестьдесят песет. По двадцать на брата.

— Что-то здесь не так, — сказал с виноватой улыбкой Виктор и снова пересчитал деньги.

— Может, ошиблись?

— Украли?

— Надули? — спросили три Льва Толстых вразнобой, но одно и то же.

Но Виктор, который был опытней нас, произнес слово «нет».

— Нет, — повторил. — Я не думаю, что они тут воруют.

«Тут» — означало за границей, в отличие от России, где каждый из нас знал: «там» воруют, да еще как!

Мы подошли к табличке с курсом валют и еще раз удостоверились, что не ошиблись и за доллар нам полагалось на каждого Толстого никак не меньше пятидесяти песет.

Мы сообща подтолкнули нерешительного Виктора к окошку, наставляя его, как следует поговорить с этим молодым клерком в черном костюме, и все, все выяснить. В крайнем случае забрать наши доллары обратно. Мы не настолько богаты, чтобы швыряться в каком-то порту нашей валютой.

Пока Виктор вел переговоры, а все это происходило на странной смеси языков: английского, немецкого и польского — и что-то горячо втолковывал клерку, мы на расстоянии с тревогой следили за лицом клерка. Но тот был невозмутим. Он попросил у Виктора наш квиток, снова пощелкал на своей машинке и вернул, терпеливо что-то поясняя и

вода пальцем по бумаге. Лицо Виктора в течение разговора меняло свои цвета и в конце стало совсем белым.

Он вернулся к нам еще более обескураженный.

— Пошли, — буркнул он и первым торопливо зашагал к выходу.

— Так в чем же дело? — нетерпеливо спросили мы в один голос.

Но все уже догадывались: нас здесь здорово обжулили.

— А в том, — сказал Виктор, останавливаясь и указывая на вывеску, — что мы попали в частный банк!

— Ну и что?

— А то, что у них высокие первоначальные налоги!

— Какие такие налоги?! — вскричали мы на всю улицу.

— Налоги на обмен, — пояснил он сердито.

— Или — на обман?

— А как же Миша? Он-то сто долларов...

Виктор лишь махнул рукой.

— Ну поймите, если с трех долларов два берут за обмен и со ста тоже два, Миша мог этого и не заметить...

Наступила пауза. Кто-то из Толстых пробормотал:

— Вот вам и капиталистические акулы... Стяжатели и хищники...

На лекциях по марксизму-ленинизму нам без конца долбили об этом продажном из миров, где человек человеку волк и готов своего ближнего обобрать до нитки. Что он и сделал! В данном случае нищих советских туристов ограбили хищные испанские банкиры... Напились, как пишут в газетах, пролетарской кровушки. Трех долларов наших им не хватило, чтобы набить доверху свою кошелек!

— А если мы не хотим обмана... Нет, обмена? — воскликнул кто-то из Толстых, кажется, это был наш башкир, который успел принять для спокойствия свою таблетку, но при этом продолжал волноваться.

Виктор лишь грустно усмехнулся:

— Но мы же обменяли.

— А если обратно? Мы им песеты, а они нам доллары?

— Можно и обратно, — кивнул он. — Только этот типчик объяснил, что при обратном обмене тоже ведь налог берут.

Ну получим мы половину доллара... на троих... Вместо тре-ех. Ни хрена себе считают!

— Тогда спасибо, что хоть шестьдесят песет дали.

— А что толку, разве на них что-нибудь купишь?

— Да что-то можно...

— Что?

— Надо посмотреть, — предложил Виктор, но как-то очень обреченно. — Вот если бы купить оливкового масла...

— На двадцать песет?

— Зачем, на шестьдесят. А потом разлить на троих...

— То есть сообразить на троих?

— По граммульке...

— Но тогда и пипетку, чтобы по капле мерить!

Мы уже шутили, а это означало, что все пришли в себя. Мысль об оливковом масле нас взбодрила, и мы двинулись в магазин, который, из окна автобуса заметили, находился кварталах в трех от порта. Виктор по-прежнему нес впереди наше богатство: шестьдесят песет, а мы с двух сторон и с тыла его охраняли.

В просторном супермаркете мы быстро разыскали полку с оливковым маслом, но самая дешевая баночка стоила много выше нашей общей суммы. Львы Толстые поскребли в затылках, разглядывая неприлично высокие ценники, и пустились бродить по магазину, но уже не ради покупки, а так, из любопытства.

Тут я и наткнулся на полки с вином. Скажу, что разглядывать эти полки — одно расстройство, ибо каждый сосуд с драгоценной жидкостью стоил во много раз больше, чем наши коллективные деньги. Но я бы не был мужчиной, если бы это пропустил... Зрелище для души. Этакая ярмарка цветных этикеток, шрифтов, названий, изображений, печатей и дат...

Бутылки, бутыли, графины, вазоны, керамика, хрусталь, фарфор, стекло... Корзиночки... корзины... А одна огромная стояла в самом конце полок и была наполнена доверху бутылками с вином, на которых был изображен Санчо Панса верхом на осле... Цена на бумажечке, косо приклеенной к корзине, стояла — двадцать песет.

Это была судьба.

Мои дружки еще сомневались, братъ — не братъ, все-таки это не оливковое масло, о котором они возмечтали.

Но я сказал так:

— Да взгляните же! Это же не бутылка, это шедевр! Это настоящее испанское вино, которого никто из вас не пил... Она только здесь стоит треть доллара, потому что это Испания... А как погрузимся на теплоход, ее цена будет доллар! А как отплывем, все три доллара! А в Москве — и все пять!

Я добавил, учитывая литературную закваску моих спутников:

— А Санчо Панса вам ни о чем не говорит?

Толстые согласились, что Санчо Панса — довод убедительный.

Они, как и я, купили по бутылке вина и даже немного повеселели: судьбу не обдуришь, ясно, но верить случаю надо. А случай был теперь на нашей стороне. Вот так мы и утешились. И привезли те бутылки домой, в Москву...

По возвращении в Ригу нас, конечно, опять шмонали, но не шибко и к вину не придрались. А из Толстых лишь Виктора задержали на несколько часов, у него обнаружили запрещенные книжки философа Соловьева, о котором мы лишь из лекций в институте знали, что он мракобес и реакционер. Книги у Виктора, конечно, отобрали, а потом тихохонько выдворили его из иностранной комиссии... которая, все это знали, была филиалом КГБ.

Случилось это уже после нашего плавания, так что никто ничего не заметил. В Риге мы зашли в универмаг и купили для близких якобы заграничные подарки. Но Рига, которая в другие времена казалось нам за границей в сравнении с Москвой, на этот раз показалась такой же нищей, после увиденной Европы, как и Россия. Это меня почему-то расстроило.

До поезда на Москву оставалось половина дня, и мы поехали в Дубулты: там, в Доме творчества, я знал, отдыхал мой приятель.

— Как за граница? — спросил он нас. — И как там с колбасой?

Покойный Слава Кондратьев в этом случае говаривал:
— Что за граница... Так себе. Вот только не пойму, почему у них вода в ванной голубого цвета!

— Так себе, — ответили заученно Толстые. — Только не пойдем, почему у них вода...

Что они могли еще сказать? Про наш круизный теплоход высотой в пять палуб и еще нижней, приспособленной для танков? Про дурака-казаха, который составил программу путешествия на уровне танца живота? Мы его, кстати, в Риге, на пристани, вдруг увидели, выходящего с трапа, помятого, униженного, в сопровождении молодого человека. Он ни на кого не смотрел и шел, как на эшафот...

— Что же вы делали целый месяц? — спросил, удивляясь, приятель.

— Танцевали, — ответил кто-то из нас.

— В круизе? По Европе? И только танцевали?

— Ну да. Этот, как его... танец маленьких утят...

— Ма-алень-ких таких, — добавил кто-то. — Надо присесть, вот так, потом потрепыхать крылышками, вот так...

И мы, три дурака, они же Львы Толстые, они же туристы, прибывшие из заграничья, пошли показывать моему приятелю, как мы там танцевали.

С тех пор и танцую. И детей научил. Ну а ту бутылочку, так вышло, я поставил на стол перед друзьями на Новый год, и все брали в руки, смотрели, читали этикетку, рассматривали Санчо Пансу и ахали, и ахали, хваля ихнее вино. Хотя было оно так себе, не лучше привычного нам болгарского, какой-нибудь там «Гамзы». Но всех довольнее был я, будто и в самом деле выиграл на Новый год обещанные самому себе пять долларов.

Режиссер Театра на Таганке Юрий Любимов однажды заявил, что человек одинок — так создано. Поэтому, мол, из всех этих бредовых идей коллективизма ничего и не выходит.

Сейчас я особенно готов с ним согласиться.

И мой лифт лишь некое повторение мира. Где реальность — бутылочка да мифическая женщина на картинке, которой в природе тоже не бывает.

Однажды во время кинофестиваля «Золотой Дюк» один из спонсоров — морское пароходство — пригласил нас на морскую прогулку на своем лучшем теплоходе. Мы прибыли в порт, прошли на борт — режиссеры, авторы, корреспонденты — и тут же были приглашены в кают-компанию для веселья. Веселье, припоминаю, было часа этак на три-четыре, с тостами, и прекрасным вином, и замечательной закуской, после чего мы вылезали на палубу, где увидели все тот же причал... Хотя, по рассказам капитана, мы за это время побывали далеко в море.

Вывод такой: сидя в лифте, можно вообразить себя где угодно. Ничто в душе не может измениться, кроме того, что она сама переживает. И если я населил свой одинокий мир друзьями из записной книжки, то вот они-то и есть реальность, без которой меня, ей-богу, нет.

Ощувив это как самую настоящую реальность, я пошел по пути, мною проторенному, то есть открыл книжечку на случайной страничке и нашел имя одной необыкновенной поэтессы, которая как бы олицетворяла собой и Россию, и Болгарию. При том что была одесской еврейкой...

СОЛНЦЕ, ПОДОЖДИ!

(Дора Габе)

У Славы Македонского есть приговорочка, завезенная, полагаю, из России:

— Выпьем, выпьем пока тут, на том свете не дадут...

Впрочем, поразмыслив, он добавляет:

— Там дадут иль не дадут, выпьем, выпьем пока тут...

И далее уже безоглядно, бесповоротно:

— Если даже там дадут, выпьем там и выпьем тут!

Его родная Болгария — солнечная земля, где жизнь и быт, и это не секрет, наполнены до краев вином.

Однажды я попросил болгарских друзей отвезти меня куда-нибудь, где я смог бы изучить виноделие.

Они лишь развели руками. Можно ехать в любом направлении, скажем, на юг, в Тракию, или на север, в Белограчик, или на восток, на Дунав, что означает тот же Дунай, или даже сидеть сиднем на одном месте, в Пловдиве, скажем, но все равно черпать полной мерой...

И вдохновение... И вино...

Интерес к вину, наверное, объяснять не надо. В вине, в виноделии, как и в питии, может, более, чем во всем другом, отражаются национальные черты народа. Нашего-то уж точно. Но и других...

«Солнце в крови» — звучит поэтично.

Но бывает и безумие в крови.

И когда о России говорят, что у нее «синдром пьяного сердца», это ведь тоже правда. Хотя я не уверен, что могу объяснить, что это такое.

Поголовная беспробудная пьянка?

Наверное.

Неудержимое влечение населения, от мала до велика, к бутылке спиртного?

И это. Это тоже есть.

И тяжкое похмелье, заканчивающееся новой, еще более яростной и беспросветной поддачей? Угореловкой?

Чистая правда.

Но ведь есть какие-то странные просветы между гибельным падением: и чувство вины, перед всеми и собой, чувство покаяния, искреннего, на грани отчаяния и надежды, и провидческого, иначе не скажешь, ощущения этого мира, который еще жалче, чем себя, потому что и он, он тоже катится в пропасть... Отсюда всепрощение и желание отдать последнее, хотя его осталось не так уж много.

Словом, синдром пьяного, но — сердца!

К России еще вернемся... Ее непостижимая для Запада хмельная сердечность, при ее же неопикуемой хмельной жестокости, еще никем до конца не объяснена. Я не уверен, что мне это удастся. Но уж как-нибудь...

Ну уж что-нибудь. Хоть что-нибудь.

Ну а каков же синдром у моей крестной матери — Болгарии? Что она сберегла и что потеряла, якаясь с нами столь долгое время?

Вдруг выяснилось, что многие винные заводы перешли на производство крепленых вин, которых сроду в Болгарии не знали. Зато их пьет Россия. А мои дружки, истинные патриоты своей прекрасной Тракии, пренебрегши и сливовой, и гроздевой, и плодовой ракией, которую издревле потребляли их предки, сплошь перешли на русскую водку.

Обменялись, словом. И в чем-то углубили свои познания друг о друге. Если взять за основу, что истина и впрямь в вине.

В поисках истины побывал я в Бачковском монастыре, одном из самых древних (его основали два грузинских монаха), и опробовал там «Монастырскую шушукалу», вино, которое монахи, уже не грузинские, болгарские, пили шушукаясь... У них и чокаются по-особому, держа в руках рюмки, но смыкаясь лишь пальцами... Без звона! Впрочем, может, это монахи не друг с другом, а с вином «шушукаются»? Молодое, по первому году, вино, когда бродит, «шумит». Что-то нашептывает податливому на уговоры сердечку из своей загадочной тьмы.

И в Мелнике, среди песчаных гор и деревянных, украшенных резьбой домиков, где так любят бывать и пить художники, опробовал я на деревенской свадьбе терпкое вино «Мелник»... Его у нас не знают, а напрасно. Если «Гымза» сродни южнофранцузскому вину, чуть терпко и тяжеловато, то «Мелник» ближе к испанскому, оно и легче, и летуче, и не приземляет, а возвышает.

Еще пил я в Родопе, в горах, под звездным небом. Пил под звучание гортанных родопских песен, коротких, ровно на один вдох, или — на одну рюмочку... тамошние с тончайшим привкусом горных трав — ракии...

Был у меня закадычный друг в Смоляне — художник Петер Стайков. Вернее даже так — художественная натура. И пел к тому же... Это он мне поведал и пропел особенным гортанным забытым способом родопские песни, их поют по-особенному, не закругляя звука с открытым ртом... Как они называют: «неклассическая артикуляция». Каждая песня четыре-шесть строк. Их тысячи — и все о любви. Только одна о работе...

Как пошел мужчина в поле на работу, но потерял кисет с табаком и вернулся домой.

Зато любовные... Каждая — драма. Вот одна из них: «Родная, позволь прийти на твою свадьбу, позволь держать твою свадебную лошадь, может, тогда я увижу твои глаза. А потом я убью и коня и себя!»

На школьном дворе усаживают голосистых школьников в белых платяцах поближе ко мне, чтоб слышней, им наливают яблочный сок, остальным — несравненную ракию.

Закуска в огромной глиняной тарелке с верхом — трушья: особо засоленные перец, морковь и цветная капуста из холодного подвальчика, влажные от рассола.

Напротив садится гайдар, молодой, чернявый, розовощекий, с горячими темными глазами. Гайда — шкурка барашка, дуют в трубку-мундштук, или «надувало», сделанный из кизила, по-болгарски — дрян, а из других трубок, их называют бручилы и гайдунцы, исходят странные звуки, да и сам гайдар может петь под свою же музыку. Вот и сейчас он надул мехи, и пронзительно-жалобно, как плачущее животное, запела-засвиристела гайда: «Дочь моя, дочь моя, почему у тебя глаза плачут, а лицо смеется? Я буду плакать, мать моя, потому что ты продала меня туда, куда ноги мои идти не хотят и где мое сердце стучать не будет...»

И взвиваются и дрожат, как крылья бабочек, чистые голоса, и чернеют, как нарисованные на ночном небе, горы, и среди них, самая высокая, блестит в лунном свете островерхая гора Карлык, по которой родопчане определяют погоду... Карлык ясен — будет ведро, а если дымится — жди ненастья.

«...Я белая, белая, друг мой, целый мир ослепила моя белизна, один Карлык остался, и он в тумане утонул...»

Ныне Карлык четок, и ночь прозрачная, и ракия, и застолье, и голоса, и лысоватый Петер с его особенным исполнением. Без этого не распознать, не расслышать, не пораниться от единственных таких в мире песен.

«...Зачем жить мне в этой суетной вселенной (переводит Петер, и боже, как чарующе звучит это на родопском диалекте!), когда нет лошади, чтобы уехать, нет крыши дома, где жить, когда нет девушки, которую мог полюбить бы...»

Гайдар, оторвавшись от мундштука, поднимает голос высоко-высоко, и по традиции воздух, вдуваемый в гайду, должен быть чист и не осквернен вином. Свой стакан, наполненный доверху, он поставил на гайду, это признак высшего мастерства — играть, чтобы не дрогнули руки и не пролили вино... Которое он выпьет как награду, когда прозвучит последний на вечере звук...

Прикладывался к винцу я и на празднике роз в Казанлыке — это знаменитая Розова долина... И собирал на зорьке розы, ссылая тяжелые, влажные бутоны в мешки... И опять же пение, как, наверное, и у нас в поле бывало... Там я услышал и записал кем-то брошенную фразу о вине, как о человеке, ожидающем своего срока, о том что... «это вино пока спит...»

А уж сколько легенд выслушал и просто разных историй. Одна из них — как случился урожай винограда такой обильный, что вино некуда было наливать, и тогда им заполнили городские водопроводные трубы... Это ли не сюжет? Открываешь, к примеру, в доме кран, а оттуда...

Случись такое в России, и свершилась бы извечная мечта русского человека о живой воде...

Моего дружка в Пловдиве, Киркора, он армянин, из-за пристрастия к рому именуют Сутрапян.

Что означает: с утра пьян.

Второе имя у него Кико-Ром. И найти его с утра, если уж очень припрет, можно в ближайшем к его дому кафе за рюмкой рома.

Киркор утверждает, что выбор вина и всяких там напитков зависит от воздуха той местности, где люди пьют. В Германии, по его словам, хватает и пива, в Испании или Италии — вина, во Франции уже и коньячок идет, в Голландии, скажем, ликеры, а в Швеции и Финляндии — водочка... А вот в Пловдиве воздух такой, что без рома не обойтись. Над городом довлеют семь цивилизаций начинающая от греческой и римской, которые настояли здешнюю атмосферу до особой крепости, в том числе лежащий под фундаментами домов город Тримонциум... Где пили, видать... Стоило Киркору заняться починкой изломанных ступенек в своем старом доме, копнуть под ними землю, как обнаружился древний кубок для вина!

— Разве бы они выстояли тысячу лет, если бы не пили? — спрашивает Кико. И сам себе отвечает: — Нет.

А уж славяне, которые пришли на эту благодатную землю от далекой Волги, приняли как эстафету кубок с вином... Но, правда, не в пример грекам, многие не раз-

бавляют вино водой... И напрасно. Вкус и ощущение вина с водой куда тоньше...

— У нас и без того разбавят, — утешил я. — А ты объявил археологам о своей находке? — спросил я Кико.

Он панически замахал руками:

— Что ты, что ты! Придут, разроют, и останусь без дома! Положил кубок обратно и засыпал землей...

Однажды я попал на юбилей известной болгарской поэтессы Доры Габе, фамилия ее по матери Дуэль, точно такая, как у моего друга; еще девочкой была она вывезена со своей еврейской семьей из нашей Одессы в Болгарию и стала тут национальной гордостью: ее детские считалки и стихи знает каждый школьник.

Я ее стихов тогда не знал, потом уж мне показали последний сборник: «Почакай, солнце!» В переводе: «Солнце, подожди!»

Звучало оно так: «Подожди, солнце, я еще не готова встретить наступающую ночь, мой день еще не окончен! Еще не успокоилась совесть, да я только-только выучилась говорить с камнями и деревьями и не заполнила свой день их мудростью. А ты уходишь и уходишь, озаряя деревья яркими красками, и закатываешься, внушая иллюзии о завтрашнем дне, которого у меня уже не будет... Да и как можно спать в этом беспокойном из миров, где бессонница у совести...»

В тот год ей справляли девяносто лет.

По секрету рассказали, что прежде уже были у нее юбилеи и в восемьдесят лет, и в восемьдесят пять, но так давно, что ей, по всем подсчетам, далеко за сто...

Но ведь какая женщина!

Кто-то из гостей обозначил, мол, у женщины бывает шесть возрастов: девочка, девушка, молодая женщина, молодая женщина, молодая женщина и молодая женщина... Дора Габе с кокетливой улыбкой заметила, что она если и молодая женщина, то, наверное, не первой стадии...

Другая болгарская поэтесса, великая Елисавета Багряна, рассказывала, как поехали вдвоем с Дорой они

выступать, и всю ночь пили вино, и, заснув под утро, перепутали поезда, и уехали совсем в другую сторону.

А мой друг Емил поведал в качестве сплетни, что в Доме писателей, в Варне, Дора однажды попросила молодого поэта, соседа по комнате, сделать ей массаж, что-то у нее побаливала спина, а когда он стал уходить, с удивлением спросила: «И это все?»

Да и на юбилее она выглядела женщиной, скажем так, среднего возраста. Небольшая росточком, с темными гладкими волосами и умными, с той самой извечной еврейской грустной усталостью глазами.

Она сидела во главе стола, почти и не ела, взгляд ее был обращен не столько на пирующих гостей, сколько поверх их голов, будто видела нам недоступное.

А когда попросили ее сказать несколько слов, произнесла с кроткой улыбкой, что пользу от этого праздника видит хотя бы в том, что собравшиеся гости могут хорошо попить и поесть.

Но ведь и правда, какой-то десяток пришел ее поздравить от души, но остальная-то сотня, включая функционеров, справляла здесь свой собственный праздник, утешая душу и тело. И их, их тоже она любила, жалела и снисходила к ним, как к малым детям.

В ту пору я не имел еще опыта банкетного и часто оставался голодным. Сидишь, разговариваешь с соседом, а тебе приносят тарелочку с горячим. Не успел досказать свежий анекдотец, а тарелочку твою, не-тро-ну-ту-ю и желе-е-му-ю, убирают и ставят другую...

Внимательно изучив процедуру (пригодилось и мое голодное прошлое!), я понял, болтают за банкетным столом лишь до того, как пришло блюдо, но далее все они: и внимательные, и цивилизные, и общительные — моментально замолкают и начинают работать челюстями. Какие, право, сентиментальности, даже если объяснялся в любви, когда рискуешь остаться голодным!

В тот юбилей Доры Габе привезли гостей из разных стран в ее родной город Толбухин, показали домик на окраине города, где прошло детство, а вечером, в здешнем

театре, устроили торжественное заседание. Нас посадили на сцене и по очереди представляли зрителям. Надо было зачитать приветствие, преподнести подарки.

Слава богу, началось не с меня, а с венгров или чехов, весьма многословных, и было время сообразить, что сказать и что преподнести от имени России, которую здесь особенно чтут и которую, в моем лице, станут принимать с особым пиететом!

На мою беду, переводчица моя, не столь затруднявшая себя и прежде, оказалась во время банкета рядом с известным критиком, который решил за ней приударить. Она проболтала с ним весь вечер, забыв обо мне. А на авансцене, перед черной пропастью огромного, дышащего жаром зала, такого щедрого на эмоции, между тем звучали прочувствованные речи, декламировались стихи и преподносились подарки, один лучше другого: старинные книги, ковры, серебро, украшения...

Я догадывался, что расплата приближается. И молился: «Господи, помоги и спаси от неминуемого позора, которого мне не перенести до конца дней... Не был в делегациях и не буду, даже если пошлют... Только избавь от того, что мне предстоит...»

Меня воткнули в этот юбилей случайно, когда я, увлеченный поиском истины (разумеется, в вине), находился в Пловдиве, в старом городе, погрузившись в свою тему так, что бывший музей в домике Ламартина слегка покачивался (или мне так казалось), заполненный друзьями и бутылками...

Но вдруг нашли и позвонили от Союза писателей и сказали: юбилей, но делать ничего не придется... Поприутствовать... соблюсти протокол... поскольку не успели организовать выезд «нужных лиц» из Москвы...

Но я-то сообразил: девчонки из иностранной комиссии, как всегда, прозевали выезд, хватились, когда посылать было поздно. Да и ездили «нужные лица» сюда неохотно и лишь для того, чтобы нахватать дубленок и другого барахла. Курица, мол, не птица, а Болгария не заграница! Другое дело Париж!

Однажды в Софии меня попросили забрать книги, которые оставило по нечаянности в гостинице одно такое «нужное лицо». Тащил десяток чемоданов, а книжки-то не взял...

— Так мы их поднесем к вагону, — сказали мне. — А ему позвоним, он вас встретит...

Чистые люди эти болгары, они искренно верили, что книжки он забыл, и притащили мне к вагону два огромных ящика книг. Но никто меня, конечно, в Москве не встретил, и я торчал посреди вокзала, не зная, куда эти чертовы ящики девать. Потом они долго лежали у меня дома, загромождая и без того малую комнатку.

Просмотрев, я увидел, что болгарские авторы очень сердечно благодарят названное лицо за его приезд и дарят, и дарят, и дарят с горячими словами любви свои стихи...

Когда я дозвонился, пробившись к нему на работу, он лишь хрюкнул в трубку, в том роде, что занят, чтобы я, значит, доставил названные книги его секретарше... И я опять их волок, заказав такси. Какое-то время валялись у него в предбаннике, пока не были выброшены на помойку. Вместе со словами любви...

Но все эти мимолетные мысли никак не были связаны с остротой момента. В панике, что расплата приближается, я принял решение отказаться от слова и бежать из театра куда-нибудь. Ну, хотя бы в Пловдив, в домик Ламартина... К моим друзьям и к моей прекрасной науке о вине... Когда ведущий торжественно объявил, что от делегации... и так далее... выступит писатель... Я даже не сразу понял, что назвали не мою фамилию.

Но чудо случилось. Из-за кулис вынырнул один из московских секретарей, не самых главных, некий критик О., худощавый, подвижный (но действительно нужное лицо!), и, блестя очками, решительно вошел на сцену и стал говорить о стихах Доры Габе, сравнивая их с живописными горами, которые он наблюдал по пути сюда, и с вечной красотой этой древней земли...

Произнеся в заключение несколько возвышенных, но совершенно бессмысленных фраз о стране, где день рождения поэтессы становится праздником поэзии для

всего народа, он добавил, что подарок, посланный из Москвы багажом, задержался в дороге и будет вручен через несколько дней.

Зал бурно рукоплескал.

— Кто это выступал? — спросил, наклоняясь, сосед-поляк. — Он знаток поэзии?

— Знаток, знаток! — И зачем-то для важности я добавил: — Спецрейсом... Из Москвы...

На другой день главная партийная газета опубликовала текст критика О., приписав его мне. Меня поздравляли.

А критик О. так же странно пропал, как и появился. Я встретил его лишь в Софии, в конце юбилейной поездки, и он поведал, как-то чуть легкомысленно, что путешествовал на машине, а вечером попал в Толбухин, и его завернули в сторону театра, посчитав, что он один из запоздавших гостей. «Вас ждут, ждут!» А когда он пришел за кулисы, там обрадовались: наконец-то секретарь от Москвы, и тут же его объявили. Он утверждал, что это было для него неожиданным.

— Но вы хоть знали, чей это юбилей? — спросил я ехидно.

— Да. Они дорогой назвали Дору Габе.

— И вы читали ее стихи?

— Ни-ког-да, — отвечал он, краснощеко улыбаясь.

— Но вы же их сравнили с горами, с природой?

— Они все пишут о горах!

— Но простите... Подарок? Откуда вы взяли, что задержался в дороге? Его послали?

— Конечно, нет, — отвечал он с той же беспечной улыбкой.

— Ну а потом как?

— Никто и не вспомнит... — отмахнулся он и шутя добавил: — Завтра, кстати, в оперном театре заключительный вечер поэтессы... Теперь, надеюсь, выступать будете вы, но текст пусть припишут мне...

Я попросил друзей перевести стихи Габе, а потом с Емилом побывал у нее в гостях. Она рассказывала об

Одессе, городе ее детства, и показала крошечную иконку — память о России.

В искупление вины в Толбухине, когда был обещан ей от России подарок, выслал я из Москвы тоже иконку, литье по металлу, с изображением Божьей Матери.

А потом ей написал письмо мой друг Дуэль, и выяснилось, что, возможно, они и в самом деле дальние родственники. Правда, переписка оборвалась: Габе вскоре умерла.

И хотя мне никогда в жизни не приходилось возглавлять делегации, но, попадая в Болгарию, я вспоминаю стихи Доры Габе.

Не потому, что они напоминают природу, — в стихах никаких гор и нет. Просто я еще раз убедился, что среди всех пьющих и жующих на вечном празднике жизни самым близким живым человеком была тогда она.

Снисходительная к нашим слабостям, как снисходят к малым детям, которым еще непостижимы тайны бытия, с глубинной, неизмеримой тоской по солнцу, которое вот-вот закатится для нее навсегда.

«Солнце, подожди!» — попросила она.

Кто из нас ее тогда расслышал?

Что касается тайн бытия, подобно моему другу Кико, откопал я на берегу Черного моря, близ Одессы, древнее захоронение, а в нем, кроме прочих черепков и настоящего черепа, только без нижней челюсти, оказались осколки стеклянного кубка, перламутрово-радужные от времени (две тысячи лет назад из него пили!), и на дне одного горшка мы обнаружили зерна винограда: выжимки древнего вина. Археологи определили, что в Крыму из дикого, судя по всему, винограда наши предки еще до Рождества Христа делали вино...

ВИННАЯ ДОРОГА

(Алесь Адамович)

Памятью прикоснусь, и вот уже сине-стальное, чуть перекаленное на солнце лезвие дороги, улетающей за горизонт, толкотня, многоголосие и пестрота базарчиков... Улицы Кишинева, пахнущие расплавленным асфальтом, рынок с лошадьми на привязи и грецкими орехами, потрескивающими в мешках; знаменитые кодры на горах с точеными елями, будто на рекламной картинке, и белоснежные городки, и плоские, осененные лазурью равнины с четкой геометрией пальметтных садов и виноградников... Обилие вина и света.

Везде, где столы, где прилавки, где буфеты, едальни и дорожные забегаловки (ах, как это русское слово не ложится на молдавский колорит!), непременно составной частью любого обеда, отдыха, да и всей малознакомой нам жизни — вино.

Любимое мною красное, густое, терпковатое, пахнущее камнем и солнцем. И нагретой землей.

Обозначил слово и почувствовал, откуда-то из глубины — может, глубины памяти? — подкатило, ударило горячим толчком в грудь и закружило сладко голову, опьянило кровь.

Повезло мне, в поздние мои годы, проехать по знаменитой DeutscheInstrasse — ВИННОЙ ДОРОГЕ, что на самом юге Германии.

Начинается она от небольшого местечка Манхайма и тянется по направлению к городку Вайзенбург во Франции. Их разделяют поставленные прямо на государственной границе **ВИННЫЕ ВОРОТА** — Veintor, сложенные из старого камня, с двумя винными бочками по бокам и неременным ресторанчиком на обочине.

Государственная граница, отмеченная винной бочкой, сама по себе настраивает на особый, легкомысленный, что ли, лад, ибо предчувствуешь, что после пересечения ее откроется тебе другая страна и другая дорога, с обещанием заманчивых напитков и вин.

На протяжении десятков километров каждое селение, каждый дом на «винной дороге» выставляет столик с вином на продажу, и каждое из множества предложенных вам вин своеобразно и неповторимо.

На бутылочке, представленной для пробы, стоит заглянуть в дом, обязательно будет обозначен не только сорт вина и год его рождения, но и адрес того дома, и даже телефон, с маленьким примечанием, что телефонный звонок обойдется не очень дорого, зато вы получите по почте любимшийся вам напиток.

В Молдавии хоть попроще, без изыска, зато дешевле и куда душевней, особенно если не лететь во весь опор, а притормозить на сутки-двое да остановиться в каком-нибудь доме, чтобы потолковать вечерком не торопясь с хозяином за бутылочкой винца. Как мы однажды и сделали.

В году так сорок четвертом проходил тут с войной на запад мой отец, солдат, был в каком-то селении на постое месяц-другой и, по рассказам сестренки, влюбился в хозяйку дома. Возможно, осталось от него здесь потомство.

Мы, конечно, допытывались, но отец лишь отшучивался: молдаванка, мол, была смугла, красива, поила его колдовским зельем, научила гадать по руке и на картах. А если кто-то и родился там, пусть это останется его тайной. Нас это никак не коснется...

В один год случилось мне дважды, вопреки известному изречению, шагнуть в одну и ту же реку; вернувшись из

поездки по югу, в том числе и по Молдавии, когда на машине, от Закарпатья до Одессы, пересек я эту благодатную страну, был неожиданно приглашен редакцией столичной газеты, решившей глобально осветить аграрные достижения молдаван, о которых трубили в прессе.

Я не сельский человек и в свинофермах смыслю не более той свиньи, которая, как известно, ничего не смыслит в апельсинах. Но позвонили из редакции, назвали имена тех, кто едет, и я неожиданно для себя согласился.

Кроме Алеся Адамовича, о котором скажу особо, были с нами в поездке азербайджанский прозаик Айлисли, новосибирский очеркист Иванов и доктор каких-то социологических наук Переведенцев, который знал все обо всем (цифры, цифры, цифры!), но отличался еще могучим храпом...

С ним во время ночевок не селили никого.

К этой довольно пестрой группе присоединились и сами молдаване, так что вся творческая рать, коей предстояло внедриться в аграрную тему и одухотворить ее своим талантом, насчитывала не меньше голов, чем те стада, которые мы лицезрели.

Разместили нас в главной партийной гостинице, и с утра можно было на халяву вдосталь выпить и закусить. Здешние кадры, включенные в состав группы, дома вообще не завтракали, а пораньше заявлялись в гостиницу и, не дожидаясь нас, пировали на первом этаже несколько помпезного, сейчас бы сказали, в «советском» стиле ресторана: мрамор, ковры, хрусталь и, конечно, «Мишки в лесу» Шишкина. И привратник при входе, в форменной фуражке с галунами и скользяще-внимательным взглядом отставного чекиста.

Вскоре и мы, чуть осоловелые от ночных посиделок и недосыпания, присоединялись к хозяевам, наспех закусывали и, поторапливаемые бойкими организаторами, бежали к машинам, дежурившим на площади у гостиницы.

Возглавлялось «мероприятие» на уровне, как бы тогда называли, правительственном, и можно было догадаться, что в верхах, и не только здешних, нашей поездке придавали серьезное значение. Что это означает в денежном

выражении, я, человек, не поднаторевший в поездках по республикам, особенно южным (то была привилегия чиновных писателей и их шестерок), смог оценить потом.

Все было мне в диковину: роскошные гостиничные номера, бесплатные бесконечные обеды и то особенное внимание, которое умеют здесь оказывать гостям.

Так это было не похоже на недавний проезд через эту самую Молдавию, где мы с семьей питались в дорожных харчевнях да терпели произвол от здешней милиции из-за московских номеров на машине.

Однажды заночевали мы за кустиками, рядом с виноградником, ночью нас разбудили и шмонали пьяные сторожа. Возле колеса машины стоял мешочек с купленным накануне виноградом, и тот мешочек весь прощупали и пронюхали и отстали... Сорт, слава богу, оказался другим.

Эти две Молдавии, увиденные из разных окошек разных машин, трудно совмещались в моем сознании. Вторая была не такой свободной для самочувствия и даже несколько обременительной, но столь радушной, сытно-обильной, что сгладилось впечатление от разбойной милиции, пьяных сторожей и не очень чистых столовок по дороге.

В этой поездке мы и познакомились с Алесем Адамовичем.

Он остался в моей жизни надолго. Можно сказать, навсегда. И умер на моих руках.

А при жизни встречались редко, так уж получалось, когда наезжал он в Москву, не в самом лучшем расположении духа, из мучившего его Минска, и после, когда жил на переделкинской даче, под Москвой, с женщиной и ее дочкой, единственной, по-моему, женщиной, которая его по-настоящему любила. Любила, берегла.

Редкая удача для мастера на излете жизни.

Первый, да и последний раз в жизни поездом из черных машин, растянувшимся на километр, под строгой охраной желтых гаишных автомобилей с мигалками, пронеслись мы по здешним дорогам, наблюдая из окошек, как за пять минут до нашего проезда всех этих частников с их мало-

литражками загоняют в кюветы, откуда они испуганно взирают на наш грохочущий кортеж.

Давно ли я был на их месте, но вот пронесусь в вихре пыли и с воем сирен на бешеной скорости, и мне нравится власть над дорогой и особенно над милицией, которая сегодня служит, даже прислуживает мне.

Совестно от таких мыслей, но не мной организован этот особый порядок. А человек слаб, и никакая психика не может выдержать до конца всех сладких уловок власти, покупающей с потрохами не избалованного вниманием человека и дарующей ему на время привилегии перед остальными.

Спасибо судьбе, это было лишь однажды, и в следующей поездке по Молдавии с моими друзьями Зябкиными и Садовниковым был я опять среди тех, кого загоняют в кюветы и кто сквозь зубы, но с явным превосходством бросает вслед чернолаковым холуям: «Чле-но-во-зы-ы хре-но-вы!»

Думаю, что нечто подобное вдогонку неслось и нам.

Могу лишь добавить в оправдание, что многие, в том числе и Алесь Адамович, да и я тоже, размещались в небольшом автобусике и могли взирать несколько сверху вниз на задницы тех, кто ехал впереди нас на черных «Волгах».

У них было, наверное, попросторней, поудобней. У нас зато веселей. Сыпались анекдоты, а на одном из переездов, где проторчали мы из-за неисправности путей часика два или три, столичные поэты затеяли соревнование, исполняя по очереди матерные частушки...

По реке плывет топор из города Чугуева,

Ну и пусть себе плывет железяка х-ева...

То, что происходило с нами в этой поездке, было продолжением частушки. Чудо плывущего топора — то же, что и чудо в сельском хозяйстве, явленное нам во всем показушном блеске, — имело одну, но такую понятную реакцию: а нам-то на кой хрен это нужно... Ну и пусть себе плывет.. и т. д.

Но если бы еще плыла! И если бы не были мы заведомо уверены, что это не очередная лажа, которой сперва

должны поверить мы, ну а потом, через нас, остальное народонаселение.

Был у меня на семинаре в Литературном институте молодой прозаик Егор Радов, этакий трудноуправляемый модернист. Его наставник Шугаев не мог перековать Радова в соцреалисты, и последней чашей, переполнившей его терпение, был рассказ Егора о молодом человеке, который в ванной комнате совокупляется с дельфином.

В нашем институте такие штучки не проходили. И после долгих колебаний и даже разговоров об исключении дано было Егору задание написать во время летних каникул рассказ о сельском хозяйстве...

Егор съездил в красивый город Таллин и осенью представил Шугаеву рассказ, где на протяжении десятка страниц расписывались таллинские кабаки.

«Но где же тут сельское хозяйство?» — вскричал взбешенный наставник. «Да вот, в самом начале», — уныло отвечал автор. И прочел первую фразу, звучала она примерно так: «Мы ехали среди полей, на которых что-то росло...»

Мы тоже ехали среди полей, на которых что-то росло. А наше знакомство с «чудом» началось с остановки на границе двух районов, где нам торопились это чудо понаглядней представить.

Делегацию встречали цветами, музыкой и неизменными хлебом с солью. Преподносили, понятно, тем, кто ехал в первых машинах. И самые дальнзоркие, выглядывая из окошка, коротко оповещали:

— Пионеры с барабаном, а хлеб с солью!

Происходила церемония братания, после чего местное начальство присоединяло свои черные машины к нашим черным машинам, увеличив и без того длинный караван, и направлялось к очередной свиноферме.

Наверное, были и телятники, и коровники, но запомнились свиные фермы да какие-то особые цеха, где говно от тех поросят, отравившее на километры вокруг землю, будет со временем превращаться в топливо, а потом на радость тем же пороссятам сжигаться в печах и обогревать их.

Мы были рады такой счастливой пороссячьей жизни, которая многим из наших писателей не снилась у себя дома. Я запомнил сибирского очеркиста Иванова, который поднимал, проходя по саду, яблочки с земли — а их там валялись тонны — и со вздохом приговаривал: «Нам бы в Сибирь... Мы бы и людей прислали...»

Нам напяливали на ноги целлофановые пакеты, чтобы не дай бог свою писательскую заразу мы не внесли в стерильные пороссячьи дворцы. Смирно поторчав за спиной главных и тупо поозирав хрюкающее сало, мы спешили поскорей выбраться на волю, к своему обжитому автобусику.

Машины же направлялись в районный центр, где в самом большом и престижном ресторане городка накрыт банкетный стол. Описать не берусь, он был обилен до безобразия.

Всяческие копчения и соленья, овощи и фрукты в вазах, череда горячих блюд, коим числа не было. Все это под приветственные речи местных руководителей.

Ни одного живого слова, ни одного лица вспомнить не могу.

Остался в памяти лишь стол, где мы, расположившись с краешку своей, из автобуса, компанией, приступали к практическому изучению закуски и особенно винных бутылок.

Времени у нас хватало, ибо славословие, да с утра, на свежие силы, продолжалось долго. Очень долго.

О винах же разговор особый: бутылки во многом были нам не знакомы, видать, из редких коллекций, из подвалов, и не хватало сил все осмыслить, опробовать, я уж не говорю: выпить. А это не могло не внести некоторую смуту в души нашей мужской компании.

Как-то в Переделкине два писателя, мучимые жаждой, Юрий Казаков и Василий Росляков, пошли колядовать на Святки к даче Катаева. У него выпить-то найдется... Юра! Ты же песенки эти... Ну, народные... Чем только рожи намазать, чтобы поэффектней!..

Колядки удались, и сам Валентин Петрович, как и положено, пригласил их в дом. На знакомой многим гостям

каталке были выстроены десятки самых выразительных бутылок. Угостил рюмочкой... Второй, третьей... Пора бы и честь знать, но Казаков вдруг заупрямился, простонал, что он не в силах уйти, когда столько непечатых бутылок...

И здесь, на банкете, среди стольких непечатых бутылок, впечатляли коньяки в нестандартной формы сосудах из толстого темного стекла и, судя по этикеткам, далеко за десять, пятнадцать и даже двадцать лет выдержки. Каюсь, одну такую совершеннолетнюю красавицу, по старой детдомовской приговорочке: «Ничего я тут чужого не оставил?» — засунул в боковой карман, чтобы допить с друзьями в гостинице.

А между тем наш необычный поезд направлялся уже к границе другого района, где все, как под копирку, повторилось.

И кто-то из нашего автобуса, едва выглянув в окошко, прокомментировал:

— Пионеры с барабанами, а хлеб с солью!

По прибытии на очередную ферму мы уже не выходили, выползали, и зоркое начальство предпочло не тащить нас далее дороги и показывало свои богатства на расстоянии. Зато банкет в центре районного городка был вполне конкретный и не бедней предыдущего.

Встречу с третьим районом мы честно проспали. Ни барабанов, ни хлеба. Да и ферму осматривали не выходя из автобуса: что-то среди поля там белело...

На банкет шли, как на эшафот, поражаясь лишь малой изобретательности устроителей, которые накрывали столы как по типовому проекту... И конечно, бутылки, бутылки, бутылки... Они теперь раздражали. Мы больше бы обрадовались холодному квасу. Но не могли огорчать гостеприимных хозяев.

Мы наливались до горла и выше, мы тонули, захлебываясь от переизбытка марочных вин, как захлебывались, по рассказу отца, наши солдаты, купаясь в бочках с вином, в дни победы, когда дорвались до винных погребов в Европе.

Слава богу, что речей теперь хватало с натягом минут на тридцать. И где-то после третьего района (в этот день!) нас повезли к самой границе республики, к Унгенам, обещающая скорый и замечательный отдых.

Если бы мы были чуть потрезвей, насторожились бы при слове «замечательный», но сил что-то предвидеть уже не было.

Только на границе с Румынией единственный не спящий среди нас Андрей Стрымбяну, драматург, попросил остановить автобус и, глядя на противоположный берег реки, она же была и граница, воздел руки вверх и произнес патетически: «О Румыния, родина моей родины, твой заблудший сын приветствует тебя!»

Тут мы несколько очнулись, озирая из окошка узкую в зелени полосу вдоль реки с колючей проволокой и пограничными столбами.

— Так ты кто, румын, что ли? — сонно поинтересовались.

— Да, — отвечал он напыщенно. — Каждый из нас, обитающих здесь, немного румын...

— Ну, тогда я немного турок, — объявил наш азербайджанский друг Айлисли.

— А я — поляк... — добавил Адамович.

— А я — кержак, — промычал сибиряк Иванов.

— А я — внучатый племянник Кучума! — признался татарин Хакимов.

Нашлись из древних варягов... Они же печенеги... Они же скифы... Всякие разные там викинги... Наш железный автобус задрезжал от ржущих голосов, и Андрей, настроенный возвышенно, отмахнулся от нас и больше о своей второй родине не заговаривал.

Переведенцев храпанул в этом месте особенно сильно, заглушив работу мотора, а мы продолжали упражняться по поводу его родословной, проведя прямую линию от греческих храпунов, знаменитых еще и тем, что они проспали легендарную Трою.

Вот тут-то я и извлек из бокового кармана заветную, унесенную со стола бутылочку, и мы отхлебнули, каждый

прямо из горла, передавая друг другу. Это было лучшее братство в мире, и в который раз мы на практике доказали, что дружбу народов лучше всего укрепляет не научный коммунизм, а своевременная бутылочка, ходящая по кругу.

Даже Переведенцев проснулся, чтобы глотнуть животительной влаги. А оживившись, пробормотал что-то о шестидесяти процентах бюджета, по данным Минсельхозпрода, которые приносят в союзную кассу поступления от продажи напитков. Так что, принимая в год двести миллионов декалитров, то же, что и ведер, этой заразы, русские алкоголики содержат армию и флот. Как, впрочем, и все остальное...

— Эта бутылка не в счет! — пробормотал напоследок Переведенцев и отвалил.

Наш черный кортеж свернул с главной дороги на узкое шоссе в кукурузе, и впереди открылся белостенный дом, напоминающий недавно увиденный коровник, без окон и с одной крошечной дверцей, куда нас и ввели.

Мы попали в просторный коридор, замкнутый квадратом, так что можно было пойти в любую сторону и прийти на то же самое место.

По одной стороне коридора, внешней, располагались комнатки-номера, но без окон, другая же сторона была стеклянной и выходила на внутренний дворик, сплошь в зелени и фонтанах.

Но это мы рассмотрели позже. Укачанные дорогой и бесконечными приемами, мы жаждали лишь одного: добраться поскорей до подушки...

Нас быстро распределили по номерам, по двое, а Переведенцева оставили одного. Попросили лишь на минуточку выйти в холл, где объявят завтрашнюю программу. Но там еще сюрпризик, приятный такой сюрпризик, после которого будет нам совсем хорошо.

Мы наскоро привели себя в порядок и расселись вдоль стен в небольшом зальчике. Устроители с непроницаемыми лицами появлялись, исчезали, но никто не смог бы угадать, что нас ждет. В какой-то момент — полусонные,

мы не усекли — с потолка пролилась благостная музыка, одна из стен медленно раздвинулась, и нашему пресыщенному зрению открылся просторный зал... с необъятным банкетным столом.

Во главе стола восседали хозяева Унгенского района и радостно улыбались нам, приглашая принять участие в дружеском застолье.

Это была катастрофа. Но никто, кажется, не протестовал.

Мы двинулись к столу, как штрафники идут в бой на приступ высоты, откуда никто уже не вернется живым. С каменными улыбками садились за стол, с отвращением отмечая про себя все те же закуски и вина, но многократно увеличенные в объеме.

Времени поразмышлять обо всем этом изобилии, пока отцы-кормильцы рассказывали нам о достижениях аграрного сектора, было достаточно. Напрягая свои за-спиртованные извилины, я пытался разгадать главный закон такого официального гостеприимства.

А принимали нас, как выяснилось, в резиденции, построенной для гостевания самого Брежнева. Хоть побывал он здесь лишь однажды. Оттого и в стороне, оттого и без наружных окон, со странным садиком и фонтанами в изолированном от улицы дворике. Оттого и так щедро. Бюджет домика обеспечивался из цековской казны для сановников, которые проводили тут досуг. Из президиума стола донеслись до нашего края цифры жилищного строительства и растущего благосостояния жителей района.

Алесь, наклонясь к моему уху, поинтересовался:

— Как ты думаешь, сколько стоит построить дом?

— Этот?

— Ну, этот, догадываюсь... бесценен. Вообще... Сколько стоит пятиэтажный дом?

Я ответил, что не знаю. Но думаю, дорого... Тыщ двести, наверное. Вон Переведенцев точно скажет.

— А у тебя самого-то как с жильем? — спросил Алесь.

— Да так, — ответил я. — Коммуналка. Вместе с родителями жены. А у тебя?

— Что у меня... — Он, нахмурясь, отвернулся.

И вдруг заговорил о нищей родной деревне, о других деревнях, ну и конечно, о Хатыни, о которой он писал.

В свою очередь и я рассказал о Смоленщине, о деревне Ляхово, где фашисты заживо сожгли двести восемьдесят семь женщин, детей и стариков... Ее и называют второй Хатынью.

Так и завелись: он мне про Белоруссию, я ему про Смоленщину... Очень занятный разговор двух аграриев. К нам присоединился третий — очеркист Иванов, который добавил слез о своей сибирской деревне... И везде одно и то же: распад, бедность и запустение.

Тут мы одновременно, что-то сообразив, извлекли карандаши, бумагу и, отодвинув заливное из судака, засели за цифирь, занявшись математикой. Сложили гостиницу с ее завтраками, прибавили районные банкеты, и этот тоже не забыли, сюда же добавили билеты, командировочные, черные машины, машины ГАИ и прочую службу, сотни людей, вкалывающих на фермах, которых мы отрывали от дела...

Единственное, что мы не стали учитывать, — это время самих писателей. И в самом деле, кто его ценит, кроме нас самих.

В результате получалось, что мы нашей дружной командой, вместе со здешними, прожрали, пропили, прогуляли, проездили за эти несколько дней пятиэтажный дом. А может, шести- или даже семиэтажный. Но дом, реальный дом, в котором могли бы жить, скажем, пенсионеры, очередники. Матери-одиночки.

Пораженные такой арифметикой, мы как бы по-новому оглядели стол и всех, кто за ним восседал.

Алесь затянул знакомую песенку:

— «А это не мой чемоданчик...» — и добавил, бросив взгляд на говорливых хозяев: — Пойду-ка я спать.

Я из деликатности остался бдеть. Но хватило меня часа на полтора. Обойдя квадрат дважды, я с трудом нашел свой номер и разбудил Алесь:

— Иди. Тебя ждут.

Чертыхаясь и вздыхая, Алесь потащился в банкетный зал, хрипло спросив, в какой стороне от нас он находится.

— В любой, — отвечал я и предупредил, чтобы не пытался бежать и не выходил на улицу: там кругом в кукурузе охрана!

— А ты уже был там? — поинтересовался он, оживляясь, и добавил, что давно сообразил — влипли.

Где-то около четырех ночи Алесь потряс меня за плечо:

— Ступай... Там почти никого не осталось...

Я умылся, плеская в ладонь из графина, и на ощупь побрел в банкетный зал. Все руководители, свеженькие, будто и не было бессонной ночи, сидели во главе стола на своих местах. Один из них проникновенно повествовал о здешней природе и даже пытался читать лирические стихи собственного сочинения.

Айлисли спал, положив голову в вазочку с мороженым, очеркист Иванов задремывал на ходу, лишь неутомимый Переведенцев, как истинный ученый, строчил что-то в свой блокнотик, прихлебывая из чайного блюда марочный коньяк.

— Ну и сколько декалитров прибавилось? — спросил я легкомысленно.

— Мужайся, — произнес он вместо ответа. — Это не все. Завтра, то бишь сегодня, у нас в программе три района и винные погреба. А послезавтра...

Не дослушав своего ученого товарища, я заплакал. Новоявленный руководящий поэт принял это на свой счет и вдохновился читать далее.

Финал же программы состоялся в Кишиневе, в экзотическом ресторане в виде огромной винной бочки.

Однажды на экскурсии в немецком городе Гейдельберге я смог увидеть самую, как было указано в путеводителях, большую бочку в Европе для вина (Grosses Pass inhalt), изготовленную в середине XVIII века, емкостью в 221 726 литров. Растолкав японцев, все с фотоаппаратами, я смог заглянуть в темное ее нутро, поднявшись по лесенке на уровень второго этажа.

В путеводителе сказано, что в такой бочке разместится рота солдат. Почему солдат, а не этих, скажем, японцев с фотоаппаратами, не знаю. Возможно, солдатики тут часто прикладывались к винцу?

Кишиневская «бочка», снова обильная, как бы итожила нашу «винную дорогу».

И уж там, среди тостов, мы с Алесем не преминули в мягких, не столь обидных для хозяев тонах упомянуть о пропитом за эти бурные дни многоэтажном доме: сможем ли мы оплатить своим скромным литературным трудом такой драгоценный аванс и не станет ли для нас та «винная дорога» «дорогой вины»?

Хозяева, а тут была вся королевская рать, приветливо нам кивали, ни тени недовольства не промелькнуло на их неподвижных лицах. Но нас, конечно, запомнили и никогда во все последующие годы ни меня, ни, кажется, Алесь сюда не приглашали. Но, впрочем, как мы пели с легкой руки Адамовича: «Это не мой чемоданчик...»

Наш чемоданчик, наша дорожка была, мы оба с ним это знали, совсем иной. И вела она в захудалые бросовые деревеньки на разнесчастной белорусской, смоленской родине...

Газета, которая нас посылала, вскоре опубликовала отчет о «круглом столе», но молдавский эксперимент, как и положено, провалился, о нем не вспоминали.

Мы с Алесем разъехались, обменявшись книгами и адресами. На прощание Алесь подарил мне вышедшую тогда повесть о трагедии в Хатыни. На обложке изображены остатки разрушенных домов, остовы печей, а на них колокола, звонящие под ветром.

Таким звонящим колоколом, будоражащим совесть, мне всегда представлялся сам Алесь Адамович. Его творчество.

Тем бы и закончил я свой рассказ.

Но было долгое продолжение, встречи, откровенные разговоры, иной раз и под рюмку. Через какое-то время он приехал на короткий срок в Москву, но слег с гриппом, и

я, как было договорено еще в Кишиневе, привозил ему в гостиницу «Украина» томики солженицынского «Архипелага». В ту пору это было рискованное занятие. Друзья между собой, для пущей конспирации, именовали меня Книгоношей. И я носил...

Помню, Алесь долго перечитывал главы, посвященные армии Власова, и сказал, что тут он не согласен с автором, который их как бы оправдывает. Он лично наблюдал творимые ими жестокости по отношению к населению и считает их преступниками.

Вскоре он переехал в Москву, но в его новом доме, где он жил в последние годы с Ириной и ее дочкой, мне побывать так и не пришлось.

А за день, что ли, до смерти Алесь приехал к нам на Комиссию по помилованию, его привез Булат Окуджава из Переделкина. Молча посидел, прислушиваясь, шли споры вокруг убийц, приговоренных к смертной казни.

На обратном пути в машине смущенно признался, что сам бы не смог, наверное, решать судьбу смертников... Впрочем, был у него в жизни случай, когда ему пришлось быть богом. Так он сказал. И поведал нам эпизод из своей партизанской юности, было ему лет пятнадцать, когда сидел в лесу в засаде и вышли на него два немца...

— Один был крупный, другой помельче, с автоматами наперевес, — рассказывал он, — а я переводил прицел с одного на другого, зная точно, что второго выстрела сделать не успею...

— Кого же ты выбрал?

— Как вы думаете? Кого?

— Крупного небось, — сказал мудрый Булат.

— Ну да! — подтвердил Алесь. — Он же был страшнее!

Мы в тот вечер расстались, договорившись наутро встретиться в Верховном суде, где шел раздел писательского имущества.

Всякая шантрапа, под шумок, пыталась растащить нажитое годами общественное добро по своим закромам. И в общем-то ей это удалось.

Алесь и погиб во время суда, куда он приехал, несмотря на больное сердце. Приехал и выступил, но так разволновался, что схватило сердце. Он сидел слева от меня и, как-то судорожно пошарив по карманам, вышел за дверь, но вскоре вернулся.

Остальное произошло мгновенно: он захрипел, закинув голову и хватаясь за грудь. Мы с кем-то вдвоем, не помню с кем, успели его подхватить. Кто-то побежал звонить, пытались найти в карманах Алесья таблетки. Нашли, но ничто уже не могло ему помочь. Хотя я повторял, как заклинание, никто не мог этого слышать, кроме него: «Алесь, не уходи... Алесь, не уходи...» Ушел.

Продержав его на руках около часа, я чувствовал кончиками пальцев, через одежду, как остывает его тело. Директор Литфонда, еще не осознав происшедшего, упорно массировал ему пальцы рук... Если бы он посмотрел на мое лицо, он бы все понял.

Во всем казенном, со сдвинутыми стульями помещении оставались мы двое да у окна толпились наши оппоненты, похожие в этот момент более на заговорщиков. Они шептались, оглядываясь на нас. Но вскоре исчезли.

Первая машина, литфондовская, появилась через час двадцать, и только тут мы с директором покинули помещение. В коридоре, сбиваясь кучками, стояли люди, разговаривали, понизив голос.

Приехала еще одна машина, наконец-то реанимационная, рослые ребята в белых халатах и с мудренными приборами в руках. Только эти приборы уже не были нужны.

А в неубранном после ремонта казенном коридоре суда, у самых дверей в зал, где еще впустую суетились врачи, стояла названная дочка Алесья — Анечка Ковалева и, уткнувшись лицом в грязную штукатурку, плакала. Безутешно. Как плачут дети.

Я наполнил золотой колпачок до краев, так что кончики пальцев омочил в коньяке: «Алесь... Не уходи!»

Услышал, как мимо прошаркал человек. Скорей всего, сторож или истопник забирал дрова. Когда он приблизил-

ся, смог расслышать и тяжелое дыхание, в проеме между досками были видны руки, а потом грудь, шея, подбородок, нос... И вот уже глаза.

— Ну слава богу, — сказал я, но почему-то не почувствовал облегчения. — Ты что же, приятель, по ночам печку топишь?

Но приятель посмотрел сквозь меня и ничего не ответил. В его руках сухо загремели полешки.

— Оглох, что ли? — глядя в темные зрачки, рявкнул я.

Он не отвечал.

— Слы-ышь! — прокричал я. — Слышь!

Человек между тем разгреб дрова и вынул из-под них бутылочку.

Придерживая в руках дрова, он зубами со скрипом выдернул пробку, сладко приложился, и стало слышно, как булькает, перетекая в рот, в желудок, в счастливую требуху, жаркое содержимое.

Я смотрел. Словно в свое отражение. В такую минуту не голоса. А когда он отложил свое пойло и вздохнул облегченно, я крикнул изо всех сил:

— Ну легче, гад? Теперь тащи ключ и выпускай! А то я не знаю что сделаю...

Никакой реакции, кроме некоторого раздумья, не возникло на его лице. Поколебавшись, он глотнул еще и, запрятав заветную бутылочку в дрова, стал медленно укладывать поленницу обратно. Я лишь увидел, как скрывается его нос, подбородок, шея, грудь и напоследок крупные в узлах пальцы со следами грязи под ногтями.

— Ты что делаешь? Ты что делаешь, гад! — взревел я на весь подвал. — Не видишь, что я здесь!

Мой крик оборвался, и в наступившей тишине стали слышны удалявшиеся шаги, вскоре и они смолкли. Лишь какое-то из полешек, плохо положенных, звякнуло, будто поставило на наших отношениях точку.

— Не дрейфь, — сказал Слав, кладя мне на плечо горячую руку... — Выпьем, выпьем пока тут...

За столом подхватили:

— На том свете не дадут!

Господи, как славно, что все они пришли ко мне, когда мне худо... И Слав, и Емил...

А первое мое знакомство с Емилом произошло в Москве, куда они со Славом Македонским заглянули по дороге из Сибири на родину.

В поисках экзотики их отчего-то занесло на Байкал, в Бурятию, где повезли их на санях по тайге, и Емил вывалился из саней и протрезвел, но не настолько, чтобы испугаться. В общем, ему показалось, что из чащи на него идет медведь...

Он из России написал об этом своему другу-болгарину в далекую деревню в горах, который хранил драгоценную открытку, и показал мне, когда я приехал в Болгарию: вот, мол, каков наш Емил, в тайге не испугался дикого зверя!

— А сколько ты выпил? — спросил я Емила.

— Не знаю, — отвечал он смущенно. — Но медведь, кажется, был...

Я нацедил, в смысле накапал, в золотой колпачок питья и, подняв глаза к потолку, произнес: «За тебя, Емил! И за здоровье того медведя, который тебе встретился... Хороший был человек».

Зашумели, загалдели в застолье гости. В белой рубашке, главный в застолье Гринер, а рядом Каплер! Мягкая, доверчивая улыбка, но, кажется, предназначена не мне... А Женщине...

МОНСТЕРА — РЕДКИЙ ЦВЕТOK

(Алексей Каплер)

Третий день по городу мело, насыпая сугробы до окошек второго этажа. Улицы, с расчищенной серединкой, похожи на больничные коридоры, по ним с грохотом, со свистом, как курьерский поезд, проносился ветер, протыкая город насквозь. Ветер налетал из тундры, и особенно доставалось окраинным домам. Но самые изобретательные из мальчишек придумали игру: они выскакивали из-за дома, и их с силой несло по гладкой дороге...

Я смотрел на их забавы и думал о своих оставленных в Москве детях и еще о том, что сегодня снова не улечу домой.

— Закон пурги... Знаешь? Если больше дня, затянется на три... А если больше трех, то до пяти или семи... — объяснил чуть ли не виновато Гринер.

— Может и месяц мести? — неудачно пошутил я.

— Конечно может, — отвечал он серьезно и предложил: — Езжал бы ты лучше поездом. Пару суток отмучаешься, зато уже точно будешь дома.

Не дожидаясь моего согласия, набрал номер кассы и заказал билет по брони дирекции комбината в мягкий вагон. А поскольку поезд уходил вечером, позвал прогуляться до оранжереи. Там монстера, говорят, расцвела...

— Какая еще монстера? — буркнул я. Настроение было скверным, и никакой монстеры видеть я не желал.

— Но к ней все ходят смотреть, — сказал Гринер. — Да и что нам до вечера делать? Пить?

Я даже вздрогнул. Пить я не то что не хотел, а уже не мог. Тут, на Севере, пьют, как и везде: часто, зато много. Водке предпочитают неразбавленный спирт. На бутылках так и значит: «Спирт пищевой, 92 градуса». Ну а раз пищевой, значит — пища. Для многих чуть ли не основная.

Недавно в аэропорту встретил геофизиков, развеселых таких ребят, они, оказывается, в поисках этой «пищи» прилетели сюда из Нарьян-Мара. Сначала махнули до Печоры, всего-то полтора часа лету. Но там ничего путного в магазинах не оказалось, и они взяли «борт» до Воркуты...

Обошлась им эта поездочка в три тысячи километров и в месячную зарплату. Зато душевно отгуляли ночь в здешнем ресторане. Этакие просветленные, будто только что попарились в горячей баньке, с веничком и пивом.

Я потом побывал у них на «точке», в тундре, где сидят они по полгода, зондируя землю в поисках чего-нибудь полезного. Не для них, конечно, полезного, а для нас, то есть для державы, которой они, если по-честному, и на хрен не нужны.

Живут в балках, вагончики такие, на полозьях, жрут прошлогоднюю тушенку и ходят по нужде при сорокаградусном морозе. После чего мой новый знакомый тракторист Аркашка, глядя на промороженную до центра земли тундру, раздумчиво изрек: «Вечная мерзлота и вечное недосирание...»

Но не меньше, чем о теплом сортире, здесь тоскуют о бутылочке с каким-нибудь зельем. Я был свидетелем, как они варварски разорвали походную аптечку, когда медик по каким-то делам уехал в город. Пили все, что пахло спиртом: йод, календулу, какие-то противозачаточные средства в ампулах... Но более всего — красавку, от которой что-то сотворилось с глазами и все вокруг празднично покраснело: и тундра, и небо, и люди, как в знаменитом сюрреалистическом фильме Антониони.

Жизнь, хоть и ненамеренно, подтвердила великую правоту искусства: видение мира зависит от того, сколько и чего ты выпьешь.

Там же, кстати, произошел случай в балке, когда некий семьянин приготовил ведро браги, ее здесь называют болдянкой. А жена его, такая клуша, не разобравшись, решила, что вода из растопленного снега, она всегда чуть мутноватая, обрадовалась, стала стирать в ней белье. Гости, настроившиеся на скорую выпивку, рассвирепели, как это бывает у мужчин, когда они долго не принимают внутрь, стали черпать и пить прямо из корыта вместе с мыльной пеной. Но, конечно, не хватило, и в конце выжимали белье: пошли в ход и женские ночные сорочки, и трусики, и бюстгальтеры...

Этот напиток вошел у них в историю под названием «стирка».

«Стирки», даже за цивильным гринеровским столом, не хотелось.

— Ладно. Пойдем посмотреть твою монстеру, — согласился я обреченно. — Не слышал, чтобы за Полярным кругом... Оранжереи...

— У нас как в Греции, — усмеялся Гринер. — И оранжереи тоже есть!

Дорогой он поведал мне, что построена оранжерея в военные годы, при генерале Климочкине, прославившемся особенной жестокостью: он утопил в крови восстание эзков, это случилось в самом начале войны.

Однажды этот самый Климочкин распорядился поставить в скверике, что напротив Дворца шахтеров, бронзовую скульптуру, олицетворяющую вечную дружбу рабочих и крестьян... По-видимому, тех самых, что собраны в лагерях... А центр экспозиции оформили в виде фонтана, который украсили три грации. В одной из них все сразу же узнали возлюбленную генерала — актрису здешнего драмтеатра Колычеву, которая, как и остальные мастера культуры, была привезена сюда издалека и надолго.

Возможно, именно для нее, а может, даже по ее просьбе воздвиг генерал и оранжерею посреди холодного города, который чем дальше, тем все более увеличивал свое народонаселение. Вслед за ежовским и бериевским набором пошли сюда косяком бывшие фашистские узники, военно-

пленные из Германии, и те из них, кто бежал на Запад, но щедро возвращен обратно осторожным Черчиллем в клетку Сталина... Миллиончик-другой эков... Среди них, конечно, немало специалистов-ботаников или цветоводов.

Когда закладывали оранжерею, вокруг были сплошь болота, и на топкий грунт насыпали землю до трех метров высоты. В ту пору вообще считалось, что в городе ничего не может расти. Только стояла неподалеку от центра тонюсенькая, сероватого цвета березка. Почки на ней лопались двадцать пятого июня, а ровно через два месяца, день в день, ударяли первые морозы и листья одномоментно отлетали. А тундра становилась бордово-красной, словно политая кровью.

Солнце тут до последних чисел ноября. Еще несколько дней оно стоит под горизонтом, освещая пролетающие самолеты, но с земли люди его не видят. И не увидят до конца января. И будет их угнетать состояние, неведомое для тех, кто не пересекал Полярного круга: смутная тревога, некоторая вязкость в движениях и беспричинная болезненная раздражительность, облегчаемые лишь крепкой поддачей.

К зиме оранжерею построили. Она была просторная, яркая, с желтыми стеклянными стенами, заметная издали: гигантская электрическая лампочка, горящая на снегу. Для полноты картины неподалеку открыли цветочный магазин, и отцы города, сплошь в погонах и звездах, громко пристукивая заледенелыми сапогами и щурясь от света, прошли под сверкающее стекло и разрежали ленту.

Вот тогда-то и была завезена монстера, редкое тропическое растение с берегов далекой Амазонки.

Каким ветром занесло ее на эту несчастную землю? Может, чудака-профессор, арестованный прямо на работе, в ботаническом саду, прихватил росточек... Так, для души. Где-то она теперь витает! Или жена чекиста, переброшенного в Заполярье с дальнего юга, привезла с другими горшками цветов, чтобы смягчить холодное одиночество.

А может, заполярные летчики, летающие в Америку за техникой по ленд-лизу, получили от сентиментальных

американцев, вместе с презервативами и пляжными зонтиками (так они представляли наши нужды), в подарок экзотическое растение и, не зная, куда его девать, передали в ведомство чекистов... Тем лучше известно, кого и как сажать.

И посадили. Кривоватый, чахлый росток, в пластиковом горшке с песком. И стал он вдруг расти. А покамест живые цветы набирались тепла и живительных соков, приказали работникам оранжереи мастерить бумажные цветы для ритуальных венков, потребность в которых была тут чрезвычайно велика. Из года в год оранжерея выполняла план по валу и долгое время считалась чуть ли не единственным рентабельным предприятием в городском хозяйстве.

После одноцветного сероватого внешнего мира оранжерея и впрямь поражала: глаза пьянели от ярких красок — примула, бальзам султанский, китайская роза...

Осторожно, смахивая снег с унтов и щурясь от сильных ламп, мы прошли в глубь зеленого рая... Гринера и здесь знали.

— Дальше, дальше ступайте... — сказали нам. Поняли, что пришли смотреть на монстеру. — Мимо не пройдете!

Мы и правда угадали ее сразу. Куст или дерево, не разберешь. А внутри, в глубине его, среди темных зеленых листьев, цветков. Всего один цветок, но размером с чайное блюдце. И — белый. Но это не был мертвый цвет тундры, цвет снега, а нечто живое, чистое, нежное.

В этом чистом свете померкли все другие яркие краски. Меня даже дрожь проняла. Такое наваждение, и где... Среди мерзлых болот, эковских барачков (лежащие небоскребы) да безымянных могил в тундре...

Неисповедимы пути Твои, Господи.

К нам подошли и объяснили, что родом монстера из Южной Америки и в зарослях именно таких цветов скрывался знаменитый по фильмам Тарзан. Но одно дело — заросли в джунглях, другое — здесь, этот цветок монстеры — единственный — подчеркнули — на весь Север.

Его приезжали даже снимать из ленинградской кинохроники.

Выяснилось, что монстера невероятно живуча. Она не заглохла без света, когда его отключали. И был случай, когда лопнула труба, цветок обварило горячим паром. Но и тут, переболев, он выжил, да еще, видите, цветет...

Прощались мы с Гринером у поезда, закрываясь спиной от ветра. Снежной пылью больно секло по лицу и глазам.

При посадке в вагон наткнулся мой приятель на кого-то из своих, здешних, громко поздоровался и меня представил, мол, друг поменял самолет на поезд, поедет до Москвы... А это, сказал, генерал Логинов, будете в одном, значит, купе...

Купе было двухместным, с кожаным креслом в углу и туалетом за маленькой дверкой. Вагоны, как выяснилось, из недавно расформированного поезда Москва—Пекин: ввиду осложнившихся отношений с Китаем поезда туда больше не ходили.

Полки в два яруса, тоже кожаные, чуть пообтертые, но широкие, удобные. Мне досталась верхняя.

Я собирался было залечь, но Логинов, теперь я смог его рассмотреть: светлый, коротко стриженный, моложавый — достал армянский коньяк три звездочки и предложил выпить за знакомство. Граммулек так по пятьдесят...

— По пятьдесят? — спросил я недоверчиво. И заглянул в голубые детские глаза моего попутчика.

— По пятьдесят... На килограмм веса, — отвечал он с легкой улыбкой.

Мы просидели с ним всю ночь. И день. И другую ночь. Ровно до Москвы. За первой бутылочкой пошла другая, уже из моих запасов, а потом снова его... Потом... Потом не помню чья...

Генерал Логинов оказался превосходным рассказчиком. Но виноват, хоть слушал его в два уха, ничегошеньки я тогда не записал. А надо было. Все, что он поведал, теперь далекая история, которой, возможно, никто уж не помнит.

Закончил он в сорок втором году институт связи, распределили в Забайкалье: тянуть провода вдоль Транссибирской магистрали. Но вдруг вызвали в Москву, в Наркомат внутренних дел, присвоили воинское звание и приказали вылететь на Север, в район Воркуты. В командировочном удостоверении не был даже указан город: «Запомните устно». Куда, мол, надо, туда и доставят.

Вернувшись домой, заглянул он в карту и тоже никакой Воркуты не нашел, да ее на самом деле и не было. Как потом узнал, были здесь шахты (черные квадратики на карте), где добывали самый северный в стране уголек. Поселочек с десятков домов, в которых жила охрана, специалисты да руководящий состав из военных, к коему с этого дня стал принадлежать и он.

Впрочем, специалисты были из тех же самых эков да еще немцев Поволжья. Последние как бы не считались заключенными, а числились призванными на «трудовой фронт», но отношение к ним было немногим лучше.

Когда летел на «Дугласе», на небольшой высоте, разглядел в иллюминаторе колонны людей, двигавшихся пешим порядком с юга на север: темные, вытянутые на километры ленты на белом полотне тундры. Если бы не они, не за что было бы зацепиться глазу. Белый цвет до горизонта.

И еще один, не последний вопрос: он-то, Логинов, здесь зачем нужен?

Лишь когда прибыл, понял, что работать ему придется с контингентом особым: заключенными, из которых, как выяснилось, и состояло основное население угольного бассейна.

Поперву тянул он связь на объекте пятьсот первом, так именовалась высокоширотная железная дорога, эки же называли ее Мертвой. Она оправдывала свое имя. Там простудился, но если по правде, не выдержал кошмара, который тут увидел.

Переболел воспалением легких, а после лечения занимался телефонной связью на шахтах Воркуты. Просматривая списки новоприбывших с «континента», наткнулся на фамилию, знакомую с юности по кинофильмам: Каплер.

Выяснил, что тот на общих работах, на одной из шахт, добывающих уголь открытым способом.

Заехал, попросил привести. Доставили к нему в конторку зэка, по виду доходягу и дистрофика: серое лицо, глаза потухшие, едва стоит на ногах. Ясно, что долго не протянет.

Логинов предложил ему сесть. Задал стандартные вопросы: откуда, по какой статье сидит. И в конце:

— Вы тот самый... Алексей Каплер?

— Какой — тот? — настороженно спросил зэк.

— Ну... который в кино?

Каплер, кажется, удивился, но не очень сильно. Отвечал, что да, это он. Был... Несколько раз повторил слово «был», как бы подчеркивая, что все в прошлом.

Логинов, конечно, ничего не спросил о работе. Без слов понятно: место гиблое. В течение полугода на любой шахте сменялся весь рабочий состав, люди вымирали.

Выглянул за дверь, не подслушивают ли, торопливо объяснил Каплеру: скоро прибудет квалификационная комиссия, и он должен про себя сказать, что прежде работал малоточечником.

Пояснил:

— Телефонная связь... Там малые токи. Непонятно? Ну, после поймете. Только не забудьте сказать: ма-ло-точеч-ник... А главное, вылезть из этой ямы! — сказал на прощание Логинов и указал в окошко на котлован.

Через месяц Каплера доставили к нему. Уже как работника связи. Поселился в домике, где был у Логинова одновременно кабинет и жилье. Ходил без конвоя, топил печи, выполнял мелкие поручения.

Логинову полагался генеральский паек, приличный по тем временам: мешок муки, сливочное масло, тушенка, сахар и прочее. Часть своего пайка он отдавал Каплеру.

Разговора о прошлом до поры не возникало. Но однажды, задержавшись в кабинете, разговорились, а потом уже частенько уединялись, чтобы побеседовать по душам. Опальный литератор поведал историю, довольно романтическую, как к нему, молодому, но уже знаменитому

кинодраматургу на каком-то приеме подошла дочка Сталина, Светлана, и начался у них роман, окончившийся десятилетним сроком и Воркутой.

Понимал ли он гибельность такой связи? Наверное, понимал. Не мог не понимать. Сажали и не за такое: за анекдотец, за вскользь брошенное словечко. А тут какой-то писателишка проник в святая святых, в семью вождя, когда и в прихожую, чтобы вытереть пыль в доме, никто не мог быть допущен без особой проверки.

Все так. Но был он в ту пору, наверно, слишком самоуверен. Да и она, студентка, девочка в сравнении с ним, проявила себя как человек, умеющий достигать желаемого. Мало соображаясь с реальностью, летела, как мотылек, на огонь. Но по-настоящему крылышки-то обжег он один...

Нигде на следствии ни строчкой не всплыло имя Светланы Сталиной. Его обвинили в антисоветской деятельности или измене родине... Логинов точно не помнил.

Но был еще один грех за Каплером, который Сталин не должен был простить. Каплер воспел в своих фильмах Ленина. Молодой Джугашвили появляется на экране где-то на вторых планах, рубает картошку в мундире... В исполнении, кажется, Геловани.

Не таким лучший друг советских кинематографистов желал себя видеть.

Через год-другой, после того как освободился и уехал городской фотограф, Алексей Каплер занял его место. Фотография в городе была одна-единственная, а заказов много. Теперь он уже не бедствовал, даже кое-что мог скопить на черный день. Числился к тому времени на поселении и через пять лет, отсидев половину срока, вышел на волю.

Поезд, пролетев сквозь ночь, въезжал в серое зимнее утро. За окном на месте утомительно однообразной тундры возникли карликовые березки, а потом и елочки, пересеченные дорожными проводами.

Логинов глянул за окно, буднично произнес:

— Я и здесь тянул...

— Связь?

— Ну а какая же дорога без связи. Война, металла нет, снимали провода на Транссибирской магистрали. А на рельсы шел металл из фундамента Дворца Советов... Знаете, того, что начинали строить на месте храма Христа Спасителя, и на десятки метров сваи уже забили. Там даже клеймо стояло, что металл для Дворца Советов... По этой дороге повезли первый уголек в разблокированный Ленинград, спасали людей от холода... Но какой ценой! Это же не насыпь. Это такая длинная братская могила...

Логинов налил коньяк и впервые, не предложив мне, опрокинул залпом. Выпил и отвернулся к окну.

Через мгновение сказал как ни в чем не бывало:

— Поздравляю. Мы в Европе. Теперь можно и соснуть.

— А что же Каплер? — спросил я. — Уехал?

— Уехал... Быстро так собрался, счастливый, да еще с деньгами... Но лучше бы не уезжал.

— Так ведь... свобода?

— Да, — сказал Логинов. — Вы правы. Все мы умны задним умом. В общем, уехал, и слава богу. А через месяц или два, не помню, звонят из Печоры, там сплошь лагеря, и говорят: твой, мол, Каплер теперь у нас... Прибыл на днях этапом...

Бросил все дела и на самолет. В тамошнюю комендантуру.

Приводят. Под конвоем. А он как увидел меня, затрясся, руками лицо закрыл. Налил я ему чаю, попросил охрану оставить нас вдвоем. А он, когда успокоился, рассказал, как, вернувшись в Москву, по старой привычке собрал дружков и закатил в «Метрополе» пирушку, денежки у него заработанные, как я сказал, были. А в самый разгар веселья позвали его к телефону. Снова она — Светлана. Говорит, рада, что вернулся, и хочет его видеть.

Он протрезвел от ее звонка. Ничего не ведавшие друзья поднимали тосты за радость встречи, за творчество, новую жизнь... Появление с того света могло в ту пору восприниматься, да и, наверное, воспринималось как чудо.

Как надежда на возвращение других. Пили за здоровье, но где-то неозвученно слышалось: «за воскрешение».

У него же испуганной мышью метались мысли... «Хочу тебя видеть»... Он-то знал, что она сделает так, как захочет. И еще знал, сколько потянет на весах судьбы такая встреча.

Не заезжая домой, сел в экспресс на Ленинград. Остановился в гостинице «Европейская». Там его еще помнили, проблем с номером не было. Попросил не распространяться о приезде, заперся в номере и весь день отсиживался. К вечеру спустился в ресторан пообедать. Сидел лицом к двери и сразу ее увидел: вошла, огляделась и очень уверенно направилась прямо к нему.

Оказывается, догнала самолетом. Еще и упрекнула: как же мог уехать, не повидав ее. Он что-то невпопад отвечал.

Посидели, выпили шампанского.

Расставаясь, договорились встретиться в Москве. Но он уже догадывался, что ждет его не Москва. Хотя до конца не верил. Надеялся: вдруг да пронесет. Не пронесло. Его поджидали тут же, в холле гостиницы. Даже не дали подняться в номер. Не привлекая внимания посторонних, попросили пройти в машину.

И далее — как в первый раз.

— Вы так ничему и не научились, — сказал на прощание следователь. — И эта шумная пирушка в «Метрополе» на всю Москву...

«Может, чему-то и научился», — подумал Каплер.

Узнал, например, что бывают малые токи. Не телефонная связь, а связь иная... Человеческая...

И еще узнал, что те токи хоть и малые, но исходят они от людей, не разучившихся еще чувствовать. А пирушка в «Метрополе»... Что ж... Тоже, по сути, связь... Восстановленная связь с прошлым... Которую опять порвали.

— Здесь, на Печоре, — продолжал Логинов, — я уже ничем не мог Каплеру помочь. Попросил по возможности облегчить ему жизнь. Но это был настоящий лагерь, а не городская фотография.

— Ну а ваши дела? «Малые токи»? — поинтересовался я.

— Они, — отвечал, усмехаясь, Логинов, — очень малые! Но хлопоты с ними пребольшие!

Разговор перекинулся на его нынешнюю работу: это по-прежнему вся телефонная связь в Воркутинском угольном бассейне.

— У нас так и говорят, — пошутил Логинов, — в Воркуте две стихии: пурга да связи! — И стал объяснять, что складывалась связь постепенно, с пуском шахт... — Теперь ее перестраивать все равно что перекраивать вашу Златоглавую... В которой я всегда путаюсь...

— А если честно, — спросил я в упор. — Телефоны в Воркуте прослушиваются?

Логинов насупился. Покачал головой:

— Нет. Хотя на меня жмут.

— Очень жмут?

— Очень, — сознался он. — Даже хотели снимать с работы. Но вот почему-то до сих пор держат. — И после некоторого раздумья: — Я ведь вам рассказал про Каплера, как его спасал, а ведь и он меня спасал... Другим я стал человеком. И знаю, поверьте, куда приводит эта дорожка с подслушиванием!

Логинов, вроде бы уже собиравшийся залечь, извлек откуда-то бутылку и разлил по стаканам.

— Монстеру-то успели посмотреть?

— Успел.

— Красиво? Вот то-то же, — произнес не без вызова. — Давайте выпьем за то, что и у нас не всё стихия... Бывает что-то еще.

— Малые токи?

— Цветок монстеры, — возразил он. — Что есть — красота. — Не стал добавлять общепринятого: «которая спасет мир»... Это было понятно и без классики. — Сейчас приеду в Москву, — добавил, — позвоню Каплеру, мы с ним обязательно встретимся... В каждый мой приезд встречаемся... Вы-то небось знакомы?

Я сказал, что живем по соседству... Но виделись недавно в Крыму...

Каплер отдыхал в «Ореанде» вместе с поэтессой Юлией Друниной. Запомнилось, как прогуливались они по набережной Ялты в странных таких кепарях из вельвета. В разговоре выяснилось, что кепари шьет здешний умелец, мастер на все руки, бывший зэк, и тоже с Севера. Приехал сюда заканчивать свой срок жизни, средств нет, а потому покладист и недорог. Делает эти кепочки двусторонними, хочешь — носи одного цвета, хочешь — другого.

Я так и поступил, купил разных цветов вельвета и заказал у мастера кепочку для себя, для жены и для маленького Ванюшки.

Ребенок носил эту кепочку в детский сад. В солнечную погоду наружу красным цветом, в плохую выворачивал и делал синей.

Мы тогда присели втроем с Каплером и Юлей под навесом недалеко от моря и выпили шампанского «Новый Свет». За Крым, за море, за нас и нашу встречу... Я лишь потом сообразил, что были они, Алексей и Юля, в ту пору молодоженами. От них исходил особенный свет.

Такими я их и запомнил: Каплер тогда вел на телевидении «Кинопанораму»... После него-то вели разные, трясли козлиными бородками, но выхолостили, превратили в кормушку... А в ту пору благодаря Каплеру, его домашности, мягкой грустной улыбке, это была одна из самых любимых у зрителей передач... И он сердился, что его снова выдергивают в Москву для съемок, для работы.

Ну а Юля даже не сердилась. Негромко, но твердо объявила, разговор был при мне, что Алексея никуда не пустит. Пусть снимают там что хотят.

И не отпустила.

Прошли годы. Во время экскурсии в Старый Крым, уютный белый городок у взгорий, утопающий в садах и виноградниках, наш автобус остановился у старого кладбища, где могила Александра Грина.

Мы поднялись на небольшой холмик. Над могилой старый тутовник, нижние ветки увешаны красными галстуками: сюда часто приходят пионеры. И тут вдруг я

разглядел на дереве кусок картона со стрелкой-указателем. Крупными буквами от руки выведено: «К КАПЛЕРУ».

Я оставил моих спутников и по узкой тропинке, меж оград, прошел чуть вверх и вправо, куда указывала стрелка. Могилу нашел за зеленью, необычную для поселкового кладбища — серовато-красный мрамор, с таким знакомым мне профилем.

На мраморе чуть вразброс свежие цветы.

— Это Юля, — сказали за моей спиной. — Когда она в Коктебеле, сама их приносит. Каждый день по горам от Коктебеля двадцать километров... В другое же время по ее просьбе цветы приносит знакомая женщина из Старого Крыма. Но цветы, живые, здесь всегда.

Я и сам потом встречал Юлю в Коктебеле. Обычно она занимала комнатку в корпусе на втором этаже, с видом на Карадаг и с красавцем кипарисом у самой веранды...

На море бывала редко, уходила гулять в горы, всегда в одиночку. И ничего не боялась. А вскоре я узнал, что Юля покончила с собой. Судачили разное. Говорили о трудном и сложном времени, которого она не могла понять, о кризисе творчества, о фронтовой юности, наложившей особый отпечаток на ее жизнь...

Но я-то уверен: она ушла к нему.

Я огляделся: красивое местечко выбрали здешние жители для усопших: теплое, просторное, сухое. Особенно много здесь цветов.

Не знаю уж почему, но вспомнилась оранжерея на дальнем Севере. И редкий цветок монстеры, расцветший среди белой мертвой тундры... На него ходили смотреть люди...

Как немного, оказывается, и надо: посмотреть и увидеть красоту.

— А что же генерал Климочкин? Жив ли? — спросил я как-то Гринера.

— Да жив, жив, — отвечал мне все знающий Валентин. — Живет на даче в Краскове, под Москвой... Разводит цветы... Обожает отставник красоту. А вот георгины, как

он утверждает, чтобы лучше цвели, надо поливать кровью... Что Климочкин и делает, покупая на малаховском рынке и взрезая живых кур... Но георгины у него и в самом деле какие-то гиганты: выше роста человека... И необыкновенно красивы...

«Может, и правда, — подумалось со страхом, — что вся эта красота взрастает на живой крови?»

Я нацедил в жестяночку и выпил... за цветы. Нет, не за георгины, а за те цветы, что приносит к могиле возлюбленного женщина.

Раздался шорох. Я прислушался, решил, что опять явился жирный кот. Но это была мышь. Она пробежала на уровне моего лица. И остановилась, потирая лапкой о лапку. Меня тут словно и не было.

Я сказал ей:

— Мышь, а мышь, тут кот тебя ищет!

Мышь перестала чиститься и устала на меня бусинки глаз. Но быстро сообразила, что я существо беспомощное и голос — это все, что может от меня исходить.

— Ишь, какая сообразительная, — произнес я не без упрека. И почему-то добавил: — Ну чего устала: живу я тут, живу...

Был такой анекдот про человека, стоявшего в болоте...

Мышь убежала от моего голоса, а я остался стоять, поставив бутылку у ног, там было меньше половины. Разглядывая содержимое бутылки, я задумался, а правда ли, что живу тут... В склепе, расположенном ниже уровня земли? И не есть ли мой мир миром теней? А мои застольники лишь отблеск, отзвук прожитого...

Был на нашем курсе поэт и выпивоха Толька Леднев. Во время пьянок любил тушить окурки о клавиши пишущей машинки, так что букв не стало видно. Печатал он вслепую, и стихи у него выходили странные... Без многих букв, и оттого казались даже лучше.

Так вот лежит он на общежитейской коечке прямо в ботинках — такая у него вторая счастливая привычка —

и рассказывает анекдот про себя... Мол, умирал Толька Леднев... — Это глаголет со своей койки Толька Леднев. И продолжает: — Вокруг него собрались родственники, друзья. Утешают: ладно, Толька, не горюй, все там будем! — Поднял Толька голову и спрашивает с надеждой: «А Кузнецов там будет?» — «Будет», — отвечают. «И Гладилин будет?» — «А как же!» — «И Приставкин?» — «И он тоже!» — «Значит, снова... пьянка!»

В застолье смех перекатывается волной и стихает вдали. А стол разросся так, что другого конца не видно. Как в праздники в доме лепят: один стол, другой, к нему кухонный, и журнальный, и даже тумбочку... Чтобы всем хватило места...

Так и живем от стола к столу, и если заглянуть в семейный альбом, сплошь застолья, будто и не было серых будней... Словом, этапы большого пути...

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

(Песня о главном)

Теперь я могу еще увереннее утверждать, что пьют везде. Даже в лифтах. И конечно, при всех режимах. Мы и царей-то своих — то же, что и генеральных секретарей — запомнили зачастую не по их деяниям, а по водке, которой они нас кормили.

О «Петровской» не говорю, умел поддавать царь Петр Алексеевич и подпаивать любил... Небось какому-нибудь Меншикову за пазуху лил, если тот противился... И плохо кончил.

Такая же привычка была у лучшего друга всех алкоголиков Джугашвили... Иосиф Виссарионович любил застолья и любил накачивать собратьев по партии, хотя сам пил умеренно. Но особенно подозрительно относился к тем, кто отказывался при нем пить. Верный продолжатель Ленина, который пытался при жизни ввести сухой закон, Сталин не пошел по его пути и усидел на троне.

Сейчас кажется странным, что эпоха не увековечила имя вождя всех народов на бутылке. Была ведь сталинская конституция, сталинская авиация, сталинский ударный труд... А одна из вершин — пик Сталина... Хотя, если по судить, именно при нем наступила та самая эпоха всеобщего и повального пьянства, какого не бывало прежде на Руси.

Да он и сам понимал: пьющий народ безопасней непьющего.

Впрочем, в Отечественную была узаконена фронтовая норма: сто граммов, именовалась наркомовской. А наркомом-то все он — товарищ Сталин. Многие тогда фронтовики, особенно перед боем, когда выдавали «для храбрости» и поболее, так втянулись, что после уже не могли остановиться.

А я запомнил те сороковые годы, когда кучковались они в трофейных суконных шинельках у пивных ларьков: вспоминали погибших дружков и свою молодость, хоть были еще молоды... И пили, пили... «Остограммьясь», спускали за желанный стакан трофейные часы, снятые с какого-нибудь фрица. Пропивали все, кроме орденов. Это святое. За это даже денежку давали.

А началось небрежение наград не снизу, а сверху, когда перестали за них платить и тем как бы обесценили великий подвиг. Именно тогда инвалидов-попрошаек, чтобы очистить Подмоскovie, сбрасывали на ходу с электричек и извели.

Мой отец-фронтовик... сколько же ему было?... Тридцать пять, кажется... А уже виски седые... Я находил его на пристанционной площади у ларька. «То-лик! — кричал он в возбуждении. — Двигай сюда... Морсу налью! — Морс-то сладкий, я до страсти любил сладкое, сахара за войну не пробовал... — Вот, — гордо тыкал отец пальцем, — сынок мой... Я его от смерти защищал, как в песне, помните?»

Всенародная пьянка запечатлелась и в песнях той поры, где просят.. «налить боевые сто грамм...»

А уж кто тогда не подпевал в застолье: «Выпьем за родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем...»

Песен той поры, тоже «о главном», где предлагалось выпить, поднять бокалы, которые лишь граненые стаканы, было много. На каждом этапе свои.

Славилась в тридцатые годы «Рыковка». А вы спросите: «Кто такой Рыков?» Да бог его знает. Неукротимый большевик, честный, руководил, сгинул... А вот имя, запечатленное в народной памяти благодаря водке, оста-

лось. Отец рассказывал, что на чекушках, под пробкой, клали кружочки с водяными знаками и за сто кружочков бесплатный патефон дарили... Хотя, если здраво рассудить, пропьешь-то больше, чем стоит тот драгоценный патефон!

И еще записка... В Ступино под Москвой приехал Клим Ворошилов, кандидат в депутаты. Стол ломился от угощения, но Климент Ефремович попросил налить перцовочку, а ее-то не оказалось. Подняли на ноги весь район, послали машину с мигалкой для скорости в Москву... Завезли столько, что и через годы приезжие поражаются обилию в здешних магазинах перцовки... И была она тут же наречена «Ворошиловкой».

Оставил человек в народе о себе память. А что еще он сделал полезного для страны, спросите тех же ступинских? Не скажут. Да и те, кто жизнь прожил, с трудом выскребут из памяти, что скакал где-то по степи с шашкой на коне, носил военную форму и гулял в свободное от сражений время с товарищем Стадиным по Кремлевской стене... Оба, судя по картине Налбандяна, обуты в сверкающие глянцем сапоги... Но, правда, трезвые...

А вот при царе Никите водочка, говорят, поднялась в цене, и народ ему не простил.

При Маленкове стаканы подешевели, из которых пьют, и люди запомнили. Душегуб, ясно, но цены-то снижал... И водку не трогал. Оттого в Усть-Каменогорске, куда его почетно спихнули, алкоголики, повстречав в магазине (рассказывают, лично ходил!), благодарно кепочку снимали... Спасибо, благодетель... За стаканы...

А водочку, подорожавшую при царе Никите, выпустили с зеленой этикеткой, с буквой «о» (писалось так: «вОдка»), окрашенной в красный цвет... И тут же было подхвачено: «кровавая слеза пролетариата». Но уже рекой потек портвейн, увековеченный как «Солнцедар»... В народной памяти прочно утвердилось стойкое отвращение к этой отраве, происхождение которой до сих пор не выяснено. Вроде бы доставляли его из Алжира в нефтеналивных судах и оттого, мол, припахивал керосином.

Среди всяких «чернил», «горлодеров» и прочей бормотухи (понятия, полагаю, непереводимы) «солнцедар» в биографии нашего поколения занимает особое место по той свирепой ядовитости, которая в нем была. Утверждают, что его при случае заливали вместо кислоты в аккумуляторы, ибо в нем растворялось стальное лезвие бритвы.

Но это, кажется, уже при Брежневе, который и сам был выпить не дурак. Особенно на охоте. Рассказывают, пили в избушке (царской избушке, одну такую в Унгенах я описал), рядом родничок журчит. А чего он журчит? Мешает отдыхать людям. Утром с похмелья глаза разул, спрашивает косноязычно: а где этот... ну, который шумел ночью?.. Так его, товарищ генеральный секретарь, прикрыли... Исчез родничок, как не бывало. А водка та продолжала журчать, хоть и подороже. И запели: «...За бутылку стало восемь, все равно мы пить не бросим... Передайте Ильичу, нам и десять по плечу...»

При Андропове вдруг с первого сентября какого-то года водка на полтинник подешевела, и тут же ее окрестили «Андроповкой». А более осторожные — «Первоклассницей».

О «Распутине», «Орлове», «Горбачеве» и других подобных напитках и говорить не хочу, они пришли извне и не стали символами эпохи, врезанными навсегда в благодарную народную память.

Единственно, что осталось от Горбачева, — это частушка: «По талонам горькое, по талонам сладкое, что же ты наделала, голова с заплаткою?..»

И «горькое» и «сладкое», безусловно, связаны с потреблением водки и самогона («три свеколки»). И уже пошел в дело дихлофос («три пшикалки» — это надо из баллончика три раза «пшикнуть» в пиво), а потом и стеклоочиститель, и тормозуха, и ацетон, и прочая химия...

Всё, наверное, простят Горбачеву — и перестройку, и распад Союза, а возможно, Грузию и Вильнюс, где поубивали мирных жителей. Но не простят антиалкогольного закона, который погубил народу куда больше.

Однажды и мне досталось во время той кампании, когда, отдыхая в Крыму, встал я в очередь за вином. Его привозили в поселочек Планерское, он же Коктебель, лишь в одну-единственную палатку, по определенным дням, и собиралась толпа озверевших мужчин... И я чего-то сунулся, выпить захотелось. Мне так намяли бока, едва отлежался. Единственное утешение, что ценой помятых ребер несколько бутылок какой-то дряни я все-таки вынес!

И это в том самом знаменитом Коктебеле, где горные тоннели на километры — это я сам видел! — заполнены бочками с наилучшим вином, и продавалось оно в разлив и в бутылках на любом углу, не считая магазинов, ларьков, автоматов... И конечно, на базаре.

Да что это за проклятая Богом и людьми власть, которая любое обилие превращает в нищенство, в бедность и всеобщее несчастье?!

Сейчас-то любой Жириновский может выпустить в честь себя напиток, ну так пусть сам его и пьет. Оно не выстрадано, не пережито во время крутых переломов истории, в то время как другие, оплаченные последними мятыми рублями из трудового кармана (и рублями, и ребрами, и жизнями), становились, бесспорно, этапами большого пути...

И одеколон, особенно «Цветочный» и «Тройной», но мог сойти на крайний случай и «Шипр». А шиком был коктейль из смеси одеколонов: «Саша» и «Тройной», в народе он прозывался «Александр третий»...

Но уже маячил впереди просвет в лице нового царя Бориса, а с ним, с его приходом, как бы закончился период очередного абсурда, возведенного в государственную политику.

Господи, сколько же дураков стояло над нашим народом и скольких он с похмельной головы еще навыйбирает...

А в Доме писателей — ЦДЛ, в кафешке, все стены разрисованы, расписаны поэтами... Импровизации разные. И наш гость, знаменитый датский карикатурист Бидstrup, уве-

ковечил себя с женой: изобразил за столиком в странном таком виде — с вытаращенными глазами, как бы несколько раздвоенным, а перед ним десяток бутылок, и на всех обозначено: «Московская»... И подписал: «Вид на Москву».

Но это было давно. А тут забрел я как-то в кафе, глянул на карикатуру и не узнал. Сидит наш художник трезвенький, глаза скромно опустил, а бутылки перед ним хотя и есть, но так прорежены, что вид на Москву уже другой и очень трезвый!

Неужто и нас подкрасят со временем и бутылки уберут с переднего плана? И глаза подрисуют?

А за моим столом уже Кузнецов Толя, посверкивая глазами, тянет рюмку... Что бы ни говорили, не хотел бы я подрисовывать его портрет на стене...

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

(Анатолий Кузнецов)

Так называлась его первая книга, опубликованная в журнале «Юность» в конце пятидесятых. Молодой человек, романтик, правдоискатель, естественно, комсомолец, едет в Сибирь на строительство гидростанции и там, в суровых рабочих буднях, находит свое место в жизни.

В финале он прикладывает ладонь к не застывшему еще бетону, такая вот символика, и этим как бы оставляет неизгладимый след на земле.

Какой же след на земле оставил сам Кузнецов?

В жизни он не очень-то походил на своего героя, которого, кстати, тоже звали Анатолий. Был постарше, да и непрактичней. А среди нас, дружков по Литературному институту, перебивающихся с хлеба на чай, после публикации повести он сразу стал богатым и знаменитым. Посыпались гонорары: от издательств, из кино... И Толя, от природы не жадный, тут же организовал в общежитии гулянки и картежные игры до утра. Он умел заводиться и заводять других.

Были у него три заветные мечты: проплыть по Черному морю на теплоходе, досыта нажраться черной икры и занять настоящий полевой бинокль.

Он так и сделал: бросил занятия и месяц раскатывал на теплоходе. Загорел, окреп, голубые глаза его за толстыми линзами очков победно блестели.

Он и за границу из всех нас попал первым, в Чехословакию, а вернувшись, популярно нам разъяснил, что он, ну и мы, конечно, в глазах Европы — новая генерация в литературе, от которой на Западе ждут многого. Неслыханное дотоле слово «генерация» возбуждало. Мы, конечно, тоже от себя чего-то ждали, творили по ночам и слепо тыкались во все существующие редакции, получая заслуженные пинки и смутно представляя свое литературное будущее. В то время как будущее Кузнецова виделось блистательным.

Его уже перевели во Франции. Повесть «Продолжение легенды» вышла с изображением колючей проволоки на обложке. Он судился, с подачи тамошних французских коммунистов, побывал в Париже, выиграл процесс и получил валюту.

К тому же Толя был человеком партийным.

Мы искренне радовались, что наш приятель так круто пошел в гору. Что он та самая «генерация», которая потрясла литературный мир. Письмами-откликами на его повесть были завешаны все стены в узеньком коридорчике «Юности». Писали мальчики и девочки, подростки-школьники, и все они, как герои Кузнецова, рвались покорять Ангару. К заместителю главного редактора Преображенскому, с которым Кузнецов побывал в Праге, он обращался запросто, называя его Серегой... «Возвращаюсь в гостиницу с двумя чешками, говорю: Серега, я тебе такой кадр привел! А он в ужасе... Что ты! Что ты!..»

Толя осуществил и второе желание: купил огромную банку черной икры... Целых четыре килограмма. Она в ту пору повсюду демонстрировалась в витринах рыбных магазинов в жестяных плоских банках со срезанной крышкой, с влажными драгоценными зернышками икринок, прозрачно-зеленоватыми. Такая банка стоила, кажется, рублей девятнадцать, а может, и больше, деньги, кто помнит, запредельные. Я уж не говорю о нашей куцей студенческой жизни, где счет шел не на рубли — на гривенники...

А Кузнецов купил.

Он принес ее, прижимая к груди, как увеличенную многократно медаль. В глазах его было торжество. Не за-

медля шага, победителем прошел сквозь нас, стоящих кучкой в коридоре общежития, и скрылся в своей комнате. Уединился, чтобы ему не мешали наслаждаться.

Вышел к нам, мы уже резались в дурака, чуть усталый, окинул рассеянным взглядом нас, карты, вздохнул и убрался довершать вторую свою мечту. Так он появлялся и исчезал несколько раз, пока не подытожил устало: «Все. Икры я вот так! — И ребром руки по горлу. Вдруг предложил: — Кто хочет?»

Хотели все. По очереди, чуть робея, заходили в комнату Кузнецова, где на письменном столе, посередке, возвышалась знаменитая банка с неровно обрезанными острыми краями и с торчащей из икры большой алюминиевой ложкой. Мы, подобно Толе, черпали раз-другой и отваливали, и снова ели... Но икры в банке не убывало.

Потом ее стали предлагать гостям, даже случайным, кто заходил к нам на огонек перекинуться в картишки... И не смогли всю ее съесть. Она долго еще стояла, перенесенная на подоконник, и засыхала, наводя панику на здешних мух...

Но с тех самых пор, точно знаю, Толя больше не ел черной икры, да и мы не особенно ее жаловали. Хотя по-прежнему были голодны. Ходили в столовку у Никитских Ворот, где на столах бесплатный хлеб. Можно было заказать салат из капусты за семь копеек да так и пообедать, прибрав заодно всю корзиночку дармового хлеба.

Однажды ночью в новой квартире у Кузнецова — диванчик для гостей стоял на кухне, — я проснулся от странного шороха: чья-то тень медленно наплывала из коридора... Я увидел Анатолия, в подштанниках, с животом, вываливающимся наружу: он жадно поедал колбасу, выхватывая ее двумя руками из нутра холодильника. Насытился, прикрыл дверцу и так же, стараясь не шуметь, удалился.

Утром за завтраком, заглядывая ему в лицо, я завел разговор о лунатиках, которые расхаживают по дому и едят... Толя захохотал, сразу сообразив, о чем речь, и подтвердил, что по ночам, обычно часа в два, на него нападает волчий аппетит и он не может уснуть, пока не поест.

Но это от давнего голода, пережитого в войну, в немецкой оккупации. Именно с тех пор для него дешевая ливерная колбаса слаще любых сервелатов.

А вот пристрастие нашего друга к биноклям надо пояснить. Дело в том, что Толя приохотился подсматривать в окошки за чужой жизнью. Он взахлеб рассказывал о доме напротив, кто в какой квартире с кем и как живет. Может, Толя что-то и присочинял, но не слишком. Секс занимал в его жизни главенствующее место, не считая, конечно, литературы. Хотя и здесь были свои проблемы. Когда ему не работалось, он мог сутками валяться в постели, положив на голову подушку, а что-то сотворив, комплексовал до момента публикации и далее. Временами он становился невыносим и для окружающих. Возможно, переключение на секс каким-то образом снимало с его души часть этой непосильной ноши.

Рассказывают, что, попав в Англию, он первым делом ринулся в публичные дома, чем вызвал неприязнь у чопорных английских интеллектуалов. Двери их домов с тех пор были для него закрыты... Но об этом потом.

Воспитанием его, насколько мне известно, занималась мама, по образованию учительница. Толя знал музыку, боготворил Шостаковича; имел обширную коллекцию его записей и по временам устраивал лекции-концерты в общежитии. Вдруг тащил нас в свою келью, рассаживал кого куда, включал старый обшарпанный проигрыватель и, скорчившись в уголке, замирал...

Потом давал нам возможность прийти в себя, да и сам успевал опомниться и, жадно заглядывая в лицо, выпытывал: «Ну... Проняло? Ведь проняло же!..» Очки его торжествующе блестели.

Да и вообще среди нас, публики довольно серой, приехавшей из глухой провинции и лишь краем зацепившей эту самую культуру, он был конечно же человеком просвещенным и нисколько не кичился. При этом полнейшая неразборчивость в связях.

Запомнилась историйка, поведенная им самим, с привычно безумным огоньком в глазах, как подцепили они с приятелем двух девиц у Казанского вокзала, который в

ту пору изобиловал проститутками, посадили в такси и развлекались по очереди на заднем сиденье... «А потом обменялись партнершами!» — победоносно завершал он свой рассказ, хохоча и показывая крупные, как кукурузные зерна, зубы.

Но Кузнецов обожал свою жену и время от времени, смотавшись в Киев, исчезал на неделю, где она училась в университете.

А вот проявлять знаки внимания к женщинам умел как никто. Однажды возлюбленная моего приятеля рассказала по секрету, что Кузнецов, книжку которого она редактировала, вдруг предложил ей на субботу — а разговор происходил в пятницу — лететь самолетом до Симферополя, а там на такси до Ялты, а там еще на такси до легендарной горы Ай-Петри... Встретить вдвоем рассвет... Но какой рассвет! Море, горы, любовь... И вечером того же дня вернуться в Москву...

План не был реализован: женщина любила другого. Но благодарно запомнила это на всю жизнь.

Как-то договорились мы с Кузнецовым поехать зимой в Ялту в Дом писателей поработать да немного отключиться от домашней обстановки. Днем мы сидели по своим кельям и что-то сочиняли, а по вечерам дулись в карты, отмечая проигрыши спичками, каждый десяток спичек заменяя папирсой... За ночь вся пачка «Беломорканала» — а курил Анатолий только эту марку — оказывалась в пепельнице.

Но однажды, закурив свою беломорину, он задумчиво стал рассматривать даму бубен, поворачивая так и эдак, и вдруг спросил:

— А как в Ялте насчет этих... ну...

— Да их везде хватает, — заметил я.

— А здесь — где?

— Наверное, в «Ореанде»...

«Ореанда» в ту пору была интуристской гостиницей, напичканной всякой нечистью: фарцовщики, шлюхи, стукачи... Хотя и там на зиму жизнь несколько замирала.

Мы двинули в «Ореанду». Взяли по дорожному коктейлю с рижским бальзамом, чтобы дружески настроить бармена

в его полупустынном баре, потом Толя попросил показать, какая из тутошних девиц годится на ночь.

Бармен ухмыльнулся, рожа у него была типовая, услужливо-хамская, кивнул на один из столиков, где приютилась в скромном одиночестве чуть накрашенная девица. К ней мы и подкатили.

Девица была не против, и мы, подзадоривая друг друга, в четыре руки носили ей и себе всякие экзотические напитки, пока не налились сами. Потом мы пошли ее провожать, и лишь на пороге домика-пристройки она ловко от нас ускользнула, кокетливо произнеся: «Ждите тут».

Вскоре на веранде зажегся свет, и мы через стекло увидели: присев спиной к нам за маленьким зеркальцем, она стала, что называется, представлять себя, неторопливо обнажаясь, от заколки волос, серег и бижутерии до кофточки, лифчика и далее, спускаясь все ниже и ниже.

Выглядело это как на экране: красиво и недоступно.

При каждом ее телодвижении Толя подскакивал от восторга, чуть не роняя очки и восклицая: «Ну какова зараза! А? Театр?!» При этом неистово принимался барабанить в стекло. От такого стука мертвый бы проснулся, она же занималась своим делом, будто ничего и не слышала.

Девочка оказалась куда изобретательней, чем мы ожидали. Отблагодарила нас за угощение изящным стриптизом... В тот момент, когда мой друг, в экстазе, особенно сильно заколотил по стеклу, рискуя его разбить, она бросила на себя в зеркало прощальный взгляд, легким движением распустив густые волосы, протянула ручку и выключила свет.

А мы, два молодых олуха, таких самоуверенных, остались торчать у темного стекла. Помню, что я был уязвлен и заявил, что это зрелище сплошь издевательство... все равно что лизать мороженое через стекло, а бармен — жулик, который нас надул: подсунул свою бабу, его рожа мне сразу не понравилась...

Толя меня не слышал. Он в последний раз приник к черному стеклу, пытаюсь что-то разглядеть, а потом взял

меня под руку и увел домой, снисходительный и даже счастливый.

Всю дорогу он прихихатывал и громко восхищался ловкой девицей: «Театр! Такой театр!»

В ту пору литературные дела у Кузнецова складывались неважно. Новая повесть в «Юности» про сельскую жизнь, которую мой друг вряд ли хорошо знал, редактировалась так, что летели страницы и главы.

Было там и что-то живое: деревенский пастух, этакий производитель и гегемон, ибо мужиков в деревне не оставалось, перепортил все женское поголовье. Выбросили и это, но Толя, кажется, не протестовал. Дело шло к окончанию института, а жильё ему в Москве мог вышибить только главный редактор тогдашней «Юности» Валентин Петрович Катаев. Лучший друг «Сергея» Преображенский в ту пору ушел править Литфондом.

Катаев почти и вышиб квартиру, но в это время происходил очередной съезд писателей, и делегат от Иркутска Георгий Марков призвал собратьев по перу покинуть теплую насиженную столицу и ехать к ним на Ангару, поближе, так сказать, к народной жизни.

В результате сам Марков оказался в Москве, став руководителем Союза писателей, а нашему Кузнецову предложили на выбор любой город, только не «теплую насиженную столицу». Кузнецов выбрал Тулу, прикинув на глазок, что она из всех предложенных вариантов ближе всего к Москве. Ему быстро дали трехкомнатную квартиру на первом этаже в доме-новостройке.

Он втащил туда новую чешскую мебель, которая была куплена заранее и долго загромождала коридоры общежития; достал лучший по тем временам холодильник «ЗИЛ», заказал огромные деревянные щиты на окна, чтобы не влезли грабители, и призвал свое семейство из Киева. К тому времени у него родился сын.

Я думаю, что в гэбэшных засекреченных архивах до сих пор лежат материалы, где детально расписаны подроб-

ности пребывания Кузнецова в Туле. Сперва это была жизнь с первой женой и маленьким ребенком, который, впрочем, воспитывался у родителей. А после развода протекала другая, довольно разгульная жизнь, которую мне довелось наблюдать.

По временам Кузнецов наезжал в Ясную Поляну к правнуку, если я не ошибаюсь, Фета, который там директорствовал. Они вдвоем крепко поддавали в бывшей холопской, что в подвальчике усадьбы, а чтобы сильней проникнуться духом великого графа, мой друг пытался писать, это я знаю с его слов, романы, сидючи за музейным столом Льва Николаевича Кошунство. Но Кузнецов лишь посмеивался. Не уверен, что и это он не присочинял. Но водку в усадьбе пил, знаю точно.

Однажды мы с ним вдвоем заехали в Ясную Поляну, и Толя со знанием дела, почти по-хозяйски водил меня по музею, парку, показал купальню, знаменитый дуб с колоколом, означенный стол в кабинете, но на могилу, что в глубине за деревьями, не повел... «Ищи сам», — произнес странно. Мне показалось, что он боится туда идти. Хотя бродить вечерами здесь не боялся и как-то под хмельком решил потолковать с яснополянским бродячим псом, для чего встал на четвереньки и стал его обнюхивать... Псу это не понравилось, и он хватил зубами кузнецовский нос. С отгрызенным наполовину носом Толька добрался до местной больницы, где нос ему пришили. А в Москве он уже объявился со шрамом и врал, что упал на битое стекло.

Все это, конечно, было продолжением тех самых несоразмерных комплексов, которые сопровождали его творчество. Очередную работу опять калечили, теперь уже в «Новом мире», а Толя посылал мне жалобные письма, там были такие строки: «Уже ни фуя не хочу (так стали материться после повести Солженицына) и плюнул, пусть изничтожают, режут, калечат и убивают текст, лишь бы заплатили, потому что сыну штаны нужны...»

В этих же письмах, чуть истеричных по тону, просил он меня почаще к нему приезжать, не забыв прикупить ливерной колбасы по семьдесят копеек килограмм. Потому

что в Туле, хоть и под боком у Белокаменной, он в полной изоляции и все его покинули.

Я бросал дела и ехал к нему, обычно на своем горбатеньком «запорожце», и заставлял почти всегда развеселую компанию и бурные застолья.

Однажды у них гостила Рита, подруга Толиной жены, актриса провинциального театра, она готовилась сдавать экзамены в театральный институт и по ночам заучивала Шекспира. А тут возникла идея поехать поразвлечься на природе, и где-то в гуще леса на эту самую Риту, такую романтическую, с длинной косой, напал деревенский балбес, невымытый и нечесаный. Рита громко закричала, а я был рядом, собирал сучья для костра, бросился на помощь. Парень успел ударить меня палкой, но тут же трусливо бежал, хотя внешне был куда здоровее меня.

Потом-то, опомнившись, он вернулся, да еще в компании таких же дружков, от силы лет шестнадцати, но не рискнул нападать, а все крутился вокруг нас и выказывал свою удаль, даже проехался на лошади, объявив, что если мы не отдадим баб, он возьмет их силой.

— Попробуй, — отвечали мы.

Приготовили для обороны палки и колья, восседали на горочке у опушки леса, заняв стратегически выгодную высоту.

Женщины хоть и трусили, но не подавали виду. Толя же вел себя как мужчина, подбадривал девиц, ломал палки для драки и грозил хулиганам кулаком. Очки его свирепо блестели.

— Если наедут, бейте по лошади, по морде, — поучал он.

— Лошадь-то при чем? — вопрошали женщины.

— Ну пожалей, пожалей... Они-то нас не пожалеют!

Одного мы опасались — что сопливые воины сообразят, что на лугу стоит наша машина, и что-нибудь сотворят с ней. Они и сообразили, но поздновато, когда мы, вооруженные все теми же палками, проследовали к машине и на их глазах укатили — слава богу, она сразу завелась.

Лесные братья, опомнившись, с гиком пустились вслед, швыряя камни... А вечером, за ужином, Толина

жена, поглядев задумчиво на подругу, произнесла, что та, дескать, следуя классической драматургии (вот и у Шекспира о том же), должна отблагодарить спасителя... То есть меня. А как... Это уже ее дело. И Рита, томная длиннокосая красавица, без всякого жеманства подошла и присела ко мне на колени, обхватив за шею, да так, прильнув, просидела, не отпуская меня, до конца вечера.

Это был, замечу, особенный такой вечер, когда всем было хорошо. Мы пили вино, водку, танцевали, много и удачно шутили, и наши женщины нам нравились...

Но запомнил тот вечер я вовсе не из-за Риты, с которой мы никогда больше в жизни не встречались, и не из-за лесных братьев, а лишь потому, что это был в их семье последний такой вечер.

Толя, надо отдать ему должное, построил в муках свой дом. Но он его же и разрушил...

Кой-какая несурaziца случалась с его семьей и раньше. Так, Толя заставлял свою жену «ходить в народ», чтобы познать всю черную изнанку жизни. Это, последнее, его особенно занимало, он требовал подробностей.

Послушная, мягкая от природы женщина натягивала плохонькую одежонку и исчезала из дома на неделю и более. Возвращалась она обычно в тяжком настроении, весь вечер отсиживалась в ванной, и даже тщательно отмывшись, она будто прислушивалась, принюхивалась сама к себе.

Рассказывала же мало, а на вопросы старалась не отвечать. Тайна и печаль были в ее глазах.

Однажды она вообще покинула этот дом. А в нем поселились бойкие девицы... Некая Надя, с фигурой подростка, подвижная, цепкая, с нагловатым прямым взглядом, и пухленькая, романтичная Таня, обожавшая стихи и мечтавшая стать диктором на телевидении... Еще была Зоя, красивая и глупая. «А глаза?» — восклицал Толя с ухмылкой. Глаза у глупенькой Зои были огромные, черные, действительно прекрасные.

Это был своего рода гаремчик, но, в отличие от восточного деспота, Толя с охотой предлагал, даже навязывал

заезжему гостю с кем-нибудь из девочек поразвлечься. И находил в этом удовольствие. Время от времени он и сам объявлялся в Москве во главе своего необычного семейства, вызывая гордый, как петух, насмешливо прищуриваясь, тут же всех куда-то устраивал и распихивал, чтобы девочки немного проветрились...

Однажды я в гостях у скульптора Федота в мастерской, в подвальчике у Никитских Ворот, наблюдал, как Надя залезла в ванну и долго там плескалась, Зоя выпила и уснула, а Таня под собственную песенку изображала стриптиз, стоя посреди мастерской на деревянном пеньке, пока энергичный Федот, возбужденно поблескивая лысиной, не набрасывал ей на плечи простыню и под восторженные крики пьющих не уносил на руках в другую комнату.

Мы же, оставшиеся за импровизированным столиком-пеньком, принимались пить молдавское вино. Когда Федота не было слишком долго, шли проведать молодых и подносили им, чуть прикрывшимся от наших глаз простыней, по стакану вина... Чтобы пилось и любилось... И все это до той поры, пока Толя не увозил гаремчик обратно в Тулу.

Подобный образ жизни в городе с устоявшимися заводскими традициями не мог восприниматься иначе как разложение. Общественность негодовала и слала обличающие письма в Москву и в тульский Союз писателей.

Об этом Союзе, кстати, ходила байка, что он переплюнул дореволюционные времена, ибо его доблестный отряд насчитывал сейчас с полсотни писателей, в то время как прежде был всего один... И тот граф...

Всяческая гэбэшная нечисть вилась вокруг злачной кузнецовской квартиры, захаживали и для бесед, и просто на рюмку да попутно на письменном столе что-нибудь высмотреть...

Но вряд ли какую крамолу они смогли найти. Конечно, литературная знаменитость, вхожая в разные там московские круги, постепенно разлагалась. Но не больше, чем какая-нибудь обкомовско-горкомовская верхушка. Разница лишь в том, что эти, последние, пили втихую.

У Толи же все происходило вызывающе открыто.

Однажды секретарь обкома по идеологии, высокая по тем временам власть, принимая нас в Рязани (еще один славный писательский город, гремевший в ту пору борьбой с Солженицыным) и не желая засветиться в ресторане, угощал нас из бумажных стаканчиков водкой, принесенной в боковом кармане, в сумерках, под грибками в детском саду.

— Увидят — на всю область разнесут, — жаловался он, морщась то ли от скверной водки, то ли от такой трезвой жизни. Водка была тепла и продирала горло. Мы, приехавшие из Москвы на есенинские праздники, преодолевая отвращение, пили и с сочувствием выпытывали у хозяина области, отчего это рязанский сучок так знаменито ядовит? Может, туда кислоту какую льют?

В Туле водка была чуть лучше рязанской, а секретарь — похуже, он нас к себе или под грибок не приглашал. Настроение у моего друга было неважным: всю шла редакция его последней и, возможно, лучшей книги о Бабьем Яре, где, как известно, расстреляли десятки тысяч евреев.

Впрочем, даже этот факт, что расстреливали именно евреев, у него почему-то вымарали, и он жаловался, что пришлось вставлять чепуху вроде фразы в устах какого-то деда, что расстреливали, мол, не только евреев и оттого Бабий Яр могила интернациональная.

Конечно, расстреливали и рукопись писателя, выстрадавшую собственной жизнью. Думаю, что это, последнее, и послужило главной причиной его слома и, как следствие, бегства за границу. Так это прежде называлось.

Кузнецов поехал в Англию, обещая написать книгу о Ленине... Невольная, но удачная шутка под занавес, хотя ему было не до шуток. Он бросил дом, книги, письма и рукописи. Иначе бы что-нибудь заподозрили. Тайно переснял на пленку рукопись повести в полном виде и зашил пленку в подкладку своей кожаной куртки. Оказавшись на Западе, рассказал, что в поисках выхода прорабатывал даже побег вплавь из Крыма. В какие-то времена Анатолий и впрямь зачастил на Черное море, много плавал с маской и трубкой.

Мы в то время не общались, поцапавшись по какому-то поводу. Но на Новый, шестьдесят седьмой, год я вдруг получил по почте книжный вариант «Бабьего Яра» с дружеской надписью, заканчивавшейся каким-то уж очень фальшивым восклицанием вроде: «Вперед к счастью, ура!» Может, это было неосознанным его движением вперед к тому «счастью», которое он замышлял? Но это «ура», помню, меня поразило, и я не поздравил его с книгой; наверное, зря.

Последний раз мы столкнулись в дверях иностранной комиссии Союза писателей — это случилось примерно за неделю или за две до его отъезда. Он кивнул на ходу и пошел дальше в своей вечной коричневой кожанке, очки его энергично блестели.

Я еще оглянулся, решив, что он сослепа меня не узнал. Но потом, когда все произошло и стали по всем сборищам склонять его имя, прокрутил в памяти эту встречу и понял — он намеренно не заговорил со мной, ибо кругом много глаз и обязательно бы всплыло, что именно меня видели перед отъездом с «предателем» Кузнецовым...

А может, проще: боялся, что в разговоре чем-то себя выдаст...

Но конечно, в органы все равно потягали... И не одного меня, для чего приезжал специально в Москву майор из Тулы. Даже Георгия Садовникова, хотя тот и видел Кузнецова, кажется, один раз в жизни.

Это было в обшарпанном тесном кабинете с канцелярским столом, заляпанным чернилами, и грязным непромытым окном в одном из зданий близ Лубянки, куда нас вызывали повесткой. Вопросы задавались стандартные, и все живое, что мог я сказать о Кузнецове, ложилось в протокол старательно переведенным казенным языком. Никакого подвоха в вопросах не было. Единственно, что я уловил из слов майора: одна из девиц, Надя, ждет ребенка и собирается подавать на него в Международный суд, чтобы платил ей валютой. Она и сама потом на Запад рванула, чтобы отыскивать заблудшего папашу, но оказалась в результате приключений в Америке...

Я поинтересовался у майора, а что случилось с квартирой Кузнецова, у него должны остаться мои не столь безобидные письма. Как говорят, не для чужого глаза.

— Да ничего особенного, — отвечал он буднично. — Пока стоит запечатанная...

— А рукописи?

— Говорят, в последнее время он ничего и не писал. Похабные частушки... А больше ничего.

Майор закончил протокол и дал мне подписать.

«Зачем это все?» — спросил я. Он пожал плечами: «Для дела». — «А дело зачем?» Майор посмотрел устало на меня, сквозь меня, буркнул: «Если вернется, будем судить...» — «Зачем же он вернется?» — мог бы вдогонку спросить я, но не спросил.

А вскоре на какой-то расширенной партийной конференции нас с Садовниковым заклеямили как единомышленников Кузнецова, которые бывали у него на «развратной» тульской квартире, а значит, практически сообщники его предательского побега.

Доклад делал Аркадий Васильев, тот самый, что был общественным обвинителем на процессе Даниэля и Синявского. На этот раз он не требовал засадить нас за решетку, но крови он жаждал, и его обвинения были тогда равнозначны отлучению от литературы.

Наступили черные дни, двери редакций и издательств передо мной закрылись. Вдобавок в Союз писателей попала открытка из Англии, адресованная мне.

Меня вызвал Ильин и дал прочесть открытку.

Там было написано: «Здравствуй, Толя, вот я пишу тебе из нового дома. Живу хорошо и вроде бы женился. По твоему примеру купил машину и даже наездил несколько тыщ километров, и это при здешнем левостороннем движении. Пиши, как живешь...» И далее подпись и обратный адрес. Но адрес был тщательно замазан черным фломастером.

Ильин терпеливо ожидал, пока я закончу читать, забрал открытку обратно, словно она адресовалась не мне, а ему, спросил, не хочу ли я что-нибудь ответить.

Наверное, подразумевалось, что и отвечать буду через него.

Я сказал, что отвечать не хочу.

— Ну, может, хотите что-то сказать для печати? — поинтересовался он. — Ваш дружок льет грязь... На писателей, на родину... Можно и отреагировать... Тем более в вашем положении, я бы советовал подумать... И не отказываться...

— А открытку можно взять? — спросил я.

— Возьмите, конечно, — сказал он, оживляясь, — но с возвратом. А если какие-то нужны материалы, позвоните... Мы всегда готовы помочь... И с публикацией... тоже...

Никаких материалов, конечно, мне не понадобилось, я не собирался ничего писать. А открытка так и осталась у меня на память.

Редкий писатель не скажет, что ему необходимо затворничество. Что-нибудь вроде одиночной камеры. Ну, а остальное уже детали: будь то комнатуха в Доме творчества, кухня, кладовка, тюрьма или вот такой лифт... Да что лифт... Однажды нас подвозил на своем «ЗИЛе» Юлиан Семенов. Пили мы в ЦДЛе, после крупной драчки и выяснений отношений молодых тогда писателей с секретарями... Но ресторан закрывался, и тогда Юлик крикнул: «Все в машину, едем куда-нибудь еще!»

Я залезал одним из последних, и выяснилось, что нас (ввиду, наверное, нашей худобы) влезло в машину одиннадцать человек. А поехали почему-то ко мне, и первым ввалился в квартиру Ярослав Голованов, обнаружил у дверей напольные весы и сообразил... Всех гостей пропустил через весы и записал вес каждого: Аксенова, Амлинского, Кузнецова, Шатько, Гладиллина... воскликнув: «Теперь я знаю, сколько весит молодая литература!»

Это было название будущей статьи, но он ее так и не написал. А в застолье, как ей и полагалось, явилась Сильва... Золотокудрая, голубоглазая, с губами, вытянутыми чуть вперед, за что Заходер, любивший приклеивать клички, назвал ее в Ялте верблюдицей...

ПЛАЧУТ ЖУРАВЛИ

(Сильва Хайтина)

Случилось так, что через много лет смог я поехать в Англию в туристическую поездку. Ильин уже не работал, и меня вдруг включили в писательскую группу. В Лондоне, в Обществе англо-советской дружбы, где все участники организованной встречи профильтрованы, просвечены нашими органами, встретил я моложавого профессора, который подошел ко мне и представился: «Хагинс...»

Оказалось, приличный человек, в свое время писал о Солженицыне, и теперь ему дорожка в нашу страну наглухо закрыта. Отдалившись от остальных, мы успели о чем-то переговорить, хотя к нам все время липли стукачи из нашей группы. Расставаясь, я попросил помочь найти телефон моей приятельницы из России Сильвы Хайтиной, которая теперь не Хайтина, а вроде бы Рубашева и работает на радио Би-би-си.

Выяснилось, что профессор ее немного знает и обязательно сообщит о моем приезде.

Теперь о Сильве, золотоволосой, голубоглазой, с которой жизнь свела меня в давние годы все в той же Ялте. Мы тогда немножко за ней ухаживали, но среди многих знаменитых и не очень знаменитых постояльцев Дома творчества она предпочла Темиса, он же поэт Леонид Темин, из Киева. Сын тамошнего прокурора, страдающий

от неизлечимой болезни и почти не ходячий. Ухаживала за ним мама. По ночам он кричал от боли.

Была весна. Цвел миндаль. Воздух был чист и прозрачен... Но с моря надвинулись влажные тучи и ватным одеялом окутали горы. Воздух загустел, стал тяжелым, и деревья, и цветы — все чуть отяжелело и набрякло влагой, хотя дождя по-настоящему не было. Над побережьем повис непроницаемый туман, а по ночам надрывались журавли, которые в серой мгле не могли найти свою дорогу. Их жалобные призывные крики сводили нас с ума. Они преследовали нас и не давали спать, как и стоны Темиса.

У меня сохранилась фотография: литературная встреча в ялтинском ресторане — местные власти и писатели... Борис Заходер, помню, читал детские стихи о Ките и Коте, но в кадре его нет, зато хорошо видна Сильва в окружении Темина и меня. Мы молоды, веселы. И никаких намеков на то, что мы в ту пору переживали.

Я сейчас подумал, что все собравшиеся в тот год в нашем доме — и Феликс Светов, и Зоя Крахмальникова (они потом будут арестованы), и Борис Заходер, и Сильва, и Леня, который вскоре умрет, — чем-то напоминали этих, не видящих земли, журавлей. В безвременье, как в тяжелой мгле, каждый выбирал и выбрал свою дорогу.

Сейчас-то видней — какую... Но тогда...

Я даже стишки накропал, они были посвящены Сильве и начинались так: «Ты услышь, как плачут журавли, заблудившись на краю земли, не видать на небе им ни зги, а порывы ветра так резки. И кричат, лишь эхо по горам: люди, помогите журавлям!.. Вы же понимающие, вы тоже тосковали без травы... И ломали крылья пополам, чтоб прийти к своим родным полям...»

Люди, скорей всего это были военные люди, время от времени пуляли в журавлей осветительными ракетами: своим бессмысленным кружением те мешали работе пограничных радаров. А мы прислушивались, задирая к слепому небу головы, и потихоньку, каждый про себя, страдали.

Не знаю, замечал ли кто-нибудь, что на крайнем юге, как и на Крайнем Севере, витают осколки всяких непри-

кайнных судеб, обычно это нестандартные, одаренные личности. Так, в ресторане «Южном» по вечерам занимал публику игрой на скрипке немолодой музыкант Додик, и мы ходили его слушать.

Где-то у Бориса Балтера описано, как Додик взял смычок... положив на гриф огромные грустные глаза... Это настолько точно, что могу лишь повторить. Еще говорили, что у него совсем молодая жена.

Однажды Сильва попросила проводить ее в ресторан: одиноких женщин туда не пускали. Мы взяли бутылку массандровского портвейна и просидели вечер, слушая цыганские и еврейские мелодии. Сильва не проронила ни слова. А поразила меня тем, что по возвращении принесла деньги за вино. «Это был мой вечер, — сказала она. — И я тебе благодарна».

Додик, как я узнал через несколько лет, умер, и его тело отвезли в Ужгород. Собрался весь город, это были не почитатели музыки, а благодарные футбольные болельщики, которые, оказывается, помнили Додика, игравшего за команду мастеров.

Но я о Сильве. Мы не случайно оказались на том снимке рядом с ней — я и Темин. Мой удачливый соперник. Думаю, что Сильва выбрала его тогда из жалости. Она вообще была сердобольным человеком, равнодушным к чужому горю. Сама перестрадала в жизни: в какие-то сталинские времена ее родители (отец — писатель из Риги) были репрессированы, и детство прошло в Сибири. Родители, кажется, там и сгинули. Она же подростком приехала в Ленинград, поступила в лесохимический, другие институты при ее биографии не светили ей. Но на третьем курсе ее прямо на занятиях арестовали, судили за «побег» и в вагоне с уголовниками отправили обратно в ссылку, в Сибирь.

Ну а что это была за дорога (проделанная вторично) и что за ссылка, она не распространялась, только упоминала, как ей, голодной, конвоиры бросали хлебшек в зарешеченное окошко и как в таежном поселении, состоящем из одичавших эков-мужчин, она и еще одна, тоже

семнадцатилетняя девчонка, выкручивались, занимаясь фотографией, чтобы не сдохнуть с голода.

Все остальное, что пришлось там пережить, никогда не упоминалось. Может, в книжке, которую она потом написала... Но сейчас рассказ не об этом.

После Ялты наша Сильвупле, как ее прозвал любитель поиграть в дразнилки Борис Заходер (я у него проходил как Перекати-Толя), писала мне из Питера, где была у нее крошечная квартирка на Невском, изолированное, отъединенное от мира гнездо — единственное местечко, где она спасалась от другого, чужого для нее мира. Работа (отрабатывание) была не в счет.

Хотя однажды и там она выкинула номер: взяла да записалась в туристическую заграничную поездку, и не куда-нибудь, в Африку...

Наверное, это и сейчас бы недешево стоило, а тогда и подумать страшно: тысячи полторы-две, годовая ее зарплата.

Администрация, не терпящая чужого благополучия, задержала ее, и все с одним вопросом: где она собиралась взять деньги... Пытали бесконечными вызовами в кабинеты, и, доведенная до истерики, девочка созналась, что денег у нее никаких, конечно, нет, она просто решила пошутить...

В Питере однажды ее навестил Анатолий Кузнецов, которому я дал адрес Сильвы. В отличие от меня, он побывал в ее «гнезде», проговорил с Сильвой всю ночь и был без ума от такого знакомства. Они долго переписывались.

А примерно через год она приехала в Москву. Позвонила, сказала, что навсегда уезжает и хотела бы со мной проститься.

Мы встретились в шашлычной у площади Пушкина, которой нынче нет, там скамейки и фонтаны. Сильва сказала, что вышла замуж за племянника президента Израиля и навсегда покидает Россию.

— По-настоящему? Замуж?

— Мы расписались, — ответила она, послав мне долгий взгляд.

Но я и без того понимал, что это фиктивный брак. Уехать в ту пору из России по-другому было невозможно. А напротив нас сидели два жлоба, сытые, крепкие, никакие к каждому нашему слову, хотя вроде бы пришли сюда закусить. Когда мы поднялись и пошли к выходу, они бросились вслед за нами.

— За тобой... следят? — спросил я, оглянувшись.

— Да, — отвечала простодушно. — Так и ходят... Да черт с ними! Что они могут еще узнать? — И грустно улыбнулась.

В ГУМе, мы проходили мимо, я зашел в отдел сувениров и купил палехскую кругленькую коробочку, на доньшке, выкрашенном в красно-золотистый цвет, нацарапал: «Помни Россию, журавлей и меня».

Один из жлобов заглядывал мне через плечо и громко чмокал губами — видимо, чтение давалось ему с трудом.

А в Лондоне, спасибо профессору, мы встретились.

Сильва изменилась, но не настолько, чтобы не узнать: погрузнела, волосы не были уж такими золотистыми, потемнели. Она познакомила меня с мужем, теперь настоящим: бородатым, крупным и, по-видимому, добродушным.

Показала и свой дом: крошечная квартирка на двух уровнях, но зато со своим, таким же крошечным, огородиком, даже угостила с грядки морковкой, и все это в очень зеленом и престижном уголке Лондона.

Здесь, по ее словам, осенью ходят даже за грибами.

Сильва же и поведала мне о последних днях Анатолия Кузнецова. Он, когда бежал от Москвы, дал знать в Израиль, что хочет ее видеть. Подразумевалось, что готов начать с ней новую жизнь. Но Сильва в ту пору уже вышла по-настоящему замуж, и это сообщение его здорово расстроило. Он даже бросил ей писать. Но когда она переехала в Англию, они встречались, уже как друзья, и с ним, а потом и с его новой женой-англичанкой, очень странной женщиной.

Сильва не стала объяснять, что в ней было такого странного, но сказала: «Я ее не приняла». Имея в виду не дом, а свою душу.

Толя же стал крепко зашибать, он метался и никак не мог найти себя. Вскоре попал в больничку с сердцем...

Сильва так и называла ее по-зэковски: «больничка».

Друзей у него тут не было, и Сильва, одна из немногих, его навещала. Вышел после болезни каким-то обновленным, строил творческие планы и даже на радостях тяпнул, хотя Сильва пыталась удержать. Нельзя ему было. «Я его предупреждала, что нельзя, да он не слушал...» А ночью позвонила та женщина и передала, что Толя умер.

— Вас, конечно, возили на могилу Маркса? — спросила вдруг Сильва. — Толя там, неподалеку...

Вертелся у меня на языке один вопросик, да все никак не решался задать. А может, боялся ответа.

Не сразу, но спросил:

— А что, он правда признался публично... ну, что работал на КГБ?

— Не помню, — отвечала она. И после некоторого раздумья: — Что ж теперь, когда ушел... Он перестрадал свое. Приедешь в другой раз, сходим навестим. Тем более что та женщина к нему не ходит.

Расставаясь, Сильва предложила мне запрещенные книжки, на выбор, у меня глаза разбежались, столько заманчивых, знакомых на слух изданий здесь было. Я листал их, даже гладил... Но, поколебавшись, со вздохом отказался. Меня уже предупредили, что будут шмонать.

Так и вышло. На границе у меня да еще у писателя Славы Кондратьева, который захватил какой-то эротический журнал, обшарили чемоданы, а потом завели в закуток и вывернули карманы. Попросили даже снять ботинки. Были твердо уверены, что мы что-нибудь везем.

Молоденький суетливый лейтенантик пыхтел, сопел, звонил начальству и, получив очередной втык, опять во рошил наши тряпки.

Нервы мои были на исходе. Я что-то сгоряча успел выкрикнуть, но подскочила Люба Горина, перехватила меня и увела в дальний конец зала, утешала, говорила, что надо перетерпеть, перемочь... По-другому у нас не

бывает... Добавляя со вздохом: «Это пройдет... Пройдет... А Англия останется».

Англия и правда осталась.

Но пройдет ли это?

В группе был Игорь Минутко, мой коллега. Бродя по Лондону, по центру, я однажды наткнулся на него: он стоял на тротуаре и вытирал слезы. Я не стал тогда к нему подходить, а спросил потом, в автобусе, когда ехали из Шереметьева и меня еще лихорадило от пережитого, от ощущения чужих потных рук, лапающих меня. Я подсел к нему и негромко спросил:

— Игорек, я видел, что ты... плакал... Или мне показалось?

Он глянул в черное стекло автобуса, хотя ничего не было видно: Россия встречала нас глухой чернотой. Несмотря ответил:

— Да, правда, был не в себе. Я ведь знаю, что никогда больше туда не вернусь.

Непроницаемость изолированного от мира лифта ничто в сравнении с той изоляцией, что мы недавно пережили...

ДРЕССИРОВЩИК СОБАКИ

(Режиссер)

Одна моя знакомая представляла своих друзей примерно так:

— Знакомьтесь, — говорила она, когда собиралась в ее доме большая компания. — Великий поэт, великий романист, великий режиссер... — И так далее. Это упрощало процедуру знакомства, а главное, всем было приятно.

Так вот человек, о котором я расскажу, на самом деле великий режиссер. Об этом знали все кругом, и об этом знал он сам. Но я буду его называть просто Режиссер. Для экономии. А то, что он великий, подразумевается само собой.

Он разыскал меня телеграммой, прочтя мои рассказы, первые, о детдоме, опубликованные в журнале «Юность». Его жена потом рассказывала, что читал он в ванной комнате и вдруг закричал, она бросилась к нему, решив, что случилось что-то. И тут он стал звонить куда возможно и разыскал мой адрес.

А проживал я в то время в Люберцах, на станции Ухтомская по улице Сталина. Она потом станет улицей Восьмого марта. Там была у нас на двоих с сестренкой хибара, но сестренка вышла замуж и ждала ребенка, и тогда мы решились с ее мужем Павликом сделать пристройку. К той пристройке, в которой мы обитали.

На гонорар, первый в жизни, полученный за те самые рассказы от «Юности» — мне заплатили четыреста рублей, сумма по тем временам небывалая. — я нанял плотников. Они взяли аванс и исчезли навсегда.

Сестренка и ее муж были в отъезде, в деревне у родни Павлика, и я в одиночку колупался среди четырех засыпанных опилками стен (мы делали для удешевления «засыпуху») и тут же спал на раскладушке под открытым небом. Слава богу, осень стояла сухая.

Денег у меня не оставалось. Несколько раз в день кипятил на костре чай и заедал сгущенкой: на кружку кипятка ложка сгущенки. Чай без заварки назывался у нас «Белой розой».

В середине сентября в проем несуществующего окна несуществующего дома почтальонша протянула телеграмму: «Распишитесь. Проставьте день и час».

Я расписался, открыл бумажку и прочел: «Будем по рассказам делать фильм, срочно свяжитесь, мой домашний телефон...» И подпись Режиссера. Очень знаменитого. Его имя было тогда на слуху.

Я позвонил. Мы встретились. Он производил необычное впечатление: этакий седоватый подросток, говорливый и темпераментный, и никакой солидности. Выскакивал из-за стола, изображал в сценах кадры из будущего фильма или начинал похвально транзисторными приемниками, которые ему подарили итальянцы, сразу несколько штук. Для наглядности он все их, кажется штуки четыре, повесил себе на грудь, включил звук и так расхаживал по гостиной, хихикая и приплясывая, счастливый, как ребенок, получивший дорогой подарок.

Фильм мы так и не сняли. Я сам отказался от лестного предложения, которое принесло бы мне и деньги, а может быть, и славу. И уж годы прошли, но каждый раз, когда я проходил по коридорам Киностудии имени Горького, на меня указывали пальцем: это, мол, тот ненормальный, который с самим Режиссером отказался делать фильм...

Почему отказался, тоже помню: я собирался поехать в Сибирь, и долгое пребывание в Москве не входило в мои пла-

ны. Да и жить мне, если честно, было негде. Недостроенная засыпушка так и мокла под дождями без окон и крыши.

Режиссер поперву на мое такое безрассудство сильно рассердился. Но поостыл и однажды, оглядев меня с головы до ног, позвал сына, примерно моего ровесника. Указывая на меня, сказал громко: «Видишь... этого? Он в Сибирь намылился... В тапочках и распашонке... А ты вон как тепло одет!» И он приказал сыну снять с себя лыжный костюм и спортивные бутсы и отдать мне. А когда я попытался протестовать, прикрикнул: «Ничего... он в Москве остается... А тут еще никто на улице замерзший не валяется!»

Через годы, вернувшись из Сибири, навестил я Режиссера уже семейно, у нас уже двухлетний Ванюшка был. Мы заговорились за столом в гостиной, хватились ребенка и обнаружили его в прихожей, где он с наслаждением грыз собачью кость. Сама же собачка, кроха китайской породы, с рыженькой шерстью и сплюсненной мордочкой, сидела тут же, дружелюбно виляя хвостом.

Кстати, эта собачка всегда сопровождала Режиссера на съемках его фильмов. И Режиссер, усмехаясь и поглаживая собачку, обычно приговаривал: «Другие какие, всякие... везут с собой любовниц, прихлебателей, дворню... А я — только собачку... Ма-алень-кую...»

Об этой собачке, с мягкой шерсткой, с рыжеватым отливом и косенькими блестящими глазками, и пойдет рассказ.

Началось с приглашения приехать летом в Крым, в Артек, где Режиссер снимал свой фильм о детях. Грустный такой фильм. Умирает от радиации в Хиросиме японская девочка, а все остальные дети мира стараются ей помочь.

Поселили меня в комнатке по соседству с осветителем из съемочной группы, молчаливым и запойным, если не светил, то пил... Но не засвечивался. Это знал лишь я. В остальном же безобидный малый, да и общаться с ним почти не приходилось, днем я купался, загорал, а вечерами просиживал в домике у Режиссера, где размещались он и его собачка.

Кстати, к собачке, для ухода, был приставлен специальный человек, приписанный к киногоруппе, назывался

дрессировщиком. На самом же деле в его обязанности входило носить собачке питание из ближайшего ресторана, гулять с ней по территории Артека, купать в море и вообще следить за ее здоровьем.

Где-то в фильме можно было увидеть, как собачка разок-другой пробегает на заднем плане, для оживления, так сказать, сцены. И вся роль. Не столько для кино, сколько для отчета. Но великому Режиссеру это позволялось.

Ну а роль так называемого дрессировщика исполнял бывший актер еврейского театра в Москве. Театр к тому времени в очередной раз разогнали. Немолодой, с одышкой, чуть полноватый, седоватый, с остатками былой курчавости, в театре, говорят, он был на первых ролях. Но и этой крошечной роли при группе он был, кажется, очень рад. Его коллеги по театру вообще прозябали без дела.

Кроме собачки в его обязанности входила забота и о самом Режиссере: какие-то мелкие дела по дому и по работе; надо было носить ему на съемочную площадку термос с бутербродами и вообще находиться при нем, чтобы при случае куда-то сбегать.

Режиссер слыл человеком капризным, нервным, с громким голосом и мог даже накричать. Зато когда у него ладились и съемка, и настроение, и погода, он устраивал по вечерам застолья. Сам ел-пил мало, но любил угощать, а посреди вечера просил привести чернокожего мальчугана из домика по соседству, где проживали дети снимающихся в фильме, ставил его, смущенного, улыбающегося, посреди комнаты и громко вопрошал у притихших гостей: «Кто скажет, какой он национальности? — и, не дожидаясь, отвечал: — Помесь негра с евреем!» И громко при этом хохотал.

Он не шутил, это была правда. Мальчика, с бессмысленной улыбкой, приклеенной к лицу, уводили, а взоры обращались уже к еврейскому актеру, тогда он казался мне очень старым, лысоватый, с хрящеватым, очень большим носом и яркими голубыми, навыкат, глазами, и тот забавлял публику, пел еврейские песни или показывал сцены из Шекспира, Шолом-Алейхема, и тут вдруг обнаруживалось,

что он первоклассный актер, может быть, даже звезда первой величины.

А голос, господи, я как сейчас слышу, чистый, пронзительный. Для такого помещения излишне сильный. Даже уши закладывало. Колебалась вода в графине. Приняв рюмку, актер много и с удовольствием пел. Возможно, такие импровизированные вечера утоляли, хоть в малой степени, тоску по несуществующему театру.

Запомнились мне и его белые, изящные руки, с длинными пальцами, гибкие, пластичные, живущие как бы своей собственной жизнью. Я впервые увидел, как много можно выразить легким движением рук в сценах, которые он представлял. Да вообще с тех пор я понял, что искусство жеста, как и паузы, одно из самых главных в театре.

Не скажу, что Режиссера это не трогало. Какое-то время он наблюдал, не без любопытства, за игрой актера, потом отыскивал под столом у своих ног любимицу — собачку и начинал заниматься ею, кормить колбасой со стола, ласкать, перебирать пальцами шерстку.

Иногда хвастал с детской улыбкой, что эта редкая порода подарена ему китайцами, она и выведена много веков назад для китайских императоров, а если приглядеться, нельзя не заметить, что Режиссер и собачка похожи...

И тогда все начинали повторять, что они и вправду похожи, Режиссер и его собачка. И лицо его расплывалось от счастья.

Так и не дослушав дрессировщика, это был монолог из Гамлета «Быть или не быть», произносимый блистательно на иврите, в какой-то высший момент взлета голоса, вдруг коротко, хриловато Режиссер бросал: «Ну хватит, хватит!»

Кто-то из ассистентов с готовностью подхватывал: «Люди устали, отдыхать надо... — и добавлял: — Завтра на съемочную площадку автобус, как всегда, в шесть!»

Актер, оборвав монолог на полуслове и никак не конфузясь — видно, привык, обращался к столу и припадал к начатой рюмке.

Ухватив мой недоуменный через стол взгляд, подмигивал голубым глазом и кротко улыбался... Мол, известно,

что Режиссер гениальный человек, но он еще и капризный ребенок и не надо с ним спорить. Надо соглашаться, и будет тогда хорошо.

А уже в распавшейся компании разговоры шли о завтрашней съемке, о каких-то делах, деньгах, актерах... А еще об операторе, который заменит заболевшего и завтра скорым поездом прибудет из Москвы.

Ну, анекдот этот известен: начальник вызывает подчиненного и спрашивает, любит ли тот потных женщин и теплую водку, и, получив категорическое «нет», резюмирует: «Тогда пойдешь в отпуск зимой...»

Однажды разговорились с моим осветителем, тот был на взводе и клял здешний буфетик гурзуфского общепита, где водку, такую гадость, даже не охлаждают... Тут он вспомнил оператора, которого с нетерпением ожидали назавтра в группе...

— Мы его терпеть не могли, — сказал осветитель и поморщился. — Его вообще на студии не любили. Не знаю почему. У нас так бывает: если человека невзлюбят, то невзлюбят и все тогда на него вешают: и такой он, и сякой, и вдобавок еще и стукач... Или лидер... Или то и другое... Как дегтем измазали... Прилипло, не отдерешь. Так и относились: избегали к себе в группу брать, а если ненароком попадал к кому, то опять же сторонились...

А тут снимали в какое-то лето под Шатурой, жарко, тяжело, сил нет, да и работа не шла. То одно заклинит, то другое... Актер заболел, пленка с браком оказалась, запьянствовал водитель, а кто-то из группы психанул, сбежал домой... Спрашивается: что такое не везет и как с ним бороться? Уезжали на съемку рано, возвращались поздно, раздраженные, только что не кусались, но уже видеть друг друга не могли. И так случилось, после одного особенно неудачного дня собрались у меня в избе и решили крепко выпить, хоть известно, что водка в таком состоянии не помощница: еще тяжелей придавить может. Но решили. Послали машину в город, привезли с пяток бутылок, теплая, зараза, сплошная сивуха местного производства под

названием, как сейчас помню, «Анисовая». Но выбирать не приходилось, хорошо такая есть!

Наскоро кой-какую закуску сварганили, яичницу с салом, хлеб нарезали, лучок зеленый с огорода и стаканы граненые до краев... Сели, но медлим, уж очень муторно начинать с теплой отравы. Именно начинать, дальше-то пойдет... Первая, как говорят, колом, вторая соколом, третья мелкой пташечкой! А вот поначалу... Сидим, значит, смотрим друг на друга и ждем: кто смелый среди нас, первым бросится на амбразуру... А мы уж за ним, как на войне, в прорыв...

— Ух, рвотное, — кто-то рискнул понюхать, аж перевернулся... Всем от его слов еще тошней стало.

В такой момент вдруг распаивается дверь и на пороге объявляется наш оператор... Как чукча посреди Москвы! Оч-чень мы его ждали! Каким ветром его занесло сюда, в глухую деревню, да в дрянной день... Прямо неудача к неудаче...

Стоит, пялит на нас глаза, а мы на него выпучились. Кто с интересом, кто с недоумением, а кто и враждебно. И слышим... говорит... «Ребята, — говорит, — я так рад... До вас дошел... А мы тут в десяти километрах работаем...»

Молчим. Какая уж тут радость... А он свое... «Ребята, — говорит, — я как узнал, что вы неподалеку... После работы ноги в руки и к вам... Это ведь так здорово, что вы тут и мы тут... по соседству...»

Ну рад, и слава богу. Так, наверное, думали. Бегай, коль есть желание... По пеклу десять километров... Радость!

А он и правда едва дышит, взмок и губы облизывает, смотрит на наши стаканы... Бутылки мы для конспирации под стол убрали. И вроде бы в жару водичку попиваем...

«Ребята, — говорит, — пить охота, жара чертова, а я все бегом, все бегом...» И тут меня словно бес под локоть. Взял я свой стакан и протянул: пей, мол, не жалко. И он с ходу хватил, даже задохнулся от неожиданности, глаза из орбит полезли... Но ничего, проглотил, куда деваться. И стаканчик аккуратно на край стола поставил. И губы пыльным рукавом утер.

Но мы ни-че-го. Только кто-то поморщился и глаза отвел. А он, как голос объявился, тут же попросил воды. Ладно, мол, братцы, пошутили, хотя какие шутки... Но теперь-то, мол, водицей жар запить... Спеклось внутри...

И я, представьте, не знаю почему, зло, наверное, еще не ушло, не на него, а вообще, беру соседский стакан и подаю ему в руки.

Хватил он, как воду, залпом, и... Думали, тут и ляжет... Вы сами-то попробуйте, будет случай, одну водку по ошибке запить другой... Огонь по огню... В то время как душа для облегчения влаги живой просит. Но это уж чистой воды садизм... И я понимал, и мои дружки понимали. А он как захлебнулся, бульканье, хлюпанье из него раздалось. И вот что он сделал... Он допил этот второй стакан. Хотя мог бы остановиться, не допивать. Закрыв глаза, значит, и допил... И на край стола рядом с первым пустой стакан поставил.

Потом посмотрел на нас совершенно трезво и в упор. И проговорил... Этих слов не забуду. «Ну вот и утолили. Дружочки... Спасибочко вам...»

Обернулся и вышел. Мог бы и по матушке. Мы бы стерпели. А вот «спасибочко» могли и не стерпеть... Как поленом по морде! И уж тут пить совсем расхотелось. И кто-то, уже из наших, вслед за ним: мол, спасибочко, и тоже ушел. И остальные потянулись... И водка нетронутая на столе...

Что там было с ним, не знаю. А что с нами, знаю. Прониклись мы к нему, понимаете ли... С тех пор только по имени-отчеству. Вся студия... А как в съемочную группу оператор требуется, так к нему, первому... Отличным малым оказался... сейчас вот приедет.. — добавил осветитель.

И я, вздохнув, произнес:

— До буфета, что ль, дойти? Я ради встречи с ним на теплую тутошнюю водку согласен... Такую дрянью... А суп дают холодным! — ругнул и ушел в буфет.

На другой день приехал оператор, спокойный, деловой. И дело пошло. И опять по-южному ласковыми, синими-синими вечерами сидели мы в домике у Режиссера, пили сухое вино, коньяк, водку, но хорошо охлажденную водку,

и нас развлекал своим бесконечным репертуаром актер из еврейского театра. И фильм...

— Она лежит, японочка, а ей шлют бумажных голубей... — фантазировал Режиссер. — Весь мир, все дети мира... И горы, горы этих голубей! Вот в чем истина! Люди должны любить друг друга. Друг мой! — Это ко мне.

А потом случилось это несчастье. Собачка подавилась косточкой. И все потому, что в ресторане, куда наш дрессировщик ходил за едой, по нерасторопности вместо телячьей косточки положили в миску куриную... А кормящий не заметил.

Я застал тот момент в домике, когда Режиссер кричал на актера, а тот сидел в уголке на стуле, пришибленный, жалкий, и что-то бормотал в свое оправдание.

— Зачем вы здесь? — громогласно вопрошал Режиссер. Голова его тряслась. — Чего вы тут вообще делаете? Что вы можете, если не способны даже накормить собаку?

И актер встал и, горбясь, стали видны сразу его годы, вышел за дверь. Я видел по глазам, как он страдал. Не за себя, за собачку. Косточку-то из горла извлекли, для чего на студийной машине, забросив съемку, возили к лучшему хирургу Ялты...

Собачку спасли. Но актеру не простили. Выставили вон, даже не дали двух дней собраться. Я застал его в нашем фанерном домике вместе с осветителем, где они, в полусумраке затемненной от солнца комнаты, молча пили дешевое болгарское вино из двухлитровой пузатой бутылки.

Пригласили и меня, и я, подсев к столу, принял стакан и закусил помидором — это единственное, что было нам по карману: семь копеек килограмм.

— Уезжаете? — спросил я актера, хотя знал, что он уезжает.

— Да. Я чуть не угробил бедного пса, — отвечал он, наклоня голову, и в глазах его, голубых, влажных, была собачья тоска.

— Но... может, еще остынет... Он вообще-то не злой ведь человек, — сказал я про Режиссера.

— Он добрый человек... Правда. И когда за меня попросили, он меня взял. Хотя для меня не было роли... Но он все равно меня взял...

— А чего ему? Жалко, что ли? — отмахнулся осветитель. — Евреем больше, евреем меньше...

— Но другие же не брали! — Он странно засмеялся, откидывая голову, глаза его были влажные. Я вдруг понял, что он плачет. Плачет оттого, что стар и никому не нужен... И жизнь прошла... А его, знаменитого актера, унизили, заставив прислуживать собаке... Пока не дали пинка под зад...

Он отыскал в кармане платок, высморкался и ушел в туалет.

— Может, вы не знаете... Он был первым актером театра, — сказал осветитель. — Его великий Мейерхольд ревновал к славе... А эта дрянь...

— Косточка?

— Нет.

— Собака?

— Да собака при чем! Она лишь походит на своего хозяина...

Актер вернулся. Мы снова налили по стакану бурокрасного вина, чуть терпкого на вкус, и не чокаясь выпили.

Актер сказал:

— Прощай.

Не мне, осветителю.

А тот кивнул.

А я добавил:

— До свидания.

Но они почему-то меня не услышали.

Да я был молод тогда и не знал, что люди иногда так прощаются.

На съемках фильмов я больше никогда не бывал.

Но это ведь было давно. Очень давно. Сейчас их никого уже нет. И Режиссера нет. Хотя после этого он снял немало добрых, очень гуманных фильмов... И они идут...

Вот недавно по телевидению...

Но, правда, этого фильма, про умирающую девочку, я не видел ни разу. А если в каком-то фильме, в кадре, воз-

АНАТОЛИЙ ПРИСТАВКИН

никает крошечная рыжая собачка с приплюснутым носом, я вздрагиваю, как от электрического тока... У меня на весь вечер портится настроение.

Хотя... если подумать, собачка-то, она тут при чем?

Я накапал в крышечку коньяку и произнес с чувством:

— Великий актер — привет. — А подумав, добавил: — И осветитель...

ПТИЧЬЕ ГОРЛЫШКО

(Семья)

Моя бывшая жена любила пошутить. Однажды, когда за праздничным столом у моей тещи, а значит, у ее мамы, делили рождественского гуся, она объявила, что муж, то есть я, обожает птичье горлышко. Ну так обожает, так любит, что сердится, когда ему, то есть мне, это горлышко почему-то не дают.

Ну а что такое горлышко, даже у самой благородной птицы, описывать не надо, это что-то вроде пружины, где между спиралями-костями застряло кое-какое мясо. И нужны большие старания, терпение и крепкие зубы, чтобы это мясо в крошечных дозах оттуда извлечь. Многим это удается плохо. Мне же не удавалось совсем.

Так с легкой руки моей бывшей жены с давних пор и до сего времени, когда режут за столом птицу, мне подают только горло. Да я уже и не отказываюсь. Прежде отказывался и объяснять пытался, но все напрасно. Люди понимали так, что я слишком скромн и не хочу кого-то обделить своим любимым горлом, а бывшая жена добавляла при этом, что у нее есть подруга, которая тоже («тоже» — это про меня!) чудачка, она страстно обожает рыбки глаза...

Представьте себе рыбки глаза. Ну какой с них навар? Интересно, над ней тоже пошутили или она и в самом деле питает страсть к рыбьим глазам? Ведь где-то и про меня,

наверное, говорят: представляете, такой чудак, ну такой чудак, страстно обожает птичье горло... Гусиное, утиное, куриное... Надо еще добавить — воробьиное! Будет невероятно остроумно!

В общем, я смирился. Тем более что к теще и тестю на праздники приходили разные родственники, а иногда наши близкие друзья, и все они были на сто процентов убеждены, что, принимая у себя, они могут меня обделить, если не подадут мне в тарелке птичье горлышко.

Кстати, стол у тещи и тестя всегда ломился от закуски, но особенно хороша была треска, запеченная кусочками в сметане, и пирожки с капустой. Не все умеют делать так, чтобы капуста была рассыпчато-белая. А секрет состоит в том, что ее надо сперва обваривать кипятком...

Тесть обычно сидел во главе большого стола и хозяйским оком окидывал нас всех — детей и внуков. Мы могли и не так уж часто звонить или не приезжать, но уж несколько раз в году, в дни рождения, например, в Новый год или на Первое мая, мы должны были всем семейством прибыть в гости, в парадной, как говорят, форме, с детишками, тоже празднично наряженными, чтобы сесть дружно за общий стол.

Для меня, детдомовца, не знавшего прежде ни дома, ни семьи, такой порядок дома, культ дома и семейного гнезда, был внове, но я его с радостью принял.

Тесть работал геологом, ездил по сибирским рекам, а теща за ним. Когда он вышел на пенсию, занялся моим идеологическим воспитанием, для чего каждое воскресенье присылал мне телепрограмму передач на неделю, где красным карандашом было подчеркнуто самое главное, что я должен смотреть, синим — второстепенное, а зеленым — случайное.

В разряд случайных попадали всякие рок-группы, эстрада и заграничные фильмы, если они шли, в то время как красным цветом обозначался «Университет миллионов», политобозрения, особенно Зорина и Жукова, где обличалась Америка, а также патриотические фильмы... Такие, как «Сказание о земле Сибирской».

Тесть умер, но я полюбил этот патриархальный обычай и возмечтал, что и сам когда-то по их образцу буду сидеть во главе стола, окруженный внуками, а то и правнуками...

А что касается птичьего горла, так теща была ни при чем, она не могла знать, что ее дочь так шутит. И уж она-то старалась для меня особенно. И без горла я у нее никогда не сидел. И в то время как все гости, в том числе и моя бывшая жена, вкусно обгладывали сочные лапки, нежные крылышки, белую спинку или жирную гузку, ну все, что ни дадут...

Я, поглядывая на них голодными глазами, выскребал мои ровные миллиграммы из отвратительной, ненавистной мне шеи, делая вид, что мне хорошо.

Но мой рассказ совсем не про шею, хотя такая незначительная шутка могла повлиять, да, наверное, и повлияла на мое отношение к застолью, к бывшей жене и ко всем, кто меня когда-нибудь принимал.

Однажды позвонил мой приятель по Литературному институту Герман Фролов, в прошлом геолог, и пригласил на свой день рождения. У него случилась круглая дата. Когда-то мы ездили вместе в Братск, даже поработали там на стройке, потом мы бывали друг у друга в гостях, и Герман смешил моих детей тем, что умел шевелить ушами.

Но до этого он был на моей свадьбе в Братске и даже написал какие-то стихи.

А на моем тридцатилетии Герман прославился тем, что у шоколадной красавицы утки, украшавшей праздничный торт, он на глазах изумленных гостей и моей родни открутил утиную шоколадную голову и съел ее. «Это же утка!» — закричал он победно и попытался открутить головы шоколадным утятам, которые плыли за мамой-уткой по белому крему... Но ему не дали.

Выяснилось, что он азартный охотник и к уткам у него особая страсть.

Моя бывшая жена, не удержавшись, произнесла:

— Тогда мы дадим тебе от запеченной утки голову...

А я радостно вскричал:

— И шею!

Бывшая жена сказала, что она поедет к Герману на юбилей прямо с работы на метро, а я чтобы приезжал на машине, не забыв купить цветов, а уж из гостей, как заведено, машину поведет она сама. Поскольку она не пьет. Мы и прежде так делали: я вел машину в одну сторону, в гости, а жена обратно, в то время как я, будучи навеселе, распевал громко песни.

Водила моя бывшая жена неплохо, и мировая статистика утверждает, что женщины-водители менее аварийные, поскольку они меньше пьют...

Но все равно, когда руль в руках женщины, я быстро трезвею, в какой-то момент осознав, что лучше за рулем пьяный муж, умеющий нажимать на тормоза, чем трезвая жена, которая, приближаясь к красному светофору, отчего-то прибавляет скорость. А потом сильно удивляется, что нужно затормозить, а тормозить уже поздно, и непонятно, что в таком случае делать.

В тот вечер на ближнем к нам рынке почти не было хороших цветов, так что пришлось проехать на другой рынок, и я прилично опоздал к началу юбилея.

С букетом роз я шагнул за дверь, услышав нестройный шум голосов, а потом чей-то вскрик: «Идет, идет!» И сразу почему-то стало тихо. Это всеобщее внимание должно было меня насторожить. Но я слишком торопился, переживая опоздание.

Влетел в комнату, не совсем понимая, что же произошло.

А между тем передо мной открылся длинный стол, прямо от дверей в глубину квартиры, и бутылки, и закуска, и лица... Множество лиц, с интересом обращенных ко мне, застрявшему в дверях, будто они все ожидали от меня чуда.

Смущенный таким вниманием и необычной тишиной, я потерянно пробежал глазами по лицам и увидел желаемого мной юбиляра во главе праздничного стола, а рядом мою жену, демонстративно державшую перед собой рюмку.

И в тот момент, когда я остановил на ней взгляд, она подняла руку повыше, чтобы я получше рассмотрел эту

самую злосчастную рюмку, и тут же медленно (ме-ед-ле-н-но!), как-то слишком показательно, всю ее осушила.

Тут гости всплеснулись, захохотали, закричали «браво», даже зааплодировали ей. А моя судьба на весь вечер, да и на всю ночь, была решена.

Собственно, в этом и заключалась ее шутка, что перед самым моим появлением она сказала:

— Посмотрите, какое лицо будет у моего мужа, когда он войдет!

Думаю, что лицо у меня было и впрямь ужасным, и не случайно. Нетрудно было представить, что меня ждет. Я весь вечер пил лимонад, потому что должен был теперь вести домой машину. Но мне еще всучили пьяных гостей, чтобы их доставить домой, и пришлось их, плохо помнящих свой адрес, развозить. И кто-то вдобавок наблевал мне в машине...

Вернулся я домой трезвей трезвого, проклиная и юбилейного дружка, и машину, и мою остроумную женушку...

И свою собственную жизнь.

Ко всем прочим бедам, мне конечно же положили в тарелку то самое, пресловутое, не терпимое мною горло.

— Но зачем, зачем тебе потребовалось выпивать? — повторял я, ощущая себя кругом несчастным. — Тебе нужна была эта рюмка?

— Нет, — отвечала бывшая жена. — Но это же интересно.

— Какой же интерес заставлять меня мучиться? — стонал я.

— Зато какой эффект, — возразила она. — Это была лучшая шутка вечера. Я думала, ты упадешь в обморок, такое было у тебя лицо! Но ты держался молодцом.

— Какое у меня было лицо?

— Сам знаешь какое.

— Не знаю.

— Какое бывает у мужчины, когда он не выпьет.

— Значит, трагическое!

— Ну, если это трагедия!

— А что же это? — простонал я.

— А это уже, мой дружок, комедия...

— И то, что наблевали в машине?

— А вот это серьезно. Но я берусь убрать.

А все-таки лучшая шутка произошла этой ночью, подумалось. Когда я застрял в лифте. И лучше, чем сама жизнь, не умеет шутить никто. И какое у меня сейчас лицо, можно себе лишь представить.

Я не стал наливать в колпачок, надоело. Я отхлебнул прямо из горла: «Герман, привет». А второй глоток — за шутников и за шутниц! Хоть в древние времена говорили иначе: «шутиха».

Когда-то на моей свадьбе нам, новобрачным, подарили складную байдарку, наполненную всякими другими подарками, и Герман описал это в стихах:

*Разгорелась печка жарко в старом клубе, у реки,
Вносят легкую байдарку жениховские дружки,
Вносят бережно подарок, рассыпъ яблоков по дну,
И вино различных марок поднимает на волну...*

Заканчивалось оно довольно бойко:

*И жених не хлещет водку, пьет румынское вино.
Я б женился, дайте лодку! Сыпьте яблоки на дно!*

Он и в самом деле потом, непробиваемый холостяк, по моему примеру, женился, хоть лодку ему и не дарили... Звали ее Катя — длинные волосы и залиvistый такой голос, дома в застолье она с удовольствием пела русские песни. Но Германа она не любила. Это было заметно сразу. При всех костила его, особенно за то, что не умеет зарабатывать, а от стихов его никакого прока.

И жених не хлещет водку, пьет румынское вино...

Мы встретились в Переделкине в нелегкий для нас обоих час, и я отчего-то спросил:

— Герман, я вспомнил почему-то твои стихи, посвященные свадьбе... А почему вино — румынское?

— А шут его знает, — отвечал. — Мне показалось, что ты пил румынское вино... Ребята внесли тогда эту лодку на своих плечах, все были поражены, а в ней даже два спортивных костюма, и посуда, и яблоки, и вино...

— А ты... Ты какое пил?

— Не помню, — сознался он. — А разве не румынское? Теперь я задумался.

— Может, болгарское? Или венгерское?

— Если ты настаиваешь, я заменю, — сказал он. И прочел вслух: — «И жених не хлещет водку, пьет венгерское вино...»

— Нет, румынское все-таки лучше, — согласился я. — Звучит по-другому. А водку, ты прав, я тогда еще не пил... Ну, то есть не хлестал... Это потом...

— После развода?

— Да. Я несколько лет по чужим домам скитался. С Библией и пишущей машинкой — все, что я взял из дома. Ну, еще иконы. А вот на антресолях в бывшей квартире я заложил вино, в честь детей — Ивана и Дапки, — четыре бутылки, привезенные из Крыма, с датой их рождения. Хотелось, понимаешь, соблюсти традицию, ну, как в лучших старинных домах. Ты ведь помнишь, я об огромном столе мечтал... Как у тестя с тещей... Стол, а кругом чтобы дети, внуки, даже правнуки пусть... И я всех их угощаю... И такая радость, что они вокруг меня... А тут недавно бывшую жену встретил на улице, спрашиваю: вино-то, мол, цело? Которое на антресолях... Его бы достать, когда им по восемнадцать будет!

Она лишь рукой махнула:

— Иван как-то остался на воскресенье дома, я уезжала, и пригласил дружков... Возвращаюсь, а они все, что было, осушили и заодно твои памятные бутылки...

— Коллекционные! — воскликнул с досадой я. — Им же больше пятнадцати лет!

— Они пропустили за галстук и не заметили, — произнесла со смешком жена.

— Но там ведь и Дашкино вино?

— И золотой корень... Лекарство стояло... И его... Такая теперь, оказывается, традиция.

— Так ты говоришь, румынское пили? — спросил я Германа.

— Не помню, — отвечал он. — Но пилось хорошо. Мороз за сорок... Аж сосны трещат... И Падун рядом... И вносят байдарку...

— Может, теперь «русской» дернем? — перебил я.

И мы пошли в комнату и разлили из моего корыта.

— Ну? За детей? За внуков? За байдарку? За то вино, которое поднимает на волну? — предложил я. — У тебя сынка-то зовут Максим? Ты его хоть видишь?

Он не ответил и предложил:

— Хочешь, я пошевелю ушами?

— А шейку куриную ты мне не хочешь предложить?

Он удивился, спросил:

— А ты и шейку разлюбил?

— А еще кого?

— Да нет, я просто...

— Да уж шейку мне никто не предлагает.

— А я «моржом» заделался, в проруби купаюсь, — сказал вдруг он.

Мы еще добавили по пятьдесят граммов и закусили яблоком. И разошлись. Он ушел в свою комнату, а я в свою.

Я жил в крошечной комнатухе под номером восемь в коттедже на втором этаже, где покончил с собой, привязавшись ремнем к спинке кровати, известный по кино поэт и драматург Геннадий Шпаликов.

«А не повеситься ли?» — подумалось вдруг.

Пора бы выпить и за свое собственное здоровье, так подумалось. Я приладился было к кругленькой бутылочке, задирая голову, поднял вверх глаза и чуть не поперхнулся. В лифте не было потолка, а был, как бы поточней сказать, некий амфитеатр, в котором из-за барьеров, в золоте и красном бархате, смотрели на меня рогатые зрители. Не знаю почему, только я не испугался.

— Вот так и живем, — произнес вслух, так, чтобы они слышали. — Одни страдают, а другие себе из того, значит, театр... устроили... Значит, интересно, да? Как человек в угол сам себя загнал да еще изображает, будто ему все это приятно...

Влажные собачьи носы и волосатые острые уши напрыглись, пытаюсь меня уловить.

— Ничего себе подвальчик: то кошки с мышами, или алкоголики, или прости господи... Теперь еще эти... — завершил я свою мысль. И поскольку реакции не последовало, я добавил миролюбиво: — Ну, как вы насчет того, чтобы клюкнуть?

Черти завздохали, хрипло прикашливая, но никто мохнатого копыта к бутылке не протянул.

— Ну, тогда идите к черту! — посоветовал я.

И тут они с легким шорохом испарились, оставив странный запах гари.

Я же, придя в себя, увидел тусклую лампочку, обшарпанные стены и себя в уголке, где, судя по всему, меня догнал короткий сон.

Но вот только запах гари и странное чувство, что за мной наблюдают.

«Ну, что ж, — подумалось. — Таков этот мир, что никуда без слезки, и черти тут не худший зритель, бывает и пострашней».

— Так за чертей, что ли? — спросил я, глотнув горячего. — Смотри, смотри, это мы, Господи!

МЫ ЭТО, ГОСПОДИ!

(Мы)

Переделкино — это страна, вселенная, мир... Где бродят по аллеям алкоголики и поэты (иногда это одно и то же), где кладбище, игрушечная церковка на взгорье, могила Пастернака, дачи генералов, адмиралов, валютчиков и бывших секретарей Союза писателей; где живой ключ чистой воды, где елки и сосны, где, сотрясая воздух, планируют самолеты, идущие на посадку; где в названиях переулков уживаются тени великих и ничтожеств; где легенды и мифы соседствуют с грустной памятью живых, где старомодный, приходящий в упадок Дом творчества, соединявший во все времена несоединимое: творцов, тунеядцев, мелкую шушеру, стукачей, алкашей, честолубивых провинциалов, блядушек всех мастей и несчастных пенсионеров.

И тех, кто потерялся, потерял место в жизни: семью, жилье, надежду — и вынужден скитаться и проживать здесь на милости сердобольных литфондовских баб, протянуть время, и заживить раны, и восстать к новой жизни...

Или повеситься...

Там и я отирался в мои не лучшие и довольно поздние годы, когда не стало ни дома, ни семьи. Было так глухо на душе, что уходил я в лес и кричал от одиночества.

Известно, что сказки особенно любят — среди взрослых — солдатики и заключенные. Бывшие детдомовцы тоже. Им недодано детства, и они компенсируют его чтением сказок.

Как-то досталось сидеть за одним столом со сказочником Александром Шаровым. Он во всем был сказочник: писал сказки, сочинил книгу о сказочниках, да и сам он был одним из них, длинный, нескладный и — пьющий. Выпивал он тихо, никому не мешая, но при этом мог на следующий день с виноватой улыбкой к вам подойти и спросить: «Простите, я вчера был... Как бы не в себе... Я вам, простите, вчера не помешал?» Это постоянное чувство вины преследовало его даже в снах. Один снился чаще других, он как-то рассказал нам, что ему снится, будто его хоронят и выносят на тесную межэтажную площадку гроб, но не могут никак развернуть, и ему так мучительна эта процедура и потуги рабочих, что он вылезает из своего ящика и начинает им помогать...

Больше всего он боялся противоалкогольных лечебниц.
— Вы не представляете, — медленно и почти пугливо произносил он, и глаза его, прекрасные, чистые, сумрачно темнели. — Вы не представляете, Толя, как это страшно, когда вас запирают на ключ...

Еще он писал трагические рассказы о заключенных. Однажды он осмелился их нам прочесть. Я говорю — осмелился, потому что он уважал чужое время и особенно чужой покой, и для него было большим, почти непреодолимым препятствием отвлечь даже близко знакомых людей ради своей персоны.

Рассказы же были поразительные, один про клоуна из цирка, который по доносу был арестован и работал в лагере на лесоповале...

Однажды, обращаясь к нашей молодой застольнице, он спросил, а не приходилось ли ей ездить на курорт с возлюбленным. «А я, знаете ли, ездил...»

И тут же с мягкой улыбкой стал говорить о том, что вот ты с ней приходишь в вагон и у вас разные чемоданы, а потом как-то странно происходит, что она обязательно

перемешает твои вещи со своими и какой-нибудь галстук ты обнаруживаешь среди, ее, простите, лифчиков... А вот почему?

В знаменитом «Новом мире» Твардовского мы прочитали в ту пору небольшой очерк Шарова о сказочнике Януше Корчаке. Документальный рассказ о человеке, который сидел в еврейском гетто в Варшаве вместе со своими детишками, и хотя ему предлагали свободу, он, чтобы облегчить их последние страдания, пошел с ними в газовую камеру.

С тех пор мое отношение к Янушу Корчаку проходит через мир, через личность самого Александра Шарова. Они безусловно близнецы. Он жил так, что, я уверен, мог бы поступить так же. Один его очерк о воспитании детей начинался с картинки, где маленький сын его готовит уроки... Но забывшись, глядит в окно. Отец же понукает, мол, хватит мечтать, работай, работай... И вдруг спохватывается: да что же делаю, свои уроки, пусть самые необходимые, он может и пропустить, а вот морозный закат за окном может уже никогда не повториться! А значит, и душа ребенка обеднеет...

Мы привыкли, что он исчезал на время. Но однажды он исчез навсегда. И никто этого не заметил. Переделкино жило своей жизнью. Судя по всему, он только так и мог поступить, то есть уйти из этого мира, никому не мешая. И некому уже в замечательную книгу, созданную им о великих сказочниках мира, добавить еще одну биографию... О нем самом...

Однажды сидел-посиживал я на крыльце Дома под колоннами. Местечко удобное — и чтобы погреться на весеннем солнышке, и повидать, и посплетничать с коллегами, проходящими на обед.

Трое «жигулей» лихо подрулили к подъезду, из одних вышел Миша Роцин, мы обычно звали его Мишель, из других — почти весь звездный состав тогдашнего театра «Современник», и, перекидываясь на ходу шутками и громко смеясь, они проследовали в Дом. Сам Роцин держал в руках чемоданчик и пишущую машинку.

— Ну вот, — объявил, поздоровавшись. — Вырвался... Точней — прорвался! К черту все... Понимаешь, устал от города! Теперь лишь писать и писать! А ты здесь работаешь? Давно?

Я отвечал, что работаю, и давно.

— Ну, значит, будем общаться! — И он заторопился в корпус.

Через какое-то время, не успела тень от ближайшей сосны сдвинуться на полметра, вся компания вновь высыпала на улицу — знаменитости уезжали, Роцин их провожал. Прихихикивая, он подсел в одну из машин и, оглянувшись на меня, громко закричал, что сейчас он их до ворот лишь проводит и вернется... Заходи, мол, посидим. С тем и укатил. И заходить не пришлось. Он так и не появился. Только однажды уборщица, приводившая в порядок комнату для нового жильца, попросила меня забрать к себе его вещички.

— Срок-то к концу подошел, — посетовала она, — а его, значит, ищи-свищи... А у человека, может, путевка... Так куда ему ехать, если не освободилось место?

Я взял на вахте ключ и зашел в комнатку на втором этаже. Там я обнаружил чемодан, оставленный посреди комнаты, а рядом пишущую машинку. На столе стояло несколько пустых бутылок из-под шампанского и невымытые стаканы.

А еще через какой-то срок объявился на машине и Роцин. У него был белый «жигуль». И так случилось, что я снова сидел-посиживал на том же самом крыльчке, и первым, кого он увидел, был я. Он неуверенно приблизился, будто сомневался, туда ли попал. Вид у него был, мягко говоря, странный, помятый какой-то. Смущенно прихихикивая, он поинтересовался, а не помню ли я, случайно, комнату, в которой он как бы проживал.

Я сказал, что комнату, в которой он «как бы проживал», помню, она на втором этаже, но там проживает уже другой. А если он хочет получить свои вещички, то они у меня.

— Повезло, значит, — сказал он мне вовсе не радостно. — А то они звонят... из этого, как его... Из Литфонда...

Мол, освободите комнату, а я, честно говоря, забыл какую... А у меня, понимаешь... — легкий смешок в бороду, — странно получилось, что проводил ребят до ворот, потом до Москвы, а там еще поддали... Ну и остался ночевать дома, на денек... потом на другой, на третий... Дела навалились. И застрял...

Помолчав, спросил со вздохом:

— А ты, значит, так и работаешь? И давно?

Я сказал, что работаю. И давно.

— Господи! Хорошо-то как! — произнес он, оглядываясь. — А я так устал от города... Так мечтаю пописать... Ты долго еще тут будешь?

— Да буду, наверное, — отвечал я.

— Вот так и надо, — одобрил он. — Ты правильно живешь... И я... Я приеду. — Тон его был очень решительным. — Вот только развяжусь с делами... — пообещал он. — И сюда. Тут такой рай... А там... — Он махнул в отчаянии рукой, забрал чемодан, пишущую машинку, погрузил в машину и уехал.

И пропал.

Рощин человек обаятельный, ласковый и безобидный. Голубые глаза доверчивые, светлая бородка, легкая усмешка. А главное, с ним легко. И без него легко, ибо он ненавязчив настолько, что его как бы и нет.

Однажды я вывел «формулу» Рощина: человек, управляемый на расстоянии видимости. Ну примерно как локатор. У него ультракороткие волны распространяются тоже в пределах видимости. Вот и Рощин пока с тобой, он разобьется в лепешку, если тебе что-то надо. А скрылся с глаз — и исчез... И никаких там уже звонков, дел или дружеских встреч. Он в это время чей-то друг еще. Но так, лишь до новой встречи. И опять он с тобой, и твой, и лучший друг душевный, считай, до конца жизни.

Как-то вышел в «Новом мире» рассказ Рощина, кажется, это был «Бунин в Ялте». Блистательный рассказ, и Миша по такому поводу закатил пьянку в кафе Дома литераторов и всех на радостях поил, а я оказался случайно

рядом, и он крикнул мне, чтобы я выпил с ним, за него, и тут же заказал для меня какой-то немислимо дорогой коктейль... В проявлении чувств он непосредствен и широк. Временами мне казалось, что и внутренне мы близки, как и наша проза. Конечно, он ярче, мастеровитей, удачливей, что ли. Однажды он вдребезги разнес мой опус, отданный в «Новый мир». Мишель там работал у Аси Берзер в отделе прозы. Но сделал это так артистично, что я попереживал и — не обиделся.

Однажды я посетил его в театральном общежитии на берегу Москвы-реки, где он проживал со своей второй женой — первая погибла в автокатастрофе — актрисой Лидой: некрупной, большеглазой, смешливой и, по-моему, заводной. Судя по обстановке, жили они не легко, хотя, наверное, легкомысленно. То есть весело. И Мишель, чуть прихихатывая от смущения, попросил займы немного денег. Рублей так триста, чтобы выкрутиться. Он заработает, отдаст. А у меня что-то напечаталось, и, хоть было не жирно, я ему одолжил.

Мы тогда гуляли в парке культуры, на другой стороне реки, а я пришел с девочкой, в которую был влюблен, и Мишель весь вечер ее смешил: был замечательно остроумен, обаятелен, так что девочка не сводила с него влюбленных глаз, а я даже почувствовал себя сибирским валенком и немного заревновал. А потом у него пошли пьесы — одна за другой, — и все успешно, а у меня, наоборот, наступило полное безденежье, и когда он пригласил на одну из своих премьер, на «Старый Новый год» в филиале МХАТа, у Ефремова, я решил напомнить о долге. Он тотчас вернул, а при встрече, как бы вскользь, посмеиваясь, объявил, что он женился.

Это была Катя Васильева, великая актриса, ушедшая потом в монахини.

Помню, я еще спросил:

— Ну, ты теперь при деньгах?

Он удивился моему вопросу, кивнул, но потом как-то виновато стал объяснять, что он, видишь ли, не привык к большим деньгам и все, что больше трехсот, для него не-

понятно. И он затрудняется сказать, насколько он теперь обеспечен.

— Я только знаю, что у меня больше трехсот, — добавил он, хихикнув.

— Ну, жена теперь поможет сосчитать, — пошутил я.

— Нет, нет, — запротестовал он и добавил не без удивления, что она такая непрактичная... Даже больше, чем он сам. И вдруг спросил: — А тебе нужны деньги?

От денег я отказался. Он пожал лишь плечами, произнеся, что все другие берут.

— Я уж не помню, честно, кому сколько дал...

И при этом такая грустная усмешка. Мы оба знали, что это означает: всякие окололитературные кусочки, как шакалы, почувствовали запах наживы и рвали... Рвали, сколько можно урвать, зная, что он не откажет. Отдавать же у нас было не принято. Это как бы налог на успех...

Однажды я вырвался поработать в Переделкино. От входа спросил дежурную, кто здесь «из наших». Оказалось, Роцин с женой. Бросив вещи, тут же к ним направился. Было еще не поздно.

Но на мой стук в дверь они с Катей откликнулись своеобразно.

— Ну, кто там еще? — спросил мужской голос. Это Мишель.

— Ну, раз стучат, значит, кому-то нужно? — Это Катя.

— А я-то при чем? — сказал Мишель.

— А я? Что, я должна, по-твоему, идти открывать?

— Да, кажется, там открыто... Крикни, что там открыто...

— Крикни сам.

Я вошел и застал такую картину: они лежали на двух кроватях, поставленных в разных концах комнаты. На меня посмотрели с любопытством, но никто головы не поднял.

— Значит, приехал? — спросил мрачно Роцин. — Надолго?

— На срок.

Он помолчал и вдруг поинтересовался:

— А выпить-то из дома не догадался захватить?

— Да что-то взял...

Тут они оба подняли головы и одновременно спросили: «Что?»

— Какой-то вермут... — сказал я. — Итальянский. На травах.

— Ах, вермут... Ну кто сейчас пьет твой вермут... На травах... — простонал Роцин.

— Я пью! — оборвала его Катя. И уже мне: — Тащи свой вермут! Если не жалко.

— Не жалко, — сказал я.

— Тащи, тащи, — передразнил ее Роцин. — Она выдула свою поллитру, и ей, видишь ли, не хватило!

— Сам ее выдул... А я хочу пить вермут! — сказала Катя.

— Не давай ей, — закричал мне Роцин и хихикнул: — Лучше дай мне!

— Фигу тебе, — крикнула Катя. — Я первая попросила!

К тому времени, как сбегал за бутылкой, Катя поднялась, а Роцин остался лежать. Катя приняла прямо у дверей из моих рук литровую бутылку, посмотрела этикетку и, хмыкнув, — «и правда на травах», — налила себе в стакан. Роцин молча смотрел в потолок.

Катя выпила и сказала мне, что это я здорово придумал, что приехал и привез вермут... А они, значит, не рассчитали, сколько взять, и подышали тут без питья. Даже разошлись... Видишь? По разным углам!

— Ты ей все не отдавай, — предупредил Роцин, вполглаза следя за нашими движениями. — Обрадовалась, что человек с дороги, устал, да? Можно обобрать!

Катя оглянулась на Роцина и милостиво разрешила:

— Отнеси ему, а то он нас сожрет!

— А ты — несъедобная... — отреагировал он. Но приободрился, принял в руки стакан. Приподнявшись, произнес в мою сторону: — Ну, раз такое дело, поздравляю. С заездом... Приезжай почаще!

Выпил, вздохнул и поставил стакан на пол.

— А я сегодня через Солнцево проезжал, дай, думаю, пару бутылок захвачу. Подъехал к магазину, а там очередь больше, чем в Мавзолей! Знаешь, анекдот про трамвай: объявляют остановку: «Середина очереди, следующая — винный магазин!»

— Ты говорить-то говори, а стакан верни! — крикнула Катя.

— Так вот, — продолжал невозмутимо Роцин, пропустив ее реплику мимо ушей. — Я поглядел, поглядел, и чего-то меня как бес подтолкнул, громко так и говорю: «Ну, дождались?» И тут, представляешь, вся очередь, головами, повернулась в мою сторону, и глаза у всех такие... Ну такие... Я испугался... Вот честное слово! Ведь кинутся сейчас на меня, и разорвут, и затопчут! Я, значит, тихо, тихо назад и смылся... Без вина!

После операции на сердце, когда в Нью-Йорке его прямо с самолета отправили в клинику и вернулся он с таким крошечным браслетиком на руке, по которому, если он где-то грохнетя, должны определить, что с ним делать, куда везти да как спасать, Мишель обитает постоянно в Переделкине. Браслетик, думаю, он уже не носит...

У нас, если грохнешься где, смотреть не станут, а отправят в милицию или в морг. А скорей всего, оставят валяться на месте.

...Проживает он в старом корпусе. После развода с Катей одно время сошелся он с библиотекаршей из нашего Дома, еще молодой, красивой, веселой. Мишеля она любит, но... мучает. То есть поперву мучил он ее, когда хотела она замуж, а теперь она его, когда стало ему худо и оказалось, что никому-то из бывших красоток он не нужен.

Как-то втроем — Мишель, она и я — надрались во время Ленинского субботника, на который надо было обязательно выйти и хотя бы для видимости пособирать сучья. Почти те самые, которые остались от бревна, которое носил Ильич. Но главное в этот день занятие — естественно, пьянка, и мы, засев в коттедже, опрокинули зараз, да без закуски, под какую-то вареную колбасу, несколько бутылок водки. Точное число мы так и не установили. Мишель же после этого

влетел в больницу, а выйдя, с питьем завязал. Но сейчас и веселой библиотекарши нет, а есть рядом с Мишелем еще одна, милая и немного грустная женщина. Но и библиотекарша неподалеку, только она уже не с Мишелем, а сама по себе. И если от вестибюля повернуть налево, то справа вторая дверь Рощина. Стукни, и он обрадуется, посадит на диванчик, заваленный книжками, спросит: «Ну как там?» Там — это в мире. Имеются в виду погода, террористы, политики или просто знакомые писатели. Я отвечу: «Ничего». Имея в виду, что погода, как всегда, хреновая, террористы никуда не деваются, как и политики, а писатели... Сидят по углам и пишут, если пишут. Он кивнет и укажет рукой на стол: «Вот, что-то о Бунине... Сейчас кто-нибудь что-нибудь издает? Ну, издательства там какие-нибудь? Нет? И им ничего не нужно? М-да... Я так и думал...»

Однажды с азербайджанским поэтом Хазри пошли поздравить Льва Ошанина с днем рождения... Но не с его рождением, а рождением его молодой жены Гали. В подарок мы несли огромное яблоко, привезенное поэтом из солнечного Баку, да букетик поздних полевых цветов. Лев Ошанин был нашим учителем по поэтическому семинару в Литературном институте.

Они как раз собирались с Галей уходить, но притормозили из-за нас, и тут же Ошанин пригласил нас на минуточку к себе кабинет и предложил выпить, раз уж заглянули, по рюмочке водки. Сам он практически не пил. Но чтобы не терять контроля, он приобретал рюмки, в которые влезало не больше десяти—пятнадцати граммов! Он даже потом коллекционировал такие рюмки, привозя отовсюду, где их можно было достать.

Распахнулся бар, и нашему жаждущему взору предстала витрина из бутылок с самыми потрясающими этикетками, какие только можно вообразить при нашей скудной фантазии.

— Ну что бы мы захотели? — спросил Ошанин энергично.

Мы-то знали, чего бы мы захотели. Мы захотели бы всего, что мы видели, но мы скромно молчали. Лев же

выбрал бутылочку, одну из многих, и стал пояснять, что это все настойки: это водочка, настоянная на березовых почках, на смородиновом листе, на калгане, на ореховой пленке... Он и нам на будущее советует пить настойки...

Мы за длинную дорогу как бы настроились поскорее выпить, и лекция о почках показалась нам утомительной.

Наконец Ошанин налил в игрушечные рюмочки. Мы, поздравив еще раз с торжественным днем, выпили. И... ничего не почувствовали. Внешне-то рюмочки были почти как настоящие, только чашечка для наполнения была искусно залита стеклом. С таким же успехом можно было пить и не наливая, вот что я подумал. И то же самое, как выяснилось потом, подумал мой спутник.

В это время раздался спасительный голос молодой жены Ошанина: «Лева, тебя к телефону». Это был знак свыше. Ошанин побежал в другую комнату, а мы приободрились, оставшись наедине с баром. Мой спутник, поразбойному сверкнув черными глазами, молниеносно схватил бутылку с неизвестными нам почками и прошептал свирепо: «Держи!» И сунул что-то в руку — это был стаканчик от карандашей. Он с верхом его наполнил, и я поспешно опрокинул в себя. Он молниеносно наполнил стаканчик еще, выпил сам и, громко оборачиваясь к двери, спросил: «Лев Иваныч, вы там скоро?» На что Галя из другой комнаты отозвалась: «Он сейчас, он разговаривает по телефону...»

— Так мы ждем! — крикнул поэт, но ждать мы вовсе не собирались. Он тут же налил снова мне, до самых краев, но уже из другой бутылки с почками, и сразу же себе. Какие там были в ней почки, мы, честно, не разобрали. Наверное, хорошие, потому что стало нам хорошо.

Вернулся торопливой походкой Ошанин и, потирая руки, произнес:

— Ну, еще по одной?

— По одной, по одной, — радостно согласились мы.

Мы добросовестно слизали с доньшек уникальных рюмок еще по десять граммулек и, довольные жизнью, направились в наш Дом.

Этот Дом помнит многих, кто здесь творя пил и пия творил. Процесс этот неразделим. На моих глазах произошло крушение Виля Липатова, писателя внешне крепкого, пробивного, удачливого, вхожего во все редакции сразу. Я однажды наблюдал лично, как он по телефону втолковывал литературному начальнику, какой ему нужен орден к его пятидесятилетию. И он его получил. Но работал он как ломовая лошадь, вставал в четыре утра и к завтраку уже наработывал свою дневную норму. В последнее время, заработав деньгу, поставил себе радиозаписывающую аппаратуру, чтобы надиктовывать тексты. Пил, говорят, он по-черному, но к описываемому здесь времени напрочь завязал и, разведясь с дочкой Вадима Кожевникова, главного редактора «Знамени», завел себе тихую, милую девочку, которая везде послушно и безголосо его сопровождала. Пропадая от одиночества, я, грешным делом, еще позабывал, но белой, очень белой завистью: везет же Вилю, чтобы найти такое создание.

Он и дома, на улице Усиевича, отгрохал себе приличную квартирку, объединив две купленные в одну, а стены обклеив заграничным ситцем... И все шло своим чередом. Но однажды в переделкинском буфете устроил прием в честь своего дня рождения Лев Смирнов, переводчик, и все мы пришли поздравить, пришел и Виль. Там он после завязки хлебнул лишь немного пива, и с этого началось. На другой день он уже лакал вино, собирая по комнатам у кого что найдется, и у меня выпросил бутылку шампанского, припасенного для какого-то праздника... На третий день он впал в беспамятство, в бред.

Это не образ, это то, что я увидел. Он сидел в комнате и вслух сам с собой разговаривал. Пил и снова разговаривал. И с нами. И с девочкой, которая со страхом смотрела на него и третью ночь не спала. Он бредил, хотя нас всех узнавал и как бы почти понимал, где он находится. И пил, пил...

На пятый, что ли, день появились его мама и дочка Татьяна. Свою маму Виль шутя называл «Сарра с револьвером». Говорят, она была в революцию комиссаршей и чуть ли не с нее делался известный образ в пьесе Вишневского.

Они тут же со скандалом прогнали бедную девочку, спасавшую Виля все эти дни, нагрубили обслуге и нам, которые собрались чем-то помочь, и тут же увезли Виля в клинику. Оттуда он уже не вышел.

Был я свидетелем и еще одного крушения, когда здесь пребывал Юрий Казаков... Обычно он работал у себя на даче, в академическом поселке под Загорском, но тут вдруг заехал в Переделкино. Думаю, из-за врачей: здесь всегда можно было получить медицинскую помощь.

Сразу же нашлись доброты, которым было лестно погреться около чужой славы. И шли к нему с бутылочкой еще с утра... Один начинающий переводчик, из Ташкента, отставной полковник, приехавший в столицу в поисках нужных знакомств и издателей, особенно прилип к Казакову и каждый день накачивал его коньяком. Ему нравилось, что сам Казаков может говорить с ним как с равным о литературе.

Но Казаков разговаривал не с ним, он разговаривал с бутылкой. Я уж разок-другой пытался внушать богатенькому полковнику про опасность, которая исходит от его бутылочек для жизни Казакова, и даже заходил как бы посидеть, чтобы оградить его от очередной пьянки. Но это плохо удавалось. Полковник, изнывающий от безделья, уже с утра торчал там, и Казаков кричал мне от стола:

— Старич-чок, дав-вай заходи, м-мы уже свободные!

Имелась в виду бытующая у литераторов фраза: с утра выпил — и весь день свободен!

Когда же нам удавалось посидеть вдвоем и он был трезв, я много услышал от него презанятого. Однажды, повествуя о поездках на Север, который он так колоритно описал, поведал он и как сидели они где-то, кажется на Печоре, в ресторане вместе с Евтушенко Женей, и тому было не по себе, что его никто здесь не узнает. И послал он в ансамблик на сцене записку, мол, прошу исполнить мою песню... и подпись: Евтушенко. И когда ее зачитали и весь зал к ним обернулся, Женя перестал дергаться... Успокоился и весь вечер уже был в хорошем настроении.

Но Казаков не менее знаменитого поэта любил замыкать разговор на себя, и был я свидетелем беседы двух тогда соперников, его и Георгия Семенова, в Доме литераторов в кафе. Георгий долго рассказывал за рюмкой о новой своей повести, на что Казаков, недовольно морщась и выпячивая губу, произнес с досадой: «Ну что ты, старич-чок, все о с-себе да о с-себе, давай поговорим о лит-тера-тур-ре... Вот я т-тоже кое-что написал...»

Кстати, с Казаковым я в одно время заканчивал Литературный институт и впервые прочел его прозу в рукописном журнале «молодых» и был потрясен сочностью языка и яркостью описания природы. А однажды мне пришлось наблюдать, как выдернули его к ректору Серегину и Казаков, стоя в его кабинете и выслушивая очередное внушение по поводу пропуска занятия, бросил тому в лицо, брезгливо выпячивая нижнюю губу: «Мы хоть пишем, а вы-то чего тут делаете, господин Серегин?» И, не оборачиваясь уже на истерический начальственный окрик, пошел к дверям.

Серегин был известен своей оголтелостью. Администратор, туповатый, ограниченный и злейший антисемит. Его боялись. Он мог делать и делал всякие пакости. Именно в его правление были исключены из института и Евтушенко, и Юнна Мориц... Я подумал тогда, что Казаков сильный человек... Но с водкой он не совладал. После Переделкина снова попал в больницу. Гворят, поправлялся, звонил друзьям и просил принести ему пишущую машинку... Строил творческие планы... С вечера позвонил, мирно беседовал... А ночью умер.

А у меня от встречи с ним в Переделкине осталась принадлежащая ему книжка Набокова, которую он дал мне на вечерок почитать. Наши комнаты были напротив, и нам удавалось иногда поговорить. И я не почувствовал, что он слышит только себя. Он к себе прислушивался, но это другое. Да он и сам был другой, мягкий и необыкновенно внимательный. И усталый.

— Старич-чок, а что, если нам махнуть на Север? — спрашивал, чуть заикаясь, и загорался, и начинал мечтать. Я соглашался: отчего не поехать, — хотя знал, твердо

знал, что никакого Севера у нас с ним, к сожалению, уже не будет. А даря сборник рассказов, выпущенный к его пятидесятилетию: «Во сне ты горько плакал», написал мне среди прочего и такое: «...А не поехать ли нам на родину следующим летом? Ты на Вазузе бывал? Давай же отчизне посвятим...»

Обозначено это декабрем семьдесят девятого года, в Переделкине.

В разное время при разных обстоятельствах здесь появлялся Женя Шерман со своим «шерман-бренди» и с молоденькой, как всегда, фантастически красивой девкой; и Валя Гринер привозил на семинар очеркистов и угощал нас копченой олениной и тутовой водкой, такой крепкой, что продирала до костей... И Поленов у меня тут был, в последний год своей жизни, а уж о трех поэтах, не названных поименно, я не говорю: Олег Дмитриев, если кто узнал, тут однажды с Валерием Осиповым били штатного стукача Алексея Першина... А Толя Злобин составлял здесь свои знаменитые афоризмы, такие примерно: «закон социализма: все не для всех», и замышлял против официального Союза писателей движение «Апрель»...

И Георгий Садовников, разгуливая мимо секретарских дач, показывал моему, тогда еще маленькому, Ванюшке на трансформаторную будку и всерьез утверждал, что это его дача. И проблема единственная только в том, как туда, внутрь, попасть.

А в более отдаленные времена в нескольких коттеджах здесь проживали студенты нашего института и Герман Флоров размещался в одной комнате с Анатолием Кузнецовым. А третьим с ними был тихий мариец Валя Колумб, голубоглазый, спокойный; он учился играть на гитаре и писал лирические стихи. Однажды ночью, встав по нужде, он перепутал наружную дверь с балконной и выпал со второго этажа. Но удачно выпал, в крапиву. А когда постучался в наружную дверь, Герман спросонья никак не мог взять в толк, каким образом его дружок, с вечера бывший здесь, оказался за закрытой дверью.

Женился Колумб на дочке здешней работницы Вали, а когда умер, совсем молодым, Валя показала мне резиновую вешалку (были такие надувные вешалки) и произнесла суеверным шепотом: «Вот его нет, а дух его еще остался... Он ее перед самой смертью надувал. Я все хранила, держала, но сегодня я его дух отпустила...»

С Лидой Медведниковой мы дружили с Братска. Она, кажется, сбежала туда от кредиторов, не закончив нашего института, и была там таким ангарским соловьем: компании, посиделки, гитары. Работала она в геологической партии и гуляла на нашей, той самой, свадьбе в «старом клубе у реки». А потом она вернулась в Москву, возобновила занятия в институте и, долгое время не имея жилья, кантовалась в Переделкине. Вышла замуж, и мы с женой Валею, в свою очередь, были приглашены к ней на свадьбу. Муж был много моложе ее, поэт Саша Тихомиров, темный, большеглазый, стройный, просто красавец, но чудаковатый, про таких говорят: не от мира сего. Об этом поговаривали за его спиной, и я не сразу понял, в чем тут дело. Просто со своим молчаливым, тихим поэтическим нравом он плохо вписывался в сегодняшний быт, и практичные родители решили женить его на женщине, которая была бы поопытней, постарше и могущей его направлять в жизни. А его не надо было направлять. Ему надо было не мешать.

В то время звучала модная песенка про Мари, которая «не может стряпать и стирать, зато Мари умеет танцевать...» Это все, конечно, про Лиду. Спеть, сыграть на гитаре, поддержать компанию — вот ее характер. И если в песне далее утверждается, что «тот, кто станет мужем ей, будет счастливей всех мужей» — вряд ли это про Саню, как мы его прозывали. Жалкая попытка его родителей найти Сане жену и няньку вряд ли была удачной. Но в общем, как-то они жили. Ну а мы на той свадьбе на мотив «Мари» (конечно, это совпадение) пели бойкую песенку, в которой был зашифрован тогдашний доклад Никиты Хрущева, обещавшего нам райскую жизнь в самом ближайшем буду-

щем. Наш ни во что не верующий народ отнесся к Никите, как и к его докладу, со снисходительной улыбочкой.

Так что песня (ни в каких фольклорных сборниках ее нет) отражала всеобщее настроение.

*Кукуруза — это хлеб, это мясо и паштет,
Неуклонно повышай кукурузы урожай...*

Припев у песенки был такой:

*Ура, ура, догоним США
По производству мяса, молока,
Ну а потом перегоним США
По потребленью вин и табака...*

Там даже будущее наше рисовалось, по Хрущеву, так:

*Течет молочная река, и мясные берега,
Растет потребление на душу населения...*

Заканчивалась она с очень большим пафосом:

*Слава колхозному труду, нам дающему еду,
В шестьдесят восьмом году
Оставим буржуев мы в заду...*

Вон когда сроки для коммунизма-то установили и решение приняли. А жрать было нечего, и хлеб в магазинах пропал... И мы для нашего сына Ванюшки тот хлеб получали по талонам. А теща, увидав в телящике вручение каких-то премий спортсменам в виде коробок, незлобно пошутила, что это им дают за хорошую прыгучесть макароны...

А Сашу приняли в Союз писателей с маленькой книжечкой стихов. Я был на той комиссии и даже прочитал стихи про то, как он играет с тещей в карты, в дурака... Это рассмешило комиссию и настроило ее на добрый лад. Вскоре на двоих с Лидой они получили роскошную по тем временам квартиру прямо напротив американ-

ского посольства, на улице Чайковского. Было лишь одно неудобство: над их потолком, на чердаке, располагалась мощнейшая радиоаппаратура, видать, для подслушивания американцев, и когда она включалась, напряжение в сети сильно падало и перегорали пробки.

Родился у них сын Митька, но Саня все оставался без работы и лишь по временам в издательстве «Молодая гвардия» подменял временно женщин, уходящих в декрет. И Саня уже глаз наострил и, встречая в коридорах сотрудниц, мог безошибочно определить, у кого из них он может быть в кандидатах...

Лиде в то время удалось купить машину, и она ездила, подрабатывала извозом, это, конечно, было опасно — работала она по ночам.

Ну а после моего развода с первой женой поделились и друзья: Лида осталась на той, на ее, стороне. Мы теперь подолгу не виделись, но случилось, в метро меня остановил Саня и с гордостью показал вырезку из газеты, кажется из «Литературки»: большая подборка стихов...

Еще мне рассказали, что однажды ночью его забрала милиция — кажется, он возвращался из гостей, и на всякие там вопросы-допросы стал им читать стихи... Ну а они ему за это пересчитали ребра... Отлеживался в больнице. Это был гонорар.

А вскоре узнал: погиб Саня странным образом. Шел на рассвете из Переделкина по рельсам в направлении Москвы и был сбит электричкой.

Почему на рассвете? Почему пешком?

Поругался ли в очередной раз или так, ударило в голову?

Или для того и шел по рельсам, чтобы сбило? Никто уже на эти вопросы не ответит.

На похоронах была моя бывшая жена, она рассказала, что отпевали его в переделкинской церкви и в какой-то момент, за час до отпевания, вдруг выяснилось, что у него босые ноги... Лида, конечно, была не в себе, и бывшей моей жене срочно пришлось ехать в Москву за ботинками...

Похоронили Саню тут же в Переделкине.

Лида потом мне показала его могилку. «Все как у него написано», — сказала.

А я подумал: не впервые, что поэт, если он истинный поэт, угадывает свое будущее.

Вот и Саня написал:

*Ах ты, милочка моя,
Не печалься, Лидка,
Вот могилочка моя,
Синяя калитка.
На погосте темный крест,
Лавочка отволгла,
Пусть я здесь, один, окрест,
Буду долго, долго...*

Я тоже хочу быть здесь долго.

«Господи, — подумалось, и подступила привычная вдруг тоска, — а стоит ли возвращаться, если там (там — это наверху, то есть в мире) ничем не лучше, чем здесь?»

Остаться бы тут, в лифте, в тихом подвале, навечно; и не жарко, и вообще... Я и привык уже. Но не как в Мавзоле — сухофруктом, а жить, погружаясь непрерывно в себя и питая душу памятью лиц, которых я любил.

И пусть бы дом шумел своими детишками, своими сумасшедшими и извращенцами... Кошками и мышами... И чертями, если им уж так нужно подглядывать... Там у нас наверху этой нечисти куда больше...

Да она и пострашнее.

А я бы тихохонько, скукожившись листиком, в уголке и прожил бы, счастливый, что нет этой самой накипи и пены...

ПЕНА

(Дед, отец, сын)

В какой-то своей повести я рассказал, как сидим мы с отцом у него в новом доме и пьем самогоночку, чистую, как слеза. И далее о том, как здорово он умеет ее делать.

После публикации к отцу неожиданно нагрянула милиция, потребовала предъявить аппарат.

— Откуда вы взяли, что я гоню? — открещивался отец. — Кто мог такую напраслину на меня возвести?

— Да ваш родной сын написал, — заявили милицейские, такие же разбойники, как и везде. Они ничего и не хотели, а только выпить на дармовщинку. И им, конечно, поставили.

— Вот, — сказали они. И предъявили отцу мою повесть. — Тут все описано. Как в протоколе.

— Да вы что, не знаете сочинителей, что ли, — нашелся отец. — Они такого напридумывают... Я что же, должен за их фантазии головой отвечать?

— Значит, сочиняют? — сочувственно спросили стражи порядка, приняв по стаканчику отцовской самогонки.

— А как же! Сочинители... Так и называются...

— А самогоночка-то и впрямь как слеза, — подтвердили стражи.

И отец нацедил им еще.

— Да какое там, — поскромничал он. — Я и марганцовой очищал, и угольком, а она все одно сивухой отдает!

— Разве? — удивились стражи. — А мы как-то не заметили... Ну-тко подлей еще, чтобы проверить...

И опять приняли, не жадно, а с охотой и удовольствием, но про очистку до конца не прониклись и обещали для верности прийти еще раз. Так и удалились на полусогнутых, не составив акта, а книжку мою — главное свидетельство — забыли на столе.

При встрече отец меня не сильно, но упрекнул. Хоть и бытует байка про двух милиционеров, которые, собираясь к коллеге на день рождения, хотели подарить ему книжку, но вдруг вспомнили, что у него одна уже есть, — но вот выяснилось, когда надо — читают. И даже по огороду походили, высматривали аппарат.

— А он у меня засекреченный, — сказал отец. — Разборный... По отдельности — посуда, а соединишь... уже техника!

И тут же пропел:

*Сам и бражку я поставлю, самогончку гоню,
И кому какое дело, где я дрожжи достаю!*

Когда отец развелся и оказался без дома, он купил задешево этот участок, и я немного помог, а остальное: дом, террасу, отдельный в саду погреб, а потом еще домик и даже бассейн для рыб (правда, неудачный — не держал воду) — он сделал своими руками, подбирая материал на свалке. Там и кирпич, и обрезки доски, и все остальное. А чего не смог найти, то купил на самогонку.

Увидел однажды, как из вагона выбросили на обочину молдавский виноград, который сгноили дорогой. Отец нанял машину за трешку — это было как бы вложением капитала — завез тот виноград себе на огород и месяц гнал из него крепчайшую чачу, или, как сам он называл на грузинский манер: «самогнали».

Шесть или семь двадцатилитровых канистр нагнал. А чтобы стражи не разнюхали, закопал там и сям среди грядок. Вот они и стали прочным, прочней не придумаешь, фундаментом для его нового дома: тут и краски, и водопр-

вод, и скважина, лично им пробуренная, и рамы, и замки, и заасфальтированные дорожки, и трубы для газа, который он сам и подвел.

А вот когда дом стал домом и появилась возможность принимать случайных дружков-выпивох (отец после развода оставался холост), тут и началась угореловка, после которой те же одноразовые дружки очищали отца догола. Так что от полотенец, одежды, обуви, которые мы ему время от времени дарили, ничего не оставалось. Приехав, мы снова находили голый дом... И снова что-то везли.

Слава богу, научились самогоночку варить:

Сахар, дрожжи на три литра, вся до капельки горит...

Здесь в частушке отца зашифрован рецепт самогонования: сахара требовалось на три литра воды — килограмм, а дрожжей — сто граммов. И двадцать один день бражку выдерживали. Можно, конечно, и меньше, если невтерпеж, но качество напитка при этом пострадает. Да и гореть она не станет. Не те градусы.

Арабский алхимик Хабир ибн-Хайян, открывший более тысячи лет назад процесс перегонки (эта водица именовалась вроде бы «аль-кууль», что сходно с нашим сегодняшним ал-ко-го-лем), наверное, осудил бы нас за нарушение древней технологии.

Есть и другие маленькие секреты самогонования, как, например, применение скороварки с вмонтированным туда градусником, чтобы задать точную температуру при перегонке, и прочее и прочее, пришедшее с длительным опытом. Так, при отсутствии дрожжей, которые «надо было доставать» — они повсеместно исчезли, — использовали для брожения горох или томатную пасту. Как и загнившие фрукты.

Но чтобы самогоночка «до капельки горела», нужно ее не меньше двух раз пропустить через аппарат. А для чистоты еще и через активированный уголь. А если уголь тот от «родничка» (водоочистителя) да с серебром, еще лучше. Хотя у Молоховец (не книга, а просто библия для кухни!) вполне допускается древесный уголь. Ну а потом тоже, по

Молоховец, следовало ее, голубушку, дня три, а то и недельку выдерживать в изюме... В красном причем изюме, который и заберет все сивушные масла.

Когда я в Прибалтике, в совхозном магазинчике под Ригой, разыскал нужную мне шестидесятилитровую канистру и принес в Дом писателей, моя приятельница, редактор, долго ее рассматривала, потом спросила:

— Это для чего?

— Для воды, — соврал я. — У нас на даче плохо с водой.

Она понимающе кивнула:

— Ага. Значит, для самогонки.

Была эстрадная шутка по поводу модернистской картины, которую вывесили на стене. Все возмутились мазней, пока не выяснилось, что это только схема самогонного аппарата.

Мы с сыном, он тогда еще у меня часто бывал, долго искали, пока не выработали собственную технологию производства.

Помню, я позвонил из Болгарии, из партийной гостиницы, чтобы узнать о здоровье детей, а он закричал в трубку, что наконец нашел такую схему, ну такую... Для перегонки! Там, значит, два змеевика...

— Ванька, заткнись, это же международный телефон, — только смог произнести я.

После долгих странствий по чужим углам, всяких унижений, взяток и хождений по чиновникам я въехал в свою квартиру, кооперативную, конечно. И целовал пол от счастья. А моя приятельница Наталья Казимирская, жившая по соседству, привела мне свою кошку, а еще собаку, чтобы они первыми вошли в дом, и тогда, по приметам, жизнь моя будет счастливой.

Я верю в приметы, а тогда особенно верил, потому что начинал, подобно отцу, жизнь сначала. И друзья, собравшись на новоселье, которое совпало с днем рождения, сидели на полу и пили за долгую прочную жизнь, а я попросил выпить за смерть, но здесь, в этом доме. Все зашумели, загалдели, запротестовали против такого моего

пессимизма, но я пояснил, что устал от перемен жилья и вправду мечтаю дожить свои годы, не уезжая никуда. Пусть это будет последним моим пристанищем.

В то памятное новоселье первым пришел мой отец, еще днем, и принес в подарок ложку. Он купил ее на рынке и утверждал, что она серебряная. Мне поневоле пришлось с ним пить, и к приходу гостей я был так хорош, что меня отнесли в соседнюю комнату и продолжили праздник без меня.

Когда я утром поднялся, те из гостей, что оказались выносливее других и не покинули праздника, подали мне рулон туалетной бумаги, где поэт Саня Тихомиров в стихах зарифмовал список всех моих гостей, коих я не смог увидеть. Рулон, насколько я помню, был метра в два длиной...

Я вообще завел в новом доме альбомчик для друзей, куда они записывали все, что им вздумается. В нем много сочувственных слов. И пожеланий. Но там в начале приведена статистика моих потерь во время скитаний по чужим квартирам.

Такая вот:

Ушел из дому: 14 ноября 1974 г.

Скитался по чужим домам: 21,5 месяца (646 дней).

Пытался вступить в жилкооперативы: 8 раз.

Пытался получить государственное жилье: 6 раз.

Написано заявлений (жалостливых): 76 штук.

Был на приеме у чиновников: 135 раз (примерно).

Добыто и отправлено разных справок: 200 (примерно).

Потеряно:

чемодан, чувство достоинства, шапка, два приятеля, старший друг (умер), рукопись повести, кофта, 8 кг веса, чувство ДОМА, нечто, именуемое душой.

Найдено:

болезнь, шесть граненых стаканчиков (8 коп. за штуку), подружка, кожаное пальто, друг (женщина, немолодая), тоска по крыше, два десятка книг, ненависть к любым чиновникам, ненависть к любым учреждениям, родопское одеяло, вера в друзей (в Жору Вайнера и Эдика Успенского, которые помогли купить квартиру).

Был на грани отчаяния (хотел умереть): два раза.

И далее... Когда получил ключи (1 августа 76 г.), да когда въехал, и когда пришли первые гости...

А как особенный факт отмечался день, когда пришли ко мне дочка Даша и сын Ванюшка. И там, там, на деревянной облицовке дверей, отмечены карандашом даты и рост моей дочки.

Сейчас она выросла. И забыла дорогу в мой дом.

На тележке, взятой у дворника, я перевез сюда большую и любимую мной икону Спаса Нерукотворного, которую когда-то нашел в старой церкви, переделанной в тракторный парк. Захватил мешок авторских книжек, которые бывшая жена именовала «макулатурой», и пишущую машинку.

А первым серьезным приобретением для дома был японский магнитофон, который мне достали в Братске друзья-строители. Не было еще стола, и стульев, и занавесок, и тарелок... И много чего еще не было в доме, зато был этот магнитофон.

С Игорем Дуэлем, который меня встречал из Сибири, мы полулежали на голом полу и, выпив за встречу из чайных блюдец — другой посуды не нашлось, — тут же решили наладить дорогую заграничную игрушку, потому что не хватало для души музыки. Мы долго ковырялись, делая паузы для поддачи. И чем больше принимали внутрь, тем лучше шла наладка, и в конце, к нашему удивлению, заграничная техника заиграла. Громко, на весь дом. Была, правда, всего одна кассетка, приданная к магнитофону расчетливыми японцами, а в ней всего одна мелодия. Так, для пробы. Но мелодия была приятной, немного грустной, и мы заводили ее весь вечер и под нее осушили, так же полулежа, пару бутылок.

Такое вот было начало. А далее я оборудовал кухню, дубовые доски для стеллажей мне прислал из Набережных Челнов мой друг детства Димок. Еще часть полок мне досталась из гаража других моих друзей — Ошаниных. На них я взгромоздил всякие красивые баночки для специй и другую посуду. Потом появился раскладной стол, стулья и — друзья.

Однажды собралась компания, в которой был Георгий Садовников. Я ушел провожать до метро гостя, а когда вернулся, Георгий весело сообщил, что благодаря мне он выиграл бутылку коньяка. А было все так: возник между гостями спор о моей кухне, и какая-то дама заявила, что кухня, дескать, правда красивая, и стеллажи, и баночки всякие.

— Но ведь это декорация, — сказала она. — Неужели вы думаете, что если на баночке написано «Душица», или «Специи для рыбы», или «Ваниль», так там это и лежит?

— Я думаю, все туда и положено, — сказал Георгий. — Называйте три баночки, любые, и если там не окажется названного, несу коньяк, ну а если окажется...

Ударили по рукам, баночки извлекли и убедились: они были наполнены тем, чем надо. Тут же за столом, уже при мне, Георгий продолжил шутку: он, дескать, будет приводить гостей и провоцировать их на спор, а мое, хозяйское, дело наполнять баночки содержимым. Коньяк же мы поделим пополам... И он же изображал, как, принимая подружек, я подвожу их к окну, откуда хорошо видны окна зубной поликлиники напротив, и говорю: «Смотри, как они мучаются, а ты-то чего боишься?»

Но была еще одна поучительная историйка, которую мы не раз с Георгием вспоминали. Пили в компании водку, а потом, как случается, она кончилась, и на вопрос жаждущих, нет ли чего в заначке, я извлек бутылочку виски, которая украшала бар: квадратная, темно-коричневого стекла, с колпачком, сделанным в виде золотой рюмочки, и перевязанной широкой цветной лентой.

Георгий взял ее в руки, чтобы содрать ленту, и вдруг, помедлив, произнес, что ему почему-то жалко портить такую красоту.

А я добавил, что мне было бы совсем не жалко, случись у кого-нибудь день рождения... Такую бутылочку не грех и подарить... И тут жена моего приятеля по Балакову Юля, представительная такая дама, она и заглянула ко мне на пять минут, вдруг объявила: у нее грядет день рождения. Тут за столом и возникла пауза.

Пытаясь как-то спасти положение, Георгий спросил натянуто: «Но это, наверное, нескоро?» На что Юля невозмутимо ответила: «Почему нескоро? На днях!»

После некоторого замешательства, а все смотрели на меня и ждали решения, я протянул бутылку Юле, и она тут же засунула ее боком в дамскую сумочку, которую держала на коленях. Потом попрощалась и ушла.

Я видел, каким долгим взглядом проводил ее Георгий. А когда мы остались одни, он, сжав зубы, произнес, что лучше бы, дурак, не медлил, а вскрыл эту бутылочку... Ведь чувствует он, чувствует, что она нас всех надула!

— Ну почему? — пытался возражать я, хотя сам подумал то же самое. Уж больно хватко проделала она все это и слишком быстро смоталась... Может, боялась, что мы ее разоблачим?

А потом я вспомнил: мы же были с женой на ее дне рождения там, в Балакове, и время года было другое. Чтобы не огорчать Георгия, я сообщил об этом не сразу. Но когда сказал, он повторил с каким-то мучительным выражением лица, что почувствовал фальшь в ее голосе, но это ему впрямь наука — не верить таким представительным дамам и не сентиментальничать над бантиком, когда общество жаждет выпить...

Однажды попал я в гости к знакомому моих знакомых, это был приятель Садовникова, полковник какой-то технической службы, адрес не указываю, иначе этот рассказ в качестве доказательства может использовать дражайшая милиция. Я так нализался у него всяких наливок, что спутал его жену с кем-то еще и полез к ней под столом под юбку. Слава богу, меня деликатно осадили.

Но далее выяснилось, что все наливки сплошь самогон, производство которого он наладил на своей кухне. Не кухня, а шедевр технического искусства, целая лаборатория: под мойкой шкафчик, а там в емкости на пятьдесят литров выдерживается бражка, а с ней в переменку другая, уже готовая к работе.

Ну и далее сам аппарат, похожий на космический, с серией приборов для точной температуры, давления и очистки.

И тут меня заело. Полковник непонятно каких войск умеет делать такие красивые наливочки, а я, у которого, можно сказать, в генах самогонка, ни достать, ни перегнать, ничего остального... Не умею.

В общем, решил делать по науке: изучил чужой опыт, и прежде всего опыт отца. Достал разные умные книги, в том числе кухонную библию Молоховец, всю ее по водочной части вы зубрил, змеевик (он же холодильник) достал через сына и приступил к делу. Но с ходу промашку совершил: перепутал в рецептуре объемы и на три килограмма сахара всадил килограмм дрожжей.

Кто из опытных, тот уже знает, что было дальше. Долго те дрожжи в теплой воде, как положено, рукой разводил и сахар тоже, от него в рыжей воде веревки от мешковины всплывали. Никогда не думал, что сахар может быть таким грязным.

А после того как развел, поставил в трехлитровой кастрюле на кухне в уголок и со спокойной душой ушел на работу. А когда вечером вернулся, обнаружил, что пена из кастрюли торчит на полметра вверх и вот-вот хлынет на пол.

Притащил я спешно ведро, разделил содержимое кастрюли пополам, а сам сел ужинать. Через час увидел: обе емкости опять с верхом, и пена продолжает лезть наружу. Я тогда большой бидон вытащил на десять литров и снова часть бурды поделил. Смотрел телевизор, а глазом косил на брагу, потому что не знал, что от нее еще ждать. Она же скоро, не успел фильм закончиться, из всех трех посуды полила через край.

Я побежал в ванную комнату, отнес туда емкости и в ванну на дно поставил. Пусть течет, сколько влезет, авось к утру утихомирится!

До последних известий и погоды я так и не дотянул. Через час заглянул и ахнул: мать честная, уже и ванна полнехонька, в серой пене до краев, и через край переползает.

Вот тут я запаниковал. Стал эту пену собирать в тазик и носить в туалет. Только она туда не лезет, дура! Не смывается, не продавливается, не льется... Торчком стоит, да еще шипит на меня, и неизвестно, что с ней можно сделать.

На улицу, была мысль, вынести, только сколько же носить и в чем? Если она уже и пол в ванной комнате стала заполнять, и к дверям подбирается. Шелестит, пыхтит, потрескивает и лезет... И лезет... Я от испуга дверь в ванную комнату закрыл поплотней, наглухо задраил и щеткой припер, чтобы не продавило. А сам, вместо того чтобы идти спать, присел на стул и стал слушать, шумит она за дверью или не шумит. Вдруг вижу, из-под двери полезла... И опять, как змей, шипит на меня!

Я схватил пальто, куртку, кепку и стал конопать щель под дверью. И новый шерстяной шарф не пожалел. Заделал так, что комар носа не подточит, и сел отдыхать. И вдруг как заворчит, зашумит и бух, бух в дверь, будто питон в зоопарке, которого заперли! Мечется, таранит, сотрясает эту дверь, а потом сверху, из воздуховода, кусками полетело...

«Этак и утонуть недолго», — подумал я. Осторожненько, будто боялся, что «она» услышит, на цыпочках пробрался в спальню, а дверь креслом подпер. Пусть заполняет коридор, столовую, кухню... В крайнем случае выскочу через окно. Все-таки только второй этаж... Представляя все в натуре, я так разволновался, что уснул под утро и еще несколько раз ночью вскакивал, все слушал, как она там снаружи ворчит. И приснилось мне наводнение на реке, и при этом почему-то громко выли пожарные машины...

Утром заглянул в щелочку, но ничего не увидел. Тогда я осторожно приоткрыл дверь, но пены там, слава богу, не было, а лишь мокрый, мокрый пол. Пена же продолжала гулять по ванной комнате и барабанила в дверь, грозясь ее продавить, стучала в дверь и падала кусками из воздухопроводов.

Я на всякий случай притащил тяжелое кресло, подпер дверь, а на кресло взгромоздил тумбочку из-под телефона.

На работе я вздрагивал от каждого телефонного звонка. Мне мерещилось, что пена догоняет меня по улице, ищет по этажам и скоро полезет пузырьками из-под двери.

Возвращаясь домой, я сперва со стороны окон зашел, чтобы убедиться, что там не стоят пожарные машины...

Я и друзьям позвонил, чтобы прояснить свою долю, но знакомый полковник непонятно какого рода войск уехал в отпуск на охоту, а остальные плохо меня понимали и лишь посмеивались, когда я начинал что-то объяснять; ну мало ли, говорили, что шипит... Она и должна шипеть... Вот одному дачнику дрожжи, мол, в туалет на участке бросили, вот это была картина! Особенно когда говно наружу полезло и деревяшку снесло!

Три дня я жил, как в чужой квартире. Даже ходить научился на цыпочках, чтобы никого не злить. Умывался я теперь на кухне, а спал с перерывами и все прислушивался, как прислушиваются к пьяному соседу, разгулявшемуся за стеной.

Из домоуправления зашли с предупреждением, что в последнее время шумновато живу, жильцы, мол, с нижнего этажа пожаловались.

Я обещал, что буду жить только тихо. Но дверь, конечно, не открыл. И когда стихло, я еще несколько дней ждал, на всякий случай, не выкинет ли эта дьявольская смесь чего-нибудь еще... Пока не рискнул открыть в ванную комнату дверь... Гос-по-ди! Ураган, самум, цунами — все разом прошли здесь... Видели небось потоп во Флориде и перевернутые машины?

Если видели, то молчу.

Зато я научился делать лучшие наливки и настойки. Особенно удавались мне яичный ликер и клюковка. Но была еще и лимонная, и ореховая (цветом под коньяк), и ликер кофейный, и некоторые другие.

К ним и грибки пошли, хрупкие, ядреные, засоленные прямо на Селигере, а еще гурийская капуста, которую я сам готовил, в большой кастрюле, да с чесноком, морковкой и свеклой; и даже брусничная вода. Ее знают по Пушкину, но мало кто ведает, что это напиток богов: пряный, нежный, легкий, с похмелья лучше и не сыскать. Никакого рассола не надо. Сибирский мужик, поди, не дурак и на какую-нибудь пепси этот чудо-напиток никогда не променяет.

Там, где у других в нашем доме полагался балкон, у меня оказался козырек, нависающий над крыльцом первого этажа. Я еще в описанное новоселье с моим другом из Братска главным инженером Феликсом Каганом посоветовался. Он вообще был один из первых, кто заночевал в моем жилище и одобрил его. Убедившись, что козырек под окном сделан из прочного бетона, я построил на нем нечто вроде бункера. Тот же балкон, только с крышей, под самое окно. Ну, не сам, конечно, это сделали те же строители, что строили наш дом. Они были заняты на строительстве второй очереди кооператива, то есть корпуса номер два, а у меня работали по вечерам и время от времени перевешивались через подоконник кухни и клянчили на бутылочку... В трезвом виде у них трудовой процесс отчего-то замедлялся.

Потом я пробил под окном дверцу, и получился классный погреб... Я думаю, единственный такой во всей Москве. Мои друзья окрестили его «пятым измерением»: снаружи как бы ничего и нет, а заглянешь внутрь, там чего только нет: и полочки с наливками, и грибки под прессом, и посудина с брусничной водой, и рыбка вяленая, и травы в пучках, и соленья, и варенья... Варений было никак не меньше десяти видов: из черешни, из кизила и даже из горного боярышника (сам придумал: он там как китайка — яблочки), из персика, из айвы с орехом... Это все из Крыма и сварено при помощи кипятильника. Оттуда же сушеный шиповник. А вот черничное, земляничное и особенно брусничное варенья — это в основном с Селигера. Ну и рядом закуток для картошки, мешка так на два. Не только одному, но и на гостей хватало на всю, посчитать, зиму.

Кто-то из прозорливых посетителей в книжке для гостей в ту пору написал, что он ни за что не допускал бы сюда женщин. Уж очень, мол, заманчиво... Но я не остерегся, угощал. И пошла тут гульба, круговерть, угореловка... Все как у отца. Гости, девки и далее неизвестно кто.

— Что-то ноги стали зябнуть, не пора ли нам дерябнуть?!

— Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать?!

Однажды я проснулся после очередного возлияния и обнаружил, что мое небогатое барахлишко как слизнули языком. Я ходил по голой квартире потерянный и никому, и себе самому, не был нужен. Вот какая странная закономерность, я подумал, и не удивился своим мыслям, что сын почему-то повторяет судьбу своего отца...

А недавно мой сын забрал у меня змеевик. Дома у него что-то не заладилось. Но он не жаловался на судьбу. Он сказал: «Хочу продолжить дело, начатое предками».

Так он шутил.

В какой-то день мой приятель Игорек заявился с другим моим приятелем Витькой Ильиным в поисках того самого зелья, которого у меня не могло не быть, а там, где они были до меня, им не хватило. Что называется, «перенедопили».

«А надобно так, чтобы упиться до усрачки». Так они заявили. А Игорь при этом еще процитировал из моей одной повести стишки: «Хотят ли русские вина, спросите Витьку Ильина...» В повести у меня тоже взрывник Ильин, только не Витька. Но наш Ильин тоже крепок на это дело, к тому же голубоглаз, волжанин и рыбак... А недавно сидел он с удочкой и увидел в воде змею размером метров эдак пять, да еще кровавого цвета! Напугался Витек, домой погреб и на воду глядеть боится... Но божится при этом, что был он абсолютно трезв. А никто не верит. Разве в трезвом виде змею красного цвета увидишь?

— Будет вам змей, — пообещал я. — Зеленый, зато как просите... До усрачки... Если в шесть утра отвезете меня на Игоревом «запорожце» в можайский мотель... Там меня ждут болгары-дальнобойщики, которые привезли ящик редчайших книг, и в семь часов они отгребут обратно... В свою, значит, Болгарию. Не приеду — книжечки мои тютю... полетят в мусорный ящик...

— Лады. А где зелье? — спросили дружки с вызовом.

— Зелье будет.

— Сколько?

— Сколько надо.

— Надо до усрачки.

— Будет...

— До бо-оль-шой... усрачки!

— До любой, — опрометчиво пообещал я.

— Ну смотри, — пригрозили гости и пошли плечом к плечу на стол, как пошли бы на стенку.

Многажды принимался я считать и сбивался, потому что выходил сплошной абсурд... И получалось, что в ту ночь выпили они около ведра. Ну, правда, и я помогал. К концу же они озверели, глаза налились кровью, у обоих, но у Витьки больше, он и сам покраснел, как его змей. Но при этом они рыкали на меня: где, мол, зелье, обещал, гони!

— А в мотель? — спрашивал я.

— Будет тебе мотель... Ты зелье гони!

Огляделся я и снял с полки драгоценный подарок из Болгарии: коллекция наиредчайших вин в стограммовых бутылочках с винтами... Мои дружки набросились на них так, будто до сих пор они ничего не пили: они высасывали коллекционные вина прямо из горлышка, откусывая для скорости железную пробку зубами и выплевывая на пол... При этом они кровожадно рычали. Скоро на столе возвышалась гора из пустых бутылок, за которой я уже не мог разглядеть моих пивунов. Впрочем, они как-то враз поднялись, потому что Игорь сказал: «Время четыре, значит, хватит». А Витька с побуревшей физиономией и безумными глазами стал искать среди пустых бутылочек что-то оставшееся, повторяя при этом: «Не хватит».

Они ушли в обнимку, придерживая друг друга. А в шесть Игорь вернулся за мной, как обещал, и сказал: «Едем».

Мы сели в машину, на заднем сиденье спал Витька Ильин. И была зима, гололед, и лип к стеклам мокрый снег...

Игорь вел машину, завывающую на всю вселенскую, как герой Талалихин на таран свой боевой самолет. Он вцепился в баранку и боялся только заснуть на ходу. Он постоянно клевал носом. Время от времени я его расталкивал, пытаюсь при этом хоть что-то рассмотреть впереди за грязным стеклом в первом утреннем свете.

И ничего, ну ни-че-го-ишень-ки не было там видно, лишь белая муть. Которая и могла называться зимним утром.

— Вот что, — придумал тогда я. — Мы будем петь.

И я заорал как можно громче:

*Броня крепка, и танки наши быстры,
И наши люди мужества полны...*

— В строю стоят со-вет-ски-е тан-ки-сты... — подхватил срывающимся голосом Игорек, а я уже уверенней довел куплет до конца:

Своей любимой родины сыны...

— Россия, ты слышишь, твои сыны к тебе... Полны... (Только чем?) Быстры... И — мужества опять же... Это... как его... — зель-я да-вай! — рявкнул откуда-то из-за спины проснувшийся от громкого нашего пения Ильин. И рыгнул нам в затылок крепким перегаром.

Братцы... Дружки мои... Это куда же мы с вами едем-то? А?

Куда? Куда? Куда?

А ЖИЗНЬ НАША И ВПРЯМЬ КОПЕЙКА

Конец у этой истории прост. Я вдруг вспомнил, что у моей куртки худые карманы и что-то могло, как не раз бывало, завалиться за подкладку.

Пошарил и — чудо — обнаружил там нашу простую, немного потертую русскую копейку. Это было то, что требовалось.

Но нужно было прикончить всю бутылочку (вот где скрывалась истина, скрытая дарителем и обозначенная еще римлянами: *In vino veritas*), чтобы прояснилось в душе и мозгах и я смог додуматься до подкладки.

Я опустил копейку в щель лифта, и сотворилось второе чудо: русская никчемная копейка, не стоящая ни черта, возвратила меня в мир людей. На первый этаж.

Я вышел в рассветный час в теплый город, разминая затекшие ноги, и по пути выбросил в урну пустую бутылочку из-под «Плиски».

Первого же прохожего, встреченного на улице, спросил, не знает ли он, случайно, где находится гостиница «Коньяк».

Он пожал плечами и долго смотрел мне вслед, пытаясь понять, отчего этому чудаку, то есть мне, спозаранку так весело...

ЗОЛОТОЙ ПАЛАЧ

РЯД И МЕСТО

Ряд и место мне обозначили наутро, во время утренней проверки. Ленька по кличке Пузырь, оказавшийся слева от меня, не повернув головы, процедил сквозь зубы: «Вчера, значит, разыграли... Слышь?» Я кивнул. Блатняги разыгрывали в карты место и ряд в поселковом клубе. Если быть точным, ставили на кон жизнь того, кто сядет на разыгранное место. Не знаю, как вчера, но обычно они разыгрывали сначала ряд, потом место, затем исполнителя. На этот раз карта выпала на меня.

— Понял? — спросил Пузырь. — Ты идешь.

Я кивнул. Было все произнесено громким шепотом, но так, что услышал я один. Справа стоял Теслин по кличке Сироп. Худющий, длинный, как оглобля. В нашу сторону не глядел, а таращился на приближающегося воспитателя и заранее вздрагивал. Он до жути боялся шмона. Не оттого, что у него что-то заначено, что ему прятать, гол как сокол, просто очень боялся щекотки. К нему лишь руки приблизишь, а он умирает, хватает воздух ртом, даже подпрыгивает. А потом обычно с визгом хлопается об пол. А уж когда шмонают, шарят прямо по телу, происходит «камедь», которая всех забавляет. Даже таких зверюг, как Карабас-Барабас, а сегодня шмонал как раз он.

— Ряд восьмой, место шестнадцатое, — между тем прошептал Пузырь. И, позевывая, добавил чуть громче: — Сёдня... На... значит, так... «Девушка с халахтером...» Аль с халатом... Хрен знает, в чем она там...

Я опять кивнул. Ничто еще во мне не пробудилось. Во-первых, это только вечером. А до вечера еще дожить надо. Во-вторых, могут и переиграть. И так бывало. А в-третьих... Ну ходил я раз, пусть не сам исполнял, а Пузырь, а я рядом стоял, шухерил, и хоть в зале полутьма, но видел... Видел, как легонечко ткнул Пузырь заточенной спицей мужичка, что впереди сидел, ткнул чуть ниже лопатки, и — копец, как говорят. Раз уж так не повезло бедолаге, что из трехсот обычных мест занял он проигранное. Ну то есть не сам занял, ему такой билет продали. Но все равно. Сел — значит, виноват. Не надо ему было садиться. А что не знал, что место проиграно, так это и есть судьба. Рядом, например, не проиграно, так там еще какой придурок сидел, и ему потрафило. Он еще придет посмотреть киношку, потом еще жить долго будет. А этот нет. И все по закону, хотя и негласному. Завтра на голову кому кирпич свалится или машина собьет, ты же не кричишь, что не должно так быть. Раз ты в это время проходил, а кирпич на балконе у края едва держался и потом упал. И черепушка пополам. У нас не кирпич, но тоже случай.

Я вспомнил тот случай, когда с Пузырем на пару был. Зрители хохотали: «камедь» им выдали... Закройщик из какого-то Торжка. Он на швейной машинке сперва шил. А потом побежал по улице, а его легковушка догнала и бампером поддела, и он, дрыгая ногами, так на бампере и поехал. Все умирали от смеха. И только один — не от смеха. Мужичок впереди вдруг вздрогнул и спокойненько так откинулся на спинку. Со стороны посмотреть — заснул человек. А у меня в ушах тишина наступила. Так и запомнилось: полутемный зал, экран отсвечивает в лицах, все открыли рты, а мужичок в мертвой тишине отпадает и отпадает на спину. А потом звук вернулся, но нам уже неинтересно, мы с Пузырем к выходу пробираемся. «Камедь» досмотрим потом. Или сами придумаем.

А про девушку с халатом я раза три смотрел и все там знаю. Ничего интересного там нет. Только в начале, когда шпиона ловит в воде... Да когда Карандаш потешно блюда разносит в вагоне-ресторане... А остальное — полная ерундовина. Да мне и смотреть будет некогда. Мне примериться надо, чтобы не промахнуться. В кого — без разницы. В кого хошь...

Шмон приближался, но был еще не близко, и Карабас-Барабас — так прозвали его за огромную бороду, прямо ото лба, в которой прятались злые глазки, — по привычке рыча, кого-то ощупывал. Особенно любил ощупывать милых мальчиков. Можно было подумать, что сейчас возьмет да укусит. Я его не то чтобы боялся, но выдерживал с трудом, уж очень от него воняло сивухой.

Наклонясь к Пузырю, я поинтересовался, кто идет со мной.

— Никто, — ответил он.

— А ты не пойдешь?

— Зачем?

— Ну так...

Я-то знал — зачем. И он знал. Вдвоем не так страшно. И прикрыть друг друга можно, если что. И отвлечь, если мент привяжется. Да мало ли что бывает.

Пузырь повернулся в мою сторону, и я увидел в его глазах лишь холодное любопытство.

— Дрейфишь?

— Нет.

— Вот и работай. Спицу я тебе свою дам. Только не потеряй.

Спица от велосипеда, стальная, блестящая, с заточенным игольчатым жалом, она дороже финки или кастета. Ее и затырить легче, и в деле она безотказна. Ткнешь — и будто ватник насквозь прошьешь. Никаких усилий. И ни крови, ни следов... Ни человека.

— Так когда? — спросил я. — Спицу когда отдашь?

— Когда надо. Перед самой киношкой. У тебя будет девятый ряд, шестнадцатое место. Только не дрейфь. Первый раз обычно дрейфят.

— А ты? Ну когда мужичонку?..

Карабас-Барабас приближался к Сиропу, тот жалобно начинал икать, все развеселились.

— А чего я? Делал как учили. Сунул, вынул. И — прощай, дядя!.. В общем, давай, малек. Пора в люди выбиваться. — И Пузырь захохотал.

Но хохотали все, и непонятно было, смеялся ли он надо мной, потому что предчувствовал что-то, или его, как и остальных на проверке, развеселил Сироп, который вдруг начал кудахтать и приседать.

Карабас-Барабас долго и пристально его разглядывал, потом махнул рукой и перешел к нам. «Камедь» закончилась. Корявыми и сильными ручищами прошелся по карманам, в промежности пошарил. Чуть мошонку придавил, для собственного удовольствия, и все. Ничего не нашел. К тому, что у меня в черепашке значено, ему слабо подобраться.

ВИНОВАТЫЕ

Клубик поселковый невелик, но фасад с колоннами, пусть и обшарпанными, местами оббитыми; тут же слова вождей на красном выцветшем кумаче, объявления о киносеансах. В холле морс продают, и все сидят вдоль стен, ждут, семечки лузгают, на пол плюют. Потом звенит звонок, все подскакивают и, толкаясь, прут в зал. Я чуть пережидая и тоже иду. Отыскиваю свое место: ряд девятый, место шестнадцатое. Впереди пока никого нет. Многие вообще любят опаздывать и в темноте приходить.

Только кино сегодня оказалось совсем другое. Пузырь перепутал. Если бы про Чапаева, скажем, или Котовского, я бы обрадовался. И про революцию тоже. А тут про какого-то виноватого... На афише артист такой кучерявый, и дама глядит на него так, будто он и есть виноватый. Ну да ладно. Мне же не рот разевать на экран, мне дело исполнять надо. А кто виноватый там, кто нет, пусть они сами разбираются.

Вспомнив про дело, я на всякий случай спицу потрогал, она слева под курткой прилажена. Снял бумажный колпачок и пальцем по острию провел. Колется. Здорово наточили. Пока копался, место передо мной заняли. Приподнявшись, смог увидеть за краем фанерной спинки светлый вязаный беретик, и две белые косички врозь

торчат. Девчонка лет четырнадцати. Мне ровня. Тут она оглянулась, заслышав шевеление за спиной. Потом обернулась еще раз и внимательно на меня посмотрела. А я — на нее. Получилось: глаза в глаза. Я тогда не запомнил, какие у нее глаза, но показалось мне, будто промелькнул в них тревожный вопрос. Будто она что-то почуяла. Ведь могло же в моих глазах быть нечто особенное, раз я думал только об этом деле. Она заелозила, закрутила головой. Скорей бы уж свет погас...

Девчонка вдруг поднялась и стала осматривать зал, будто хотела увидеть знакомых или просто поменять место. А я подумал, что хорошо бы она пересела. Спицей протыкать без разницы кого, такую, как она, даже проще. В ней и мяса нет, худая, как скелет. В войну все такие, на карточки не шибко разживешься, но эта была худей любого. Может, еще и больная. Так она и без спицы скоро загнется...

Но девчонка не ушла. Покрутила головой и села. И снова приподнялась. Теперь я смог рассмотреть, что у нее большие синие глаза, светлая челка на лбу и маленькие, чуть прикушенные губы... На меня она больше не смотрела. Боялась, наверное, снова увидеть мои глаза. Теперь я был уверен, что они выдают меня с потрохами. Вот что значит пойти на дело первый раз, ходка с Пузырем не в счет. У него вообще мужичок сидел смирнехонько, его и не видать было. А эта извертелась, издергалась вся. Да я, как дурак, на нее вытаращился, а ведь смотреть на проигранных, говорил Пузырь, вовсе ни к чему. Протыкать легче, когда лица не знаешь. И вообще ничего не знаешь. Кроме ряда и места. Да чужой спины.

Но картина все не начиналась, а девица все передо мной маячила. «Ну уходи же, дурочка, двигай, двигай отсюда, — молил я мысленно. — Сядь на другое место...»

И тут, не знаю зачем, я снова потрогал рукой спицу и больно укололся. Отдернул руку и увидел, что девица, видимо, почувствовала мое движение, даже глаз чуть скосила, но опасности никакой не почувствовала и снова села на место. Ряд восьмой, место шестнадцатое. Ну и дура! Сама виновата.

Описываю так подробно, потому что четко, до мельчайших подробностей в памяти отпечаталось все, что касалось ее и меня. Помню еще — подумалось: а можно ведь и словчить, уколоть кого-то из ее соседей. Но слева от нее сидел мальчишка, такой кроха, что за стулом затылка не видать, он для дела не годился. А справа — старушенция, облысевшая и немощная, она и без меня скоро отдаст Богу душу. Хотя, окажись она на месте девчонки, колоть ее тоже было бы жалко, но не так, меньше...

«А себя не жалко? — спросил я почти вслух. Даже разозлился. — Вот и давай, готовься сделать дело...»

Я глаза закрыл, чтобы девчонку не видеть, а когда открыл, было уже темно и начался фильм. Сперва я плохо понимал, что творится там, на экране. Но постепенно расчухал, что актрисуля одна, вся из себя расфуфыренная, сынка встретила, но никак его не узнает, что это ее сын, и они от этого ужас как переживают. Даже смешно. Я-то свою мать вообще не знаю. Как рассказывали люди, пришла к чужому порогу, положила сверточек и с ним записку, что мальчика, мол, зовут Александр Гуляев. И с приветом, мамаша, гуляй от нас подальше. Я бы для тебя спицу не пожалел, окажись ты здесь...

Тут я спохватился и быстренько извлек спицу, чтобы потом времени не терять. И к руке приспособил. Одна сторона была замотана тряпочкой, чтобы не выскользнула. Прикинул, что если эту под спину кольнуть, то низковато получается. А вот над спиной, если в шею... да прям между косичек...

Так чего же я медлю, спросил я себя. Уж кино к концу, там все виноватого ищут. Но я и так догадался, кто в картине виноват. Эта красивая бабеха бросила в детстве кучерявого, как меня когда-то бросили, оттого он и злится. Интересно, а мог бы он со зла воткнуть в свою мамочку спицу?

Теперь я крепко сжимал спицу в кулаке, но руку опустил, чтобы не блеснула. Так и Пузырь сделал, прежде чем колоть. Чуть приподнявшись, увидел две косички, торчащие врозь. Если прицелиться между ними, как раз попаду в шею. А шейка у нее белая, тоненькая-претоненькая.

А вдруг девица возьмет и завизжит? От них, даже таких дохлых, визгу столько, что любую картину переголосят!

Я на всякий случай осмотрелся и понял, что бежать отсюда будет не просто: полряда протолкаться нужно, пока в проход попадешь. Да шагов тридцать к дверям, да наружу. Но отступать-то некуда. Значит, надо воткнуть так, чтобы не пикнула. Пацан слева вообще не поймет, а старушенция не заметит. Очки блестят, видно прям, как ей картина нравится. И тут на экране кучерявый стал про таких, как его мать, речь произносить. Какие они, значит, сучки, что бросают своих детей... Поплакали, поцеловали — и прощай, голубчик, живи как знаешь... А лучше бы ты умер... От слов кучерявого я даже оторопел слегка. И спицу опустил. Ведь это как про меня говорилось. Может, таких красивых слов я бы не смог найти, но знал: на экране все по правде. Никто в этом зале не смог бы меня понять, если кому рассказать, как меня на чужой порог бросили. А тут как про мою жизнь показали. До того похоже, что дыханье перехватило и в башке все перемешалось... Особенно когда он ей: «Матушка, мама, мама!» С ума можно сойти... А она ему: «Гриша, мой Гриша!..»

Я даже забыл, где и зачем сижу. А когда пришел в себя, уже горел в зале свет и не было ни девчонки с косичками, ни спицы в руке. Попытался шарить по полу, да мне чуть руки не отдавили. Под чужими ногами разве что отыщешь! Да она и в щель могла провалиться...

Возвращался как потерянный. Девчонку потерял и оружие бесценное тоже. Никогда ведь не вспоминал и не жалел, а тут поддался словам красивой женщины, которая на экране обнимала кучерявого. Будто меня обнимала. А на выходе прочел на афише: «Без вины виноватые». Это уж точно про меня.

СУД ИДЕТ

Суд заседал после отбоя в спальне старших ребят. Старшие и есть те блатняги, что свили в колонии «малину» и властвуют над всеми. Их трое. Но всех троих зовут по странному совпадению Яшками. А может, так задумано, чтобы легче вдолбить младшим: Яшка — значит, твой хозяин. Твой повелитель. Твой царь и бог.

Самый главный из Яшек на вид не страшен. Некрупен, светлоглаз, умеет выражаться по-особенному. Без мата. Кто-то утверждал, что он из семьи высокого начальства, но бежал, обчистив папашу, и на время прибил к нам. Однако хоть он на вид и не страшен, его-то больше и боятся, а за что, не сразу поймешь. Может, потому, что на улице, за стеной нашего дома, у него всесильные дружки. А может, за что-то другое. Другой Яшка, который по рангу второй, — кореец, косоглазый, злобный. Гворить не любит, но, когда вспылит, может прибить. Ну а третий, видать, из хохлов, крупный и добродушно-улыбчивый. Но если надо применить силу, руки-ноги переломать, это он с удовольствием сделает. Переломает, не пощадит. И у каждого свои шестерки на подхвате. У главного Яшки — как раз Ленька Пузырь. Прощельга и ловкач. Однако умеет здорово прислуживать. Да все хотели бы, как он, прислуживать, но не всем пофартило.

Трое Яшек восседали на полу, подстелив под себя одеяло. Меня они поставили у стены рядом с печкой,

сесть не разрешили. Остальная братия наблюдала с коек, каждый со своего места. Кто сидел, а кто лежал, свесив голову. Но смотрели все. Я видел по горящим глазам, как им интересно. Прямо кино. Раньше-то никто не осмеливался послушаться. А если и были у кого промашки, мордовали без суда. Иной раз изгоняли из дома. Одного за кражу чужой пайки урки изнасиловали и пустили по спальням, чтобы потребляли хором. Но и его не судили. Так велел Главный Яша, и так было исполнено. А еще один тихоня, по кличке Сурок, в доносительстве признался, так он просто исчез в одну ночь, его и не искали. Со мной они, видать, решили расправиться покруче, чтобы другим неповадно было. Да и развлечение опять же.

— Ну, Гуляев, нагулялся? Говори теперь!

Это Главный произнес. Он сидел в центре, чуть опершись на подушку, будто султан какой, и, откидывая назад золотоволосую голову ангелочка, смотрел на меня снизу. В прозрачно-светлых глазах его угрозы я не обнаружил, лишь живое любопытство. Даже какой-то интерес к моей ничтожной персоне.

— Чего говорить-то? — пробормотал я. — Все и так знают.

— Знают, да еще хотят знать. Тебе что велели?

— Пришить.

— Кого?

— Восьмой ряд, шестнадцатое, значит, место.

— Пузырь! — окликнул помощника Яшка Главный. — Он правду говорит?

— Он правду говорит, — подтвердил Пузырь. — Я ему приказ еще с утра передал.

— Он согласился?

— Согласился. И спицу у меня забрал. А потом спицу потерял.

— Потерял? — удивился Яшка-третий. — Спицу потерял? Как это?

Он возвышался над всеми даже сидя на полу, прямой, будто аршин проглотил. Крупные руки держал на коленях. Я смотрел на его руки и думал, что сегодня, наверное, он бить не станет. Да и это было бы слишком легким наказани-

ем. А они, небось, задумали что-нибудь похлеще. Шепотом передавали, что вчера урки всех прогнали из спальни и целый час совещались. Даже в карты не стали играть.

— Я взял, значит, спицу и пошел в кино...

Я рассказывал, а сам смотрел на руки Яшки-третьего. Все кругом молчали. И Яшки тоже.

— В общем, она там сидела...

— Кто сидел? — спросил небрежно Главный Яшка.

— Девчонка...

— Да хоть и мальчишка. Но ты знал, что ты должен сделать?

— Знал.

— И что же?

— Не успел.

При этих словах Главный Яшка откинулся на подушки и громко захохотал. И вся спальня вслед за ним загудела, загикала, заблеяла. Я смотрел на лица своих дружков и не видел ни у кого хоть капли сочувствия...

— Ему двух часов не хватило! — крикнул кто-то. — А там делов: ткнуть да смотаться!

— Он-то смотался... Только все потерял от страха!

— Ты что, придурок, правда, что ли, испугался? — спросил Яшка-третий с добродушной улыбкой.

— Нет.

— А спица где? Где?

— На пол уронил.

— От страха, что ли?

— А он, вместо того чтобы поднять, — подхватил тут же Пузырь, — убежал из кино... Так ведь? Сознавайся!

— Нет, не так, — уперся я. — Я ее под ногами искал.

Яшка-второй, кореец, который молчал до поры, только жег меня косыми глазами, теперь закричал пронзительно:

— Зачем врешь? Зачем огрызаешься?

— Я не огрызаюсь, — произнес я.

— А что ты делаешь? Ты ведь врешь?

— Я сказал, что я не испугался... И не вру совсем.

— Тогда расскажи нам, как ты не испугался. Ты хоть признаешь, что ты виноват?

— Нет, — ответил я.

— Не признаешь, значит?

— Не признаю.

Яшка-Главный, который после своего заразительно-го смеха продолжал полеживать, глядя в потолок, будто остальной разговор его мало касался, на последних моих словах приподнял голову и сделал отмашку.

— Ну хватит! Хватит! — произнес капризно. — Не признает он никакой вины, слышали? А мы вот признаем!

Все притихли. Смотрели на него. И я смотрел, почувствовав, что сейчас случится главное. А главным будет то, что он произнесет.

Но он ничего не стал говорить. Не спеша поднялся, оглядел, будто впервые видел, спальню, сделал несколько шагов ко мне. Оценивающе осмотрел меня с ног до головы, процедил небрежно:

— Ну бывает, бывает от страха... А вы что, — это к остальным, — такие все стали сразу храбрые, да?

Все замолчали. Никто не понимал, куда он клонит.

— Ну если храбрые... — Он посмотрел на Пузыря. Тот кивнул. Оба Яшки сидели молча. Они-то заранее знали, что скажет их Главный урка. — ...то будете храбро исполнять наше решение. Решение суда.

Он снова заглянул мне в лицо, как бы проверяя, насколько я чутко воспринимаю происходящее.

— Решение же суда таково... — Он вернулся на свое место, в середку между другими Яшками, и уже оттуда произнес то, что было ими решено еще вчера: — Гуляев Александр, за невыполнение дела, которое тебе поручили, за трусливое поведение в кинотеатре, за потерю оружия... при том, что вину, наперекор нашему мнению, не признал... приговариваешься нашим справедливым судом к высшей мере наказания: к смертной казни. Время казни будет объявлено в ближайшие дни.

В спальне стояла тишина. Все догадывались, что решение суда будет жестокое, но такого приговора никто, наверное, не предполагал. И я тоже. Не случайно Главный Яшка с любопытством заглядывал мне в лицо, пытаюсь угадать, что я от них жду.

ОЖИДАНИЕ КОНЦА

За развалившимся забором колонии, неподалеку, стояла с наглухо заколоченными окнами нежилая дача, а рядом находился сарай. Колонисты иной раз собирались там для всяких своих тайных дел: делили добычу, прятали сворованное, развлекались. Однажды держали там козу, которую сперли, уж очень здорово она горящие чинарики доедала, пуская дым из ноздрей. Но потом, с голоду, что ли, стала блять, и так как желающих ее прирезать и сожрать не нашлось — слишком воняла, — выпустили на свободу, пускай, дура, ищет свой дом.

Тут меня после суда и заперли, у них и замок откуда-то нашелся.

— Сиди, жди, — сказал Пузырь, который исполнял приказание.

Он чуть задержался, пока трое помощников, из самых крепких ребят, отдалились, буркнул, смачно сплевывая, что я сам виноват — валял дурака, а мог бы слезу пустить, признать вину, поползать перед ними... Они бы, может, изменили свое решение. Хотя он-то со вчерашнего дня еще знал, как было решено меня наказать.

— А что решили?.. Чего они будут делать?

— Они? — передразнил Пузырь. — Они сами делать ничего не будут. Может, для удовольствия позырят, как ты в говне утопать будешь. Они это мне поручат, а я еще кому-то. И пусть попробует не сделать!

— Значит... утопят?

— Зачем топить? Сам утонешь. Тебя только спустят через дырку... Там жижи метров пять вглубь. Пока до дна догребешь, тебя черви сожрут. А потом и выгребную яму закопают... Да ты в прошлом лете сам же закапывал, когда переполнилась... А что ты закопал, знаешь?

— Что? Там кто-то был?

Пузырь снова сплюнул и повернулся уходить.

— Хоть ты конченный, все равно не скажу.

— Сурок! — догадался я. — Но ведь говорили, что он сбежал?

— От нас не сбежишь, — произнес уверенно Пузырь и стал запираеть дверь.

— А жрать принесут? — крикнул я вдогонку.

— Еще чего, — отвечал он уже из-за двери. — Зазря на тебя добро переводить. Ты же не коза... Блеять не станешь! — И он засмеялся, довольный своей шуткой.

Я огляделся. Все тут было мне знакомо. Сарай был срублен из бревен, как изба, и все в нем было сделано прочно и основательно. Почерневшие от времени неровные стены с торчащей из пазов рыжей паклей, железная крыша, под которой свивали гнезда воробьи. Пол, правда, был земляной, но устлан истлевшей соломой. Старый, из толстых досок, спалили еще в первую военную зиму. Было и окошко, но его заколотили накрепко горбылем, в щели пробивался неяркий свет. Говорили, что бывший владелец дачи устраивал здесь на ночь своих гостей, и от тех неведомых времен в углу остались остов железной койки без матраца и почему-то детские санки. В другом углу стояли две рассохшиеся бочки, от них мы отламывали доски, когда хотели развести костер.

Когда-то я здесь тоже кое-что значил, и оно должно было меня дожидаться, если, конечно, никто мою заначку не распотрошил. Но сейчас было не до этого. Я присел на железный край койки и стал соображать. Соображения были самые простые. Влип из-за девки, а теперь утопят. В дерьме. Я уже слышал, что урки изобретательный народ. Особенно если надо какое дельце похоронить. И бабкам на пирожки или на студень продадут, и в ледяную горку зимой могут залить. Так что это еще не самый худший конец.

Только противно в дерьме среди белых червей плавать. Сверху через дырки рыла глазуют, отгалкивая друг друга, а то и гогочут, потешаются, тоже ведь зрелище. Хоть в нос шибает. А ты с вытаращенными от ужаса глазами еще дрыгаешься, чтобы на поверхности удержаться, и голову задираешь кверху, чтобы воздуха чуть глотнуть...

Я помотал головой и заставил себя думать о другом: как отсюда драпануть. Хоть Пузырь и предупредил, что от них, мол, не сбежишь. Сбежать, взломав двери, не удастся, это я с самого начала знал. И запоры крепки, и за дверью сторож из ребят, завопит, если что. Да и крышу голыми руками не проломишь. А будешь ломать, услышат. Разве что копать под стену?

Я прощупал нижние венцы, пройдя квадратом по сараю. В одном месте наткнулся на оголившийся кирпичный фундамент и понял, что строили здесь на совесть. Это нынешние алкоголики на каменные столбы коробку поставят и безумно рады, что не заваливается по весне, когда снег тает. А прежние-то не только крепкие руками, но и крепкие умом были, знали, что и как надо делать.

Поняв, что сбежать не удастся, я сосредоточился на воспоминаниях, ничего другого не оставалось. Не хотелось проворачивать заново то, что произошло в киношке, но я и сейчас был уверен, что вел там себя как надо. Они на суде кричали: «Испугался, испугался», а никто не спросил: может, мне жалко ее стало. А не спросили потому, что этого слова не знают и не могут они о жалости судить. Птенец выпадет из гнезда, и то пожалеешь, чтобы кошка не съела. А тут живой человек... Беретик с косичками, светленькая челочка и синие-синие глаза...

Но и синеглазка, как я ее назвал, не была сейчас главной в моих воспоминаниях. Я картину с красивой мамой и кучерявым сынком стал восстанавливать кадр за кадром, и вот чудо — ничего не пропало. Как она по-королевски держится на людях, как проникновенно говорит о сыне и как он, до поры не понимая своего счастья, гневно произносит свою речь против всех на свете матерей...

А дальше у меня уже другое кино стало сочиняться. Как пришла эта мама к дому, где когда-то на ступеньках

сверток в голубом байковом одеяльце лежал, и говорит: «Я тут мальчика оставила, давно, лет четырнадцать прошло. Может, вы слышали, может, знаете, где он теперь?» А ей люди отвечают — мол, знаем, мадам, но сперва хотелось бы у вас спросить: как же вы посмели ребенка родного на улице, на чужом крыльце бросить? По какому такому моральному праву? Или у вас сердца нет? А она в слезы: «Сама не знаю, муж заставил. Сказал, что убьет меня и малыша, так я его спасти хотела!» — «А, ну бывает, бывает, он что у вас, сильно пьющий?» — «Да пьет хоть и нечасто, но уж когда выпьет, прям звереет. А сейчас вот приболел, пить бросил, опомнился, иди, говорит, отыщи сына, я хочу с ним проститься». И тут сердобольные жильцы дают его, то есть мой, адрес... Живет, мол, ваш сын неподалеку, в колонии, куда попал из распределителя, но фамилию мы ему сохранили, как было указано в записке. Как придете, увидите, вам сердце подскажет, какой он теперь... И вот она на пороге. Крутом сотни огольцов. Так и норовят что-нибудь у нее спереть. А она ничего не замечает, вертит головой, смотрит и... не находит. «А вам кого, — спрашивают, — вам Гуляева, что ли, так его нет сегодня, он в кино пошел». И она идет в кино. И достается ей восьмой ряд, а место... Она смотрит в сумраке зала: ага, шестнадцатое место, где это? А он, то есть я, рядом проскакивает, идет дело выполнять. И садится позади красивой моложавой женщины. Из-под куртки достает спицу, пробует пальцем жало и, уколовшись, слизывает кровь и при этом с ненавистью смотрит в спину женщины, будто из-за нее укололся. А тут она, почувствовав его взгляд, оглядывается, и они утыкаются глаза в глаза. И долго, очень долго смотрят друг на друга, пока она не закричит на весь кинотеатр... А вот что она закричит... Мне не хотелось дальше смотреть свое кино...

Вот если бы спросили, какое у меня последнее желание перед концом. Я читал, я знаю, что так приговоренных к смерти спрашивают. Я бы тогда попросил кино еще разок посмотреть. Но только это — про безвиноватых. Где появляется неведомо откуда мама...

КАНУН КАЗНИ

Я знал, что долго мне сидеть не придется. Слишком хлопотно кого-то держать под замком. Даже в таком глухом месте. А вдруг кто проведает или ненароком забредет? Да и оттягивать наказание смысла нет. Вон ведь какой суд при всех устроили. Чтобы все знали, что с ними будет, если захотят послушаться...

Но время шло, а ничего не происходило. Только жратву кой-какую мне все-таки притаскивали и воду в старом бидоне. А вот Пузырь, которого можно было разговорить, отчего-то не появлялся. Он исполнитель, он знает больше остальных. Он и срок казни знает...

Я вспомнил про свою записку и откопал ее. Это была стальная пластинка, обломок от старого комбайна, кресало теперь. Если ею по кремню ударить, искры сыпятся. А если трут под кремень подложить, то можно и огонь высечь, и закрутку раскурить. Трут и кремень у меня теперь были, а вот курева, конечно, нет. Но я в соломе цветы засохшие собрал, завернул в клочок старой газеты, огонь высек и закурил. И тут же шухернулся. Неведомый мой страж запах дыма учуял и в щель заглянул.

— Ты что там делаешь? Куришь?

— А тебе-то что?

— Мне велели следить, чтобы ты смиренно сидел, вот что.

— Ну и следи... А ты кто? Из какой группы?

— Из старшей. Тишкин.

— Почему Тишкин? Имя-то у тебя есть?

— Есть. Но все равно я Тишкин.

— Ага. А я Гуляев, значит.

Это я сказал для юмора. Он понял и добродушно засмеялся.

— Кто ж тебя не знает... Ты теперь знаменитый!

— Чем это я знаменитый?

— Как чем? Скоро казнить будут. Знаешь, как все ждут!

— А когда?

— Послезавтра.

— А почему не завтра?

— Так Главный на дело отбыл. А без него нельзя. Он же золотой палач!

— Почему золотой?

— Не знаю. Так зовут. Красивый потому что...

— Слушай, Тишкин, а ты случайно не знаешь: в кино на мое место никто не ходил?

— Да вроде ходили, — ответил он неохотно.

— И что?

— Кого-то пришили.

— Кого?

— Мужичка одного.

— Ты уверен, что мужика?

— Я там не был, — протянул Тишкин равнодушно. И неожиданно попросил: — А ты закурить не дашь?

Наверное, имелось в виду, что за просто так он ничего больше выкладывать не станет.

— Так у меня травка, — сказал я.

— Зато у тебя огонь есть, — не без зависти произнес невидимый Тишкин. Было слышно, как он шумно вздохнул.

После этих слов я недолго раздумывал.

— А хочешь, я тебе огонь подарю? — сказал я.

Он не ожидал такой щедрости и даже растерялся.

— Это как — задарма?

— Почти.

— Не, — сказал он, — я тебе все равно не отопру. Они знаешь, что сказали...

Они — понятно, кто-то из Яшек.

— Что?

— Что если кто станет тебе помогать, тот сам за тобой пойдет. Только еще пытку устроят за измену.

— А я и не прошу отпирать. Ты в киношку ходишь?

— Ну хожу. Когда пускают по доброте.

— Ты можешь вовнутрь и не заходить. Ты у входа постой. Мне надо одну знакомую найти... У нее беретик, две косички и такие, знаешь, глаза...

— Какие такие глаза?

— Особенности... Синие-синие... — Я подумал и добавил: — Вообще-то она одна такая. Ты ее сразу увидишь.

— Не знаю, — поколебавшись, сказал Тишкин. — Неохота как-то.

— А кресало с трупом?

Тишкин помолчал, раздумывая. Кресало с трупом — большая ценность. На них, если повезет, полбуханки хлеба можно выменять. И он, и я, оба это знали.

— А если найду... Что тогда?

— Скажи, хочу поговорить.

— А если не захочет? Она тебе кто?

Теперь я раздумывал. Скорей всего так и будет — она не придет. К колонии на пушечный выстрел никто добровольно не подходит. Боятся.

— Но ты уговори, — попросил я. — А кресало все равно твое. Хочешь, сейчас бери.

— Давай, — сразу согласился Тишкин. Наверное, подумал, что не зря меня придурком зовут, если кресало, поверив на слово, за так отдаю.

— Ты вот что, Тишкин, — добавил я. — Бери кресало — считай, дарю. А труп я отдам, когда к кино сходишь... Договорились?

Он забрал кресало, просунутое под дверь, и вскоре, не прощаясь, исчез. Его заменил кто-то другой. А я даже не догадался посмотреть, как этот самый Тишкин выглядит. Да и не верил я, что мой план удастся. Но если удастся, если произойдет чудо, что я ей скажу? Да и зачем она мне вообще нужна?..

— Дурак ты! — сказал я себе и со злостью шуранул ногой по соломе. Поднялась едкая пыль. Всегда ходил в при-дурках. Но сегодня просто рекорд по дурости установил.

ПРИДУРОК

На другой день Тишкин не появился. Вместо еды подсунули две морковки: мол, грызи, другого не будет. Сразу вспомнились слова Пузыря, что перед казнью кормить — только продукт зазря тратить. Закурить бы с такого настроения, но ведь сам же, придурок, кресало отдал... Я и к дверям подходил, голос подавал, ведь должен там кто-то стоять. Но мне не отвечали. Прислушался — кто-то за дверью дышит.

— Ты можешь ответить? — сказал я громче. — Не съем же...

— Ну чего? — наконец раздался из-за двери голос. — Чего разорался?

— Тишкина там случайно нет?

— Случайно нет.

— И не приходил?

— Не приходил.

— А придет?

— Ты бы помалкивал! — прикрикнули из-за двери. — Торчу здесь из-за тебя, а мог бы на рынок рвануть. Или еще куда...

— Так иди. Я тебя не держу.

— Ага, иди... Ничего, недолго осталось... Завтра уж...

— А что завтра?

— Сам знаешь что. Для тебя уж и спицу приготовили. Я ее сам точил...

— Значит, спицей решили? А сральня что ж?

— Да замолкни ты! — крикнул страж. — Трещит! Трещит! — Но потом остыл и нехотя добавил: — Переполнилась она, вчера зарыли. А в другой не накопилось... Не в ведре же тебя топить?

Последнее он произнес даже с сожалением, и я не стал его больше раздражать. Отошел от двери и присел на санки. Что хотел, я уже узнал...

Никогда я по-настоящему о смерти не думал. Какая там смерть, если все время занят тем, как жратву найти, как в чужом окошке пошарить, от мента скрыться. Да чтоб не измузузили, если поймают. Особенно больно, когда по голове бьют. Как пойманную рыбу, однажды сам видел: вытащили из воды — и молотком по голове, чтобы не трепыхалась...

Меня тогда из распределителя в младшую группу при колонии передали по акту. Режим военный: утром на проверку — и маршировать по кругу. На богатырские дела нас воля Сталина вела. А он, гипсовый, в центре круга стоит, в усы лыбится. Потом на работу: копку огорода, прополку, а чуть старше стал — воду на огород таскать, зимой дрова пилить, печку топить, старшим прислуживать. Главное — норму сделать. А без нормы вечером на расправу к надзирателям, они уже свои игры начинают. В тумбочку, скажем, засунут и стучат по ней, пока не оглохнешь. Или в котел кухонный посадят да крышкой сверху прихлопнут, а снизу подбросят дровец. И ты супом становишься. А бывает, как окорок, головой вниз подвешат или кусачьи бои устроят для развлечения. Свяжут руки и напускают колонистов друг на друга. Побеждает тот, кому удастся сильнеей искусать противника, особенно, если повезет, за нос цапнуть или за ухо. А высшая доблесть — если ухо откусишь у всех на глазах и под аплодисменты выплюнешь на пол.

После таких кусачьих боев попал я в лазарет. В сопроводилровке указывалось, будто на меня собака бросилась на улице. Но мой соперник и был, как собака, зол, даже рычал во время боя. А в палате, куда меня поместили, придурок Кеша лежал. У нас во всей колонии знали: Кеша — идиот, с ним лучше не связываться. Кривляется, детские

стишки да считалки бормочет, может неожиданно в морду плюнуть.

Он сначала и со мной ваньку валял, хрюкал, если я к нему обращался, мычал, завывал. А однажды я увидел, что он книжку под подушкой прячет. А книжек в лазарете целый шкаф, только он запертый. Я и сказал: «Кеш, покажь твою книжку, которая под подушкой заначена». Он с головой под одеяло спрятался и сделал вид, что не слышит. А к вечеру глаз из-под одеяла выставил и смотрит на меня. Изучает. Потом спрашивает: «А ты кто?» — «Я после кусачьего боя, — говорю, — мне один чуть ухо не откусил». — «А ты ему чего?» — «А я ему клок на затылке выдрал, полный рот волос... наелся...»

Он на это ничего не сказал. Но книжку достал. Она называлась «История города Глупова». Про дураков, я ее в один день проглотил. А в голове вопрос: чего это дурак Кеша про дураков читает?

Потом он мне разные книжки давал: и про умных, и про храбрых, и про дерьмовых тоже. А один раз в темноте лежали, спать не хотелось. И вдруг Кеша говорит:

— Меня скоро выпишут. Я тебе ключ от книг оставляю.

— Оставь.

— А хочешь совет дам? Чтобы выжить.

Я ему не ответил. Выжить-то все хотят. Только в нашей тюряге мозгой вертеть надо, а не советы выслушивать. А то ухо и в самом деле откусят. Вместе с башкой.

Он мое молчание за согласие принял и напомнил о первой книге, которая про город Глупов.

— Помнишь, у них в мозгах органчики?

— Помню. Ну и что?

— Органчик себе поставь — вот что, чтобы придурком считали.

— Но в книжке-то все придумано?

— А ты учись. Чтобы поверили, что у тебя по-настоящему. Если бы я не выучился, меня бы знаешь... давно убрали.

— Куда?

— Туда. Где мои родители. Их запрятали, не найдешь.

— За что?

— А твоих за что?

Я промолчал. А когда ложился спать, достал из памяти свое кино, где бежит по экрану красивая молодая женщина с безумными глазами и кладет сверток с ребенком на чужом пороге. Запыхалась, оглядывается, не видит ли кто. Мужа у нее вчера увели, а скоро ее придут брать. Надо малыша спасти. Она пишет второпях записку: «Александр Гуляев». Фамилия придуманная, свою назвать нельзя, тогда и с ребенком расправятся. А как домой вернулась, ее уже ждали, «воронок» во дворе стоял. «Где ребенок? Куда дела?» — «Не знаю». Потом пересылки, лагеря, бараки посреди тайги, а она лишь о нем да о нем: как он там и сможет ли когда-нибудь понять, что его не бросили, его спасали? Затем возвращается, выпрашивает: где сын подкинутый? Александра Гуляева, конечно, спрашивает. А ее отсылают и туда, и сюда, и уже отчаялась искать, как вдруг кто-то на колонию под Загорском указывает. Там, мол, ищите. И приходит она в наш гадючник, а дальше... Дальше не хотелось придумывать. Так было муторно.

Я не стал Кешу спрашивать, как выучиться на придурка. В книгах все написано. А они у меня, как кино, в мозгах прокручивались. Доставай, как с полочки, да смотри. Даже Кеша удивился. Если память такая, кто же ты, как не придурок? Нормальному человеку память не нужна... И чем больше я читал, тем больше убеждался, что я придурок и есть...

Пока ухо подлечили, я уже все, что было в шкафу, перелопатил и в свою черепашку заложил. Еще на врачах себя проверил, невпопад стал говорить, глупые вопросы задавать, хихикать без повода. А когда в колонию вернулся, так наловчился придуряться, что даже Карабас-Барабас поверил, что я придурок стопроцентный. Я даже для страховки раз-другой под себя намочил. Так меньше пристают. И хоть поиздевались и пальцем указывали, но жить и правда получилось безопасней.

А Кешу скоро из виду потерял, его будто бы в желтый дом отправили. А может, и не в дом, а туда, куда он боялся попасть. Может, и не смог все же своих преследователей передумать...

В ДЕНЬ КАЗНИ

Я про Кешу вспомнил, но вдруг подумалось, что Кеши, может, вообще не было, в той палате я вроде бы один находился. У меня тогда не только с ушами, но и с головой было плохо от битья. В бреду мог и Кеша, и кто хочешь привидеться. Но если он и был, какое это теперь имеет значение, если ни его, ни меня придурковатость не спасла?

Казни я с утра стал ждать. Все слушал, когда шаги за дверью прозвучат. Никогда не думал, что ожидание так мучительно. Лишь когда стемнело, я слушать перестал и прилег на соломке. Тут-то и раздались за стеной голоса, один из них — Пузыря. Загремел засов, дверь распахнулась, в лицо пахнуло ночной прохладой, острым запахом зелени, каких-то цветов.

Меня по темной тропке провели к нашему корпусу. При тусклом свете лампы на крыльце разглядел на ступеньках двух божьих одуванчиков в белых платочках. При виде меня они суетливо подскочили и стали креститься.

— Уже тут.. ведьмы, — проворчал Пузырь.

— Это кто? — спросили стражи за моей спиной.

— На рынке пирожками торгуют!

— Так у них пирожки-то с собачиной... А еще с котятами...

— В войну всё едят.

По пустынным коридорам первого этажа меня провели в самую дальнюю спальню для старших. Ту самую, где недавно происходил суд. И все было как прежде: на полу сидели три Яшки, а перед ними стоял пустой стул. На спинке мелом было крупно написано: «Ряд 8, место 16».

— Да ты садись, садись! В ногах правды нет! — приветливо, прямо-таки по-свойски, сказал сам Главный.

Я огляделся. На этот раз никто из зрителей не лежал, все сидели: кто на койке, кто прямо на полу, чтобы поближе все видеть. Занятно небось поглазеть, как на твоих глазах кого-то казнить будут.

— Хочешь последнее слово сказать? — спросил Главный. Остальные Яшки молчали.

— Не хочу.

Пузырь шепнул в самое ухо:

— На колени... и проси... Они сегодня в настроении...

Яшка Главный услышал, цыкнул на Пузыря:

— Закрой хлебало, Пузырь! Щами разит!

Все громко засмеялись. Но обращаясь ко мне, Главный был почти ласков:

— Если готов — приступим к делу.

Ему подали спицу, точно такую же, какая в тот день была у меня. Отточенную, пронзительную, как луч. Я даже вздрогнул, увидев ее. Но не от страха, от воспоминания. Отчего-то отчетливо, до подробностей, возникла девочка с косичками и синими глазами. Она в упор смотрела на меня, и в ее взоре застыл немой вопрос.

— Да ты сиди, сиди, — заметив мою реакцию, успокаивающе произнес Яшка. — Это же не сразу. Мы еще кино посмотрим. Ты ведь обожаешь смотреть кино, да? А тут у нас такая камедь, оборжешься!

Я поглядел в его голубые глаза и подумал, что у него, и правда, настроение хоть куда. Видать, урки удачно пошуровали на выезде. Такого голубоглазого, такого задумчивого парнишку на улице или в компании встретишь, влюбишься за легкость, за открытость характера.

А может, и казнь моя — только шутка? Поиграют да отставят? И в голове уже кино закрутилось, где Яшка вос-

кликает простодушно: «Да ты сиди, сиди! Мы еще кино поглядим. Ты ведь любишь, говорят, кино? Про безвинных там и вообще? Ну таких, как ты сам? Да? Вот тебе моя рука, на будущее... Если станут обижать, только намекни. Всех казнию!..»

— Ты что, придурок... в самом деле ничего не боишься? — поинтересовался Яшка Главный, заходя со спины. Теперь я не мог его видеть, но ощущал кожей, что он стоит близко, совсем близко и, конечно, со спицей в правой руке.

— Не знаю, — сказал я, стараясь не показать, что внутри меня все дрожит.

— Но коленки-то дрожат?

— Коленки? — переспросил я. И повторил: — Не знаю. Яшка сказал из-за спины, обращаясь к уркам:

— Слыхали, что говорит? У него коленки не дрожат... Сме-лый!

— Да брешет он, — сказал урка-украинец.

— А тебе правда все равно, что с тобой сейчас сделают? — продолжал гнуть свое Яшка Главный. Может, его заело, что я не прошу пощады.

Я не стал отвечать. Слышно было, как он дышит в затылок. Наверное, сейчас... уже прицелился... подносит... А внутри трепыхало все сильнее и сильнее. И вдруг кожей содрогнулся, все во мне затряслось от прикосновения, а он лишь пальцем по моей спине провел.

— Ага, да ты не просто боишься! Ты очень, очень боишься! — удовлетворенно произнес мой золотой палач, не убирая руки. — Сердечко-то, поди, затрепыхалось? Хочет, хочет жить!

Его пальцы все гладили и гладили меня слева по спине, ползали, выискивая удобную точку для укола. Сам-то укол, я верил, будет короткий, а значит, и боль будет недолгой. А вот ползанье пальцев было невыносимым. И мой истязатель, конечно, это знал. Вот уже, кажется, нащупал нужное место и даже пригладил, чтобы одежда не мешала, но все оттягивал и оттягивал укол. А кругом стояла мертвая тишина. Не только я, все, затаив дыхание, ждали.

И вдруг он меня оставил. Отправился гуляющей походкой по спальне, посматривая с любопытством на зрителей, а к некоторым даже наклоняясь, чтобы заглянуть в лицо.

— Ну и как? — спрашивал, ощериваясь. — Интересно, да? Как барашка, да? — И опять наклонялся, ловя чей-то взгляд. — А может, кто еще хочет поработать палачом? Я сегодня добрый, бесплатно уступлю. Ну кто? Поднимите руку?

Руки подняли все. Неподалеку сидел на своей койке Теслин, он же Сироп, и, напрягаясь, тянул, тянул вверх свою тощую палку.

— Такие мы сме-лые? — преувеличенно восхитился Яшка Главный. — Готовы все казнить?

Ему ответил вместо ребят Яшка-кореец:

— Они смелые от страха. Боятся попасть на его место.

А украинский урка поддакнул:

— Конечно, боятся.

— А что, это мысль! — подхватил Яшка Главный.

Он с интересом обвел глазами спальню, и все вдруг как-то скукожились. Не видно и не слышно. Мертвая тишина наступила.

— Ну-ка слезай, — сказал Яшка Главный, повернувшись ко мне. — Сейчас вторая серия в нашей картине будет.

Про картину я не понял, но со стула слез. Ноги, как ватные, подгибались, едва устоял.

— Держи! — Он протянул мне спицу, направив острием в мою сторону. Скользнула догадка, что и это не более чем очередной прием, а как приближусь, как протяну руку, пырнет в грудь или в живот и захохочет.

— Ряд, место напоминать не надо? — Он смотрел в упор, ждал ответа.

— Не надо, — выдавил я, глядя на стальное, блистающее у живота острие.

— Повтори!

— Восьмой... шестнадцатое...

Не воткнул. Проследил, как я осторожно принимаю спицу, процедил сквозь зубы:

— Думай, голова, картуз куплю.

Голова шла кругом. Казнь, кажется, откладывалась, но легче от этого не стало. Можно свихнуться от таких перепадов. Я ухватился рукой за спинку стула и чуть его не опрокинул.

Но Яшка Главный даже бровью не повел.

— Так кого посадим в кресло? — спросил доверительно. — Пальцем, пальцем укажи!

Я обвел спальню глазами. Каждый, на кого я смотрел, тут же старался отвернуться. А некоторые утыкались лицом в одеяло.

— Выбрал?

— Нет, — пробормотал я.

— Так выбирай. А то пойдешь на свое место!

Главный криво усмехнулся. Урки на полу не улыбались, но смотрели на игру с интересом.

— Так выбрал?

В голову пришла сумасбродная мысль назвать кого-то из урок. Пусть посидят на разыгранном ими же стуле, может, тогда поймут, что означает каждую секунду ожидать, когда тебя нанижут на спицу. Но у меня не хватило духу на такое. Не духу, а дури. Это бы мог, наверное, сделать Кеша. Да вякни я что-то подобное, они бы на месте меня и пришибли. А потом бы сказали: чокнутый придурок чокнулся совсем.

— Ладно, — оборвал затянувшуюся паузу Яшка Главный. — Я тебе помогу.

Он окинул спальню взглядом и ткнул пальцем в Теслина. Не повезло дурню, его койка оказалась к нам ближе других. Яшка Главный сделал ему призывный знак, не рукой, пальцем поманил, и тот, как загипнотизированный, поднялся с койки и, не сводя с урки застывших от страха глаз, медленно побрел к стулу.

— Ну вот, — удовлетворенно произнес Яшка Главный. — Вторая серия началась. Теперь за дело, так, что ли, придурок? Если готов, приступай!

Я заметил, что с момента приговора на суде он ни разу не назвал меня по имени. Это могло лишь означать, что если нет меня, то и имени у меня тоже нет.

Спица была у меня в руках, а бедный Теслин сидел на стуле, напряженно вытянув шею. Было видно, что он весь дрожит. Но разве я не так же дрожал? Теперь надо зайти ему за спину, нащупать место под лопаткой и нанести укол. И я снова, как в кинотеатре, ощутил противную, ноющую боль под ложечкой и дрожь в руках, даже кончик спицы стал выписывать зигзаги.

— Смелей! Смелей! — подбодрил мой наставник. И, упираясь в мое лицо глазами, ставшими из голубых стальными, острыми, как спица, произнес: — Изобрази-ка всем нам, что ты должен был сделать там, в кино...

Я отвернулся. Я уже знал, что ничего я им не изображу. Хотя они были уверены, что теперь-то, спасая свою шкурку, я сделаю все, что от меня потребуют. И тогда вторая серия закончится еще эффектней, чем ожидалось вначале. Приговоренный соглашается стать палачом, прежде чем самому попасть к палачу. Их, кажется, возбуждало, но и бесило, что я никак не вписываюсь в затеянную ими игру.

Яшка Главный сообразил это первым. Разочарованно произнес:

— Ты, значит, такой блаженный, что и рук замарать не можешь? А между прочим, они все, все рвались тебя казнить! И казнят, когда скажу. Не сомневайся.

Он ткнул пальцем в Теслина.

— Ты этого Сиропа обожаешь, да?

— Нет, — сознался я.

Теслина я и правда не обожал.

— Жалеешь, да?

— Нет, — ответил я, но не так уверенно.

— А хочешь, я сейчас поменяю вас местами и мы полюбуемся, как он тебя не пожалеет?

Наверное, он бы сделал это, ведь все шло к концу. И Теслин, закрыв от страха глаза, дрожащими руками пырнул бы меня спицей в какую-нибудь селезенку, заставив мучительно и долго издыхать на глазах у остальных. Но тут подал голос Яшка-кореец.

— Зачем их менять? — спросил он громко. — Не надо. Придурок, да? Да он просто чмо! Вот он кто!

— Ты думаешь, он чмо? — спросил Главный.

— Да, думаю, он чмо! Еще как умеет быть чмо! Чудить-мудрить-обье...вать.

Так длинно урка-кореец никогда не говорил. Но, надо отдать ему должное, он первым разгадал, что я вовсе не такой придурок, каким меня считали в колонии.

Яшка Главный с интересом посмотрел на корейца, на меня. Присел к уркам. Они стали негромко переговариваться, а мы все ждали. И мне казалось, что настрой у зрителей уже несколько другой, чем в момент моего появления. Смена ролей не смогла не повлиять на них. Ведь каждый, не только Теслин, успел мысленно побывать на моем месте. Особенно в тот момент, когда золотой палач оглядывал спальню, выбирая жертву. А если он надумает для третьей серии что-то еще?

СПОКОЙНОЙ НОЧИ

Лежа на соломенной подстилке в дальнем углу сарая, я вспоминал процесс казни, чтобы еще раз убедиться, что она не могла не состояться, просто золотой палач из-за моего упрямства затянул свое «кино», а потом неожиданное вмешательство другого урки изменило, пусть ненадолго, ход событий.

В конце вечера, когда Яшка Главный оглашал решение тройки, голос его звучал так же уверенно и твердо:

— Каз-ни... — объявил он и повторил, чтобы до всех дошло: — Каз-ни откладываются на завтра. Желаю спокойной ночи.

Чьи казни откладываются на завтра, не уточнялось. Но сообщено было так, что спокойной ночи после этого ни у кого уже не могло быть.

— Да, а этих, как их... убогих, — заключил Яшка Главный, брезгливо морщась, — гоните прочь!

Сейчас, лежа в сарае, подумалось, что божьих одуванчиков, которые столько прождали на крыльце в ожидании «свежатины», по-своему даже жалко, им ведь тоже приходится в военное время как-то выживать. Пирожки, что выносятся на рынок, небось, и милиция потребляет задарма, и пьяное мужичье, а иной раз и лихие солдатики отнимают. А старухи, небось, и печку

разожгли, и котел поставили, а дрова-то нынче тоже на вес золота.

С дров мысли перекинулись на сильное желание закурить и на кресало, которое так глупо было подарено неизвестному Тишкину. Интересно, где он был во время казни, когда все тянули руки? А что было бы, если бы я, не отдав кресало, поджег изнутри свое нынешнее жилье и пусть ценой самосожжения, но обрел бы свободу? Там, в спальне, хозяева они: захотят — прошьют спицей, не захотят — отложат, чтобы помучить. А тут хозяином своей жизни мог бы стать я. Мог, если бы не опрометчивое решение.

И тут закрутилось в мозгах кино, в котором Тишкин, поколебавшись, решает отказаться от подарка. И, отослав его подальше, я взвешиваю кресало на ладони, отламываю от разошедшейся бочки несколько досочек и несую к стене, противоположной двери, чтобы пожар заметили как можно позже. Высекаю огонек, подкладываю сперва паклю, потом солому, а потом заготовленные досочки. Вскоре пылает костер, уже дымится стена, сухие бревна с зловещим шипеньем подхватывают пламя и несут его кверху, под самую крышу. Раздается треск, и доносится крик снаружи: «Горим! Горим!»

«Да, это мы горим, — злорадно шепчу я. — Вас завтра пришиблят спицей за то, что все проспали». Впрочем, я не хочу им зла, я только представляю свирепую реакцию урок, которых обвел вокруг пальца...

На этом месте я проснулся от теплого света через забитое окошко и голосов снаружи. Кажется, звали меня.

СВИДАНИЕ

Голос снаружи еще раз назвал мое имя и добавил:

— Это я, Тишкин!

— Вот уж не ждал, — только и смог сказать я.

— Значит, вот, пришел...

Я не стал делать вид, что обрадовался. Хотя и обрадовался. Именно потому, что созрел для придуманного освобождения.

— Какие успехи? — спросил я, заведомо зная, что успехов никаких нет. Просто наступил его черед сторожить.

А он вдруг ответил:

— Так я нашел!.. Эту... ну... Катерину твою... с косичками...

Я не поверил. Небось, хочет еще и трут выманить...

— Ну и где же она? — поинтересовался я, представляя, как красиво начнет он сейчас врать. Мол, уговаривал и так и сяк, а она не захотела, боится. Да и не знает, кто ее зовет. Может, решится, но не сейчас... Ну и дальше в том же духе. Я и сам бы не хуже насочинял.

— Да здесь, здесь! Она тебя слышит! — воскликнул Тишкин, хихикая радостно.

Я затих, пораженный. Неведомый мне Тишкин оказался придурком не меньшим, чем я. Пошел и привел. И еще

радуется. А она стоит там и слушает. А я молчу. Не знаю, о чем говорить.

— Так ее зовут Катя? — спросил я растерянно.

— Да, меня зовут Катя, — донеслось из-за двери. Я никогда не слышал ее голоса, но сразу узнал. Именно такой красивый голос и должен был быть у нее. — А тебя как зовут?

— Александр Гуляев.

— Саша, значит.

— Да, Саша.

— Послушай, Саша, я не знаю, зачем ты меня позвал...

— Я и сам не знаю, — перебил я.

— Мы с тобой где-то встречались?

— Да... в кино...

— Я так и подумала... Значит, это был ты? Сидел позади меня? Ты еще так на меня смотрел...

— Как я смотрел? — Внутри меня все похолодело.

— По-особенному...

Мы дружно замолчали. Дальше говорить можно было только о чем-то важном. Но рядом с ней стоял Тишкин, и я не хотел, чтобы он нас слушал.

— Тишкин! — позвал я. — Ты еще здесь?

— А где я должен быть? — спросил он обиженно.

— Ну погулял бы... — посоветовал я. — Вокруг сарая, что ли.

— А когда трут отдашь?

— Отдам. Сперва я с Катериной поговорю.

— Поговоришь да раздумаешь, — громким шепотом произнес Тишкин. — А я что, зазря старался?

— Не зазря.

— Тогда давай! А потом можешь хоть до ночи любезничать. — И добавил для пущей убедительности, но прозвучало это как угроза: — Если доживешь до ночи! Так-то!

Я достал трут и подсунул под дверь.

— Забирай! А теперь катись!

— Так зачем ты меня позвал? — спросила Катя.

— Тишкин еще здесь?

— Нет, он отошел. Но недалеко.

— А ты не удивилась? И не побоялась прийти?

— Чего бояться? Тут такие же люди. И Тишкин этот твой... Даже не грубил.

— А он какой из себя? — спросил я почему-то.

— Обыкновенный. Маленький такой, рыжий. Только слишком худой. А за что тебя тут заперли?

— Все равно не поймешь, — проговорил я.

— Я догадливая. Это дружки тебя заперли?

— Да какие они дружки!

— Ну Тишкин твой... Или кто?

— Тишкин только сторожит.

— Тогда кто?

— Да ты все равно их не знаешь. Главный урка Яшка. У нас все урки Яшки...

— У него случайно не голубые глаза? — спросила Катя.

— Голубые.

— Светленький такой? Приветливый, обходительный, да? — Портрет у нее выходил как с натуры. — Он и есть ваш главный урка?

— Да, — нехотя ответил я.

Катя помолчала, о чем-то раздумывая. А потом призналась:

— Я его хорошо знаю. Он жил в нашем доме, в соседнем подъезде. Мы даже с ним дружили в шестом классе. Он такой золотой ангелочек был. Ласковый, курчавый, голубоглазый. А потом у него арестовали родителей и его забрали. Но отпустили. А за это время их квартиру уже заняли, и он ночевал на лестнице. Он даже хотел поджечь дом, чтобы отомстить этим... которые в его квартире. И тогда его снова забрали... Но я не знала, что он здесь, в колонии... И это он тебя запер? За что?

— Не скажу.

— А хочешь, я его попрошу и он тебя отпустит? Ведь он добрый...

— Нет, — сказал я.

К чему относилось мое «нет», думаю, Катя не поняла.

— А почему этот... Тишкин говорил так странно, что ты не доживешь до вечера? Это он так шутил?

— Да, шутил, — сказал я. — И твой Яша... он тоже... шутник...

В этот момент воротился Тишкин. Он что-то сказал Кате, и она тут же, не попрощавшись со мной, ушла. Может, обиделась за своего Яшу. А мой страж, как бы оправдываясь, сказал, что скоро придет смена, а тут Катя. Тогда из него тоже пирожки сделают!

— А чего ты трепался насчет вечера? — спросил я. — Готовятся, да?

— Готовятся, — подтвердил Тишкин. — Но что готовят, честно, не знаю.

И тут я решился у него попросить.

— Слушай, — начал я, — сам понимаешь, последние часы... а курить так хочется, мочи нет.

— Да я и сам бы не прочь, — подхватил Тишкин.

— Так, может, того... по последней?

— Да, а где табачок добыть?

— Так травку! Травку! — почти завопил я. Надежда всколыхнула меня до нутра. А там, внутри, полыхало незримое пламя, освободительный пожар, дымом которого я отсюда сейчас уйду.

И вдруг как ушат воды.

— А огня-то все равно нет... — произнес растерянно Тишкин. — Загнал я твое кресало. Полбухарика дали. — И добавил с сожалением: — А ведь с трутом могли и больше отвалить!..

НОЧНАЯ ГРОЗА

До ночи больше ничего не произошло. А ночью разразилась гроза. В окошечко и под дверью почти без перерыва сверкало синим пламенем и грохотало так, что вздрагивал весь сарай, а с потолка сыпалась труха. Хоть бы молния сюда ударила, что ли. У Господа не надо просить кресало, ему оттуда видней, куда направить свой очищающий огонь. Но все рядом, рядом били молнии. Все мимо.

Я слушал, как за стеной шумит ливень, и прикидывал, где мокнет сейчас моя стража. Неужто у дверей, как приставили, так и бдят под дождем? Я подошел к двери и спросил, кто там стоит. Мне не ответили. Я крикнул сильнее, пытаюсь перекрыть шум дождя:

— Эй! Кто-то есть? Нет?

Если бы не ответили, я бы все-таки попытался сломать замок. Но я услышал слабый голосок:

— Никого тут нет.

— И тебя, что ли, нет? — спросил я не без издевки.

— И меня нет.

— А с кем я говорю? С привидением, что ли?

— Нет, — пропищали за дверью. — Я просто из младшей группы, заменяю... за пайку.

Понятно. Кому-то не хотелось мокнуть, вот он и нанял за кусман малька. Его жизнь, как и моя, тоже ничего

не стоит. Отработает за милую душу и в бурю и в грозу. Интересно, знает ли он, кого сторожит?

— Тебя как зовут?

— Жидок.

— Это имя или фамилия?

— Прозвище.

Дождь, приустав, сделал короткую передышку. Грохотало чуть реже.

— Но почему Жидок? Жидковат, что ли?

— Жидковат, — согласился он. — И еврей я.

— Но имя у тебя есть?

— Есть, Яков.

Мне подумалось, что вот еще один Яшка, мало мне урок. Но этот, понятно, из самых бессловесных и голодных. Еще неизвестно, кому из нас двоих хуже — ему или мне.

— А ты других Яшек знаешь? — спросил я.

— Кто же их не знает! — помолчав, сказал он.

— Ты их боишься?

— Боюсь.

— А почему ты их боишься?

Он не ответил. Он и говорить о них боялся. Получается, я один такой придурочный, что этим Яшкам сопротивляюсь. Вот посадят на стул этого Жидка и скажут: мол, пора его на пирожки. И все, и нет никакого Жидка. Жидком больше, Жидком меньше — такая в нашей колонии арифметика. А может, и в других тоже? А может, во всем мире так, что Жидки в счет не идут?

— А тебе здесь в грозу не страшно? — спросил я.

— Страшно, — сознался он. И вдруг спросил: — А тебе?

— Мне?

— Ну да. Небось, тоже не сахар?

— А ты знаешь, с кем говоришь? — поинтересовался я.

— Все знают: ты Гуляев. И тебя завтра... — Он помедлил, подыскивая слово. — Завтра, значит, пришьют.

Вот как — все всё знают. Может, и Карабас-Барабас тоже знает? А может, и сам начальник колонии?

— А как — не знаешь?

— Не, не знаю. У нас тоже одного пришили. Удавкой. Он не хотел в рабы идти.

— А ты?

— А я что? Я давно раб. Меня несколько раз уж продавали.

Дождь припустил сильней, и пришлось говорить, прислонившись ртом к двери.

— А вот скажи... Яков, если потребуется кого-то пришить, ты сможешь?

— Кого?

— А тебе не все равно? Ну хоть меня?

Сверкнуло мертвым белым светом, обнажив нутро сарая, а потом как в чернила опустили. Ни звука, ни света. Такой, наверное, и есть ад, когда ничего не чувствуешь. Даже темноту не чувствуешь.

Придя в себя, я свой вопрос повторил, почти прокричал. Я очень хотел услышать, что этот Яков ответит.

— А меня... ты... Я-ков, пришел бы?!

После недолгого молчания он спросил:

— Если бы приказали, да?

— Да, если бы приказали!

— Конечно.

— А как?

— Как скажут.

— И спицей?

— Ну спицей, — протянул он. — Спицей-то легче всего!

— А ты пробовал?

— Нет, не пробовал.

И больше ни на один мой вопрос он не ответил. Может, ушел к другой стороне сарая, чтобы закончить разговор.

А я с сожалением вслушивался в отдаляющиеся перекаты грома, подумав, что все-таки гроза принесла в мою жизнь разнообразие. А без нее можно от темноты и тишины с ума сойти...

ГЛАВНЫЙ ПОДСУДИМЫЙ

Назавтра за мной пришли снова под ночь, когда я уже задремывать начал. И снова это был Ленька Пузырь. На этот раз он был необычно молчалив. Не в настроении, что ли. Прикрикнул на стражу и на меня все ворчал: медленно, мол, двигаюсь, скорей надо, там уже заждались.

На крыльце на этот раз вместо божьих одуванчиков стояла рослая тетка в ватнике и мужской кепке.

— Этот, что ли? — спросила, перегораживая нам проход и вылупляя на меня глаза. Оглядела с головы до ног, разочарованно покачала головой.

— Ты, Моть, пусти, нам некогда, — попросил Пузырь.

— А у меня время казенное, что ли? — промычала она. — Я должна товар лицом видеть. А то дохлятину в прошлый раз подсунули, даже на холодец не сгодился. Но и этот, вижу, тоже не подарок. Кожа да кости.

— Но мы правда спешим! — более настойчиво сказал Пузырь, пытаясь отодвинуть с дороги настырную тетку. — Потом поговорим.

— Потом суп с котом! — отмахнулась тетка. — Им развлечение, а у меня дело стоит. Ты махорочку у тети Моти таскаешь? А самогончик на днях брал?

— Да ладно. Получишь как обещано, — сбавил тон Пузырь.

Они немного с теткой пошептались, и мы прошли. А тетка все оценивающе смотрела мне вслед.

В дальней спальне к моему появлению все было готово. И стул с номером 8-16 был на месте, и двое Яшек сидели на полу, и Главный стоял в нетерпении посреди комнаты. Остальные на этот раз тесно сгрудились на кроватях, как на трибунах, так что лица их, если не всматриваться, были одно белое пятно. Жидка, конечно, тут быть не могло, им, малькам, потом все изобразят в лицах, но другие нетерпеливо ожидали обещанного зрелища. А впрочем, куда они могли от него деться!

— Вот и Гуляев собственной персоной! — приветствовал меня Главный. Было заметно, что он празднично настроен. — Наша знаменитость! О нем сейчас говорят в колонии больше, чем обо мне!

Я застыл в дверях. Теперь я видел и спицу. Острая, сверкающая, она была положена рядом со стулом, на тумбочку. Но положена не как-нибудь, а на вышитую красную подушечку. Ведь где-то сперли ее для такого торжества. Главный, что касается мелочей, был особенно изобретателен.

— Сегодня твое место вот тут. — Он указал на середину комнаты. — Уж прости, милоч, придется постоять. Местов на трибуне самим не хватает.

В другой раз от таких слов все бы заржали, но сейчас в спальне стояла настороженная тишина. Прошлый урок не прошел даром.

— Ну что, пора кино крутить?

Главный посмотрел на своих Яшек. Те согласно кивнули. Украинский Яшка — добродушно улыбаясь, кореец — с каменным лицом.

Главный торжественно повернулся к Пузырю, который вместе с моей охраной оставался у дверей, и приказал доставить подсудимого. Так и сказал:

— Доставить сюда главного подсудимого для вынесения ему приговора.

Стража исчезла за дверью на несколько томительных минут.

Ни я, ни остальные зрители, кроме разве урок, ничего не понимали. Приговоренный вроде стоит посреди комнаты, ждет, а тут, получается, будет еще кто-то, кого сейчас приведут, приговорят и тоже казнят?

А Главный, как бы случайно, а может, и правда случайно, присел на стул, приготовленный для казни, и спокойно смотрел на дверь. И все таращились туда же, затаив дыхание.

Наконец стража внесла странного человека, придерживая под руки. Когда его дотащили до середины спальни, все увидели, что в руках у них истукан, наряженный в добротные штаны из чертовой кожи, линялую гимнастерку без погон и кепочку-восьмиклинку. Все по моде, в таком виде фраера на барахолке прогуливаются. Ему еще бы фикса во рту. Но рот, глаза и нос были нарисованы углем на куске фанеры.

Довольный произведенным эффектом, Главный с улыбочкой уступил чучелу место на стуле, приговаривая, как радушный хозяин:

— Сюда, сюда, дорогуша... Присядь, посиди, мы тебя прям заждались... Ужас, как все тебя хотим видеть!

Истукана усадили на стул. А чтобы не упал, веревкой к спинке привязали.

— Ну вот, теперь все в сборе, — удовлетворенно произнес Главный. Он еще раз внимательно осмотрел истукана и повернулся к зрителям. Ткнул пальцем в Теслина, который опять почему-то оказался ближе других. — На середку, на середку давай. Будешь обвинителем.

Теслин, побледнев, поднялся и сделал несколько шагов.

— Рассказывай давай...

— О чем?

— О своей паскудной жизни. Тебе сколько нащелкало-то?

— Тринадцать.

— Ого, да ты уже мужичок.

— А я чего?.. — заикаясь, произнес Теслин. — Я ничего не сделал.

— А кто сделал? Почему ты здесь? Да перестань дрожать! — прикрикнул Главный. — Отвечай: как попал в колонию?

— Выгнали. Из дому.

— Кто выгнал?

— Тетка. Когда мать умерла.

— А тетка что — поселилась в твоём доме?

— Да. А потом мужика себе привела, и он меня бить начал.

— За что?

— Ни за что. Мешал я им. Тетка говорила: чтоб он сдох, паскуденек, гони его прочь. Чего кормить зазря? А мужик по голове кулаком, да все во сне, когда я спал. А потом ночью выволок за дверь и пригрозил: не уберешься, прибью...

Все слушали, только Главный чему-то странно улыбался. А когда Теслин замолчал, он спросил, озирая спальню:

— Судим? — И указал на истукана.

— Судим!

— Казнить?

— Да-а! Да-а! Да-а! — взревела спальня.

Даже истукан покачнулся на стуле, будто от испуга.

Главный повернулся ко мне.

— Решение суда слышал? Будешь исполнителем... палачом.

Он не спрашивал. Он как бы советовал.

Все теперь смотрели на меня. И Теслин смотрел. И урки напряглись. И Главный, чуть скривив губы, ожидал ответа.

Кто-то из-за спин выкрикнул:

— Ну чего ты?! Истукан же! Коли, ему не больно!

Я вздохнул, озираясь. И ничего не ответил. Наверное, я один понимал, что дело вовсе не в истукане. Это сегодня он. А завтра будет девочка в беретике. Или Жидок. Или...

— Решил? Твердо решил? — поинтересовался Главный, не проявляя никаких эмоций. Но глаза из голубых сделались стальными. — Ну я так и думал: упертый. А ведь по-

миловочку бы заработал. — Он оглядел спальню и громко объявил: — Будет казнить пострадавший!

Теслин осторожно взял с подушечки спицу, руки у него дрожали, будто впрямь казнил живого. А может, сейчас он видел теткиного хахаля с пропитой рожей и разбойными глазами. Теслин приблизился к истукану со спины и уже приладился, прицелился острием под лопатку, но в последний момент растерянно оглянулся, будто спрашивая, так ли он все делает.

— Да коли же! Коли! — закричало несколько голосов сразу.

И он, зажмурившись, всадил спицу под лопатку истукану. С такой звериной ненавистью всадил, что другой конец вылез из груди.

А у меня от этого удара почему-то погорячело в груди и стало больно дышать.

СУД ИДЕТ

А суд продолжался.

Главный осторожно потрогал торчащее из груди истукана острие, одобрительно кивнул.

— Первый раз... Но со старанием. — И посмотрел вокруг. — Кто у нас следующий обвинитель?

Никто не торопился рассказывать про свою жизнь. Но и Главный никого не торопил. Ему, видать, пришелся по душе рассказ Теслина. И особенно понравилась сама казнь. Он еще раз провел пальцем по торчащему острию и вдруг спросил:

— Кого еще выгоняли из дома?

Поднялся лес рук. И я поднял свою.

— А кого били?

Снова лес рук.

— Кого насильовали? Кого в кутузке без еды держали? За кем менты охотились?

Спальня громогласно ухала и кричала, накаляя атмосферу:

— Нас! Нас! Нас!

— А кто из вас расправился со своими обидчиками? — негромко спросил Главный, проходя вдоль ряда и всматриваясь в глаза. — Кто пытался поджечь дом? Кто кусался и сопротивлялся? Кто хотел убить обидчика? Кто убил насильника? Кто? Кто? Кто?

Спальня вновь взревела. Каждый кричал свое, но прошибло всех, и все теперь рвались о себе рассказать. Даже Яшки приподнялись с пола, забыв о своем особом положении, и что-то закричали. Украинец, я слышал, повторял лишь слово «резать», а кореец — слово «стрелять».

Спокойней всех был Главный. У него все время мелькала на лице странная улыбка. И глаза меняли цвет. То почти васильковые, ласковые, теплые, а то как обломок стального кресала или острие спицы, которое торчало из груди истукана.

Он вдруг повернулся ко мне и тихо, так, что расслышал я один, выдавил сквозь зубы:

— Эх ты, жалельщик... Ты бы вот их пожалел...

Отвернулся и, обращаясь к спальне, сказал:

— Мы будем их всех... всех судить! Вот здесь! — Он указал на стул с истуканом. — Они против нас? Все?

— Все! Все! Все!

— А мы против них! Мы их казним! Всех!

— Ка-знить! Ка-знить! — подхватила спальня.

Стекла в окнах задребезжали. Пол дрогнул от топота. Всеохватывающее, сладкое, раскаленное добела чувство ненависти к своим обидчикам захлестнуло сидящих. Кровь ударила в головы. Казалось, еще немного, и они черной, все сметающей стаей ринутся на улицу, чтобы все на пути крушить, резать, колоть...

ВИЗИТ ГЛАВНОГО

Это было слишком неожиданно. Ко мне, в мою тюрьму, к которой я уже понемногу начал привыкать, заявился Главный урка. Сам. Никому бы не удивился, кроме него. Даже двум другим Яшкам не удивился бы, потому что там все ясно. Пришли — значит, будут пытаться или бить. Но когда Пузырь молча открыл дверь и в проеме появилась чья-то фигура, я не сразу догадался, кто ко мне пожаловал.

А Главный постоял, прислушиваясь, как за ним закрывают дверь, сделал в мою сторону несколько шагов, поздоровался и наигранно бодро заговорил, что шел вот мимо и решил посмотреть, как тут, значит, мне живется.

— А тут ничего, — заключил. — Не дует.

Я продолжал молча сидеть. Не из-за какого-то принципа, а просто понял, что все эти слова для запева и никакого ответа от меня не требуется. Ведь не за тем он явился, чтобы выяснить, дует мне тут или нет.

— Небось, удивляешься? — спросил он, присаживаясь на железный край кровати.

— Удивляюсь, — сознался я.

— Я сам себе удивляюсь. — Он помолчал. — И что не казнил до сих пор, дурака валяю. Могут за слабость принять. Да и вообще... чикаюсь с тобой...

— Ну так не чикайся.

— Вот-вот. Я и говорю, что сам не понимаю, чего медлю. Палачи бывают циники, а бывают романтики. Первые убивают без слов: сказано — сделано; вторые под музыку. Но результат один и тот же.

— Но ты из первых! — уверенно определил я.

— Да, я из первых. — Он снова помолчал. — Но все равно поговорить надо.

— О чем?

— О жизни. И потом, у меня тут соседка бывшая по дому была, за тебя просила.

— Я ее ни о чем не просил.

— Значит, сама. Еще говорила, что ты меня обругал, что ли.

— Нет, — сказал я. — Но я тебя не хвалил.

— И на том спасибо.

— Не стоит.

Разминка прошла нормально, можно было приступить к разговору. Второго такого случая точно не будет. Не знаю, что собирался сказать он, а я хотел спросить его о том главном, что меня мучило.

— А тебе известно, — сказал я, — что твоя соседка в тот вечер тоже была в кино?

— Ну и что? — слышно было по голосу, что он напрягся. Может, уже догадывался, что я сейчас скажу.

— У нее был восьмой ряд, шестнадцатое место.

Он молчал долго. Очень долго. И я больше не говорил ни слова. Только жалел, что не могу видеть, как меняют цвет его васильковые глаза.

Когда он наконец вновь заговорил, голос его был с хрипотцой.

— А она... — Он поперхнулся и закашлялся. — Она знает?

— О чем?

— О приговоренном месте.

— Думаю, что нет.

— И не догадывается?

— Этого я не знаю.

— Значит, может и спросить?

— Наверное, может, — сказал я. — Мы виделись всего один раз.

Вновь возникла пауза. Мы оба, каждый по-своему, переваривали этот опасный разговор. Чем он опасен для меня, понятно. Меня могут убрать как свидетеля хоть через час. Даже здесь, в сарае, без всяких этих массовок. Но и он опасался, что девочка уже догадывается о его жестокой роли. И тогда мое исчезновение еще больше его разоблачит.

— Но ты не собираешься ей говорить? — спросил он хрипло. Вот уж не думал, что в нем осталось что-то живое. Да еще после вчерашнего неистового призыва к казни всех вокруг. Если всех, значит, и девочки Кати?

Я так и спросил, не стал его жалеть.

— Так ты и правда жалеешь, — спросил я, — что Катя тогда могла быть... — Я не мог сказать слово «убита». Ведь убийцей-то тогда был бы я. — Могла погибнуть?

Я знал, что он не ответит. Важно было услышать, как он не ответит. И я услышал.

— Ты меня не добивай, — произнес он угрожающе. — Ты не пережил и сотой доли того, что досталось мне...

Он резко поднялся и встал напротив, пытаясь меня разглядеть. Никак не решался заговорить. Потом медленно начал:

— Когда они пришли за отцом, он был офицер, я спал... Они вели себя, как хозяева, копались в шкафу, в моих книжках... Потом они пришли за мамой, тоже ночью. Она уже знала, как это происходит, и, чтобы я снова не напугался, подняла и одела меня сама. Она сказала: «Яшенька, я уйду, а ты побудешь один. Будь умником, приготовить или постирать тебе помогут соседи. А потом я вернусь...» Вот Катины родители мне и помогали. И она... А потом приехали какие-то люди, внесли чемоданы и заняли нашу квартиру. И все наши вещи взяли себе. Даже мои книжки. А мне велели убираться. Я спал на лестничной площадке, на коврике, неподалеку от своей двери. И однажды... я специально подкараулил, когда они ушли... я облил двери бензином и поджег... И меня забрали...

Яков прошелся до стены сарая и обратно. Присел на кровать, вздохнул и тихо продолжил:

— Там меня били. Били все время, называя то диверсантом, то как-то еще. Говорили, что вынут из меня ливер. А потом посадили в камеру, где были эти... Они меня долго насиловали... Вот тогда я понял, что их надо убивать. Пока я их всех не убью, я не успокоюсь. Они зверье... Они не люди... Они не должны жить...

Последние слова он уже проборматывал, вроде как заговариваясь. Я слышал, как он тяжело дышит, и понял, что ему плохо.

— Тебе помочь? — спросил я, поднимаясь.

— Да нет, нет, это бывает. Позови Пузыря, пусть откроет, — попросил он негромко.

Я позвал Пузыря. Тот брякнул запором и отворил дверь. Но Главный не торопился уходить. Еще посидел, приходя в себя, потом поднял голову, осмотрелся, будто впервые все увидел, поднялся и, не прощаясь, пошел к белому проему двери.

НАШ СМЕШНОЙ ДРУЖОК ШВЕЙК

И вновь на стуле, обозначенном цифрами «восемь» и «шестнадцать», сидел истукан.

На этот раз обвинителей было четверо, все мои ровесники, я их хорошо знал по общему промыслу на рынке. О рынке и пошла речь. Рынки были для нас как дом родной. Мы их тасовали в любом порядке в зависимости от планов и других обстоятельств: наличия товара, милиции, знакомых урок, даже времени года, ибо все это вместе взятое создавало нам условия и возможность что-то выкрасть и выжить. Здесь мы прошли полный курс вступающего в жизнь огольца, у которого была тысяча врагов в лице блатняг, спекулянтов, барыг, всякого рода крысятников и урок, которым мы составляли конкуренцию, а также прижимистых бабок и особенно кулачков, этаких отожравшихся за войну сыторожих парней, откупленных от фронта за крупные суммы. Они-то и били жестче всего. Правда, при случае и урка мог пригрозить пером.

Рынки и даже их отдельные углы были поделены на зоны влияния. Но проходили зачистки, забирали одних, сажали других, изгоняли третьих, и в какой-то момент поле деятельности освобождалось.

Мы всех знали наперечет, но знали и нас, и если старшие блатняги презрительно отгоняли нас от злачных мест (не путайся под ногами, шушера!), то стоя на стаю, колония на колонию шли насмерть. Порой на рынке схватывались несколько враждующих стай, каждая при этом летела за подмогой, и тогда прямо среди торгующих, пьющих, жующих, барышничаящих людей, среди огромной толпы начиналась отчаянная бойня. Можно было шугануть одного или двоих, даже троих огольцов, но справиться с сотней воющих, кусающихся, способных на все и ничего не страшящихся подростков было практически невозможно. И рынок разбежался.

Когда в колонии появлялся воющий шакал с криком: «Наших бьют!» — мы срывались с места и летели на помощь. Летели, ничего не остерегаясь, жажда мести, крови, драки, поножовщины, чтобы излить из себя все черное, гибельное, что накапливалось годами. Это были жуткие побоища!

Монолитная рыночная толпа, с которой не совладать было милиции и законам, вдруг сама собой распадалась и начинала жаться к заборам. Фронтвики, дошлые инвалиды, разбитные деревенские парни, беззаботные алкоголики — все начинали сматывать свой товар и искать способы безопасного отступления. Так уходят люди при нашествии саранчи или крыс.

Никакой мордобой, бандитский налет, сшибка спекулянтов, даже столкновение матросни, хотя последние дрались ремнями особенно отчаянно, не могли идти ни в какое сравнение с дракой малолеток. Любая драка имеет свою причину, свою логику. Тут же не было никакой логики, одни лишь инстинкты. Дрались все со всеми. Камнями, железками, штырями, гвоздями, палками, досками, даже оглоблями и колесами от телег.. И если, не дай бог, попадался неопытный торгош, решивший встать на пути этого побоища, на него налетали сразу десять, двадцать озверевших пацанов: кусали, рвали зубами, когтями, как дерут свою жертву только звери, и, бросив окровавленного, тут же снова схватывались между собой.

Рынок оголялся, появлялась как всегда опаздывающая на полдня милиция, до того опасливо взиравшая со стороны. Она по опыту знала: надо выждать, дожидаться вечера, и тогда орущая, воющая, свистящая, плачущая стая начнет сама по себе затихать и медленно редеть, убираясь под покровом темноты группа за группой и унося своих полумертвых товарищей.

Однажды во время промысла на рынке самого веселого из нашей стаи по кличке Швейк захватила чужая шпана. Борьба в тот год за рынок шла особенно отчаянная. Дня не проходило без столкновений. Мы не углядели, расколовшись по двое, по трое, как схватили Швейка. Только услышали, как над толпой, над рыночным гулом пронесся дикий вскрик, — и бросились туда. Возле лабазов на рябой от семечковой шелухи земле лежал Швейк. Он был еще жив, а из бока у него, из какой-то ненормально огромной дыры хлестала кровь.

У Швейка были огромные серые глаза и особенная улыбка. Он не был отъявленной шпаной, подобно нам. В наших разговорах о родственниках, хотя бы третьестепенных, он не участвовал. Лишь однажды произнес, криво усмехнувшись, что эти (имея в виду родителей) живут неподалеку, с собакой и машиной (в войну — машина, нам такое и представить было невозможно), и что однажды, когда мы шлялись, они даже проехали навстречу, но не узнали или не захотели узнавать сынка. Мы тут же предложили проколоть им шины, поджечь дом или хотя бы накласть перед дверью. А еще проще — отравить собаку. А он лишь покачал головой и сказал: «В чем собака-то виновата? Она добрая, она-то меня понимала...»

Говорят, что там, на рынке, его окликнули и он, улыбаясь, доверчиво пошел. И у лабазов, где было меньше всего свидетелей, двое подростков схватили его за руки, а третий деловито, будто исполняя работу, воткнул ему в бок, провернув для верности, огромный остро отточенный гвоздь. Или штырь. Какая разница. Когда мы прибежали, он лежал среди собравшейся толпы и смотрел вверх. Он еще дышал, только кровь при каждом вдохе начинала

сильней булькать из раны. А потом откинул голову и застыл. Мы взяли Швейка на руки и так пошли, и никто нас не остановил, никто не попытался помочь. Только тетка одна сердобольная вскрикнула, но один из нас так на нее посмотрел, что она тут же исчезла. Мы всех в тот момент ненавидели: и тех, кто молчал, и тех, кто попытался нам сочувствовать. Все они убили нашего Швейка! И мы знали, что вернемся сюда и тоже кого-нибудь убьем. Да мы всех убьем, потому что все убивали нас. Убивали тем, что смотрели, как мы голодаем, тем, что ловили нас и били, тем, что видели, как мы бросаемся за мерзлой картофелиной, упавшей с возка в грязь, как жмемся к ним, своим врагам, погибая от холода, от вшей, от язв... Убивали, потому что боялись подойти, боялись помочь, боялись нарушить свой скверный, полуголодный мир, который у них еще был. Именно в тот момент, когда мы несли нашего товарища, мы становились врагами всего человечества и точно знали: все человечество против нас. Мы несли Швейка по огородам, по насыпи, по свалкам, временами садились, положив его на землю и подстелив ему под голову, чтобы не было жестко, лопухи. Не было слов, даже слез не было.

Мы принесли его в лесок и там, на поляне, вырыли руками неглубокую яму, а потом засыпали, затоптали могилу, сровняв ее с землей. Чтобы никто никогда не смог найти нашего Швейка.

Воспитателям мы ничего не сказали. Да они не очень и спрашивали. Карабас-Барабас предположил, что мальчик уехал к родителям. А другой сказал: «Да, конечно, они известные люди и, наверное, решили забрать его к себе». А мы слушали и знали, что, может быть, когда-нибудь убьем и этих воспитателей. Потому что они тоже сейчас убивали Швейка. Убивали как бы по второму разу, ибо ничто, даже исчезновение одного из нас, не могло их прошибить. Да пропади мы все пропадом, они бы так же спокойно рассуждали и оправдывали наше исчезновение, спровадив нас к кому-то, кого на самом деле у нас не было...

— Виноватых казнить! — было заключено хором. — Родителей казнить! Убийц казнить! И свидетелей! Свидетелей тоже!

Каждый из четырех обвинителей подошел и воткнул спицу в истукана.

Главный громко объявил, что за Швейка может казнить каждый желающий.

— А ножами? А штырями? А гвоздями? А чем еще... можно?

И посыпалось. Истукан не выдержал ударов и пал на землю, где его затоптала безумствующая толпа подростков.

НАЗВАНИЕ

Во время последней казни я поймал себя на желании тоже всадить нож в истукана. И испугался этого. Не знаю, что на меня повлияло больше — личное ли отношение к Швейку или общий настрой толпы, жаждущей мщения и крови.

К счастью, мне в этот раз забыли предложить роль палача. Но остальное было как всегда: приводили-уводили под конвоем, и я как бы становился такой же необходимой принадлежностью ритуала, как сидящие на полу в роли судей урки или сам истукан.

Я знал, что каждый мой приход в дальнюю спальню мог превратиться в последний. Привыкнуть к этому было нельзя. Но сперва я нервничал, особенно при виде нагловатых торговков с цепкими оценивающими взглядами, а потом привык и уже стал воспринимать все довольно равнодушно. Чему быть, того не миновать. Я даже оставил мысли о побеге, о самосожжении или ином варианте избежать казни.

Мне почти регулярно стали приносить жратву, даже больше, чем прежде. Я было отнес это на счет сочувствия Яшки Главного, но ответ оказался проще: торговки, ожидающие прибытка, решили меня подкармливать.

Ни Тишкин, ни Жидок больше не появлялись у моих дверей, так что общаться было не с кем. Но вдруг объяви-

лась Катя. Я услышал сперва, как она уговаривала очередного стража, а потом окликнула меня:

— Саша, ты жив? Как себя чувствуешь?

— Жив, — сказал я в щель двери.

— А я думала о тебе. Все время. Ты не голодный?

— Нет, меня тут подкармливают.

— Мама тоже говорит: мир не без добрых людей, — сказала она.

— Да, они ужасно добрые.

А про себя подумал: особенно если попадешь к ним на кухню!

— Хочешь, я тебе картофелину вареную дам? Это от мамы. Я их две штуки принесла: одну сторожу, а одну тебе.

Картошку ей разрешили подсунуть под дверь. Я ее тут же с кожурой проглотил. Спросил: а кто ее мама?

— Она учительница, — сказала Катя. — Преподает русский и литературу. А что?

— Да так просто. Спасибо за картошку. Скажи, а вот картина, где мы... встретились... Ну про виноватых... Или как она там?

— «Без вины виноватые», — сказала Катя. — Это по Островскому. А что?

— А, который про Павку Корчагина!..

— Нет, нет, — сказала Катя. — Это не он. Был еще один Островский. Тоже знаменитый. Если хочешь, я спрошу у мамы, у нее книжка его была, — предложила Катя. — А ты долго еще будешь сидеть?

— Не знаю.

— Я о тебе рассказала маме, и она хочет идти к вашему начальнику...

— Не надо! Не надо! — почти закричал я.

— Почему? Я вот с Яшей разговаривала, он говорит, что готов тебя отпустить... Да, правда. Если ты выполнишь его просьбу.

— Какую?

— Не знаю какую. Что-то насчет манекена, в который вы играете. Ты видел этот манекен?

— Истукана, — поправил я. — Да, видел.

— И что он делает?

— Ничего. Сидит — и все. Кино смотрит. — Я почувствовал, что голос мой изменился. Даже разговаривать стало тяжелей.

— И все?

И тут подал голос мой сторож, который не мог не слышать, что мы говорим:

— У него место, за которое его должны казнить. Восьмой ряд, шестнадцатое место.

— Как казнить? За что? — спросила Катя.

Я не понял, к кому она обращалась, — ко мне или к моему сторожу, который оказался таким болтуном. Но тот не отвечал, и мне пришлось отвечать за него:

— Наверное, судьба.

— Странная игра, — сказала Катя. — А я ведь тоже, кажется, в восьмом ряду сидела... ну в кино, когда мы встретились...

— А место не помнишь? — хрипло спросил я.

— Нет, не помню, — простодушно ответила Катя. — Я цифры плохо запоминаю. Может, тоже шестнадцатое?

— Может быть, — сказал я.

— Странная игра, — повторила Катя и стала прощаться. — Ладно, я скоро приду. И Островского принесу. Если найдем.

— Приходите, — подал голос мой страж. Видимо, картошка сделала его добрым. — Только не тяните. А то придете, а вашего дружка уже нет.

Катя поняла это по-своему.

— Ну и хорошо, — сказала она. — Не все время взаперти сидеть!

— Да лучше уж взаперти! — засмеялся мой страж.

ПРАЗДНИК

На этот раз за мной пришли с утра и объявили, что сегодня праздник окончания учебного года и в клубе собирают колонистов. Должны быть все. А значит, и я. Но повели почему-то не напрямик, а окольными путями. Кроме Пузыря и двух помощников, в сопровождающих был и украинский урка. Боялись, видимо, что я могу драпануть. А я наслаждался летним солнышком, зеленью, одуванчиками, высыпавшими, как веснушки, на прогретых полянах. Смотрел на торопившихся куда-то людей, на эшелон с военной техникой, который полз по железной дороге, просматриваемой сквозь деревья. Пищали и копошились в песке воробьи, для которых что война, что мир — все одинаково. Они счастливы уже тем, что живут...

Вдруг навстречу попался Жидок. Никогда его не видел, но почему-то сразу узнал. Он соскребал со ствола сосны смолку для жевания и вытаращился, завидев меня. Может, считал, что меня уже нет.

— Привет, Жидок, как жизнь молодая? — поприветствовал его.

Он испуганно отвернулся.

Возле клуба даже разговоры смолкли, когда мы проходили. Меня провели в зал и посадили в самую серединку.

так что Пузырь и украинский урка восседали по бокам, а остальная стража сзади.

Вечер открыл начальник колонии, я впервые его видел: поджарый, невысокого роста, в военной форме без погон, правый рукав пустой. Инвалид, видать, недавно с передовой. Он по бумажке прочел поздравление с окончанием учебного года, а еще сказал, что сорок четвертый войдет в историю как год победоносный и скоро фашистская гадина будет раздавлена в собственной берлоге.

За ним выступила мать известной героини-партизанки, погибшей от рук фашистских извергов. Она стала проникновенно рассказывать о жизни своей дочери, какой прилежной она была в школе и как отлично училась. А потом добровольно пошла в партизанский отряд, и во время выполнения боевого задания ее схватили и пытали...

Пузырь вдруг сказал:

— Сейчас она всхлипнет... А сейчас в платок уткнется...

А в этом месте она иногда рыдает. Но не сильно...

— А ты почему знаешь? — удивился урка.

— Да я ее четвертый раз слушаю. Я ее рассказ наизусть помню.

Потом выступала школьная самодеятельность со стихами и песнями, и особенно колонистам понравилась знакомая песня из кино, которую, сидя на телеге и играя сам себе на гармошке, поет артист Крючков: «Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне...» Многие ждали, что после победы к ним кто-то обязательно придет. Только не колонисты. Я тоже никого не ждал, но все равно приятно было знать, что кто-то к кому-то придет. Да еще на коне!

— Вот это по-нашему! — воскликнул Пузырь, глядя, как я аплодирую. — Нравится?

Я пожал плечами. Не его собачье дело до моей кошачьей жизни! Хочу — и аплодирую, у меня тоже сегодня праздник. Имею право.

— Да не лезь ты к нему, — сказал урка. — Вон, смотри, сейчас учителька будет грамоты давать.

На сцену вышла худенькая, прямо как девочка, женщина. Она сказала несколько слов про хороших учеников,

вручила грамоты за успеваемость, потом стала читать какое-то стихотворение Пушкина про племя молодое, незнакомое... Я подумал, что про наше племя она знать ничего не может, лучше бы какие другие стишки прочла... про победу там... И тут я услышал, как она говорит, что недавно вот узнала от дочери, будто в нашей колонии держат взаперти мальчика, словно пленного. Может, конечно, это игра такая, но даже если игра, все равно... Мы же не какой-нибудь гитлерюгенд, а советские пионеры!..

— Постойте, — перебил ее начальник колонии. — Вы о ком говорите-то?

— Его зовут Александр Гуляев.

— И он что — сидит взаперти?

— Да, в каком-то сарае!

— У нас такого быть не может, — произнес начальник колонии и даже привстал, глядя в сторону Карабаса-Барабаса. — У нас есть такой Гуляев? Он где сейчас?

Тут поднялся с переднего ряда Яшка Главный и, указывая в мою сторону, сказал, что Гуляев в зале, никто его взаперти не держит. Может, это он для подружки своей сочинил? Он же чудик... Это все знают.

Зал захохотал, заулюлюкал, кто-то зааплодировал.

— Тише! — сказал начальник колонии. — Гуляев здесь?

Меня подтолкнули сразу с двух боков. Я поднялся.

— Ну вот, видите, здесь он, — сказал начальник, обращаясь к женщине. — Ваша дочь что-то напутала...

Катина мама стояла, глядя в зал, и растерянно молчала. Хотела, кажется, что-то еще спросить, но махнула рукой и села. А зря. Если бы она попросила меня выйти на сцену и все рассказать, я бы рассказал. И ей, и всему залу. Я в этот момент ничего не боялся.

Обратный путь до сарая мы проделали в гробовом молчании. И лишь у самой двери украинский урка, обычно добродушный, разразился бранью. Досталось и учительнице, и ее дочери, посмевавшей что-то вякать, и, конечно, мне.

— Дотянули! — зло закончил он. — Прикончить бы сразу... прямо сейчас... и точка!

Пузырь развел руками и посмотрел на меня. Кажется, он колебался.

— Давай вот что сделаем, — тихо предложил ему урка. — Ты нас запри на полчаса. Остальное я сам. А?

— А что скажем Главному?

— Скажем, напал... Он же чудик... Пришлось тово... успокоить...

— Не поверит, — возразил Пузырь. — И потом, мы не одни... Тут еще стража... Заложат...

— Пусть попробуют! — пригрозил урка. — Я им зубы перетасую!

— Нет, — решил Пузырь. — Потерпи уж до завтра. Думаю, дольше не протянется.

Весь разговор происходил при мне, но так, будто меня не было.

Пузырь пропустил меня во тьму сарая и с грохотом захлопнул дверь.

БИЛЕТ

А наутро прибежала Катя. Я услышал, как она препиралась со стражником, но в этот раз им оказался Тишкин, и он нехотя ей уступил. Только пробурчал, чтобы говорила побыстрее, а то после клуба-то велели особенно строго охранять.

— Я быстро, быстро, — успокоила его Катя. — Саш, ты меня слышишь?

— Ну слышу, — ответил я.

— Ты на меня не сердисься?

— Да нет. Только зря ты проболталась мамаше!

— Прости. Я хотела тебе помочь!..

Тишкин, который, наверное, стоял рядом с ней, назидательно сказал:

— А сама навредила, между прочим.

— Я поняла! — воскликнула Катя. — Я даже боялась, что со зла они... Слава богу, ты живой!

— Пока живой, — подтвердил я, вспомнив вчерашнюю угрозу урки.

— Давай скорей, — поторопил ее Тишкин. И я подумал, что правильно он ее гонит. Толку от нашей встречи никакого. А за нервы дергает. Да еще как.

— Сейчас, сейчас, — сказала Катя и зашептала в дверную щель: — Тебе так слышно?

— Ну...

— Вчера, после клуба, мама нашла билет в кино... Я ей про игру вашу рассказала... ну, с манекеном... и она вдруг искать бросилась...

— Ну и что?

— А там и вправду восьмой ряд, шестнадцатое место! Я молча пожал плечами. Как будто она могла это видеть.

— Это что значит? Что мое место и было для казни, да?

Я отодвинулся от двери, уже зная, что она спросит дальше. И она это спросила:

— А ты был, как это у вас называется... исполнителем, да?

Я молчал. Только сделал еще один шаг от двери. Но куда здесь сбежишь? Хоть бы Тишкин скорей ее прогнал.

— И ты меня пожалел, да? Тебя за это сюда?.. Ну скажи, скажи! Я должна знать! Что, наш Яша палач?!

Я ушел в дальний угол и заткнул уши. И долго сидел там, ничего не слыша. А когда пришел в себя, Кати уже не было. Кажется, не было. Я долго прислушивался, прежде чем подать голос.

— Тишкин, — позвал я негромко, — она ушла?

— Девушка? Ушла, ушла.

— Ничего тебе не говорила?

— Ничего. — Он подумал и добавил: — Плакала только...

— Ты вот что. Ты ее сюда больше не пускай, — попросил я.

— Да я и так не пущу. С чего мне подставляться-то? Я еще жить хочу.

— Вот и не пускай, — повторил я.

Тишкин разговаривал со мной как бы на расстоянии. А тут приблизился к двери вплотную и сказал:

— Они все равно это... Ты меня слышишь? Они сегодня *это все сделают*. Там у них все готово!

ЭТАПЫ ЖИЗНИ

В обед появился Главный.

— Откройте! — приказал он, и ему услужливо распахнули дверь. — Можете не закрывать, никуда он не денется, — буркнул страже. — Шагайте отсюда, гуляйте!

Те исчезли.

Главный исподлобья взглянул на меня и присел на железное ребро кровати.

— Не удивляйся, — предупредил мрачно. — Я не собираюсь сюда экскурсии устраивать. Это последний раз.

Я кивнул. Последний так последний. Но Главный не смотрел в мою сторону. Его, похоже, мало интересовало, как я реагирую.

— Мы тебя убираем вовсе не потому, что ты дурной, — сказал он. — Может, ты даже и не дурной. Но нам нужно, чтобы другие не были такими, как ты. Вот и все. Они должны помнить, что такие, как ты, которые хотят делать по-своему, среди нас не живут.

— Я и не собираюсь среди вас жить, — пожал плечами я.

— А ты вообще-то думал когда-нибудь, зачем люди рождаются? — вдруг спросил он.

— Да низачем! Они рождаются, потому что их родили, — ответил я уже более резко. Тема разговора была мне, честно говоря, неприятна.

— А дальше что?

— Дальше? Известно что... смерть.

Казалось, он меня не слушает, а разговаривает сам с собой. То ли оправдывается, то ли хочет себя в чем-то убедить. А заодно и меня.

— Так вот, — продолжил он. — Люди рождаются голенькими, незащищенными. И они при этом ужасно хотят выжить. Даже кроха цепляется за мамкину титьку, чувствуя в ней спасение. А вот если выжить удастся, то приходит уже другое желание: жить, жить и жить. Причем жить долго и богато. И красиво. А потом к ним все равно является костлявая. За тобой она, кстати, уже приходила... Ведь приходила, да?

Я промолчал. Мы оба знали, что он имеет в виду. Тот момент, когда его руки искали на моей спине место для укола.

— Ты сам виноват. Все равно, раз не научился выживать, ты жить не сможешь. Уж поверь мне. Я про тебя давно все знаю.

— А тебе-то какое до меня дело?

— Да мне по фигу! — отмахнулся он. — Но ты и сейчас ничего не понял. Весь мир стоит на том, что каждый спасает только себя. А для этого, на всякий случай, топит других.

— Ты о зверях, что ли?

— А разве люди не звери? — спросил он с издевкой. — Звери! Еще какие!

— И ты?

— А чем я лучше?!

— Но есть же не звери? — возразил я.

— Нет! — бросил он уверенно. — Нет таких! Глупость!

— А сам... сам ты хочешь выжить? — поинтересовался я, пытаюсь в сумраке сарая разглядеть его лицо. Я никак не мог догадаться, к чему весь этот вязкий и бессмысленный разговор.

— Я? Я — нет. — ответил он после паузы. — Я не хочу выживать — вот в чем дело. А тем более жить. Я воюю с теми, кто хочет выжить любым путем, чтобы доползти до

красивой жизни, потопив нас. Я им мешаю. И буду мешать. У меня, кроме ненависти к ним, ничего больше не осталось. Когда они стали мной, моей жизнью распоряжаться, они, придурки, не знали, что мастерят из меня не уroda, даже не ублюдка, а живую бомбу. Бомбу, — повторил он, вслушиваясь в свой голос, — которая их и убьет! — Он на минуту задумался и добавил: — Сегодня я один. Да не один, я других готовлю. А завтра... Завтра нас будет много, очень много. Целая армия...

Наконец-то я понял, за что он меня так ненавидел. За то, что я не хотел становиться его бомбой. И мешал ему делать бомбы из других. Сказать на это мне было нечего. Оставалось только слушать...

— ...Вчера нашлись тебе защитнички... — продолжал он, чуть понизив голос. — Так вот, мы бы сегодня всю эту историю прикончили. Но придется отложить на недельку. Так что готовься. Встретимся ровно через семь дней. — Он поднялся, выглянул за дверь, чтобы убедиться, что нас не подслушивают, и, обернувшись, добавил: — Считать умеешь? Вот и считай... Первый пошел... А этой своей... ну Катьке... скажи, чтобы в это дело не встревала!

— Она не моя, — сказал я быстро. Хотел добавить: «Она скорей твоя», но не стал.

— И ее мать чтоб не лезла! — не обратив внимания на мои слова, бросил он напоследок. — А то им худо будет. Даже не от меня... Они с огнем играют!

РАСПАХНУТАЯ ДВЕРЬ

Не прощаясь и не оглядываясь, Главный быстро вышел на волю, оставив дверь распаханной. Вместо него в проеме появился Тишкин — точно такой, каким я его себе представлял: рожа в веснушках, рыжеватый, рот до ушей. Ему бы в кино Швейка играть.

— Чего там у них произошло? — спросил я.

— У кого? — не понял Тишкин.

— У урок. На семь дней отложили, да?

— А-а... Ну да, отложили... — протянул он не без сожаления. Видать, ему уже сильно обрыдло меня сторожить.

После некоторого колебания он поведал, что утром, пока он был здесь, всех погнали на подсобное хозяйство. Прислали из колхоза два грузовика, скопом всех погрузили и на целую неделю, говорят, увезли.

— И урок? — не поверил я.

— Насчет урок не знаю. Они работать не любят. А вот Главный тоже уедет. С начальством, как активист.

— А ты как же? — спросил я Тишкина, все еще стоящего в проеме распаханной двери. Мной вдруг овладела шальная мысль, что сейчас бы рвануть с места, опрокинуть этого раззяву, слабого и тощего, и драпануть за милую душу. Он бы и пикнуть не успел. И я бы, наверное, так и сделал, терять мне было нечего, если бы передо мной стоял кто-

то другой, а не Тишкин. Жалко мне его почему-то стало. Жальче, чем себя. Урки уж точно его не пощадят. Они даже решат, что он сам меня отпустил.

— Нас тут несколько человек по совету Главного оставили, — продолжал беспечно объяснять он. — Будем, значит, по очереди дежурить. По колонии... ну и по сараю...

— Ты дверь-то тогда запри, — посоветовал я, отвернувшись. — А то, не успеешь ахнуть, драпану на волю-то!

— Да не драпанешь! — Он даже развеселился. — Не драпанешь!

— А если решу... прямо сейчас?

Он перестал смеяться и испуганно посмотрел на меня. Почувствовал: я не шучу. И торопливо, с шумом захлопнул дверь. И уже оттуда сказал:

— Теперь-то не драпанешь! А?

— Теперь другое дело, — успокоил я его, почувствовав облегчение. И даже похвалил: — Молодец. Давай, стереги... Скоро отмучаешься. Всего-то неделя!

— Скорей бы, — со вздохом произнес он.

СЕМЬ ДНЕЙ ДО...

Больше в этот день ничего не произошло. Только разговор с Главным все не шел у меня из головы. Было в нем что-то такое, что никак не давалось моему пониманию. Вроде бы оно предвещало не просто еще неделю жизни, а иное. Но это иное не угадывалось, как я ни напрягался. И еще я вновь стал ожидать появления Кати.

И она на другой день пришла. Прямо с утра.

ШЕСТЬ ДНЕЙ ДО...

Я услышал, как она спорит с Тишкиным, который гнал ее прочь. Голос у нее был такой же красивый, как и глаза. Звонкий, серебристый. Додуматься до того, что каждый голос имеет свой цвет, я бы не смог, если бы не находился столько времени в темном сарае. Она что-то ему предлагала, совала в руки, а он бурчал, что не нужен ему никакой кусман, что урки строго-настрога приказали, чтоб здесь и близко никого не было.

— А вообще-то, — громко добавил он, — тебя тут и не хотят видеть.

— Кто, Саша? — спросила она удивленно, и я сразу представил ее лицо. И отступился.

— Да врет он все, — подал я голос. — Он просто урок боится. Его застращали. Они всех застращали.

— И Яша?

Мы не ответили. Тем более что имя своего дружка она произнесла так мягко, словно все еще продолжала верить, что он добрый и хороший.

— А может, это его дружки? — с надеждой сказала она. — Я их сейчас видела. Они такие... ну неприветливые...

— Ты чего пришла-то? — спросил я.

— Я тебе книжку принесла. Ну ту, в которой написано все, что ты в кино видел. Мама сказала, это и в театре тоже играют.

Театр меня совершенно не интересовал. Я там никогда и не был. Как и в ресторане, где, говорят, тебе жратву подают, а денег не спрашивают. И только потом, когда пузо набьешь, ты за все и платишь. Мура какая-то! Как это так, чтобы не заплатив жрать? А если я удеру? А если у меня денег нет, тогда что? А я уже все сожрал! Нет, врут...

— А про мать там написано? — спросил я.

— Ну, конечно. Хочешь, я тебе прочитаю?

Я не ответил. Не потому, что не хотел. Я очень хотел. Но боялся, что все там будет не так, не похоже. А тут еще Тишкин рядом. При нем почему-то не хотелось.

И я спросил:

— А Тишкин там не хочет уйти? Ну, погулять...

— Зачем? — удивилась Катя.

— Не хочу, чтобы он тоже слушал!

— Да мне и самому неохота, — отозвался Тишкин. — Не люблю я книжек, особенно толстых... и без картинок!

— Так мне читать? — спросила Катя.

— А он ушел?

— Он в сторону отошел и нас не слушает.

— Тогда читай, — разрешил я.

Катя пошуршала страницами и начала:

— «М у р о в. Ты очень любишь нашего Гришу?

О т р а д и н а (с удивлением). Еще бы. Что это за вопрос? Разумеется, люблю, как только можно любить, как нужно любить матери.

М у р о в. Да, да... Конечно... А что, Люба, если вдруг этот несчастный ребенок останется без отца?

О т р а д и н а. Как без отца?

М у р о в. Ах, боже мой! Ведь все может случиться...»

Я отвлекся, подумав, что если этот Муров хочет бросить своего ребенка и заранее называет его несчастным, он уже заслуживает наказания! А ведь, кажись, не алкаш и не барыга из рыночных, как нынешние! И на фронте не был, и денежки во всех карманах...

Пока я раздумывал, папаша этот еще что-то там плел про себя и ребенка, на что ему и было отвечено:

— «О т р а д и н а. Если ты спрашиваешь серьезно, так я тебе отвечу. Ты не беспокойся: он нужды знать не будет. Я буду работать день и ночь, чтобы у него было все, все, что ему нужно. Разве я могу допустить, чтоб он был голоден или не одет? Нет, у него будут и книжки и игрушки... Чтобы все, что у других детей, то и у него. Чем же он хуже? Чем он виноват? Ну, а не в силах буду работать, захвораю там, что ли... ну что ж, ну, я не постыжусь для него... я буду просить милостыню. (Плачет.)

М у р о в: Ах, Люба, что ты, что ты!»

— Какая сволочь! — крикнул я.

— «О т р а д и н а. ...Неужели ты предполагал, что я его брошу?»

— Но ведь бросила, да? — спросил я, утыкаясь губами в доски двери.

— Тебе про это прочесть? — спросила Катя.

— Не знаю... Нет. Сегодня не хочу.

— Ну тогда завтра.

— Подумаешь: игрушки, книжки... — прорезался Тишкин. Видать, незаметно подошел и тоже, как и я, не выдержал, как они эту баланду травят. — А милостыню вовсе и не стыдно просить. Я на рынке много раз просил.

— И я просил... А вот игрушек мне не дарили, — сказал я почему-то. — И книжек...

— А Муров ваш жмот! — сердито добавил Тишкин. Голос его стал отдаляться. — Заканчивайте, что ли!

— Сейчас, сейчас... — заторопилась Катя. И негромко добавила: — Но она же еще любит этого... Мурова.

«Как ты своего ангелочка Яшку», — подумалось. Но я этого не сказал. Спросил:

— Завтра придешь?

— Приду.

— С книжкой?

— Конечно.

— Я буду ждать.

ПЯТЬ ДНЕЙ ДО...

На другой день я снова услышал голос Тишкина. И спросил его об одном портретике, который у меня недавно уперли. Не сохранился ли чудом? Портретик тот я обнаружил в книжке из больничного шкафа. Листал, листал и вдруг увидел. Крошечный такой портретик одной дамы, а может, девушки, с гладкой головкой, кокетливо склоненной влево. У нее был чуть великоватый рот, который ее вовсе не портил, и живые, такие умные, понимающие глаза. Звали ее Анной. Хотя я стал звать ее просто Аней. Даже Анютой. В книжке я прочитал, что эта семнадцатилетняя Анна была женой старика генерала (вот не повезло-то!), приехала погостить к своей тетке в усадьбу и там встретила молодого Пушкина. В общем, они вместе поужинали и поехали в двух экипажах в усадьбу поэта, недалеко. Но в дом не стали заходить, пошли гулять по парку. Я живо тогда представил их встречу, как прогуливались они лунной ночью среди вековых деревьев, корни которых росли поперек дорожки, и молодая красотка Анна все время о них спотыкалась и громко смеялась. Потом они расстались, а ночью поэт написал для нее стихи и, провожая утром в дальнюю дорогу, подарил на память. А какой-то булыжник, о который он ночью здорово ушиб ногу, вот смех-то, он поднял и положил себе на письменный стол на память.

Вот и вся история моей любви. Моей, потому что я тогда влюбился в Анну больше, чем сам Пушкин. Правда, я не писал ей стихов. Я переживал по-своему. Я и его стихи, написанные для Анны, не запомнил. Только про сердце, как у него при встрече оно билось, и еще про любовь там и про божество... Конечно, никому я про свою любовь не говорил, но молодая задумчивая девушка, глазастьенькая такая, большеротая, с лицом ребенка, поразила меня в самое сердце. У меня внутри все прямо затрепыхалось от любви.

А дальше было так. Я вырвал страничку из книги и стал носить за пазухой. Ведь носят чужие фотографии. И даже в песенке одной поется, что в кармане маленьком моем есть карточка твоя, так, значит, мы всегда вдвоем, моя любимая... И мы были вдвоем. Я тайком доставал мою Анюту и говорил ей, что люблю ее, что скучаю по ней. И жалко, что она жила целый век до меня, иначе мы бы обязательно встретились и погуляли недалеко от колонии, по какой-нибудь там аллее, а потом поженились. А генерала послали бы куда подальше — скажем, на фронт. Вот что я ей говорил, а она мне понимающе улыбалась, наклонив набок голову.

Ну а кончилось тем, что шакалы свистнули у меня ночью тот листок. И я потерял Анну навсегда.

Я спросил через дверь Тишкина:

— Слушай, а ты не знаешь, кто у меня стибрил ночью мой листок?

— Какой еще листок?

— Ну из книжки... Там еще стихи Пушкина были.

— Стихи? Это с картинкой, что ли? А на картинке баба?

— Дама, — поправил я.

— Так мы извели твою бабешку на курево, — сознался он, засмеявшись. — А во время курева еще кто-то анекдотец рассказал, как три сестры стоят на балконе и просят Пушкина сочинить про них что-нибудь. И он стал им читать: «На небе светят три звезды: Юпитер, Марс, Венера, а на балконе три п...ды — все разного размера!»

Я не стал перебивать Тишкина, знал, что он меня все равно не поймет. Он семимесячный, ему подрасти надо до Пушкина и до настоящих стихов о любви.

Я только спросил, хоть и без надежды:

— Все искурили?..

— Еще бы. А кто-то про тебя даже сказал, что наш чокнутый бабу за пазухой таскает. Надо в другой раз пошарить, может, там еще несколько штук припасены?

— Теперь я ее в другом месте ношу! — отрезал я, разозлившись.

На что миролюбивый Тишкин ответил, что картинками развлекаться не запрещено, но ведь и курить охота. А Катькина книжица, небось, листов сто! Это сколько же закуток можно сделать!

ЧЕТЫРЕ ДНЯ ДО...

— «Н е з н а м о в. Да-с, я говорить буду. Вот уж вы и жалуетесь, уж вам и больно. Но ведь вы знали и другие ощущения; вам бывало и сладко, и приятно; отчего ж, для разнообразия, не испытать и боль! А представьте себе человека, который со дня рождения не знал другого ощущения, кроме боли, которому всегда и везде больно. У меня душа так наболела, что мне больно от всякого взгляда, от всякого слова; мне больно, когда обо мне говорят, дурно ли, хорошо ли, это все равно; а еще больнее, когда меня жалеют, когда мне благодетельствуют. Это мне нож восстрый! Одного только прошу у людей: чтоб меня оставили в покое, чтоб забыли о моем существовании!»

— Вот правда! — воскликнул Тишкин, который все это слушал. — Это про нас... Вот ты, ты зачем сюда приходишь? — обратился он к Кате. — Ты ведь приходишь, потому что нас жалеешь... Ведь правда?

— Могу и не приходить, — ответила Катя.

— А ты не злись, — сказал Тишкин и признался, что когда увидел книжицу, у него только и была мысль: сколько тут бумаги для раскурки... А тут, оказывается, вон что про нас написано...

— Так мне приходить или не приходить? — спросила Катя.

— Приходи уж. Завтра. Только смотри, урки чего-то бродят, — предупредил он.

— А мне-то что? — сказала Катя. — Я не к ним, я к вам прихожу.

Я сразу заметил, что Тишкин, приглашая Катю, как бы уравнил себя со мной. Хотя ясно было, что приходит она ко мне, а не к нему. Но зато не будет ее гнать, — решил я.

ТРИ ДНЯ ДО...

— «Д у д у к и н. Я изложу вам краткую биографию его, как он мне сам передавал... Ни отца, ни матери он не помнит и не знает, рос и воспитывался он где-то далеко, чуть не на границах Сибири, в доме каких-то бездетных, но достаточных супругов из мира чиновников... Чиновник умер, а вдова его вышла замуж за отставного землемера, пошло бесконечное пьянство, ссоры и драки, в которых прежде всего доставалось ему. Его прогнали в кухню и кормили вместе с прислугой; часто по ночам его выталкивали из дому, и ему приходилось ночевать под открытым небом. А иногда от брани и побоев он и сам уходил и пропадал по неделе, проживал кой-где с поденщиками, нищими и всякими бродягами, и с этого времени, кроме позорной брани, он уж никаких других слов не слышал от людей. В такой жизни он озлобился и одичал до того, что стал кусаться, как зверь...»

— Хватит! — вдруг оборвал чтение Тишкин.

— Что? — не поняла Катя. — Мне не читать? Но ты же сам просил...

— Просил. А теперь не хочу.

— Ладно, — согласилась Катя. И, приблизившись к дверям, спросила уже меня: — Саш, а тебе тоже не понравилось?

— Не знаю, — сказал я.

Уж больно там все по правде было. Но мы ведь это знали и без книжки. Как пьянствовали вокруг, как материли и гнали нас отовсюду, как мы тоже с нищими и бродягами ночевали. Мы и впрямь были как звери. И по-звериному жили. Даже сейчас, когда слушали Катю... Господи, зачем ей это знать? Для нее все равно эта книжка — только школьная программа!

— Ты вот что, — грубо сказал Тишкин. — Кончай сюда ходить!.. И книжек этих не носи...

Я услышал, как Катя зашуршала бумагой, вырывая страницу, потом сказала:

— Вот. Передай Саше, ладно?

— Ладно, передам, — согласился Тишкин.

Я подождал и окликнул Тишкина:

— Эй, она что, ушла?

— Ушла, — ответил он. — И опять эти... ну слезы...

— Листок мне отдай, который вырвала.

— Зачем? — спросил он каким-то чужим, неприятным голосом. — Все равно это никому не надо.

— Мне надо, — настаивал я.

— А чего тебе там? — вдруг взвился он. — Зачем?! Знала бы она, как нас били и гнали...

— А она-то при чем? Она из книжки читала...

— Вот и не надо! Не надо! — крикнул он.

Вообще-то я был с ним согласен, что не надо больше читать. Но листочек я выпросил. Было уже темно. Как ни пытался я разобрать буквы, не получалось. Пришлось терпеть до утра.

ДВА ДНЯ ДО...

Катя в этот день не пришла. Но вместо нее была та самая страничка, вырванная из книги. Текст я помню до сих пор:

«Кручинина. Я опытнее вас и больше жила на свете; я знаю, что в людях есть много благородства, много любви, самоотвержения, особенно в женщинах.

Не знамов. Будто?»

Кручинина говорит о сестрах милосердия. И потом:

«— Да и не одни сестры милосердия, есть много женщин, которые поставили целью своей жизни — помогать сиротам, больным, не имеющим возможности трудиться, и вообще таким, которые страдают не по своей вине... Да нет, этого мало... Есть такие любящие души, которые не разбирают, по чужой или по своей вине человек страдает, и которые готовы помогать даже людям...

Не знамов. Вы ищите слова? Не церемоньтесь, договаривайте.

Кручинина. Даже людям безнадежно испорченным. Вы знаете, что такое любовь?»

ОДИН ДЕНЬ ДО...

Мы и правда безнадежно испорчены, и нас некому любить. Но ведь передала же она листочек с этими словами, значит, хотела сказать о своей любви. Я всю ночь не мог заснуть. Я верил, что она придет и я успею ей что-нибудь ответить. Ну хотя бы попросить прощения за наше с Тишкиным свинство. Тем более что скоро я уже ничего не смогу сказать.

И когда я слышал издали ее голосок, у меня даже сердце дрогнуло. Я вскочил со своей пыльной лежанки и солону с себя отряхнул, хотя знал, что она меня все равно не сможет увидеть.

Но это была не Катя — ее мама. Просто голоса были похожи. Сперва она разговаривала с моим стражем, о чем — я не мог разобрать. Но понял, что она сильно взволнована. А потом она приблизилась к сараю и спросила:

— Саша, ты меня слышишь? Ты случайно не знаешь, где Катя?

— Сегодня ее здесь не было.

— А вчера?

— Вчера тоже.

— Она была позавчера, — влез в разговор Тишкин. — А больше мы ее не видели.

— Но она вчера направлялась к вам! Она еще захватила лепешки картофельные, я напекла, и книжку...

— Нет, ее не было, — повторил я. И уж совсем по-глупому добавил: — Может, у подружки... зашла и задержалась...

— Мы уже всех опросили... И в милиции были, — про-
бормотала мама.

Больше она ничего не спрашивала — опять побежала искать дочь. Если бы можно было, я бы тут же рванул за ней, потому что с самых первых ее слов понял, что в нашей жизни, ее и моей, произошло непоправимое. Нет, не понял, почувствовал кожей. Хотя и не верил, что именно с ней, с Катей, может что-то случиться. Ни бежать, ни помогать искать я не мог, но и сидеть просто так я не мог тоже.

— Тишкин, — позвал я, — ты правда ничего не знаешь?

— Ничего, — сказал торопливо Тишкин. Мне его голос очень не понравился.

— Точно?

— А что я должен знать? — раздраженно ответил он.

— Но как ты думаешь... с ней могли что-нибудь?.. — Дальше я побоялся говорить. Словно это могло повредить Кате.

— Не знаю я ничего, — повторил неприятным голосом Тишкин. — Я уж какой день здесь торчу.

— Значит, могли, да? Они?

— Кто они?

— Ты знаешь кто... Урки!

— Я их не видел.

— А Главный?

— Главный завтра будет.

— Но ты можешь кого-нибудь позвать? — выкрикнул я.

— Никого же нет... правда, — жалобно сказал Тишкин.

— Найди!

— Кого?

— Кого хочешь! Ведь Катя пропала!

— Ладно, — согласился вдруг он. — Сменюсь вот только...

— Иди сейчас, — приказал я. — Иначе я разобью дверь... Я стучать, я орать буду!..

Тишкин исчез и появился только к вечеру. Подойдя к двери, он сообщил мне, что вернулся из совхоза Яшка Главный, вроде как его в милицию вызвали. Потом он пообещал прийти сюда...

КАЗНЬ

Он и правда пришел. Без свиты, один. Сел на свое привычное место в углу и затих. Ни словца. Но и я, хоть тревога разрывала меня изнутри, не спешил с вопросами. Я ждал, с чего он начнет. Первым нарушить молчание должен был он. Он оттуда, со свободы. Наверное, уже побывал в милиции. Да и вообще. Он закрутил это опасное кино, в которое втянул меня и Катю. Точнее, меня, а уже я — Катю. И нам с ним придется теперь развязывать этот узел.

После долгой паузы он спросил:

— Ты звал?

— Звал.

— По поводу Кати?

— По поводу ее.

И снова долгое молчание.

— Ну и что ты хочешь?

— Хочу знать, — сказал я, сделав к нему шаг, потом второй, — где она сейчас.

Мне показалось, что при моем приближении Главный испуганно сжался.

— Откуда мне знать? — произнес он, не глядя в мою сторону. — Меня же здесь не было!

— А кто был?

— Ну кто... эти...

— Урки?

— Да.

— Это они?

Он молчал.

— Это они? — громким шепотом, чувствуя, что вот-вот сорвусь на крик, еще раз спросил я.

Вот теперь он посмотрел на меня. В свете заходящего солнца, острых, как спицы, лучей, сквозящих через щели в дверях, блеснули золотом его кудри. Но голубые глаза были темны, даже черны. От них веяло мраком, гибелью. Хотя, думаю, мои были немногим лучше.

— Я их убью! — выдохнул я и не услышал своего голоса. Но он меня услышал. Он бы услышал, даже если бы я вообще ничего не произнес. Не случайно он старался не глядеть в мою сторону. Он и впрямь сейчас меня боялся. На его глазах я преображался в натурального палача. Палача всех. И урок. И его тоже.

— Убей, — сразу согласился он.

— Как?

— Тебе помогут.

— Когда?

— Этой ночью.

И добавил, вставая, что кореец сбежал, а украинец будет в спальне. И тут же выскочил за дверь...

Ночью, не знаю который это был час, дверь распахнулась, и кто-то мне спокойно указал, чтобы я шел в спальню. Там ждут. Ни охраны, ни сопровождения не было. Но слова «там ждут», сказанные негромко, поразили своей уверенностью. Кого ждут? Меня? А кто? Убийца Кати? Зрители? Помощники?..

В спальню дверь тоже была предусмотрительно открыта. Не знаю, был ли в спальне кто-то еще, — я не смотрел по сторонам. Я смотрел лишь туда, где должен был лежать убийца Кати. И я его увидел. А рядом с храпящим уркой, на тумбочке, отсвечивая серебром, лежала знакомая спица. Все было предусмотрено.

Наверное, надо было отдышаться, оглядеться и как-то приготовить себя для казни. Но я торопился. Я боялся, что

кто-то или что-то может мне в последний миг помешать. Да и что мне готовиться, если там, в сарае, ожидая ночи, я мысленно уже тысячу раз поразил убийцу и ножом, и топором, и просто вцепившись в шею зубами.

Я наклонился над ним и почувствовал густой смрад-ный дух сивухи. Лежал он на боку, не прикрывшись одеялом, и было видно, какой он огромный, босые ноги торчали за пределами топчана. Что ему спица, его бы долбануть тяжелой кувалдой по голове, чтобы черепушка всмятку! Но спица уже сама скользнула в руку, а глаза выскивали место для удара. Синяя майка, задранная снизу и обнажившая поясницу, была в пятнах пота.

И вдруг сзади закричали:

— Бей же! Бей!

А может, я и сам себе это прокричал — не знаю. Но я вздрогнул, размахнулся и с силой, хотя спицей не колют с размаха, воткнул ее в спящее тело, снаружи осталась лишь рука. Затем вытянул спицу и снова нанес удар, еще сильней. Урка захрипел, захрюкал и взвыл, как раненый зверь. Он все дергался, хотел развернуться в мою сторону, но торчащая спица ему мешала. И вдруг затрясся всем телом, из него пошел воздух. Это последнее, что я запомнил, прежде чем отключиться. Как он трясется, выкатывая глаза, а из него с шипением и с белой пеной на губах выходит и выходит воздух...

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В больничке я пробыл недолго. Это был деревянный дом в два этажа на краю поселка, где лечились язвенники, сердечники, травмированные на производстве, в общем, все, кроме инфекционных больных. Со мной в палате лежали одинокий и молчаливый старик, толстячок-завхоз из отдела рабочего снабжения — ОРСа, которому жена два раза в день приносила вкусную снедь, и солдат без ноги, бойкий и говорливый от того, что выжил на войне. Солдат каждую ночь уходил к девкам, старичок все больше спал, а завхоз или что-нибудь жевал, или гулял с женой в старом парке, который окружал больничку.

Несколько раз ко мне заходила мама Кати. Она приносила картошку и хлеб и подолгу молча сидела рядом, пристально меня рассматривая. Мне становилось не по себе от этого изучающего взгляда. Иногда заговаривала о погоде, о врачах и никогда о Кате. Я лишь вздыхал с облегчением, когда она уходила. Однажды она задала вопрос, которого я давно ждал:

— Саша, а ты не знаешь, кто убил этого?.. Ну который урка...

— Не знаю, — ответил я.

Я и правда почти ничего не помнил. Все виделось как-то смутно, будто во сне. Надо было спросить, а что она

вообще про это знает, но что-то мне мешало. Может быть, страх, что возникнут подробности, которые уже почти забыл, и тогда мне снова станет плохо.

— Я слышала, что дело закрыли, — продолжила она. — Начальник колонии объявил, что произошла драка, а этот... был зачинщик и сам виноват...

— Да. Так, кажется, и было, — подтвердил я.

— Ты участвовал в этой драке?

— Не помню.

— А Катю мою ты помнишь?

— Нет.

— Но ведь ты должен ее помнить? Она ходила к тебе с книжкой...

— Не помню, — повторил я. — И книжку не помню.

Господи, как не хотелось ничего вспоминать! Книжку эту, я уже знал, нашли под подушкой казненного урки и, наверное, извели на закурку. Единственный листочек со словами о любви, сам не знаю зачем, хранился у меня за пазухой. Однако мама Кати не могла об этом знать. Она была учительницей литературы, но выучила Катю вовсе не тому, что нужно знать об этом мире: глупой жалости и глупой любви. Именно это Катю и погубило. Но как я мог это сказать?!

— А Яшку вы не видели? — спросил я почему-то.

— Нашего Яшеньку? — оживилась мама Кати. — Ну как же! Он столько помог следствию и вообще... Он уверяет, что Катя найдется!

— Он это сам сказал? — спросил я, напрягаясь.

— Да. Золотой мальчик! — воскликнул она. — Он и о тебе так хорошо отзывался...

«Золотой палач», — добавил я про себя. А вслух спросил:

— И как же он, интересно, отзывался?

— Ну как... Он сказал, что ты теперь для него свой человек.

— Значит, свой?

— Да, он так и сказал: свой... А может, ты хочешь перейти ко мне? Жить в семье? — вдруг спросила она.

— Зачем?

Мой вопрос прозвучал глупо. Однако она все поняла. Я подумал, что это было главным, ради чего она ко мне приходила. Но я не хотел, чтобы меня жалели.

Оставив мне тридцатку денег, расстроенная учительница ушла. А на следующий день попросился домой и я. Домой — значит, в колонию. Меня выписали.

Я пошел на наш местный поселковый рынок, где по воскресным дням торговали местные колхозники. На два червонца я купил крупно порубленной махры, потом направился к теткам, стоявшим рядком у дальнего забора. Пропустив пирожки с капустой, картошкой, луком, дошел до торговки, предлагавшей пирожки с ливером. Я посмотрел тетке в глаза, но ничего особенного не увидел. Все они, эти рыночные тетки и бабки, были как на одно синюшное лицо со следами непрерывных тягот и забот.

Я заплатил за пирожок остатками от подаренной мне тридцатки и, завернув его в лопушок, направился в сторону колонии. Оглянувшись, увидел, как следом за мной к тетке подкатил совсем молоденький курсант в морской форме и тоже купил пирожок. Не отходя — видно, был голоден, он с удовольствием засунул в рот полпирожка и стал жевать, а меня вдруг затошнило.

Неподалеку от сарая я вырыл под молодой сосенкой ямку. Земля была мягкой, песчаной и на ощупь прохладной. В эту ямку я положил купленный пирожок, не разворачивая лопушка, и засыпал песком. Сверху замаскировал травкой и присел рядом. Сосну легко было запомнить, у нее была редкая форма двух раздвоенных полукруглых золотых стволов, напоминающих по форме лиру.

Здесь меня и разыскал мой привычный страж Тишкин.

— За мной? — поинтересовался я, глядя на него снизу вверх. — Опять в сарай?

Теперь я мог на эту тему даже шутить.

— Что ты! Что ты! — с ходу затараторил он. — Ты у нас теперь свободный навсегда. — И, оглянувшись, добавил тише, что ему поручили передать: за мной должок — сходить в кинотеатр.

Слово «навсегда» вызвало у меня невольную улыбку.

— Кто передал-то? — поинтересовался я.

— Главный. Он теперь с Ленькой Пузырем все решает.

— А третий кто?

— Третий?.. Ну я, — сказал, помолчав, Тишкин. И на всякий случай заглянул мне в лицо.

— В люди выходишь?

Почувствовав в моих словах скрытую издевку, он тут же парировал:

— Ты тоже!

Я не собирался ссориться и вполне миролюбиво поинтересовался, когда мне надо туда идти.

— Сегодня. Ряд восьмой, место шестнадцатое.

— А спица?

— Спица будет. Не дрейфишь?

— Долго ли умеючи? — сказал наигранно я. И ничто во мне не дрогнуло, даже не кольхнулось. — Одним больше, одним меньше.

— Во! Главный тоже сказал... Только не велел тебе передавать... Медведь, сказал, попробовавший человечины, навсегда становится людоедом.

— Это я, что ли, людоед?

Тишкин вздохнул и не ответил.

Я покосился на тайное мое захоронение и спросил:

— А что, брат Тишкин, не хочешь ли ты закурить?

— А курево есть?

— Есть. Нужен огонек.

— Огонек будет, — оживился он. — Я кресало твое вернул.

— Украл, что ли?

— Ну и что?

Я достал из кармана махорку, а другой рукой залез за пазуху и извлек книжный листок, подаренный Катей. Пробежал глазами:

«Ж р у ч и н и н а. ...Есть такие любящие души, которые не разбирают, по чужой или по своей вине человек страдает, и которые готовы помогать даже людям...

Н е з н а м о в. Вы ищете слова? Не церемоньтесь, договаривайте.

К р у ч и н и н а. Даже людям безнадежно испорченным. Вы знаете, что такое любовь?»

— Тишкин, ты что-нибудь слышал про любовь? — спросил я, отрываясь от текста.

— Чё?

— Про любовь, говорю. Ты знаешь, что это такое?

— Чё? — явно дурачась, повторил он.

— Хрен через плечо, — ответил я и разорвал листок пополам.

Мы свернули из чужой, совершенно нам не нужной любви по сигарке и с удовольствием затянулись едким самосадам...

Эпилог

Через пятьдесят лет он вернулся в это место и не без труда разыскал развалины колонии и тот сарай, где довелось сидеть в ожидании казни. Из Чечни, где получил две пули от федералов в шею и руку, подлечившись, добирался в Россию сложным путем через соседнюю республику. Выручало обличье: уж точно не горец и не черный, а самый обычный беженец-пенсионер, ищущий работу сторожа, чтобы на исходе жизни как-то выжить. Он даже сосенку-лиру нашел, хоть и не сразу, потому что рядом выросла трехэтажная вилла с вычурными башенками и конусной острой крышей. Все это скрывал пятиметровый краснокирпичный забор. Слава богу, сосенка-лира оказалась не загнанной в чужой двор, а стояла по эту сторону забора. Но она не только подросла, а уже и постарела, один из двух округлых стволов начал сохнуть.

Он присел на траву, опершись здоровым плечом о шершавый ствол, достал сигарету и закурил. Потом поднялся и не спеша добрал до сарая. Вдруг показалось, что Тишкин еще там и его ждет. Сарай тоже одряхлел, дверь, когда-то крепкая, была сорвана с петель, крыша стала дырявой. Было очевидно, что не сегодня завтра его снесут.

— Тишкин, — позвал негромко, хотя слышать здесь его никто не мог. — Тишкин, ты что-нибудь слышал про любовь?

— Слышал, как же, — ответил тот, присев рядышком и прикуривая от его сигареты. Сам он держал в руке самокрутку.

— Ну и как? Тебе повезло?

— Нет.

— Почему?

Тишкин затянулся и проследил глазами за голубой струйкой дыма, пущенной вверх. Внешне за эти годы он никак не изменился, только глаза стали совсем не детские. А широкую улыбку стерло совсем.

— Да все потому, думаю, что мы не научились любить. А ненависть, знаешь... Ты после колонии много пострелял?

— Много.

— Где?

— Везде. Последнее время на Кавказе...

— А зачем?

— Мстил.

— Кому?

— Всем.

— Ну и как?

— Не знаю.

— В том-то и дело, что знаешь, — возразил Тишкин. — А вот скажи... только по правде: детишек ты трогал?

— Ты говоришь про Беслан?

— Ну понятно, что там ты не был. А, кстати, ведь мог быть?

Гость молчал.

— Да или нет?

— Да. Ну а ты? Ты-то живой?

— Меня давно нет, — произнес Тишкин негромко.

— А другие?

— Да никого не осталось.

— И Главного?

— И его тоже. Еще в Сербии... Ты из нас последний!

— Ну скажешь тоже, последний! Другие будут... Да они уже есть, есть!

— А ты сам-то есть? — вдруг спросил Тишкин. Так спросил, что он смешался, не зная, что отвечать.

Ах, Тишкин, Тишкин! Если ты такой прозорливый и все про меня понял, так добей же, добей меня! Мне ведь и правда все равно, как ты меня прикончишь. Лучше бы, наверное, при помощи спицы. Но сейчас мы оба понимаем, что все эти штуки со спицей были как первый класс в сравнении с теми кровавыми академиями, которые мы прошли после. Да и где эту спицу теперь найдешь?!

Недавно еще был у него пистолет Стечкина, его когда-то подарил Яшка Главный, это было самое удачное оружие из всего, что пришлось ему держать в руках за полсотни бродячих лет. Но, пробираясь в Россию, он не рискнул брать его с собой, тащить через пограничные, хоть и дырявые, но кордоны, и на прощание в Пандорском ущелье подарил молодому боевику из Ингушетии.

Затянувшись последний раз, он поворошил солому и бросил в нее окурок. Спокойно наблюдал, как солома задымила, затрещала и вдруг вспыхнула ярким пламенем. Здесь все было готово к огню, и даже странно, что никто не догадался подпалить сарай раньше. Потом задымились стены и сильно запахло горячим деревом и смолой. Едкий дым клубами поднимался вверх, застилая слезами глаза, припекая лицо и волосы. И сразу как по команде огненным смерчем полыхнули стены, прорываясь с гудением к небу через пролом в крыше. Но этого он уже не мог видеть. Он только успел почувствовать, как золотой палач приблизился, приник к нему, стиснув в жарком смертельном объятии, и вознес вместе с пламенем к небу...

Пожар никому не повредил и никого не затронул. Обгорела лишь необычная двуствольная сосна, стоящая поблизости. Под рухнувшими обугленными стропилами были обнаружены останки человека, судя по всему, бомжа, заночевавшего в сарае. Оpoznать его не удалось, и после милицейских формальностей его захоронили на местном кладбище в безымянной могиле. А вот следы пожарища, кажется, сохранились по сегодняшний день. Очевидцы рассказывают, что время от времени, обычно в июне, на заросших иван-чаем останках сарая появляется никому

не известная девочка-подросток в белом платъице и с корзиночкой в руках. В корзиночке у нее лежат горкой поджаристые пирожки. Девочка присаживается около тропки, прямо на траве, и, просительно заглядывая в лица случайных прохожих своими бездонно-синими глазами, предлагает попробовать ее угощение. «Ну хоть один пирожок, — просит она. — Хоть один... Ну пожалуйста!»

Люди с испугом смотрят и, не останавливаясь, спешат прочь.

2006 ГОД

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ –
ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ

ОСЕНЬ СОРОК ПЕРВОГО

Киев бомбили, нам объявили,

Что началась война...

ПЕСЕНКА НАЧАЛА ВОЙНЫ

1

У Гвоздевых на громоздком столе чуть ли не от самых дверей возвышался сверкающий снежной белизной чудо-дворец. Плоскость стола была на уровне моих глаз, так что белый дворец, который все называли «пасхой», как бы парил для меня над столом, узорчатый, с широким круглым основанием и башенками поверху, будто сотворенный из сладких облаков. Сладких, потому что нам отвалили по большому куску и оно проскочило. Растаяло во рту, как то самое облако. Ничего подобного я раньше не пробовал и никогда не попробую, потому что облако-дворец возникает из детского далека, а в детстве все по-другому: и пасха, и чудеса, и остальное.

Много позже на чьем-то чужом чердаке я увидел резные, темные от времени дощечки, связанные у основания продетым через дырочки кожаным ремешком, и долго не мог сообразить, что это, пока не вспомнил свою первую в жизни Пасху. Наверное, и у Гвоздевых, которые были, насколько я понимаю, глубоко верующими, хоть об этом вслух не говорилось — опасно, сохранялись главные обряды, а уж приход Пасхи был столь заметен, что и мы, при нашем безбожьем воспитании, не могли не принять участия.

А там было и другое чудо — крашеные горкой на столе яички, но они замечались потом, после чудо-дворца.

Яички, впрочем, красили и у нас в семье: мама варила их в отваре из луковой шелухи, а еще мы раскрашивали сами, макая кисточку в акварельные краски из моего школьного набора. Яички у Гвоздевых были свои, а мы покупали у соседей. Но вот такого белоснежно-сладкого с изюмом узорчатого дворца я не видел ни у кого, и когда в какие-то годы мне показали освященный круглый кулич и назвали пасхой, я удивился и не поверил, потому что моя пасха из детства была совсем другой.

У Гвоздевых и куличи были самые вкусные, с пряной желтизной, с округлой коричневой корочкой, сдобные, легкие, сами пекли. А уж из чего печь, для них не проблема: в городе три магазина, и самый крупный, «Угловой», так он в народе прозывался, на углу Октябрьского проспекта и Смирновской, был для Гвоздева Ивана Ивановича своим, он там работал бухгалтером.

У Гвоздевых и свой двор при доме, огород, и вполне допускаю, что ко времени той первой в моей жизни Пасхи могла быть еще и своя скотина. Во всяком случае, закрытый двор для этой скотины у них точно был. И с улицы через щели можно было разглядеть конуру для собаки, свиней и кур.

Для нашей семьи Пасха — это крестящаяся мама (сперва на люберецкую церковь, куда я заходил с опаской и нежеланием, а потом на ее развалины) да вечерняя пьянка с песнями. Но до сих пор помню глаза мамы, когда она смотрела на развалины церкви: я, наверное, не смогу их описать, но они были напряженно-испуганными, как у человека, который не может понять, отчего рушат храмы, куда можно ходить молиться.

В доме мама уже другая, домашняя, все время у керосинки на кухне, у стола: подать, принести, постирать, помыть и так далее. Поэтому ее, а значит и моя, Пасха состояла в посещении старушки в Панках, которая жила в темной избе одна.

«Христос воскресе, воистину воскресе», и подарочек в белом узелочке и долгий чай за самоваром, где сахарница с мелко наколотыми кусочками сахара и особенно сверкающие щипчики для них поставлены так, чтобы я

не мог достать, но однажды достал и тут же прищемил себе палец.

А в школе в этот день громогласные коллективные стихи: «Что такое Пасха — это просто сказка... А что такое Троица — в три ряда построиться...» И тому подобное.

Сочинители — какие-нибудь комсомольские активисты.

А вот у Гвоздевых Пасха — это праздник, торжество. Все принаряжены и с утра принимают гостей и поздравляют друг друга, целуются и нас, нас тоже поздравляют, когда мы оказываемся рядом.

Но все-таки оно, торжество, там, внутри их семейства, а не снаружи. Это у нас: выпивка, и все за окном слышат, да и в доме тоже слышат, он же старый, деревянный. А у Гвоздевых свой этаж, и если я несколько раз туда попадал по случаю, то еще больше удивлялся, что они по-другому живут, и они вообще, если сравнивать с моим семейством, другие. А значит, у них и праздники другие, и Пасха тоже.

Не знаю уж, каким образом я оказался в этой огромной, главной в их доме комнате-зале, но когда вошел, я сразу увидел парящий над столом белоснежный дворец... И так отпечаталось в душе. Образ пасхи как образ неземного и прекрасного. А теперь, полагаю, это был, наверное, и образ начала жизни. Тот самый первый день творенья.

А уж потом все остальное. Семья, улица, городок... И как финал — война.

А началась война совсем не страшно: взрослые слушали радио и передавали шепотком всяческие слухи, а мы кричали «ура!». А популярную тогда песню «Если завтра война», ее исполнял громоподобно ансамбль Красной армии под управлением Александрова, переиначивали на свой манер:

*Если завтра война,
Слепим пушки из говна
И пойдем на фашистов войною,
Всех фашистов перебьем,*

*В жопу пороха набьем,
Тра-та-та, тра-та-та...*

Мы орали изо всех сил, так что слышно было на соседней улице, но взрослым это нравилось, нас не одергивали, не наказывали. Знали мы и другие боевые песни, на слова, скажем, Рудермана, про тачанку-ростовчанку, которая наша гордость и краса... Или вот из популярного тогда фильма «Трактористы», где артист Крючков сам играет на баяне и мужественно выводит такие слова: «Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны...», а в другом фильме, про сельский урожай, жнут хлеб и — хором:

*Ой вы, кони, стальные вы кони,
Боевые друзья-трактора,
Мы за счастьем поедем вдогоню,
Мы любого отыщем врага...*

Мы и эти песни орали на всю вселенскую, и у нас не возникало сомнения, что для счастья, за которым мы все поедем вдогоню, нужно скорей кого-то отыскать и разгромить: шпионов там, диверсантов, фашистов... Одним словом, ВРАГА.

Боюсь ошибиться, но думаю, что слово «ВРАГ» было чуть ли не из первых вообще слов, услышанных нами, когда мы стали себя осознавать лет с пяти-шести.

От моего рождения до Гражданской войны, при отсчете назад, и было-то с десятков лет. Тогда это казалось целым веком; Гражданская война и битва при Бородине стояли в школьном учебнике почти в одном ряду. А сейчас я прикидываю, удивляясь: совсем, совсем по времени рядышком. И, возможно, поэтому от самых первых лет, вовсе не пяти, а много раньше, в нас внедрялись слова и мелодии послевоенного времени... Пулеметы, тачанки, махновцы, Петлюра, а еще красные и беляки. Ну, разумеется, после «той» войны, после «Гражданской», хотя это слово всегда меня смущало, оттого что образ «гражданина» с войной в

моем сознании не совмещался: гражданин был в шляпе и с зонтом, и непонятно было, как он при этом воюет.

Но вот тогда же возникает еще одно слово, которое будет сопровождать нас всю жизнь, — ВРАГ.

А уж когда мы себя осознавали — тридцатые, предвоенные годы, оно зазвучало повсюду по радио и крупно, так, как я сейчас пишу, обозначалось в наших букварях. Чужое, режущее слух сочетание букв: вв-рр-а-ггг, его можно произносить, лишь ненавидя словесность. Ибо непригодное для слуха сочетание; совершенно непонятно, как можно было его, скажем, спеть. Прореветь — да.

Хуже этого слова были лишь КАГЭБЭ и ЭНКАВЭДЭ. А для моих ушей при слове ВРАГ слышалось: враки и овраги. Когда звучало КАГЭБЭ (оно возникло в моей жизни гораздо позже, я отыскиваю его в памяти под обломками юности), мне видится образ паука. Не потому, что это какая-то глубоко осознанная ассоциация, вовсе нет, просто сами буквы своим узором напоминают мне длинные кривые ножки паука.

А вот слово ВОЙНА сперва вполне рифмовалось со словом «волна» («Чайка смело пролетела над седой волной...»), это раннее, ну а чуть позже: «вина», «беда».

Повторюсь, наша жизнь, лишь только мы стали себя осознавать, была сплошь заполнена героикой войны, и — предыдущей, то есть Гражданской, и будущей, на которой мы еще мечтали повоевать. В люберецком белокаменном кинотеатре с башенкой, он был прямо напротив нашего дома, лишь Рязанку перебежать, шли сплошь боевые фильмы: о Чапаеве, о Щорсе, о Котовском, о Пархоменко, о Салавате Юлаеве... А в школьных книжках — стихи о пограничниках, таких, как Карацупа и его верный пес Индус, а на новых денежных купюрах, они только-только появились, — опять же летчики и танкисты.

В фильме «Тимур и его команда», который мы смотрели по сто раз, все заканчивается проводами молодого героя под звуки аккордеона с блестящими перламутровыми клавишами, который мы впервые тогда увидели, — куда?

Конечно, в армию! Аж завидки брали... Да и песня опять же боевая: «Возьмем винтовки новые, на штык флажки...» И даже веселый спортивный фильм «Вратарь» сопровождался песней такой: «Эй, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот, ты представь, что за тобою полоса пограничная идет...» Спорт, как и все остальное, был призван для того, чтобы воспитать воинов-патриотов, и футбольное поле при этом становилось ареной, имитирующей боевые условия. Не случайно, если помните, соперники из зарубежной команды выходят на поле в касках с рогами. Так они, проклятые буржуйские футболисты, только и могли выглядеть. И понятно, победа над ними в кино была прежде всего не выигрышем, а победой над врагом.

Ну а шпионов, книжных и киношных, в нашей жизни не счесть. И все они были лютыми врагами советской власти и хотели что-то украсть (секреты!) или что-то взорвать (шахту, завод!). Был среди нас популярен фильм про шахтеров «Большая жизнь». Там враг, чтобы лучше притвориться, сперва поет хорошую песню: «Спят курганы темные». А потом зачем-то шахту хочет обрушить, но это ему не удастся. И в финале артист Борис Андреев с отбойным молотком на плече вместе с другими артистами, которые играют шахтеров, будет гордо шагать по забою и петь героическую песню.

И мы читали громко, с выражением, про человека, который якобы заблудился, а на самом деле оказался скрытым и переодетым врагом, который говорит: «Я сбился, кажется, с пути и не туда свернул, никто из наших десяти и глазом не моргнул...» Ребята сразу смекнули, что это враг, и привели куда надо... «Человек стоит чужой, мы знаем, кто такой!» А заключали мы стихи на высокой ноте: «Есть в пограничной полосе неписанный закон: мы знаем всех, мы знаем всё: кто ты, кто я, кто он!..»

В общем, к войне мы были даже очень готовы. Страна, народ, армия и дети. А о том, что в первые же дни войны не хватало обыкновенных винтовок и бывшие школьники защищали страну с голыми руками, мы узнали не скоро. Но, слава богу, узнали. Могли бы и не узнать.

2

А когда она началась, война, с первых дней стали ходить слухи о пойманных диверсантах, которые подавали знаки фашистским самолетам при помощи карманных фонариков. Мы на всякий случай даже ходили за огород посмотреть, не мигает ли там тоже кто-нибудь фонариком, но никого и ничего не нашли, кроме драных кошек в лопухах на помойке.

Мы — это рабочая наша люберецкая слободка, окраина, черная косточка. Лихой атаман Валька по кличке Пешка рос у маленькой тети Нюры без отца, его сосед по дому Митек, с признаками некоторой безобидной дебильности, сын извозчика-алкаша Толька Мустафа, моя мама с его мамой дружила, Колька Купец, местный хулиган, толстый, с наглыми повадками, от которого я натерпелся, Яшка и Эльга — еврейская семья, загадочная, оттого что закрытая, и Манечка из кирпичного дома (наши — деревянные), моя первая любовь.

Были и другие, не столь заметные: Борис Барбарис, тихоня, Надя Соловьева, красивая девочка, в одно довоенное лето возникшая и тут же исчезнувшая навсегда, и, конечно, Гвоздевы: Володька, младший, и Шурка, старший, который уйдет на фронт. Был у них еще Ваня, который умрет ребенком, и эта смерть отчего-то меня потрясет.

Рядом с Володькой, который старше нас и ловко отнимает у нас мелочь, сбереженную на мороженое (он до войны успел посидеть и в тюрьме), маячит фигура Кольки Паршина, тощего, всегда в соплях, его дом крайний к станции, но после войны вдруг окажется, что он футбольная звезда, центр нападения в «Торпедо» и даже в сборной.

Все это пока выстроено мной в последовательный ряд, но до поры не обозначено, как у кукловода, где до спектакля кукольные артисты развешены на стене.

Откуда в моей памяти возникает слово «кукловод», если я и в театре тогда не побывал? Ах, вот откуда: от популярного тогда фильма «Золотой ключик», где как раз куклы на стене висят, а чернобородый шарманщик поет замечатель-

ную песню про неведомую страну: «Далеко, далеко, далеко лежит золотая страна...» Подразумевалось, что герой поет о стране победившего социализма. Туда и повезут на воздушном корабле Буратино и его друзей, а Карабасу-Барабасу влепят, на радость зрителям, по первое число.

Интересно бы, конечно, продолжить сказку: как их, несчастных и пострадавших кукол, довезли до «золотой» страны. Но я сейчас про моих дружков — они вскоре оживут, взаимодействуя друг с другом и со мной, и так в хаосе и великолепии яркого лета войдут в страну, но совсем другую, именуемую словом «война», а уж оттуда кто каким выйдет, и выйдет ли, мне дотоле неведомо. Как не знаю до поры ничего и про самого себя.

Сейчас-то знаю. Но тогда...

Вот уже в шестидесятые годы приехал поглядеть на свой дом в Куракинском переулке, вместе со своей первой женой, и странным образом, никем не замеченный, прошел на второй этаж... Еще одна дверь и тесная прихожая и дверь налево — увидел нашу комнатушку, где умирала мама. Было кругом голо, пусто, и, как выяснилось, дом вот-вот должны сносить. Но застучали по деревянной лестнице шаги, и вдруг объявился старший Гвоздев, Иван Иванович. Уж не знаю, что он делал в пустом доме, может, тоже пришел прощаться. Вот он-то и произнес такие слова: «Ты, вишь, живой... А мы слышали, что тебя поездом задавило...»

Наша семья, отец с матерью и я с сестренкой, были в этом доме подселенцами — видимо, до поры, пока завод не даст отцу настоящее жилье, которого, как выяснится позже, никто и никогда нам не собирался давать. Власть потеснила хозяев, забрав у них второй этаж, ибо такой купеческий дом не мог находиться при советской власти в личной собственности. Там, проживая на втором этаже, в старых бутылках, которыми был заполнен почему-то чулан, мы обнаружили нечаянно множество дореволюционных, свернутых в трубочки кредиток с изображением Петра Первого и Екатерины Второй. Наколов бутылки, мы играли старыми деньгами, роскошно отпечатанными,

с водяными знаками, куда красивей, чем современные червонцы и рубли.

Сейчас я думаю, что они имели отношение к родителям Гвоздевых, которые до поры еще надеялись на возвращение старой власти, а нынешние хозяева такую надежду вряд ли могли питать, да они, кажется, и не помнили про таинственные бутылки, иначе бы их перепрятали или уничтожили. По тому времени даже это компромат, и немалый!

Гвоздевы, сколько их помню, занимали в своем доме весь первый этаж. Был у них свой внутренний с воротами дворик и подвал, за домом, в сторону станции, — огород, а перед окнами, выходящими на Рязанку, — небольшой палисадник, заросший сиренью и акацией, там мы обычно играли в прятки.

Иван Иванович, как я упоминал, работал бухгалтером в угловом продуктовом магазине на перекрестке Смирновской улицы и Октябрьского проспекта, так именовался отрезок Рязанского шоссе, проходящего через центр города. Старший Гвоздев уходил по утрам на работу с черным солидным портфелем, а его жена Татьяна Ивановна, статная, красивая, с походкой королевы, густые с проседью волосы свернуты вокруг головы огромным жгутом, всегда со вкусом одетая, не похожая на наших зачуханных мам, которые наряжаются только по праздникам, — хозяйничала дома. Хотя, я сейчас прикидываю, у нее было четверо сыновей и не все так уж удачно складывалось в жизни. Самый младший, Ванечка, умер при нас, и я помню первое тяжелое впечатление, когда нас, детей, позвали с ним проститься. Впечатление не смягчило и обильное угощение, и сладости, я потом долго просыпался ночью от страха. Двое старших, Лева и Шура, при деле, учатся, потом работают, оба погибнут в войну. А младший, Володька, не будет вылезать из тюрьмы, думаю, там и сгинет.

Но в то довоенное время Гвоздевы еще на высоте. И они, конечно, другие, не похожие на всех проживающих на нашей улице. Они даже со мной, не только со взрослыми, чрезвычайно вежливы, обращаются чуть ли не на «вы».

К нам, подселенцам, людям, по сути, им чужим, занявшим по воле властей их родные пенаты, не ощущается никакой враждебности, я бы это сразу почувствовал. Единственно, кто с нами отчужден, — это старая бабка, полупарализованная, у нее левая рука и левая нога едва действуют; ее я запомнил кормящей овчарку по кличке Рынька или копающейся на огороде, где алеет мясистая клубника, выглядывают из-под резных листьев пупырчатые огурчики, густо зеленеют петрушка, свекла и стреловидный лук.

Через дырки в железном заборе — а он как у всех, из собранных на свалке плоских ленточных обрезков, сплошь в больших и малых отверстиях, — мы заглядываем в огород, клянчим у старой бабки ягоду, и она иногда угощает. А вот Володька, тот демонстративно поедает на наших глазах ягоду за ягодой и никогда не даст, да мы у него и не просим.

Гвоздевы, хоть мы и ходим через одно с ними крыльцо, существуют почти автономно, сами по себе, но живут энергично и весело. У них всегда полный стол гостей, угощение, громкий смех, который доносится до второго этажа. С ними дружат наши соседи по второму этажу Воронцовы, которые занимают три комнаты, а мы только одну, и притом небольшую. Дядя Коля, он-то и есть Воронцов, полагаю, с Украины, его жена тетя Нина из Прибалтики, ее фамилия Паукшта. С ними живут ее два старших брата: Витя и Виля, а из Винницы приезжает хромоногая бабка, мама дяди Коли, которая следит за Сашкой, моим дружкой и ровесником.

Один Сашкин дядька, Виктор, — спортсмен, он играет в местной футбольной команде и работает на заводе сельскохозяйственных машин имени Ухтомского. Здесь все связано с именем Ухтомского, так район называется, и уже с раннего детства я знаю, что Ухтомский — это такой машинист, который помогал революционерам, перевозя тайно оружие. Потом он погиб, а может, его расстреляли, и на кладбище, оно от нас прямо за линией железной дороги, самая заметная могила — его: кованый железный флаг, крашенный в красный цвет, цепь и меч... Мне тогда казалось, что это красиво.

Кстати, бродя по Подмосковию в военном сорок третьем году, я не раз забредал на это кладбище в надежде собрать скорлупу яиц или куски сухаря, которые крошили на могилы верующие старухи, и хотя у могилы Ухтомского, кроме железного вечного венка, никогда ничего не бывало, я проходил мимо его могилы, уж очень она мне нравилась... Но почему-то в ту пору не вспоминал, что где-то совсем рядом лежит моя мама.

Не могу объяснить, не знаю, почему могилу мамы я не пытался отыскать, хотя, наверное, не раз проходил мимо. Мы ее и потом не нашли. А на заводе Ухтомского, который считался заводом сельскохозяйственных машин, где работал Виктор и его дружки, в войну будут делать катюши... Оттуда приносит Виктор значки на цепочке под названием БГТО: «Будь готов к труду и обороне». Значки на заводе «никелируют», то есть покрывают блестящим металлом, и они сверкают, как золотые, а мы с Сашкой цепляем их на грудь, когда играем в войну.

Второй дядька у Сашки, Виля, — шофер. Он добрый, любит выпивать, чумазый и покладистый, катает нас на своей грузовой машине. И хоть Виктор и Виля ненамного моложе дядя Коли, они для нас просто как старшие дружки, мы так и зовем их по именам. А Сашины родители любят декламировать стихи: «Елки-палки, лес густой, ходит Виктор холостой, когда Виктор женится, куда Виля денется?!»

А Виктор потом женится на моей однокласснице Вере Овчинниковой, в первом классе я был в нее влюблен. А куда делся Виля, не знаю. Кажется, он воевал и умер после войны от ран.

3

Вот тут в моих воспоминаниях должен возникнуть въяве мой дружок Саша. Он всего годом моложе, но с ним мы соседствуем и дружим, играем опять же в войну и стреляем из пушечек горохом. Еще одна игрушка — пистолет, который палит пистонами, и этот пистонный запах мне

почему-то ужасно нравится, поэтому Саша, спустив курок, в это время — крошечный огонек, и дым, и гарь, вынимает бумажный прострелянный пистон и дает мне понюхать.

Для наших родителей покупать коробочку с бумажными пистонами, сейчас я прикидываю, немалый расход, а нам хватает ее на один час. Но, конечно, самая большая мечта, несбыточная, подержать в руках, я уж не говорю заиметь, серебристый пугач; их заезжие старьевщики дают в премию тому, кто сдаст медную посуду, а то и серебро. Старьевщики — народ ушлый, они и появляются, кто на телеге, а кто с тележкой, когда взрослые на работе, открывая из-под брезента во всей красе свое волшебное богатство, в виде мячиков на резинке, цветных вееров, пестрых дудочек «уди-уди» и показанный, но только из своих рук, сверкающий на солнце серебряным металлом этот самый пугач. Пугач заряжается «пробкой», которая стоит дороже самого дорогого мороженого, и стреляет так, что слышно на краю Люберец. Еще нам известно, что такие пугачи имеют на весь городок только два блатных парня, не нам чета. В войну они станут главными местными урками, которых боится даже милиция.

Зато у Сашки, первого на нашей улице, появляется настоящий детский велосипед, а потом и проектор с диафильмами. Взрослые Воронцовы (мои родители к ним не ходят, а мирно сосуществуют на кухне), это случается вечером, получают от нас нарезанные кусочки бумаги — билеты, посмеиваясь, рассаживаются в узкой комнатке-спальне. Я подаю Саше квадратные стекляшки-позитивы, а когда Саша вставляет их в аппарат, громко читаю тексты. Саша моложе на год и читать еще не умеет. Все в сотый раз смотрят кино «Три поросенка», громко комментируя происходящее на экране, а потом дарят нам по тянучке, а сами уходят в столовую и шумно допивают за столом вино. Пьет даже тетя Нина, а однажды я вижу, как она курит папироску, и это настолько необычно, что запоминается на всю жизнь.

За столом взрослые говорят обо всем, но чаще — о войне, потому что дядя Коля — офицер, он служит в ближай-

шей части, а на письменном его столе, в рамке, его фотография, где он снят на лыжах: занял в своей роте первое место. В газете, которую читают взрослые, много раз нам попадает слово США, и я тут же соображаю, что это слово САША, только почему-то пропущена одна буква. Взрослым наша поправка нравится, и они громко хохочут.

Шумно, многогласно в их большой комнате-зале, да мы с Сашкой добавляем крика, бегая вокруг стола, и никому неизвестно, это я сейчас знаю, что с началом войны дядю Колю одного из первых, как кадрового офицера, бросят на фронт, он попадет в окружение, потом будет скрываться на чердаке в украинской деревне и в конце концов там и оседет, женившись на хозяйке, которая, видимо, спасла ему жизнь.

А Саша из Пензы (что такое Пенза — город, деревня?), то есть из эвакуации, тоже новое, непривычное словцо, где он окажется с мамой, будет мне писать в деревню Зырянку письма, а я ему отвечать, а после войны поселится с мамой в Киеве, вроде бы станет инженером-электронщиком. Далее и его следы теряются.

Но пока вся семья в сборе, все веселятся, пьют, подтрунивают над Сашкой (кличка Карасик, это из кино «Вратарь»), у которого сзади обнаружился хвостик, а оказалось, что через дырочку в штанах вылез настоящий глист. Хромая бабка, которую мы держим с Сашкой за колдунью, гонит меня спать, а Витя ходит по комнате на руках, посадив на загривок меня или Сашку, а потом показывает нам «Москву», зажав железными пальцами мне и Саше виски и поднимая высоко над полом. И каждый вечер мы с Сашкой канючим: «Ви-ить, а Ви-ить... Ну покажи Москву!»

Иногда в комнатухе у Вити, она через стенку с нами, играет патефон и танцует танго и фокстроты молодежь, все это старые пластинки: «Брызги шампанского», «Риорита», «Дядя Ваня», «У самовара я и моя Маша»... После войны их будут гонять на танцверанде, но впервые они услышаны здесь. Здесь же вместе с нами Витя разучивает модную песенку, где есть такие слова: «Леля, Леля, вырасту большой, далеко уедем мы с тобой, отращу я пуще для красоты, как у Вильки-дворника, усы...»

Моя семья живет совсем по-другому. У нас рано ложатся спать, и никаких компаний развеселых у нас нет. Разве что по воскресеньям приезжает из Москвы старший брат отца дядя Егор, он воевал еще в Первую мировую, попал в плен и оттуда привез золотое пенсне, которое ему не нужно, но он его носит для важности. Братья пьют водку, а отец лихо отплясывает «Барыню» вприсядку или даже волчком. Потом они спорят о политике, и дядя Егор ратует за какую-то крестьянскую партию, но мне это не интересно. Позже я догадываюсь: все Приставкины огромные спорщики. Особенно любят спорить о политике.

4

Меня создала война.

Понимаю, сейчас надо еще объяснить, о какой войне идет речь. Россия всегда с кем-нибудь воевала. Хотя та, что была «нашей» войной, конечно же, отличается от других, предыдущих и последующих, войн. Она была, если выразиться словами историка, и в самом деле о-т-е-ч-е-с-т-в-е-н-н-о-й, то есть народной войной. Мы защищали себя, свой дом от фашистской чумы, и воевали мы все, даже я, хоть и по-своему, не на фронте. Не случайно год моего рождения подтвержден в законе о тех, кто трудился в тылу в 41–45 годах. Полагаю, что мне положена какая-нибудь трудовая медаль, которую давали потом всем труженикам тыла, тем, кто «ковал, — как писали в газетах, — победу над врагом». А трудились в войну, кто не помнит, с 12 лет и по 12 часов в сутки, и я и многие мои ровесники-подростки успели поработать на оборону. Лозунг того времени «Всё для фронта, всё для победы!» не был формальным. Мы свято верили в победу и резонно считали, что от каждого из нас зависит, когда она наступит.

Но медали у меня нет.

Да и нужна ли она мне?

Я получил от войны все остальное.

Она пала на мои 10–14 лет, и если черточку между двумя этими датами не наполнять событиями, хотя как же не наполнять, все равно наполнится, то первый день

творения падет на июнь сорок первого года (мне было, если точно, 9 лет 8 месяцев), а последний — на май сорок пятого, соответственно 14 лет 6 месяцев. Оба года вполне благополучные, если бы не смерть мамы в августе сорок первого года. Но и эту смерть по-настоящему я тогда не переживал, это случится позже, а значит, много тяжелее.

И первый год, даже первые дни войны будут еще заполнены по инерции тем, что называется просто детством. Оно таковым и было: летняя голубень, горячая, подпекающая подошвы пыль, и у дома отцветшая желтым цветом сладковатая на вкус акация перерастает в крошечные стручки, которые пойдут на свистульки.

А последний день — тоже солнечный, с ветерком, но все уже совсем по-другому: я подросток, подхваченный вихрем войны в воздух, как домик в одной сказке, вдруг приземлившийся в какой-то чудной стране; озираюсь, узрев невесть откуда свалившуюся на меня мирную жизнь, и не представляю, но догадываюсь, что это все будет: возвращение на родину, отец, дом и обретение вновь семьи, которую я почти забыл. И чуть ли не в первый день две лютые порки ремнем. Один раз оттого, что отказался идти в поздний час за водкой, а второй — поставил на плитку чайник и ушел, забыв выключить. Только случаем не сжег тогда описанный дом Гвоздевых. Как же отец тогда, озверев, кричал на меня... Как кричал!

5

Валька, он же Пешка, запускал змея, а я стоял рядом. Змеев, которые бы так высоко летали, как у него, я делать еще не умел. Валька натягивал тонкую бечеву, намотанную на катушку и прижатую пальцем с красным рубцом от бечевы, то придерживая, как норовистого коня на скаку, то чуть отпуская, и тогда змей резво взмывал вверх, вильнув длинным мочалочным хвостом и с силой рванув руку хозяина.

Мне хотелось, очень хотелось, прикоснуться к бечеве и хоть вдвоем подержать змея, и Валька это знал. Но никакой надежды на такое счастье не было. Вот если змей нырнет

вниз и надо будет снова его запустить с огорода за домами, мне, может быть, доверят подержать его за прочный деревянный каркас, на бегу подбрасывая вверх. Но змей парил высоко, врезаясь белым конвертом в ярко-синее небо, и надежды, что он почему-то опустится, тоже нет.

И вдруг Валька предложил:

— Письмо напишем?

— Напишем! — с радостью соглашаюсь я.

Я уже знаю, как змею отправляют письма: делают в тетрадном листке дырочку, продевают через катушку, и листок сам собой, чудесным образом поползет вверх, пока не достигнет змея. Змей потяжелее, опустится чуть ниже, но свою воздушность не потеряет.

— А что напишем? — спрашивает Валька, глядя в небо.

— Не знаю.

— Думай, если голова приставлена! — говорит Валька. — Надо написать такое... Ну?

— Какое? — спрашиваю я.

— Важное, — поучает Валька и тянет, тянет за бечеву, глядя на змея. — В письмах пишут только важное. Письмо-то куда?

— Туда, — я ткнул пальцем вверх.

— Ну вот, катай!

Я послунял огрызок химического карандаша, из грифелей таких карандашей можно разводить чернила, но они дорогие, да и не достанешь, извлек из портфеля тетрадь, рванул чистый лист так, что вырвались сразу два, но я не пожалел драгоценной тетрадки, хоть в школе потом влетит, речь-то о письме (первом письме в жизни!), да еще к змею, и тут же накорябал два слова, которые не надо было придумывать, они жили в нас всегда.

Буквы были чуть враскорячку:

ХОЧУ К ТЕБЕ!

Валька проткнул пальцем в письме дыру, продел катушку, и письмо медленно поплыло по бечеве в небо, делаясь все меньше и меньше. Змей гулял на большой высоте, и мы долго смотрели, задрвав головы и сощутив глаза от солнца.

Это ведь правда, что мы все хотели летать. Люберцы того времени могли гордиться тремя вещами: Рязанской дорогой (шоссе посреди города и станция железной дороги за нашим домом, параллельно Рязанке), заводом имени Ухтомского, огромным, темнокирпичным, тяжелым даже на вид, с шоссе он никак не проглядывался, скрытый глухим двухметровым забором, но из вагона электрички его черные задымленные трубы и корпуса, растянутые на километры, были хорошо видны... Но еще в Люберцах свой аэродром.

Дорога, обе дороги и даже завод принадлежали нам от рождения, как воздух, как солнце или деревья, они были вживлены в наше сознание от того времени, как мы стали себя осознавать. А вот аэродром оставался вещью в себе: он был наглухо закрыт со всех сторон не только забором, но еще полосой охраны, так что при желании можно было увидеть лишь край поля с зеленой травой, и где-то вдали, по этому полю разбегаясь, взлетали самолеты. Они внезапно появлялись над нами, над крышами домов, и мы с замиранием сердца следили за их чудотворным полетом.

Сейчас слово «чудо» звучит пусто, оно затерто частым употреблением, а в нашу пору парящая над крышами железная громада, которую именовали «бомбовозом» и которая возникала внезапно из-за ближайших домов, оглушая ревом моторов и поражая сверкающими на солнце крыльями, казалась и правда чудом, и мы все знали, что это чудо пребывает, проживает на краю города, на нашем аэродроме, и это одно делает наши Люберцы необыкновенным местом.

Летчики того времени — это тоже легенда, даже более, чем ныне космонавты. А их имена мы знаем наизусть, и по радио, и в книжках — повсюду рассказывается об их подвигах. Наверное, в более ранние времена люберецкий аэродром был доступнее. Вождь и лучший друг «сталинских соколов» (так именовали летчиков), — однажды на Новодевичьем кладбище я увидел надпись на могиле: «Здесь похоронен сталинский сокол», — обожал воздушные парады и авиационные праздники, и не случайно он запечатлен во множестве кинохроник, снятых на аэродроме в Тушине.

Такие же праздники в начале тридцатых годов устраивались и в наших Люберцах. Во всяком случае, запомнилось, что мы с теткой Полей и ее ухажером дядей Федей (о нем позже) пролезаем под какие-то колючие проволоки, смешиваемся с пьяненькой толпой, пьем газировку, покупаем сливы и, задрав головы к небу, глядим, как белыми цветками распускаются парашюты. Впечатление такое сильное, что в тот же день рождаются первые в моей жизни стихи, где рифмуется «летят» и «глядят».

Мне лет пять, и никаких стихов или песен, кроме как услышанных по радио, я знать тогда не мог. Но мои стихи, уверен, родились от необыкновенности, от чуда пережитого. И написал-то я не о сладких сливах, которые запомнил, это была по тем временам тоже редкость, а о самолетах и парашютах.

Иногда над городом возникали и первые вертолеты, которые назывались автожирами, парили в небе огромные, сверкающие на солнце серебром красавцы дирижабли. Один из них или точно такой же снят в фильме нашего детства «Волга-Волга». Были еще и стратостаты, которые устанавливали рекорды высоты (и здорово гробились), но о них мы узнаем из хроник. Много позже выяснится, что эти храбрые ребята во имя рекордов шли на гибель; в личном предполетном письме инженера Усыскина молодой жене говорится, что поставленная вождем задача будет любой ценой выполнена, но они вряд ли вернутся назад...

Они не вернулись: на какой-то рекордной высоте оборвались тросы, и замороженная корзина вместе с экипажем рухнула вниз. Этого никто не видел и даже не описал. И ни в каком кино никогда не покажут, хотя возможно, что все это снималось на пленку. Нынешним трудно представить, как в предвоенную пору и люберецкий аэродром, и завод, да и вся наша жизнь были засекречены.

6

С ранней юности запомнил этот сюжет из французской кинохроники начала века. Его обычно включают как один из диковинных случаев, сопровождающих рождение воз-

духоплавания: некий чудака решил произвести прыжок с Эйфелевой башни, рассчитывая на какой-то особый плащ, который в момент прыжка распухнет, как крылья, и мягко доставит его на землю.

Хроника снята довольно добросовестно, и, хоть произведена с земли, на ней достаточно видно, как человек подходит к краю пропасти в сильном волнении и медлит, не решаясь прыгать. Он то отступает, то делает шаг вперед и так застывает над ужасной высотой, которая разверстывается под ним. Но уже не столь важно, хочет или не хочет он прыгать, — он должен прыгать, потому что слишком много поставлено на этот прыжок... А возможно, заплачено за него. Да и самый главный распорядитель здесь уже не он, а толпа, ее желание видеть обещанное ей чудо. Конечно, платят они по-разному. У чудака на башне на кон поставлена жизнь, а у нее, у толпы, лишь очередное острое развлечение на сегодняшний вечер.

Я несколько раз видел в кино эту хронику. Она известна. Но каждый раз у меня сжимается сердце от ужасного предчувствия, что и я присутствую при зрелище, которое похоже на преднамеренное убийство. Этот чудака, возможно, и готов отступить сейчас от своего безумного плана, но его подталкивают и подталкивают к смертельно опасному краю, и он уже должен, он обязан для них, для всех, совершить свой обещанный, вот в чем дело, прыжок. И он его совершает. Что происходит далее, известно. Не поленитесь, посмотрите хронику. Вы увидите, как это происходит. Он шагнет в пустоту и крошечным комочком пролетит до земли, до подножия башни, оставшись там лежать. Что от него осталось, хроника деликатно не покажет, да и нечего там уже показывать. Но каждый раз, когда я вижу снова и снова этот сюжет, менее минуты, я снова напрягаюсь, видя это темным комочком падение, и пока он летит, пока не коснется земли, молю Всевышнего, чтобы его плащ когда-нибудь раскрылся и помог сохранить ему жизнь.

Он даже не первый. Сколько других, шагнувших с тем же успехом вслед за ним, не обязательно с башни, — а что мы о них знаем? Да ничего мы о них не знаем, вот в чем дело.

Но тут, прошу прощения, мои поздние знания мешают романтическому восприятию авиации, каковым оно виделось из тех довоенных Люберец, тем более что мой последующий выбор — пойти работать на аэродром — не был, значит, случайным.

Романтика парения, всяческие подвиги, описываемые по радио, с тремя летчицами: Расковой, Осипенко, Гризодубовой, которые покоряли Дальний Восток, художественный фильм про Чкалова, летящего через Северный полюс, дрейф папанинцев на льдине, которых с риском для жизни снимали наши летчики... Да и просто имена Молокова, Ляпидевского, Белякова, Байдукова и других героев, как и драматический эпизод с челюскинцами, которых спасала вся страна, все представало в своем единстве. Подвиги, которые на наших глазах совершались, а потом другие подвиги по спасению тех, кто совершал подвиги до этого. А в целом страна каждодневных и непрерывных подвигов. Ну и песен, сложенных в честь самих подвигов.

Все это становилось частью нашего детства, наших книг и наших представлений о мире и нашем в нем месте. Не случайно, наверное, в тот памятный день, когда взлетел в космос Юрий Гагарин, первый космонавт в истории страны, люди вышли сами по себе, без всяких там призывов сверху, на Красную площадь, и кто-то нес дерзкий, но воспринимаемый вполне как обычный, плакат с призывом: «Все в космос!»

Сейчас я еще подумал, что героизм-то происходил обязательно в чрезвычайных и аварийных обстоятельствах. Чтобы говорить о доблести и о славе, нам нужны были катастрофы и наглядный пример их преодоления. Да их и без того хватало во все времена, в том числе и в космосе, и они продолжают, к несчастью, до сих пор. Столкнусь с ними и я, подростком после войны работая на аэродроме, когда пошлют меня собирать останки летчиков, разбившихся во время испытания самолетов. Среди погибших будут и мои друзья. Но об этом потом, потом.

Тогда-то, до войны, нам все виделось в ореоле славы. Было даже стихотворение довоенного поэта Гусева под названием «Слава». Ну а если и не читали, вспомните фильм «Свинарка и пастух», там тоже в стихах о славе.

Поэты-песенники громогласно по радио и в книжках живописали подвиги так, что хотелось немедленно идти учиться в летные училища, и многие из моих дружков пошли по этой дороге. Да и у меня одной из первых кличек среди разных: Бес, Космырь (что это означает — не знаю до сих пор) и так далее, была — Летун. Я и вправду сильно мечтал летать. Моими первыми марками — кто их тогда не собирал? — была авиационная серия, и среди них — марка, олицетворяющая подвиг Гастелло, который погиб, протаранив в воздухе над Москвой вражеский самолет.

8

Это было первое серьезное испытание начала войны: ночные тревоги, городская сирена, с противным, как зубная боль, завыванием, и налеты вражеской авиации, и страх темноты и неизвестности, и любопытство, заглушенное паникой взрослых, гнавших нас в бомбоубежище, а точнее, в подвал Гвоздевых. Но это потом.

До какой-то поры существовала фотография, сейчас она сохранилась лишь в моей памяти: на скамеечке у соседского дома Сутягиных сидят женщины, и среди них моя мама в домашнем ситцевом платье, а рядом, с краешка, мы с Сашкой. Снято, наверное, в начале июня, и лица у всех вполне мирные, видимо, сидели, болтали, а тут гвоздевский Шурка с фотоаппаратом-гармошкой под названием «Фотокор»: поставил на треногу, щелкнул и побежал проявлять.

Шурка, старший из семейства Гвоздевых, женился рано, и его жена, тоже Шура, черненькая, востроносенькая, почти подросток, скорей всего находится в компании сфотографированных женщин. А еще у них маленький ребенок. У Шуры призывной возраст, и скоро он уйдет на фронт и погибнет, а фотография, сделанная им, останется.

Но до первой военной тревоги еще целый век. А если точнее — двадцать дней. Начало лета было жаркое, и рано пошли грибы-колосовики, в огромном количестве, в основном — белые, и старые бабки, далекие от политики и газет, стали пророчить войну. Обильный гриб, говорили они, это к войне. Но и без секретных донесений Зорге нюхом почувствовали ее приближение и не то чтобы запаниковали, но по российской привычке стали скупать мыло и соль. И мыло и соль тут же исчезли из продажи. И это был тоже знак.

Но была и еще одна верная примета: мой отец, работавший на военном заводе в Москве, стал поздно возвращаться домой. У них, откуда-то я помню, хотя отец не мог ничего рассказывать, клепались для войны танкетки. И на заводе Ухтомского, якобы сельскохозяйственных машин, пошла работа в три смены, и аэродром громче загудел, прибыло много краснозвездных самолетов. Известно, что у нас каждое мало-мальски серьезное предприятие имеет к военному производству прямое отношение, а у каждого из работающих на этом производстве есть близкие или семья, так что любые секреты становились мгновенно достоянием населения, без радио и газет. И все-таки пропажа соли-спичек-мыла — признак надвигающейся катастрофы, достоверный для России во все времена.

Наше огромное семейство — это отец с матерью, нас двое детей да еще тетка и две двоюродные сестры, все в одной крошечной комнатухе (на лето переезжали в чулан), да еще бабушка Варя, приехавшая зимой из Смоленска после смерти деда Петра, — тоже питалось слухами. Но жили по-прежнему: отец на зорьке уезжал в Москву; мама, особенно нервно переживавшая слухи, в очередной раз слегла в панковскую больницу, куда мы ходили под окна ее навещать. А я, предоставленный самому себе, довольно посредственно закончил второй класс (летнее задание по русскому языку), всюду наслаждался уличной свободой.

Впрочем, откуда-то возникает сельский пейзаж, снятая отцом дача, а скорей изба, где моя мама впервые в жизни «отдыхает»: гуляет по лесу, хвалит терпкий со-

сновый воздух, а между тем сплевывает слюну в плоскую небольшую бутылочку, которую уносит за кусты и там выливает. А я хожу за грибами с соседским мальчиком Славкой, и каждый раз мы приносим полные корзины белых, Славка еще больше меня. Наши мамы, пересчитав добычу, посмеиваются над нашим соревновательным азартом. Но грибов и правда обилие. Я уж думаю, не были ли это двадцатые числа июня, потому что мы неожиданно срываемся и возвращаемся домой. Какая же дача, если война!

Но еще запомнился пионерлагерь, скорей всего за год до начала войны. И там мы опять, но уже организованно, играем в войну, в белых и красных, и надо кому-то первому с боем разыскать и захватить спрятанный в лесу флаг. А я, в силу своей робости, записываюсь в санитарную команду вместе с таким же тихоней Женей Князевым, ходившим в соломенном картузе, и мы тащимся по пятам отряда, который вовсе не нуждается в нашей санитарной помощи: ни раненых, ни поцарапанных нет, а флаг (об этом мы узнаем по громким крикам «ура!») добывает девочка по имени Катя, которая мне нравится, но она недоступна для знакомства, ибо она героиня: в стенгазете о ней заметка, которая называется «Как я завоевала красный флаг!».

9

Моя влюбленность в Манечку из краснокирпичного дома, маленькую, курносенькую, смешливую, закончилась плачевно: Валька Пешка, которому Манечка тоже нравилась, растрезвонил про мое увлечение, я даже помню, как перед домом он изображал в танце с платочком нашу свадьбу, все умирали от хохота, а оскорбленная Манечка пришла жаловаться к моим родителям. Она со слов Вальки Пешки сообщила, что я будто бы хвалился, что ее «делал». Отец, выкатив от бешенства глаза, задал мне при Манечке глупый вопрос, а правда ли я это говорил, и я из чувства мужского самолюбия твердо сказал «да», хотя до конца так и не осознал смысла этих слов. Но взрослые-то, наверное, знали, о чем речь, и задали такую порку ремнем, опять

же при Манечке, что не мог долго садиться. После войны, оказавшись на люберецком рынке, я вдруг наткнулся на Манечку: крупноватая, с толстыми ногами и глазами навыкате, она перепродавала мороженое и меня не узнала. А я, ставший ей ровно по плечо, гордо прошествовал мимо.

На этой порке и закончилась моя любовь. Некоторое время мне нравилась Эльга, сестра Яши из еврейской семьи из того же красного кирпичного дома, а потом я влюбился в пионервожатую в лагере, ее звали Люба. Но в Любу были влюблены и другие, а она лишь посмеивалась, а по вечерам, когда нас укладывали спать, танцевала на веранде под патефон с другим пионервожатым, а мы украдкой, проникнув на улицу через окошко, ревниво наблюдали за ними, спрятавшись в кустах.

Была еще Надя Соловьева, красивенькая девочка с короткой стрижкой, из домика на соседней улице, и ее мама, прямо-таки копия Нади и такая же смешливая, часто зовет меня в гости. Угощает, расспрашивает о здоровье мамы, однажды дарит на память стальной шарик от подшипника, а я беру его в рот и нечаянно проглатываю. Но Надя с мамой, как я говорил, быстро уехали, и осталась еще Валька из дома напротив, моя ровесница, тихая, безмолвная раба дома: ее мама, замученная работой на огороде и с коровой, весь день хлопочет по хозяйству, а Валька каждое утро разносит по соседям молоко.

Но в Вальку влюбляться неинтересно, она совсем своя, от выцветшей ситцевой кофточки до короткой юбочки, под которой, мы знали, больше ничего и нет. И Володька Гвоздев, ему уже лет пятнадцать или больше, вернувшись из тюрьги и днями теперь просиживая в палисадничке на скамейке, с каким-то странно бледным, водянистым лицом и блуждающими глазами, однажды заметил проходившую за забором Вальку и, оживившись, спросил: «Как она?» — и потребовал привести к нему.

Валька пришла сама и покорно села к нему лицом, как он велел, раскорячив ноги, а потом и вовсе легла на лавочку. Володька ухмыльнулся и, поглядывая на нас, мы стояли кругом, извлек свой член, розовую туповатую мор-

ковку, помял для чего-то пальцами, задумчиво рассматривая, потом перекинул взгляд на Вальку, на ее крошечную безволосую промежность. Неторопливо двумя пальцами раздвинул две узкие блеклые губки, обнажив красное нутро, и деловито ввел туда свою морковку тупым концом. Валькины сухие голые ляжки смешно задвигались, а тело поползло вдоль скамейки. Сама Валька смотрела вверх на деревья, а на происходящее не реагировала, будто это была не она сама.

Володька медленно провел членом туда и обратно, но делал это как-то механически, как видел, наверное, у других, потом извлек свой член наружу, вытер его рукавом и застегнул штаны.

«Ну, кто хочет попробовать?» — спросил, скривясь. Мы молчали. Никто не захотел «попробовать». Валька поднялась, поправляя юбчонку и ожидая дальнейших приказаний. Но ею уже никто не интересовался. Это уже после войны, появившись в тихом Куракинском переулке вместе с Володькой Рушкевичем, о нем речь впереди, и завидев Вальку, все так же хлопотавшую по хозяйству, — она шла с ведром воды, и даже короткая юбчонка, как мне показалась, была все та же, от довоенных времен, — мы стали пристально рассматривать ее ноги, многозначительно переглядываясь. И, наверное, тогда оба подумали, что Валька хоть и должна быть доступной, но она не вызывает тех особенных чувств, которые мы мечтали испытать, романтически настроенные подростки. Нам нужна была не Валька и даже не Манечка или Эльга, а какая-нибудь грудастая молодая и улыбчивая женщина, которая бы все показала и всему научила.

О том, как это происходит, мы с Володькой немного знали по чужим рассказам. Так, коротышка-инвалид без одной ноги, работавший на томилинском военном складе под названием «ЦС», как-то при нас задрал юбку проходившей девки и показал, условно, сзади, как это делают, а девка лишь хихикнула, но не рассердилась и даже, как нам показалась, с удовольствием подставляла свою задницу. Это был как маленький спектакль для начинающих. А дев-

ка та, было известно, трахается на сосновых скрипучих, пахнущих смолой досках с заезжими военными, которые принимают продукцию для фронта, и даже, как рассказывали, вопит от радостной страсти на весь ночной цех.

Был еще рассказ Лобанова Володьки, про воспитательницу Наталью Власовну, как ей ломали «целку», но это был даже не эпизод, а событие в нашей кизлярской жизни, и я расскажу о нем позже.

Там же возникнет наш детдомовский молодой конюх Иван, который обычно сажал молодух на колени, и там под юбкой происходило таинство, недоступное взору, но оттого еще более заманчивое. О том, каково оно, мы могли догадаться по лицам, вдруг раскрасневшимся, даже почему-то потным, по временам отрешенным, но после окончания процесса, не очень долгого, уже с оглядкой на нас, особенно у девиц, нагловато-насмешливым, мол, смотрите и учитесь... Если стоит. А у кого стоит? У кого?

Ну, а совсем уж поразил меня случай на аэродроме в аккумуляторной, где работал я после войны и где электрик Василий, широколицый, рыжий, нахальный, драл (так им было сказано) как сидорову козу аккумуляторщицу Зину, которая и правда напоминала чем-то козу: с большими вылупленными глазами и широкой задницей, которую однажды обожгла кислотой, когда ее повалили прямо на аккумуляторы, и даже при этом не пикнула.

Однажды сокурсник по техникуму под большим секретом дал мне на ночь две книги, зачитанные до дыр. Одна называлась «За закрытой дверью», другая — «То, что не должно быть». Автора не помню, кажется, австрийский врач-сексопатолог. Но ошарашивающее впечатление от описания всяких там положений и подробностей я запомнил. Даже названия книг, хотя держал их в руках несколько часов.

Мне потом повезло в жизни повстречать настоящих женщин и любить по-настоящему. И они любили меня. Но я не уверен, что первые уроки, преподанные наглядно уркаганом Володькой, рассказами дружков и прочитанным, не повредили в моей настоящей, и особенно первой, любви.

Точно помню, что мы с Сашкой после эпизода с Валькой не стали обсуждать увиденное, не найдя в нем ничего для себя полезного. А вот то, что мы зарыли клад, всю-всю мелочь, которой обладали, там, в палисаднике, нас здорово волновало, мы боялись, что томившийся бездеятельностью после выхода из тюрьмы Володька догадается и наши сокровища обнаружит.

И правда, сообразив по нашим глупым ужимкам, что у нас что-то в саду зарыто, видимо, мы часто бегали смотреть, он взял палочку, простучал весь сад и клад легко обнаружил. И пока мы бегали жаловаться Сашкиной бабке, он выгреб оттуда серебро, а медяки вернул, произнеся с усмешкой, что пока он страдал за решеткой, мы обжирались мороженым и с нас довольно. Но в знак примирения предложил закурить «беломорину». Мы с Сашкой попробовали, закашлялись и больше не просили. Но сам момент курения нас заинтересовал, и мы уже сами, поднявшись к Сашке (бабки, к счастью, не было), стали вертеть из бумаги самокрутки, а дымящиеся огарки засовывали за диван. Как мы тогда не спалили гвоздевский дом, деревянный, старый, не представляю. Эти огарки вскоре обнаружили Сашкины родители и нас обоих призвали к ответу. Сашку наказали при помощи ладони: дядя Коля по-другому не умел, а меня отлупили даже не ремнем, а проводами от электроплитки, это было особенно больно. Но уже через полгода, проживая в Сибири, в селе Зырянка, расположенном у Транссибирской магистрали, мы, детдомовская шантрапа, ходили собирать вдоль насыпи окурки, ссыпали табак на железку, сушили на огне и делали самокрутки, затягиваясь уже по-настоящему. Выпрашивали у местных мужичков самосад, у солдат махорку, курили листья и траву. Но курение меня не затянуло, и к концу войны я бросил это занятие совсем.

Еще были драки, улица на улицу и без улицы, с кем попало и по любому поводу. Я не был драчлив, да и компашка с Валькой, который Пешка, с дебильным Митяем,

с Толиком Мустафой и, конечно, с Сашкой Карасиком не давала повода для серьезной драчки. Ну, собирали фантики от конфет, играли в перышки, в пристенок на деньги, в расшибаловку — это когда бросают биту к черте (чире), а тот, кто был точней, первым расшибает тяжелой железной битой столбик монет, забирая в карманы те, что лягут на орла.

Играли еще в ножичек, это была самая привлекательная из игр: виртуозное втыкание ножичка острием в кучу песка с колена, с живота, с пальцев рук, с носа, с губы, с головы и так далее, до «рописи»... С высоты роста держа нож за лезвие, надо пустить его так, чтобы, повернувшись, он воткнулся красиво в песок. Проигравшему доставалось тащить зубами из земли забитый глубоко колышек, по которому били столько раз, сколько ты не доиграл. Нередко приходилось тащить колышек и мне, ощущая скрипящий песок во рту и острую резь под веками, куда забивался песок. Но ловкое владение ножом не пропало даром. В тех «учреждениях», как их ныне называют, где пришлось потом побывать, оно очень даже пригодилось.

Были и приличные игры: городки, лапта, в сумерках — прятки, а в домашних условиях еще карты и лото. В лото с удовольствием играли и дети, и взрослые. Зимой катались на самокатах: этакие деревянные щиты, поставленные на три конька и с ручкой, подвижной, тоже на коньке, и все наваливаются кучей и так, с визгом и с криком, несутся под откос по ледяному скату. И вот тут, среди владельцев самоката, возникает Санька Купец, который отчего-то меня невзлюбил и бил при встрече по носу (говорили: «по сопатке»), обычно до крови, потом отбирал санки и выворачивал карманы в поисках мелочи. Но однажды после моего зарезанного возвращения домой его подкараулил мой отец и бежал за ним резво по огородам, с криком «Сволочь, убью!». Купца он не догнал, но травля на время прекратилась. Да и времени для нее не оставалось, шел июнь сорок первого года.

Вдруг заметил за собой такую странность: приближаясь этак осторожненько к черте, за которой начинается война, даже почти прикоснувшись к ней и занеся за черту ногу, я вдруг, отпрянув, возвращаюсь к довоенному детству, о котором что-то недосказано, недосмотрено... Недопрожито, что ли. Это даже не страх перед новой темой, которая порешит, порушит прошлое, а скорей суеверное чувство, что, перейдя в повествовании роковую границу, я уже не смогу вернуться назад и быть так беспечен и наивен. Безоглядно счастлив.

Тем более что на дворе теплый июнь, но еще не пропеченный до пыли на листьях, еще цветет желтым сладким цветом акация, потом будут на ней острые стручки, из которых мы смастерим свистульки.

А вот каким образом в моем довоенном июне разместилось все сразу: пионерлагерь, чужая дача в Немчиновке, там же лес с белыми грибами, компашка моих дружков, Гвоздевы, Валька, мама, лежащая в больнице, у окна которой мы простаиваем по воскресеньям, да еще Глазовский сад (так он почему-то назывался) — не могу объяснить, просто не знаю.

В детстве отсчет времени иной, все течет медленней, а события видятся подробней, как обычно происходит в поездках в чужие края: за три дня переживешь столько, что покажется, прошел месяц... А вернешься домой — что месяц, что неделя, промелькнули и нет. Детство — это ведь тоже поездка, это путешествие в окружающий мир, который еще не стал привычным, и каждый цветной осколок (сейчас-то я знаю, это от разбитой зеленой или коричневой бутылки из-под ситро), и даже шляпка гвоздя в полу или гривенник, найденный на помойке, помнятся так ярко, будто это было вчера.

Но разве бы сегодня я рискнул описать два-три года жизни во всех мельчайших подробностях? Что-то было, и что-то запомнилось, но открытием не назовешь. И чем старше, тем больше становишься этаким Шивой, способ-

ным самопогружаться так, что время для тебя перестает существовать. А вот тогда... Ох, господи, тогда каждый камешек на дороге, обломок антрацита или остроугольного гранита с вкраплением драгоценно сверкающего кварца, как и каждое встреченное лицо, врезались в память навсегда.

Пишу я о Люберцах. Что-то есть в этом городке такое, что он все время на слуху. Его ли близость к заводскому народу, тяга к деревенскому стилю жизни... А может, влияние той самой Рязанки, которая всегда вела не на запад, а на восток? Наши-то боссы предпочитают жить и ездить по другим дорожкам, наша для них оказывается слишком, что ли, простонародной. Их даже не привлекает сегодня знаменитая Малаховка, куда в прежние времена тянулась московская интеллигенция.

Иногда я проезжаю на машине по бывшей Рязанке, направляясь в Томилино к сестренке Люде, и указываю дочке Маньке за окно, мол, вот наш кинотеатр, Мосторг, а в глубине Куракинского переулка маячит призрак нашего деревянного дома, где... Но достаточно понимаю, что этот мир для нее лишь нагромождение многоэтажных домов, не более. А значит, мой мир, который в себе ношу, уйдет вместе со мной.

Вот для того и пишу. Но не насильно, а лишь когда вспоминается. А что у ребенка может вспоминаться в первую очередь, если не мороженое?

Зашел как-то на заседании помиловочной комиссии разговор о мороженом, как еще недавно в ГУМе продавали его, вкусное-превкусное, и иностранцы, которые далеко от центра не ходили, всегда вспоминали именно его: «О-о-о! Россия, такое мо-ро-же-н-о-е!» Кремль да мороженое — вот что они вспоминали. А Женя Альбац с мечтательной улыбкой произнесла, что она помнит точно, что сливочное мороженое стоило 28 копеек, потому что столько ей давали на школьные обеды. Ну, еще были рожки...

— Что-то у тебя все мороженое из самых дорогих, — упрекнули ее. — А фруктовое за семь копеек ты не ела?

— Я его не любила, — сказала она.

— Да при чем тут любовь, просто на другое денег не было!

— А кто помнит, сколько стоило мороженое в сорок пятом году, после войны? — спросила Чудакова. И тут же рассказала, как она увидела из окна отца, вернувшегося с войны, но не поверила, что это он, а потом услышала крик, это кричала ее мать, оттого что тоже увидела отца... — Я и не знала, что она так может кричать... От радости... И вот он дал мне сто рублей и сказал: «Купи на все мороженого». И я побежала и купила сразу десять штук!

— А сливочное мороженое впервые появилось еще в войну, — объявил я. — И я даже помню где... На Гурького у магазина подарков. Помню, впервые его попробовал и обомлел: вот это штука!

Но вряд ли кто-то еще помнит, что мороженое в брикетах было с двумя картинками, на одном был нарисован белый медведь, а на другом — пингвин. В Москве его выносили в нескольких местах, и одно из них был парк культуры и отдыха, что у Крымского моста. И я туда специально приезжал и караулил, когда откуда-то из-за кустов вынырнет тетка с лотком и начнет... Важно было вовремя подскочить с заранее зажатыми в кулаке деньгами и сунуть первым... Ибо через минуту ее уже осаждали десятки жаждущих моих сверстников, и никто не мог быть уверенным, что именно его осчастливят, отдав вместо замусоленной бумажки волшебный кусочек белого счастья.

Но, правда, возле люберецкого кинотеатра, когда мы там тусовались, на пяточке, при входе, Валька Пешка притаскивал коробку с пломбиром (круглый, нежно-кремовый, завернутый в бумажку) и торговал им среди нас, дружков, по цене, которую назначала мать. И мы не говорили «спекулянты», потому что Валькина мать тетя Нюра сама платила где-то на перекупке немалые деньги, чтобы на этой проданной коробке подзаработать.

— Ну, а кто помнит, сколько мороженое стоило до войны?

Выяснилось, что помнит лишь один человек. Юрист Коченов.

— Из жестяных кругляшков, — сказал он, — куда клали вафельки, самый малый кругляш стоил десять копеек, а дальше: двадцать, тридцать...

— А самый большой?

— Не помню. У нас, кажется, больше и не было.

— А у нас было... — И я гордо добавил, что самый-самый большой кругляш стоил целый рубль. Я лишь один раз видел, как его брали.

— Да, — подтвердил Коченов. — Рубль до войны — это были большие деньги.

Ну и далее такие воспоминания, что на вафельках были имена, что жестяные кругляши окунались в воду, а мороженое доставали ложкой из баков, покрытых серебристым инеем, потому что баки были погружены в дробленый лед...

Про вкус того самого довоенного мороженого речь так и не зашла, потому что это была бы еще одна история, которую я здесь расскажу.

А дело в том, что у того довоенного мороженого вкус был особенный и цвет особенный, оно было желтоватого цвета и как-то по-особенному пахло. Не сливками и тем более не порошковым молоком, а как-то иначе. И этого запаха и вкуса я уже после войны не встречал никогда. И если я начинал рассказывать про этот самый цвет-запах-вкус, опытные люди с мудрой усмешкой произносили, что в детстве все так и бывает, что кажется и вкусней, и лучше. Но мне и самому стало казаться, что я вспоминаю то, чего на самом деле нет.

Но однажды на краю города Саратова, где я проходил в армии службу, я наткнулся на какую-то доморощенную мороженщицу, которая торговала мороженым в стаканчиках. И я по-солдатски торопливо, сгорая от пыльного зноя, куснул от края и — обомлел. Это было мороженое моего детства! И цвет, и вкус, и запах... Я даже вернулся к женщине, хотя успел отшагать пол-улицы, и от нее узнал, что мороженое это не просто сделано на натуральных продуктах (видно, женщина подрабатывала, и это было частное домашнее производство), но в нем было яйцо. Только и всего. В нынешнее мороженое яиц не кладут.

А потом случилось мне побывать впервые в жизни в Италии, с делегацией писателей, и меня уверили, что Италия — родина мороженого и нет такого мороженого, которое бы здесь не продавалось. Разговор происходил в одном из уютных ресторанчиков, где нас угощали, и я тогда рассказал историю моего мороженого из детства и про яйцо тоже не забыл упомянуть. И тут наши заботливые хозяйки кликнули официанта и что-то ему объяснили. А потом ужин закончился, но все терпеливо ждали, поглядывая в сторону кухни и на меня. Итальянцам очень хотелось доставить мне ту самую радость открытия «мороженого из детства», которую бы я испытал.

И вот его принесли на крошечном блестящем подносе и поставили передо мной. У всех на глазах, смущаясь от такого внимания, я взял в руки серебряную вазочку и такую же серебряную ложечку и стал пробовать... Это оказался просто желток с сахаром, то, что у детей зовется гоголь-моголь! Но мне заглядывали в лицо, ожидая моих восторгов, и я их изобразил, как же иначе! Но любимого мороженого из детства я больше в Италии не заказывал. Да я там и не бывал.

В нашу компашку попадает некий Чижиков (Чижик), одноклассник, который, бросив камень, разобьет мне голову, шрам вверху лба так и остался навсегда. Помню, я нагнулся к земле, и в это время голова от удара загнулась колоколом. Но боли я сразу не почувствовал, а заплакал лишь когда брызнула стружкой кровь. Мать не растерялась, она вообще была к таким неожиданностям готова, и, как сейчас помню, соседке Сутягиной под ноготь воткнулась заноза, кусок щепки, и мать ловко ножничками занозу извлекла. И сейчас, жестко приказав мне не выть, она достала марганцовку, промыла мне рану и крепко завязала бинтом. Так, героем, с перевязанной головой, я и объявился в школе, как знаменитый герой Гражданской войны Щорс в одноименном кинофильме... «Голова изранена, кровь на рукаве, след кровавый стелется по степной траве...»

И вот что было: во дворе школы ко мне при всех подошел Чижик, подошел и попросил прощения, и это меня

пробило более, чем его удар. Мы с ним даже подружимся, но ненадолго. И он, и класс останутся в Люберцах, а я уеду. На фотографии первого класса, она единственная сохранившаяся с того времени, рядом с учительницей Анной Михайловной сидит, чуть наклонясь вперед и втянув шею, мой Чижик, у него, оказывается, большие темные глаза и выразительные губы. А я в своей праздничной матроске где-то в самом верхнем ряду третьим от края, правда, по соседству с моей школьной любовью Верочкой Овчинниковой, которая чуть ниже и наискось. У нее золотые волосы и ярко-голубые глаза, а на фотографии видно, что она к этому дню тоже принарядилась, на шее косыночка и какой-то немыслимый цветок.

Вера Овчинникова жила на другом конце Люберец, за ремеслухой, в которой потом будет учиться Юрий Гагарин, и горсоветом, в стандартном двухэтажном доме, где имела комнату семья моего дяди, брата мамы, которого я почему-то прозвал Папанька, ударение на втором слоге, о нем речь впереди.

Вера поразила меня тем, что всегда была нарядной, всегда с большими бантами, которые еще больше подчеркивали голубизну глаз. Однажды я осмелился ее проводить, но возле ее дома подошел какой-то пацан, сурово посмотрел в мою сторону, увел ее, и она послушно с ним ушла, не оглянувшись, словно меня не было.

Я до сих пор вижу въяве эту картинку, как он что-то ей недовольно пробурчал, а она покачала головой и, чтобы скрыть смущение, ступила на деревянный цоколь, который опоясывал дом на высоте полуметра, и пошла по нему, в одной руке портфель, другой рукой она опиралась на плечо мальчика, и так, балансируя и продолжая начатый и, видимо, неприятный для нее разговор, они уходили далее и далее, а когда стенка закончилась, они завернули за угол. А я со своим портфелем забыто стоял.

Вот такая история. Но у нее есть продолжение. Это случилось сразу после войны, году в сорок шестом, когда мимо нас с Валькой Пешкой — мы стояли у обочины тротуара и вели разговоры о будущей работе — прошла фигу-

ристая девушка, я ее и не признал, уж больно взрослая для нас, двух послевоенных заморышей. Но Пешка, проследив взглядом, произнес небрежно, как умел это делать, что это Верка Овчинникова... Ишь буфера выставила!

Потом и я несколько раз встречал ее на нашей улице, но опять же не осмелился подойти, она была почти дамой, а не той одноклассницей, которая доступна для общения. А еще через несколько лет я с удивлением узнал, что вышла она замуж за Виктора Паукшту, то есть нашего Витю, который приходился дядей Сашке Воронцову. И это смутило, поразило меня: Витя, хоть и был поперву наш довоенный дружок, но к описываемому времени уж точно был зрелый мужчина, фронтовик, а Вера-то хоть расфуфырилась, но оставалась моей ровесницей.

А вот еще через годы, даже через многие годы, у меня на работе вдруг раздался звонок: Вера, бывшая Овчинникова, разыскала, увидав меня по телику, и пригласила на встречу нашего класса, который, оказывается, просуществовал до самого выпуска, а теперь собирается каждый год у Веры на квартире.

Однажды мне в лицах такой сбор своего класса через много лет рассказал бывший летчик и писатель Анатолий Маркуша. Никто никого не узнает, все изменились, постарели и т. д. Картина не из приятных, но мне она не угрожала, у меня не случилось во время моего бродяжничанья за войну, по детдомам и по тылам, своего постоянного класса. Я едва ли помнил, а чаще вовсе не помнил не только одноклассников, но и учителей. Да и как их помнить, если улица и рынок были моей главной школой. А вот этот был моим первым классом в жизни, и он не мог забыться навсегда. К тому же в доме чудом сохранилась фотография первого класса, я даже помню, как нас снимали у стены нашей деревянной школы, и в самом верхнем ряду, третий слева, стою в своем праздничном матросском костюме я, а ниже и чуть правей — Верочка Овчинникова, девочка с пухленькими щечками и роскошным бантом на груди.

Повертел в руках я ту фотографию и, несмотря на занятость, поехал — кажется, это был старый Новый год, да и

мои родные Люберцы не самый край света. Сразу нашел и улицу, бывшую Смирновскую, и кирпичную пятиэтажку, да и Веру узнал: она из тех, кого годы берегут. В дверях стояла женщина в годах, слегка подкрашена, в нарядном костюмчике и с приветливой улыбкой. И это была точно она.

В застолье же было человек десять-двенадцать, и среди них еще несколько знакомых лиц с того перwokлассного фото, в основном девочки. Бывшие девочки, ныне солидные дамы, но без чопорности, живые, даже смешливые, на меня поглядывают с любопытством. Мужчин почему-то я не узнавал, да, кажется, это были уже не те ребята, с какими я начинал довоенную школу.

В каждом коллективе есть свой заводила, энергетический центр, а здесь, насколько я понял, организатором была как раз Вера. Не случайно именно она меня нашла и позвонила. Во время паузы она отвела меня в соседнюю комнатушку, показала альбомы с фотографиями и карточку Вити Паукшты, моего бывшего соседа, показала, но, конечно, я его не узнал. Десять лет назад он умер. Работал сорок лет энергетиком, был человеком активным и спортом занимался до конца жизни. Вера посетовала, что издали альбом о люберецком крае, но среди многих знаменитостей о Викторе ни слова. Да и обо мне тоже ничего нет. Как говорят, не удостоился.

Тут же Вера обозначила следующую встречу через год, на которую я, конечно, уже не попал. А больше они, кажется, не собирались.

12

О нашей семье я как-то рассказывал в «Рязанке», она ничем не отличалась от многих других люберчан, которых я знал. Люберцы были тогда рабочей слободкой, окраиной, сюда, на завод сельскохозяйственных машин, съезжались новоиспеченные рабочие со всей страны, сейчас бы сказали — лимитá. Большинство, как и мой отец, из деревни.

Отец, насколько помню, начинал с плотницкого дела, в наскоро сколоченной бригаде, другой работы не было,

но одновременно стоял в очереди на бирже труда, пока не устроился на завод Ухтомского. Все это до его женитьбы. Можно сосчитать, что в тридцать первом, когда я родился, отцу был двадцать один год. Приехал он сюда из смоленской деревни, тоже бедствующей, а угол в первый год снимал в Панках, в домике у старухи, у которой другой угол снимала моя мать, была она на год моложе отца. Тут они и поженились, и тут, наверное, был зачат я.

Я этот небольшой панковский домик, потемневший от старости, с тремя слепыми окошками, выходящими на Рязанку, запомнил потому, что моя мама водила туда в гости. И старуху запомнил: ласковая, приветливая, чаем угощала. А меня, как на праздник, наряжали в этот день в матросский костюмчик.

Ходили мы с мамой мимо разгромленной тогда церкви, одни обломки кирпича, сейчас на том месте клуб облезлый с колоннами, и мама, я запомнил, всегда крестилась, обратясь к развалинам. Фундамент из красного кирпича торчал еще долго, до войны. Сейчас, по пути к сестренке, через Панки в Томилино, я проезжаю мимо этих мест, но здесь уже все сплошь застроено большими домами, и лишь примерно можно угадать, где это было, где я был зачат в деревянной темной халупе, а крещен в церкви около пруда.

Потом отца забрали в армию, он служил в Энгельсе под Саратовом, и мама со мной туда ездила, и хотя мне было года два, Волгу и эту поездку я чуть-чуть помнил. Потом отец вернулся, по рассказам мамы, когда мы с ней здорово бедствовали, и привез вот праздник-то в семье полмешка муки и еще каких-то гостинцев. Устроился он уже на военный завод в Москве, где-то у Красных Ворот, и по тем временам прилично стал зарабатывать. Да и мама продолжала работать на трикотажной люберецкой фабрике, она располагалась по левую сторону от Рязанки на краю Панков. А когда мама заболела туберкулезом, ей от этой фабрики даже привезли ручной английский станок, на котором она могла ткать для фабрики трикотажные изделия, закладывая цветные пластиковые шпули в машину. Это все делал отец, он же иногда за маму работал, водя туда и

сюда рычагом, мне это было еще не по силам. Но в нашей крошечной комнатухе не было для такого станка места, и его закрепили прямо на подоконнике. Зато маме каким-то образом удавалось выкраивать пряжу на трикотаж для меня и для сестренки.

Кроме дяди Миши, Папаньки (с ударением на втором слоге) и тетки Поли, у мамы не было родни, они с малолетства росли сиротами. Да вот еще были какие-то непонятные родственники, проживавшие в Немчиновке в пригороде Москвы; я хорошо запомнил, и это меня почему-то сместило, что родственников звали одинаково: тетя Паша и дядя Паша.

А мама обычно напевала:

*Светит месяц, светит ясный,
Светит полная луна,
Я поеду к Пашам в гости,
Аж до самого двора...*

Про месяц песенка возникла не случайно, мы почему-то всегда ездили в гости вечером. Так и запомнилось: небольшой пригородный домик с садом и позднее застолье при тусклой лампочке, где взрослые о чем-то долго спорят, а я, сидя на диване, засыпаю.

У бабы Паши маленькие глазки и тонкие, дрожащие во время разговора губы. Это потому, что она заикается. А дед почти не запомнился, только что-то небольшое, мягкое, бурчащее. Судя по поздним рассказам отца, был он скареден, и наша мама еще девчонкой бесплатно работала у них в прислугах. Он и погиб, со слов отца, от своей жадности. Это случилось в самом начале войны, когда фронт подошел к Москве, к их поселку, и он зачем-то потащился под обстрелом на огород, то ли что-то спрятать, то ли что-то отрыть. Там, на огороде, его и накрыло снарядом.

К отцовским друзьям по заводу мы тоже ездим в гости в Москву. Они живут неподалеку от Казанского вокзала (из Люберец прямой путь), в собственной квартирке из двух комнат: одна, спальня, крошечная, без окон, вторая —

гостиная, где собирались взрослые, чуть просторнее, но с окошком в потолке.

Звали их тоже запоминательно: дядя Ваня и тетя Маня, а их дочку, мою ровесницу, — Верочка, которую я возненавидел только за то, что взрослые, подшучивая, называли однажды моей невестой. Но сейчас, по воспоминаниям, думаю, она была даже хорошенькой, хотя ее, как и тетю Маню, портили передние зубы, очень редко расставленные.

Дядя Ваня, статный, видный собой мужчина, был шутник и подтрунивал не только надо мной, но и над отцом, его крестьянской закваской, это когда он в гости приехал со своей засоленной капустой в кастрюльке. Тетя Маня — толстенькая, подвижная, хозяйственная, хлебосольная. Традиционное московское гостеприимство — сытно угостить и приютить, если мы оставались у них ночевать.

Однажды, запомнилось, после войны они приехали к нам в гости, мы жили на станции Ухтомская, но я, подросток, в ту пору неуравновешенный и чуть диковатый, встретил их неприветливо, в то время как отец, пригласивший их, запаздывал с работы. Дядя Ваня психанул, хотел уехать, но объявился отец, попросил не обращать на меня внимания: у него, то есть у меня, переходный возраст... Обошлось. Но больше они к нам не приезжали. Эта довоенная дружба, когда встречались семьями, не могла сохраниться, когда после смерти мамы в доме возникла другая женщина, моя мачеха. Но в моей довоенной биографии она, как крошечная страничка, вырванная на память, сохранилась, уж сам не знаю зачем.

Из люберецких соседей мама дружила с мамой Пешки, тетей Нюрой, маленькой, толстой, безмужней, очень говорливой, уж не знаю, чем она занималась, кажется, работала билетершей в кинотеатре. Дружила еще с мамой Мустафы, темноволосой тихой женщиной с красивыми грустными глазами, тоже безмужней. А вообще, сейчас начинаю вспоминать, и оказывается, наша окраинная слободка была почему-то безмужней. Кажется, только у Эльги с Яшей был отец, местный парикмахер.

Но еще у меня была Крестная. Я так и пишу с большой буквы, потому, что и само наименование — Кре-ст-ная — звучало необычно и радостно, и потому, что встреча с ней тоже была праздником, она меня и вправду любила, кажется, даже больше, чем своих детей Серегу и Ляльку. По-настоящему же звали ее тетя Шура Шлейн, и проживала она с мужем и двумя детьми в поселке Калинина на окраине Люберец, аж за заводом, глухая стена которого тянулась вдоль Рязанки на несколько километров! А вот как стена заканчивалась, слева от шоссе открывалось белое здание люберецкой поликлиники, а справа — въезд в поселок Калинина, и, повернув, надо было найти второй от края слева деревянный двухэтажный дом, а там тебя встречает золотой улыбкой (вставные зубы) твоя Крестная, она же тетя Шура Шлейн.

До войны и до смерти мамы Крестная была истинно Крестной, любила меня баловать, дарила подарки, и где-то на старой фотографии я снят в своей праздничной матроске, с вязаной сумочкой через плечо, эту сумочку мне связала моя Крестная. Работала она в торговле, а перед войной на заводской фабрике-кухне, были такие странные гигантские комбинаты питания для рабочих. До сих пор, проезжая Люберцы, можно увидеть на противоположной от завода стороне, через Рязанку, рядом с упомянутым старым зданием поликлиники несуразное сооружение с трубой, более похожее на крематорий, чем на общепит. В войну, бродя бездомным и голодным по Подмоскovie, я зачем-то забрел к своей Крестной в надежде, наверное, на корку хлеба и был ею выставлен за дверь. Этот эпизод я однажды описал, не хочу к нему возвращаться. Обида зажила, но помню, как я был потрясен, когда меня из сытно пахнущей столовой, насмерть голодного, выдворили на улицу. Ни в чем не хочу винить эту бедную женщину, ей потом не повезло: оба сына погибли, да не в войну, а после, при каких-то криминальных разборках. Да и в трудные военные годы ей с двумя детишками было, как и всем, не сладко, хотя знаю, сам видел, что все, кто тогда умело устраивался около продуктов, выживали лучше других. А со мной, бездомным, нечего было и сравнивать.

Ну вот, снова заступил за черту, после которой трудно возвращаться в довоенную мою жизнь. Война цепко держит меня в своих объятиях-тисках и не отпускает даже в воспоминаниях. Любые события, встречи, лица возникают сразу как бы в нескольких временных пластах, и отделить один от другого трудно, почти невозможно. Но если бы представить прошлое как археологический раскоп, а человеческая память, по сути, и есть раскоп, только менее упорядоченный, то довоенный пласт выглядел бы светлее и игрушечней, заполненным разными пустяками в виде цветных осколков от бутылок, монеток, перышек, фантиков от дешевых конфет... А военный — это тогда осколки от зажигательных бомб, карточки, грядки картошки в центре городка, вдоль Рязанки, и перекрещенные бумажными лентами окна, чтобы от воздушной волны не влетели в дом осколки стекол.

Но это, кажется, последний возврат, потому что без него картина детства не будет полной. Я тороплюсь дорисовать мир моего дома, семьи, как он видится оттуда, из «довойны». А видится он в основном из-под стола, до поры кроме дивана, где я сплю, это мое личное, законное в комнатке место. Тут мой горшок, и тут немногочисленные игрушки. Перекрещенная из двух брусков основа служит прочным сиденьем. Сверху крышка стола, а протертая клеенка, свисающая по бокам, скрывает от чужих глаз взрослых мой мир.

Сейчас я заметил, что такое же местечко, под столом, особенно на ночь, интуитивно выбирает моя собака. Да и когда провинится, тоже прячется под стол. Чуть позже, во время военного бродяжничания по Подмосковию, мне мой стол с лихвой заменяли деревянные платформы. Вроде и при людях (точнее, под людьми), и безопасно, и по-своему уютно. И опять же рядом с бездомными кошками и собаками и такими же, как ты, бездомными. И все уживаются, никто никому не мешает.

В каком-то старом рассказе я пытался описать этот мир подмосковных платформ. Он ни у кого и нигде по-

настоящему не показан. Да ведь чтобы его описать, надо там порядком пожить, поночевать.

А вот недавно заглянул к сестренке в сарай и вдруг, бог мой, увидел наш дубовый довоенный стол, он все еще цел, только верхняя поверхность потемнела и кое-где с краев покоробилась. Я прикоснулся к нему, попробовал на крепость, покачав руками, заглянул в небольшой проем внизу, не верилось, что там когда-то я помещался. На месте и крестовина, на которой я сидел, и бортики, прикрывавшие от посторонних глаз мою подстольную, очень даже насыщенную жизнь. Целый детский мир.

В этот мой мир входит мой отец, хотя он всегда на работе и лишь по выходным дням до обеда что-то мастерит или подбивает, ремонтирует нашу обувь, для чего у него за комодом лежит железная «нога» и коробочка с деревянными гвоздиками; а после обеда отец, лежа на диване, общается с газетой, а потом под ней же, громко похрапывая, спит.

Однажды — это было далеко в послевоенные годы — сестренка пошла в кинотеатр и услышала, как кто-то громко в передних рядах храпел на весь зал, и она сразу решила: отец. Когда зажегся в зале свет после сеанса, и правда она обнаружила пьяненького отца, спящего на первом ряду.

Иногда, по праздникам, приезжает из Москвы старший брат отца, дядя Егор, в толстовке и начищенных сапогах; он старше отца и весь какой-то сморщенный, подзасохший, но они и внешне, и характерами похожи и когда выпивают, громко спорят о политике и крестьянской партии, которую надо организовать. Разгорячась, он даже покрикивает на маму, и за это я его не люблю. Но чаще праздник заканчивается песнями («Хасбулат удалой»), а мой подвыпивший отец идет присядкой под одобрительные хлопки гостей, припевающих «Барыню».

Об отце можно рассказывать сколь угодно долго, ибо протяженность нашей с ним жизни захватывает долгий век. А если по правде, даже не один век, ибо довоенная жизнь по объему впечатлений не менее того века. Но я сейчас о семье. Наша семья — это мама Дуся, ее родная

сестра Поля и племянница Вера. Это те, кто живет у нас, все на тех же семи с половиной квадратных метрах в доме Гвоздевых на втором этаже. Сейчас невозможно представить, чтобы шесть человек помещались на этом пятачке с коммунальной кухонькой в два шага, где с Воронцовыми у нас общий стол, уставленный керосинками и кастрюлями, и туалетом во дворе. Воду брали в довольно дальней колонке, куда меня посылали с трехлитровым бидончиком для молока. Обед, как я сказал, готовили на керосинке — высокое сооружение со слюдяным закопченным окошечком, через которое просматривались три горящих фитиля. Пламя регулировалось тремя металлическими желтой меди пуговками, пахнувшими керосином. А за керосином надо было ходить в специальную лавку и занимать очередь по определенным дням, она располагалась от нас неподалеку, за огородами в сторону Панков, и там, в очереди, можно было встретить всю нашу слободку. Выстроив канистры в ряд, по очереди, женщины толпятся в центре, пересказывают шепотком последние новости. Это когда еще мама была здорова. Но потом все чаще она болеет и днями лежит на широкой семейной постели, которую я обожаю, и для меня счастливый момент, когда допускают меня полежать под общим лоскутным ватным одеялом и поиграть с родинкой-пуговкой на маминой спине около поясницы. Основное же мое время проходит в компании молодежи: Поли, Веры и их подруг. Со мной они вынужденно гуляют: санки, горки, но, само собой, они в это время кучкуются, и у них свой особый, сейчас я понимаю, девичий мир, и мое присутствие для них помеха. Я в него не допускаюсь, да мне он и не интересен, хотя из любопытства ухватываю какие-то шуточки, сплетни, пересказы и почему-то это до сих пор помню, как «любопытной Варваре нос на рынке оторвали»... Это мне. А потом шлепок или под зад коленом: ступай к своим санкам и не лезь, а то получишь!

В отличие от зимнего времени, когда вся молодежь спит на полу, ногами под кровать, а головой под мой стол, я на диване, сестра в детской кроватке, а отец с мамой на огромной семейной постели с металлическими сверкаю-

щими шишечками по углам, летом все, кроме родителей и маленькой сестренки, переселяются в просторный, пахнувший пылью чулан, в центре которого свисают с потолка кольца для гимнастических упражнений для Вити Паукшты. Тут, расположившись на полу, на старом тряпье, живетя как в деревне: широко, удобно, привольно. А для девиц вообще начинается другая, неподнадзорная, жизнь: поздние гулянки, танцы, кино, а после кино еще до утра разные байки, секреты на ушко да всяческие страшные истории, которые у всех вызывают приступы веселья, а у меня беспокойные сны и даже ночные кошмары.

Выясняется, хотя и не сразу, что в возбуждении я поднимаюсь по ночам и брожу по чулану, что опять же очень развлекает молодежь, они называют меня лунатиком и ждут, когда же я полезу на крышу. Но, побродив по темному чулану, я как ни в чем не бывало ложусь и засыпаю. И, конечно, ничего не помню. А может, это все девичьи придумки, уж чего не сочинишь для смеха. Но от родителей такие истории все равно скрываются.

Однако у меня смутные подозрения о моем якобы лунатизме и о том, что мое гипертрофированное воображение плюс некоторые кровавые всяческие повествования, застрявшие в дальних углах моей памяти, могли так подействовать, что я и вправду едва ль не свихнулся. Тем более эти картины дополняются книгами, слишком, наверное, взрослыми, потому что я читаю лет с четырех, а в одной из книг, найденных в доме, рассказано, как юноша теряет возлюбленную, которая топится от любви, а сам сходит с ума, бродит по полям и лесам в тихом помешательстве, и ему мерещится, что с неба падают мешки с трупами. Полагаю, хоть не до конца уверен, что это был Кнут Гамсун, но так же могу предположить, что это вполне мной довоображено, и мешки, и все прочее придумано во время моих брожений по чулану. Да и откуда, право, Кнут Гамсун в моем доме, где не было ни библиотеки, ни даже этажерки для книг? Разве что от Воронцовых?

Вот кино — это реальность. Но опять же фильмы попадают разные, выбирать особенно не приходится, и

я со взрослыми иду в кино на мелодраму под названием «Соловей-соловушка, буйная головушка». Так запомнилось, но, кажется, там есть другое название, и фильм этот довольно известен. И там тоже страсти, пожары и почему-то тарелки, летящие изо всех окошек большого дома в человека, который стоит внизу. И это тоже мне снится по ночам, и я просыпаюсь от страха, хотя точно помню, что у остальных эти летящие из окон тарелки вызывают бурный смех, а фильм они называют комедией.

С тех пор и запомнилось, что комедия — это страшно. Да и само сочетание жестких букв, приставленных к частице «ко-», — «ммм-е-ддд-и» и змеиное окончание «я» — удостоверяют, что слово это громоздко-тяжелое, как, скажем, комод или медведь.

А в общем-то, мир девичьего окружения переключивается в мой собственный мир, преображаясь и приобретая необычные, даже фантазмагорические формы. Но я забыл сказать, что к Поле, Вере и их подругам прибиваются еще мои двоюродные сестры Тоня и Нина, дети Папаньки, брата моей мамы. После его второй женитьбы на криворотой мачехе Ольге, а она всем нам ужасно не нравится, и после рождения братика Вовочки они практически живут у нас и ночуют тоже в чулане, увеличивая и без того огромный девичий коллектив. Впрочем, летом это не так заметно, чулана хватает всем, а от громкого смеха и визга фанерные стены ходят ходуном, а подвешенные спортивные кольца начинают раскачиваться.

14

Война не пришла к нам сразу. Это только в кино так изображается: стоят у репродукторов на площади люди с суровыми, угрюмыми лицами, а на следующий день идут записываться добровольцами и уходят на фронт. Может, так где-то и было, но не у нас в Люберцах.

Во-первых, в домах, не только на площадях, у многих еще были репродукторы, черные тарелки, через них все могли слушать выступление Молотова и последние изве-

ствия от Совинформбюро, которые потом назывались так: «В последний час». И там все время говорилось об упорных боях, в результате которых столько-то врагов уничтожено. О том, что сдаются города и целые армии, — ни звука.

У нас же в доме был даже приемник — первый советский приемник «СИ-235», темно-синего цвета, с квадратным окошечком, где при вращении ручки возникала белая лента с цифрами, освещенная крошечной лампочкой, станций, кажется, было три. Чтобы я зря не крутил ручку приемника в отсутствие старших, его взгромоздили под потолок, на специально прибитой полочке. Но когда взрослые уходили из дома, я наловчился забираться на спинку родительской кровати, балансируя, крутил ручку настройки и при этом пытался заглянуть в окошечко, чтобы увидеть, откуда и каким образом возникает внутри коробки голос, это меня занимало больше всего.

Кстати, таким же способом я добирался и до настенных с маятником и стеклянной дверцей часов «Беккер» и даже научился пальцем доставать рычажок, который регулировал удары. Отец с удивлением обнаруживал, что часы опять сбились с нужной цифры, и, ругая ни в чем не повинную знаменитую фирму, лез поправлять, а я утыкался в тарелку с супом, делая вид, что меня это не касается. Я белый и пушистый.

Но однажды я поплатился за свое непослушание. Это когда монтер, он же будущий муж тетки Поли дядя Федя, делал в доме проводку и строго-настрого приказал не трогать свесившихся проводов, а я, конечно же, тут же, пока он что-то мастерил под потолком, схватил за свисающий провод, и меня, как выражаются, долбануло током. Но я не пожаловался и не заорал, а почему-то сунул руку в воду. Но к электричеству с тех пор относился с осторожностью, хотя и работал в радиолоборатории, опутанной всевозможными проводами, в том числе и с трехфазным напряжением, на котором однажды пожег руки мой товарищ Витька Ларионов.

Но все это уже после войны. А до войны, повторюсь, приемник был величайшей редкостью и к нему относились

очень бережно. Маму, в отличие от меня, волновали русские народные песни в исполнении Ольги Ковалевой и хора Пятницкого. Тогда она наклонялась ко мне, будто боялась потревожить исполнение, и шептала: «Ты послушай, послушай, дурачок, это же — Пятницкого!» Кто такой Пятницкий, ни я, ни она не знали, но пели они невозможно протяжно и долго, и особенно эту: «На дубу зеленом да над тем простором два сокола ясных вели разговоры, а соколов этих люди все узнали: первый сокол — Ленин, второй сокол — Сталин...» Но были и другие, такие, например: «И кто его знает, чего он моргает...», и слова смешили меня оттого, что моргает... Как это: поморгает и не скажет ничего?! Мама же слушала эти песни с замиранием сердца. Отсюда я вывожу, и это косвенно подтверждается, что мамино детство прошло в деревне на природе. Думаю, что где-нибудь в Подмосковье.

Вот по этому приемнику мы и должны были слушать главную речь Молотова о начале войны, хотя этого переломного момента, с которого все и начиналось, я никак не запомнил.

Но потом были сводки с фронтов, и взрослые хоть и с тревогой, но без страха и тем более без паники говорили вполголоса, что враг будет скоро разбит, что Красная армия, по слухам, его уже гонит, и наши братья рабочие в Германии скоро поднимут восстание, и Гитлеру будет капут. А когда за насыпью железной дороги упала первая неразорвавшаяся бомба (ее тут же огородили, выкопали и увезли), все повторяли слух, что начинена бомба была опилками и там же лежала записка от немецких рабочих: «Чем можем, тем поможем».

Довоенные фильмы, которые продолжали идти в кинотеатре, подтверждали слухи о пролетарской солидарности немецких рабочих, и я помню фильм, где немецкие трудящиеся обводят гестаповцев вокруг пальца, а подростка с листовками прячут в ведре и спускают на веревке с крыши.

Еще по-прежнему торговали магазины, хотя мыло, соль и спички и правда сразу пропали, а по радио звучала знакомая песня, я до сих пор помню ее слова:

*Если завтра война, если завтра в поход,
Если темная сила нагрянет,
Как один человек, весь советский народ
За свободную родину встанет...*

И во всю мощь грянет хор:

*На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч, и широк:
Если завтра война, если завтра в поход,
Будь сегодня к походу готов!*

Ну, а дальше там полетит самолет, застрочит пулемет...
Вот какой ответ будет фашистам.

Кстати, я и фильм запомнил, он шел под таким же названием — «Если завтра война» — во всех кинотеатрах, и там изображались маневры нашей армии, танки и самолеты, которые громят условного врага, а маршал Тимошенко из укрытия, замаскированного под листву, руководит боем и всех врагов побеждает.

Еще запомнилось, как нас привозят из пионерлагеря и мы хором, перед тем как нас разберут нетерпеливые родители, исполняем очень громко еще одну боевую песню:

*Время огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин
И первый маршал в бой нас поведет!*

Про «машины» родителям особенно понравилось, ибо пионерлагерь был от отцовского завода, где как раз делали эти самые «машины». Мы могли этого и не знать, но те, кто учил нас этой песне, конечно, знали.

Вот такое было настроение в первые дни войны. Людей можно понять — хоть к войне готовились, но сами они войны не хотели и до времени мысль о ее реальности и опасности отторгали от себя. И только самые внимательные

да многоопытные трезво оценивали ситуацию. Думаю, и Гвоздевы тоже. Но они помалкивали да запасались продуктами, наверное, из своего же магазина, эти продукты в мешках хранились в подвале дома, о нем речь впереди.

Но это взрослые. Мы же, как я уже говорил, воспитанные на примере Гавроша — был такой фильм, где герой сражается на баррикадах и погибает, — да и других подобных лент и очень патриотических стихов или книжек Аркадия Гайдара, просто мечтали, чтобы война сразу не закончилась, тогда и нам, может быть, перепадет поучаствовать в сражениях.

Киношная игрушечная война заполняла нас, да, полагаю, и тех бывших школьников, которые мальчиками в семнадцать лет (ну конечно, мальчики!) первыми рванули на фронт и полегли под немецкими танками на полях России. Они даже не успели понять, почему их убивают.

15

К лету сорок первого мама вышла из больницы, нам всем казалось, что ей стало лучше. Но думаю, взрослые знали или догадывались уже тогда: ее отпустили умирать.

В середине пятидесятых, когда у меня вслед за сестрой обнаружили туберкулез, меня принимала врач люберецкой клиники по фамилии Окшати́на, которая, как оказалось, лечила и нашу маму. А та «дача», которую отец снял для мамы, думаю, не без совета врачей, оказалась ей и правда на пользу, и даже после Люберец, полусельского тогда города с огородами и деревянными домишками, она, гуляя по тропинкам соснового леса, уж где это было, не знаю, не помню, но где-то рядом с Москвой, повторяла без конца: «Ах, какой воздух! Ты чувствуешь, какой здесь воздух!» А ей и жить-то оставалось чуть более двух месяцев.

А началось с воздушных тревог и клеения бумажных полосочек на окна, чтобы при воздушной волне не попасть под осколки. Вдруг стали повторяться чаще других слова: сирена, затемнение, тревога, зажигалки, зенитки, сообщение ТАСС и так далее. По собственной инициативе

мы, ребятня, пробегали в сумерках по ближайшим улицам, бдительно высматривая, у кого пробивается свет, и если хозяин не реагировал на наши крики, бросали камни. За это не порицали. А сирена теперь завывала каждую ночь, и мой отец брал одеяло, лез на стул и тоже занавешивал единственное в комнатке окно.

По радио особенно много не сообщалось, лишь об упорных боях, в результате которых уничтожено столько-то и столько-то вражеских солдат и офицеров. Остальное доходило из слухов. Слухов было много, и самых разных, порой фантастических, а что не улавливало ухо кого-то из ребят, улавливали уши дружков, и слух тотчас разносился по нашему «уличному» радио. Ходили, например, слухи, что на огородах поймали диверсанта (тоже новое для нас словечко), который подавал сигнал вражеской авиации при помощи карманного фонарика. Нас призывали ходить по огородам и высматривать скрытых врагов. Мы ходили, но никого не нашли.

Мы стали узнавать по гулу, прерывистому, немецкие самолеты и спорили, фигуруя необычными названиями: «фокке-вульф» летит или «мессершмит», проще — «мессер»... А как только начались занятия в школе, стали изучать отравляющие вещества: иприт, люизит, фосген и другие, их оказалось много, и надо было их помнить наизусть, как и их свойства. От одного из них слезятся глаза, а от другого наступают удушье и кашель... Обучали владению противогазом, который нужно было носить в холщовой сумке на боку, а девочек вдобавок — оказанию скорой медицинской помощи.

Но и это для нас, пацанвы, не было пока настоящей войной. Просто жизнь приобрела новые необычные краски и стала куда интереснее. Взрослые, мобилизованные на тыловые работы, мало обращали на нас внимания, мы были, к нашей радости, предоставлены сами себе. Это ли не везуха! Перемены же в тарелках нас мало волновали, на рабочих окраинах стол был всегда по-крестьянски прост: щи да каша — пища наша. Таким он пока и оставался. Загнать же нас за стол и в мирные времена было нелегко, а

модой среди ребят было выклянчить дома кусок черного хлеба, политого постным маслом и посыпанного сахарным песком, и хвалиться на улице перед другими, чтобы завидки брали, после чего и другие бежали скорей к своим мамкам за таким же уличным куском.

Мы не смогли не заметить, что в переулочек стали частенько наведываться военные люди, они осматривали дом, лазали на крышу, давали советы, как тушить зажигалки. Для тушения на чердаках поставили бочки с песком, а рядом положили огромные щипцы.

Нам советовали рыть «щели» в палисаднике за домом. «Щели» — это узкие окопы в земле, практически те же землянки, обшитые по бокам досками и прикрытые сверху толем. С помощью Воронцовых и Гвоздевых мы делаем «щели», но в них по ночам сыро, неудобно, а с осени, когда их стало затапливать дождями, мы перебираемся в гвоздевский подвал, про который мой опытный отец сказал, прощупав стены руками, что он «железобетонный». Отец еще добавил, что при прямом попадании бомбы он, конечно, не спасет, но если бомба упадет недалеко, то деревянный верх дома и все наше жилье снесет, а такой подвал может уцелеть.

Разговор происходил во время очередной тревоги, и все присутствующие с жадностью прислушивались к словам отца. Я заметил, что теперь все, что могло внушить надежду на спасение, любые слова, пересказы ловились на лету.

Радио по-прежнему, до поры, пока не стали отбирать, не приносило никакой утешительной информации, а размытые неопределенные сводки «о боях местного значения» только увеличивали тревогу. Население, даже мы, дети, научились понимать то, что не произносилось вслух. Вот это потом и будет называться беспроводным радио — ОСС: одна старуха сказала.

Это уже зарождалась в нас война.

Запомнилась одна из ночей: спускаемся, полусонные, в подвал, и пятилетняя сестренка, которую не вовремя разбудили, плачет. Располагаемся между старьем, какими-то бочками, мешками, вениками, тут и запасенные Гвоздевыми продукты. Торопливые вполголоса разговоры,

отдаленные хлопки — это стрельба зениток, потом сильный удар, сперва воздушный, потом ухающий звук, и дом ходит ходуном. Все начинают гадать: бомба это или залп неподалеку поставленной батареи, которую мы углядели еще днем.

Возвращается хозяйка тетя Таня, держась за голову, лицо кажется белым, и моя мама, заглядывая ей в глаза, торопливо произносит, я помню ее испуганный возглас: «Что? Газы?»

Сейчас я знаю, но я и тогда знал, что мама боялась лишь за нашу жизнь, за себя она переживала мало, но при этом ужасно боялась «газов», о которых тогда много говорили. Но хозяйка только мотает головой и снова выскакивает за дверь. Я пытаюсь высунуться вслед за ней в приоткрытую щель, но удается ухватить глазом черно-густое небо, которое пересекают на горизонте мечущиеся столбы прожекторов. Ни самолетов, ни бомб не слышно. Но меня гонят спать. На грязный бетонный пол брошены какие-то мешки, тулупы, пахнущие собачиной, старые одеяла. Я быстро засыпаю под монотонные разговоры взрослых (все те же домыслы и слухи), а просыпаюсь почему-то у себя в комнате на диване. Как меня отвели после отбоя домой и как положили, не помню. Но в окошке день, солнечные зайчики бегут по потолку, и так кругом тихо, что кажется, нет уже никакой войны, а все эти тревоги мне приснились.

16

К этой главке я подхожу — нет, подбираюсь — почти на цыпочках. В ней я останусь без мамы. Кажется, впервые пойму, что война — это потери не только тех, кто вдали ведет с фашистами бой, но и вблизи, где моя семья, дом, родные люди. Сейчас-то видней, как моя жизнь, жизнь нашей семьи была в одночасье порушена с уходом мамы, и все, что случилось с нами потом, лишь результат этой главной в моей жизни потери.

Знал ли я об этом? Догадывался ли? Думаю, что тогда — нет.

В начале августа еще ничто не предвещало несчастья. Ну, был случай, когда я попал под телегу прямо на проспекте, и мама, уже не выходявшая из дома, бросилась меня спасать. Я однажды описал этот случай, не хочу повторяться. Но мама и правда лежала в комнате с занавешенным окном, и однажды Пешка, уж не знаю почему, но не со зла же, выкрикнул на улице, я это запомнил на всю жизнь: «Ступай, твоя мать померла!»

Я бросился опрометью домой, поскуливая на ходу, застал ее в комнате, там же, на постели, живой и, завидя ее, вдруг разрыдался. Может, тогда, а может, в другое время, но произошел разговор на эту тему. Мы были в комнатке одни, я сидел возле кровати, и вдруг она сказала: «Как же вы будете без меня?» — и на мой дурацкий вопрос, почему же мы будем без нее, тихо произнесла: «Это я так... Подумала, вдруг вы будете без меня... Ты меня не забудешь?»

Я тогда заплакал, потому что ничего не понимал, кроме одного — что маме сейчас плохо. И лишь много лет спустя задней, как говорят, памятью воссоздал этот разговор, и стало очевидно: она уже знала, что оставляет нас, и уносила с собой в небытие тревогу о нашей судьбе. Уж очень много, наверное, пережила сама, но почему я ничего не знаю, ничего не помню о ее прошлой жизни? А вот война добивала и добила ее здоровье.

Сейчас я прикидываю: маме исполнился тридцать один год, но что она знала, кроме непрерывной бедности: сиротство, жизнь девчонки в прислугах, угол в чужой избе и наконец обретение семьи и проживание в этой не принадлежащей ей конурке с кучей родственников, и при этом — страдание от затяжной, изнуряющей и неизлечимой болезни.

У нее было всего два праздничных платья, как я запомнил, говорили, они из крепдешина. Даже цвета их помню: бордовый и песочный. Но зато все в доме в белых кружевах, она постоянно вязала. Еще после войны, посещая общих знакомых, я узнавал мамины кружева, взятые из нашего дома на память.

А потом была ночь, а может, вечер, когда я проснулся от паники в доме, взрослые суетились, для чего-то грели на

керосинке воду, а нас с сестренкой тут же увели на первый этаж и уложили спать у Гвоздевых. Но я уже догадался, уже знал, что это — с мамой. Наутро нас наверх не пустили, велели гулять и покормили на ходу, но тетя Таня велела всем взрослым уходить и заниматься «подготовкой», а с детьми сладит сама. Всегда ровно настроенная, на этот раз она выглядела озабоченной, хотя сытно накормила и даже приласкала, погладив по головке.

В те дни, как я запомнил, все нас почему-то гладили по головке: и соседи, и даже незнакомые люди на улице. Я думаю, они понимали больше нас, что нас ожидает. Но что ожидало их самих... И, часом, не позавидовали ли они, переживая смертельно холодные, голодные годы, нашей маме, которая избежала всех этих мук?

Хоронили маму на телеге, под дождем. Шел последний или предпоследний день августа сорок первого года. Гроб, как я узнал потом из рассказов отца, сколотил Папанька, он же шел впереди лошади и нес крышку гроба.

Через много лет, попав на могилу Цветаевой, вдруг обнаружил, что моя мама и великая поэтесса умерли в один день. И даже могилы той и другой потом одинаково затеряются. Я сидел с зонтом рядом с маминой головой, и мне было видно, как на неровностях дороги подрагивает ее занемевшее белого цвета лицо, а капли, не растаивая, стекают по щекам.

Скорбный путь был короток, надо было только пере-ехать через железную дорогу по люберецкому бетонному мосту, свернуть направо, а тут оно, кладбище. Года через два, как я говорил, я забреду сюда во время Пасхи в надежде подобрать с чужой могилы что-нибудь съестное, но маминой могилы не увижу, я не помнил, не знал, где она была. Сейчас возникают в памяти край кладбища и у самой оградки рядком желтые холмики свежей земли. Пятый или шестой наш. Но где тот край, если за военные годы эта территория стала бескрайней!

Могу еще допустить, что я бродил рядышком с родной могилкой, и повезло мне где-то неподалеку подобрать крашеное яичко, которое тут же вместе со скорлупой и съел.

Да, вот еще такая подробность: отец не любил, не хотел приходить сюда, это я знаю со слов сестренки. Потерял могилу — это объяснимо. Но почему не приходил?

Мы выбрали какой-то холмик, там примерно, где он указал, это когда мы уже подросли и вновь объявились здесь, но мы, конечно, понимали, что ухаживаем-то мы за чужой могилой. А когда схоронили самого отца, это случилось без меня, я был в отъезде, я все-таки не удержался, спросил сестру: «А там... ничего... не было?» Надо бы спросить: «Никого?», но я спросил именно так. Она покачала головой и больше ничего не сказала. Над могилой выросло дерево, разветвленное на два ствола, и ее теперь легко найти.

Два ствола как две жизни.

А тот скорбный путь, последний, на телеге с мамой, я проделал тысячу раз в своих воспоминаниях, каждый раз вновь переживая, даже сильнее, чем прежде, будто только сегодня потерял самого близкого человека.

Это не я придумал, это ученые доказывают, что если ребенка в момент рождения поцелует мать, у него будет иная, более счастливая жизнь. Мне повезло. Я потерял маму в девять лет, но если я потом в самые крутые моменты жизни, особенно в войну, смог выстоять, выжить, это все ее поцелуй.

Иногда я говорю: моя мама — это мой ангел, она всегда надо мной, разве вы не чувствуете?

17

Отец после возвращения с фронта однажды сказал: «А ведь мне жизнь спасла ваша мама. Как?.. — Он замолчал задумавшись. — Да так и было, на Сиваше... Знаешь, что такое Сиваш? Гнилое море, камыш и изнуряющие бои... Нам противостояла «голубая» дивизия СС... Дрались они, как черти! И на какие-то по счету сутки, не знаю уж какие, мы потеряли счет дням, да и так всех насквозь проело дымом, день от ночи не отличить... Ослаб огонь, или нам показалось, была команда отдыхать... Бросили шинели наземь, кто-то

сухого камыша под себя нагреб, но я даже этого не осилил, рухнул, и провалились в сон. Но что такое сон на фронте... С одной стороны — как обморок, закрыл глаза, и тебя нет, а с другой — кожей ощущаешь все, что творится вокруг: и сухой шелест травы, и дальнюю канонаду, и ближнее похрапывание, и цвиканье неведомой птицы... Сторожок-то охранительный ловит, анализирует, фильтрует, дает знать, что не опасно, а что уже опасно. И вот сработало: легкая поступь ног, не солдатских, те бы не вызвали такой реакции, а женских ног, их-то всегда можно отличить и наяву, и во сне. Проснулся от необычности, рядом, почти надо мной стоят две женщины или два ангела, одна чуть впереди, это ваша мама в своем любимом крепдешиновом платье с пояском, помнишь... Наклонилась, говорит... «Сереза, — говорит ласково, — Сереза... Да чего же тут лежишь, глянь какая мокрота... Ты перейди туда, вон на бугорок... Там сухо, там и отдохнешь...» А я все плююсь, но будто и не удивляюсь, а мне даже любопытно, что у той, что за Дусиной спиной и в серебристо-розовом наряде, крылышки будто торчат из-за спины. Но опустил глаза — и впрямь мокрота да грязь. А этих двоих уж и нет. Да и были ли? Подхватил я шинельку, все как в полусне, и перешел на бугорок. А вскоре минометный обстрел, и вся рота полегла, а там, где я лежал, — воронка от снаряда. Меня даже не зацепило. Но, правда, когда сообщили в штаб, по торопливости в число погибших зачислили и меня. Это потом выяснилось, что я уцелел, но похоронку успели послать... Ты же ее получил, да?»

И отец повторил медленно, вслушиваясь в свои слова: «Это она для вас меня спасла... Чтобы отыскал вас... Она в жизни такой была и мертвая не могла вас не спасти, это правда...»

Недавно прозвучал на работе странный звонок: журналистка из какого-то природоведческого журнала захотела со мной встретиться. Я бы, наверное, отказался из-за недостатка времени, да и с природой нынче вроде не контакти-

рую, все больше просиживаю штаны в рабочем кабинете, на Ильинке. Но журналистка сослалась на свое люберецкое происхождение и назвала даже имя тети Дуси Новиковой, портнихи, жившей на соседней с нами улице.

Тетю Дусю я помнил. Была она безмужней, дружила с мамой, слыла хорошей портнихой и обшивала на дому всю нашу слободку. А у нее был сын Николай, примерно мой ровесник. Кстати, Николая я встречал потом, после войны, на улицах Люберец, да в нашем городке не заблудишься, и маршруты для развлечения пацанвы одни и те же – парк да кинотеатр. Да, кажется, после войны и мой отец, наголодавшийся за годы по женской ласке, захаживал к тете Дусе и даже оставался у нее ночевать. Я так не раз заставлял его там: бутылка на столе и приветливая, всегда веселая тетя Дуся. А еще раньше, в октябре сорок первого, отправляя нас с интернатом в Сибирь, отец заказал тете Дусе для меня и сестренки перешить, перелицевать теплую одежду.

Журналистка, дородная рыжеватая женщина, довольно настырная, да я ей в память о Люберцах все простил, и вправду оказалась внучкой тети Дуси, а значит, дочкой Николая. Она выложила десяток фотографий бабушки и папы, снятых у деревянного домика, обоих уже нет в живых. Конечно, я их узнал, но я их и так помнил: и тетю Дусю, темноволосую, такую фигуристо-дородную, сейчас бы сказали: ядреную, и при том ужасно смешливую, то хохочет, то улыбается, и никаких жалоб или стонов.

В общем, отца можно понять, мимо такой не прой- дешь, да если она при этом на соседней улице! И Колька у нее парень видный, всегда прилично одетый, недаром мама портниха, из лоскутков королевский наряд сотворит, не по годам взрослый, смышленный, глазастый, и та же мамина улыбка на лице. Помню, при встрече он показал мне остатки какого-то крыла от военного самолета, най- денного за железной дорогой, рассказал, что уже решил идти после седьмого класса в летное училище, я одобрил. Но это было уже после войны, году в сорок шестом. Мы до- живали последние деньки в доме Гвоздева перед переездом

в Ухтомскую, обрывая последние ниточки с Куракинским переулком и Люберцами.

Кстати, как выяснилось из разговора с дочкой Николая, Иван Иванович Гвоздев, хозяин бывшего дома, пережив свою красавицу жену тетю Таню да и своих детей, в позднем возрасте снова женился и имел квартиру в том же Куракинском переулке, застроенном теперь пятиэтажками из белого силикатного кирпича.

Но я нахожусь еще в самом начале войны, еще сентябрь, и мы с отцом несем к тете Дусе наш драгоценный приемник «СИ-235», завернутый в байковое одеяло. Вообще-то приемник положено сдать властям, никто не имеет права слушать радио, помимо того, которое по трансляции. Там чужих голосов, как известно, не поймашь. А поскольку за несдачу можно угодить в тюрьму, отец, как всякий умелец, орудуя отверткой, быстро расчленил приемник на части, и теперь это просто радиодетали, из которых он после войны снова соберет говорящее чудо. Тете Дусе достаются и часть маминых кружев, и наши домашние часы «Беккер». Они и сейчас, возвращенные, висят у сестренки как память, но уже не ходят.

Но мы навещаем тетю Дусю еще потому, что она перешивает мне перед отправкой в Сибирь зимнее с высоким воротником пальто. Его потом в детдоме украдут. Каждый раз, примеряя пальто и поднимая воротник, тетя Дуся зовет отца, и они вместе обсуждают, насколько мне будет тепло. А мне в нем пока что жарко, и я, вспотев, пытаюсь поскорей от него освободиться — слово «Сибирь» для меня пока пустой звук.

Знал бы я тогда, как недолго, но надежно, одну зиму, послужит это пальто, сшитое умелыми руками. В стылые ночи, скорчившись на топчане, им я укрывался поверх тонкого байкового одеяльца, которое совсем не грело. Снизу соломенный тюфяк, сверху ватное пальто. Тетя Дуся смастерила не только пальто, но и шапку и даже варежки, но все, все это пропадет. Они с отцом и ботинки теплые обсудили, но, наверное, не смогли найти, и это окончилось для меня плачевно, я поморозил ноги. Но об этом еще один эпизод, прежде чем я расстанусь с первой частью.

Случилось это зимой сорок третьего, в интернате, в сибирской деревне Таловка, близ Кургана, где меня поразила болезнь помороженных ног: подошвы покраснели, покрылись мелкими язвами, которые слились в одну гнойную рану, так что я не смог ходить. Конечно, произошло это не сразу. Сперва прихрамывал, потом едва волочил ноги, всклипывая от боли при каждом шаге, пока однажды вообще не смог встать с постели, так и остался на ней сидеть.

Впрочем, это никого не взволновало.

Если кого-то я мог заинтересовать, это наших шакалов из младшей группы. Они сразу пронюхали, что ты не просто сидишь, а сидишь так, будто не хочешь идти на обед, а чтобы не ходить на обед, такого в детдоме не бывает.

До сих пор, во всяком случае, не было.

И кто-то из самых опытных, а опыт у нас исчисляется количеством побегов да умением промышлять жрать, последнее же особенно в цене, не без насмешки произнес, что, дескать, сидят в предварилловке да тюрьге, и то не по своей воле, но там как бы положено на пустое брюхо сидеть, да и то иногда рыбкин суп приносят. Остальное же все туфта и чернуха, а как кликнут к миске, наш сидун, это про меня значит, поскачет впереди всех, как чемпиён какой!

Но я не поскакал. Ни в тот день, ни во второй, ни в третий.

Шакалы из младшей группы мои порции аккуратно забирали, но и мне приносили корочку-другую, не из милосердия, конечно, а чтобы не загнулся, не окочурился раньше срока. А срок такой: пока им перепадает, ты им нужен живой, пусть и не ходячий. На жмуриков, известно, пайку не дают. Один из шакалов, ростом метр с кепкой, но из заблокированного Ленинграда, рассказал, что когда дед с бабкой померли, останки он на чердаке всю зиму держал, чтобы пайку за них поиметь, а лазал на чердак раз в неделю, чтобы убедиться, что трупы не сперли. Обирая меня, шакалы тут же, у моей койки, громко делили добытое и обсуждали между собой мои проблемы — сколько, к

примеру, я еще протяну... Неделю, а то и две... Или даже три... Но говорили не только о кормежке, их еще мои ноги заинтересовали. Нужны они, скажем, мне или не нужны.

Самые практичные предлагали: отпилить их, и дело с концом. Сразу легче станет!

— Может и легче, — возражали другие. — Килограмма на три легче, а пилить все равно жалко. Как без ног ходить?

— А как инвалид на станции... Который на тележке с колесиками! Ему еще и рубливки кидают! Ног никаких нет, а они его кормят!

— И поят! — добавляли знающие. — Вечно пьян.

И уже кто-то с нескрываемой завистью:

— Вот житуха! Катаешься весь день: «По-да-й-те, братья-сестры, малокровному!»

— Так, может, тебе и отпилить? Одну хотя бы ногу? — спросили завистника.

Он почесался, раздумывая, и указал на меня:

— Нет, сперва ему. А мне за пайкой еще бежать. Без ноги-то обгонят!

Меня их разговоры не трогали.

Я восседал на казенном топчане, на жестком матраце, набитом сопревшей соломой, невозмутимый, как Будда, которого я однажды видел на картинке в книге для чтения. Я даже сидел в его позе, скрестив по-восточному ноги, так они меньше болели. Отсюда я мог заключить, что у Будды, который на картинке, ноги тоже болели, как у меня.

Прошло немало времени, пока воспитатели не пронюхали о моем таком странном сидении и не доложили самому директору. Не о том доложили, конечно, что их воспитанник ни черта не жрет, это для них без разницы. Доложили о том, что в школу не ходит, пионерские сборы не посещает, опять же в тимуровской команде не работает... Ну, то есть дров не пилит, воды не носит.. Словом, сидя прохлаждается... А в целом не задействован, бесконтролен, неуправляем. Тем и выделяется среди прочих, тоже не лучших, дурно влияя на весь коллектив, который по примеру, очень даже заразительному, завтра может захотеть

ничего не делать и станет разлагаться, сидя в спальне, как статуя!

Что же тогда станет с нашим образцовым, с нашим передовым и лучшим в районе детдомом? Лучшим, нам особенно понятно, это когда режим доведен до уровня колонии. Да ничего хорошо не станет. Анархия станет, беспорядок и вред обществу и стране в целом, которые доверили педагогам и лично директору товарищу Башмакову из нас, выродков, недоносков и ублюдков, создать полноценных советских граждан, достойных нашей героической эпохи.

Создашь с такими!

Воспитатели подразумевали в первую очередь меня.

Я же, вовсе не догадываясь, что моя болезнь таит для окружающих опасность и даже является дерзостным вызовом обществу, продолжал день за днем свою добровольную отсидку, окруженный любопытствующей малышкой, взирающей на меня кто с интересом, а кто и с завистью: повезло же человеку, чтобы так шикарно заболеть, ни в школу ему, ни на работу, никуда вообще, а при этом еще и жратву приносят, от которой, правда, он, то есть я, воротит нос, ждет небось, чтобы ему, как барину, «каклеты» подали!

Про котлеты упоминали лишь потому, что считали их высшим шиком, из другой, не из нашей жизни, недоступной даже в мечтах, никто из нас в ту пору котлет не видел. А вот есть те корочки, которые мне несли заботливые по-своему шакалы, и правда не хотелось.

Странное это было чувство. Среди общего хапежа, когда все у всех клянчили что-нибудь пожевать, как недавно я и сам клянчил, не есть, и при этом ничего не желать, и ничего не клянчить, и даже отказываться, когда тебе предлагают...

Целыми днями, сидя на койке, я рассматривал свои подошвы, вывернув их из-под себя, чтобы лучше видеть, и на глазах охочей до зрелищ малышки, не спускавшей с меня глаз, ковырял пальцем в нарывах, раскорябивая их до крови и испытывая, как ни странно, не только острую боль, но особое, ни с чем не сравнимое удовольствие.

Но все до поры, пока однажды не появился директор. Он возник неожиданно и еще от дверей будто прицелился в мою сторону. Я не увидел, я лишь почувствовал на расстоянии его испытующий взгляд.

Шагнув в комнату, он осторожно опустился на стул в отдалении от меня и негромко спросил:

— Этот?

Не у кого-то, а вообще спросил, упершись глазами в пространство.

— Этот! Этот! — подсказали ему охотно.

Время для визита было не случайно выбрано под вечер, когда все, и старшие, и младшие, находились после ужина в спальне.

— Не ходит? — поинтересовался директор.

Меня он в упор не замечал.

Разноголосый хор тут же отвечал, что я и в самом деле не хожу, потому что ноги в болячках, а болячки — во какие!

Последнее было произнесено не без восторга и даже не без некоторой гордости.

— Отказывается, что ли, ходить? — переспросил директор, скользя глазами по стенам, по потолку, по соседским койкам.

Я промолчал, поняв так, что спрашивали не меня. Охотников говорить за меня было и так много.

— Отказывается! Он от всего отказывается! — закричали вокруг и начали перечислять, от чего я успел отказаться, но директор перебил, не дослушав:

— А вот мы сейчас поглядим, ходит он или не ходит... А если разучился ходить, так мы его подучим... — И тут же кивнул Жене, который до поры молча стоял у входа, загородив медвежьей фигурой дверной проем. — Как ты считаешь, Женечка, мы научим его ходить?

Женя посмотрел на меня издали по-особенному и, как мне показалось, жалостливо, был он невероятный добряк и никого по своей воле не обижал. Ни, боже упаси, даже кошку или собаку, не говоря уж о нашей детдомовской братии.

Впрочем, у нас, как в каждом таком гадючнике, в первую очередь обожали сильных. Но таких сильных, что умеют драться и постоять за себя. Женя хоть и был могуч, но при этом на диво беспомощен и оттого сходил на великовозрастного дурачка: он даже школу не посещал, а занимался хозяйственными делами. Целыми днями он торчал на конюшне, запрягал, распрягал лошадь, возил продукты и был тих и безотказен, как и его послушная лошадка.

Но я-то с ним успел пообщаться раз-другой, когда выезжал в лес за дровами, и я точно знал, что Женя вовсе не дурачок, а может, он поумней других, он умел устроиться по-своему в этой жизни, и еще он умел помалкивать и улыбаться.

Женя нерешительно, боком придвинулся ко мне, но при этом все время оглядывался на директора, наверное, ему заранее успели втолковать, что и как он должен со мной делать.

Я же сидел как посторонний, хоть и на спектакле, который устроили в мою честь и даже сделали поневоле главным героем. Не помню, трусил ли я тогда. Но я сразу почувствовал, как забарабанило в ушах сердце, а в животе возникла тоскливая пустота, которая появлялась в опасные для жизни минуты.

За спиной громко выкрикнули:

— Башмаков и не таких обламывал!

Я вздрогнул и оглянулся: окружив мою койку, вся детдомовская братия, слившись в одно лицо, смотрела на меня и ждала, чем закончится этот безрассудный поединок.

А может, она уже знала, в отличие от меня, чем он закончится, и только ожидала этого уже предрешенного финала?

Но тут кто-то возразил:

— А я говорю, не пойдет! Как же он пойдет, если он не может идти?

— Значит, поедет, — было произнесено не без насмешки.

— На кладбище, что ли?

— А Женя куда хошь свезет... И на кладбище, если надо, свезет... Зуб на отрыв — свезет, с кем спорим?

Врали они про Женю. Врали.

— Заткнись, цуцик! — прикрикнули из старших. — Не товарищу Башмакову вашу дурацкую слушать! Он, если надо, и к доктору свезет!

Не знаю, не думаю, что все это, особенно про кладбище, говорилось всерьез. Но доктора, уж точно, упомянули для того, чтобы разжалобить нашего директора, душу его заржавевшую смягчить.

Но что мы знали о его душе?

Я уж точно ничего не знал.

Меня перевели сюда из зырянского интерната вместе с шестилетней сестрой, над которой вели расправу старшие девочки, отбирая у нее еду. Они бы и вовсе ее добились, но в счастливый момент кому-то пришла идея в юргомышском районе перетащить нас сюда, где была организована дошкольная группа. Нас с сестрой и Володьку Полякова с маленьким братишкой.

В первый же день приезда я полез в чужой огород за морковью, не рассчитывая по привычке, что нас здесь накормят, и надо же случиться, что огород этот принадлежал сестре Башмакова, тоже воспитательнице в детдоме.

Меня наказали. Наказали даже дважды, потому что не дали есть и не дали встречаться с сестренкой. А мы не могли не встречаться, мы тем и держались все время, что непрерывно были рядом, и нас никто не смог до сих пор разъединить.

Никто, кроме Башмакова.

Он умел наказывать так, чтобы было не просто плохо. А было очень плохо. А что может быть страшней, чем разлучить близких людей. Башмаков и разлучал, он бил в самое больное место.

С этого началось мое знакомство с товарищем Башмаковым. Как потом я смог убедиться, он был внимателен до мелочей, а тем из нас, кто хоть раз посягнул на его личную собственность, никогда и ничего не прощал.

Был случай, когда курица Башмакова по своей дурацкой снесла яйцо под детдомовским крыльцом, а Вовка Поляков

нашел и сожрал, сырым сшамкал, прямо вместе с кожурой. Эта самая кожа, прилипшая нечаянно к верхней губе, его и выдала. Уж как над ним изгалялся директор: и без хлеба, и без воды держал, и в район посылал на предмет проверки психики. Он довел Вовку до заикания, напугав криком во время сна, да и сбегрил в конце концов в челябинскую ремеслуху, хотя тому не исполнилось четырнадцати лет. И метрику Вовкину подделали, прибавив целых два года. С братишкой их, конечно, развели, и должно быть, навсегда.

Жил Башмаков в соседстве с детдомом. За высоким забором земля, двор, немалое хозяйство. Кроме упомянутых кур, водились у него утки, гуси, даже свиньи. Обслуживал все это добро наш молчаливый, наш безотказный Женя. Но и нам в разные времена приходилось ишачить на Башмакова, убирать двор, вывозить навоз, носить собакам и свиньям корм. Их кормили получше нас.

В семье был культ старшего Башмакова: он царствовал по ту и по эту сторону забора.

Когда он отчитывал за какие-то провинности своих домашних, а виноваты у него были все и всегда, мы из-за забора тоже слышали его сильный, рубящий, бьющий как колуном по голове голос, и даже самые развязные среди нас становились смирней и надолго затихали. Не боялся его лишь младший сынок Вовка, по возрасту он был мне ровня — десять лет. Но он вообще мог никого не бояться, имея такого все сильного папу. С нами он не водился и не играл, а лишь показывал язык, когда мы заглядывали через забор, да еще плевал в нашу сторону.

Наверное, то, что исходило от старшего Башмакова, озвучивалось по малости Вовкой. Отношение отца и сына к нам было одинаково презрительным.

Любимым же занятием Вовки было маршировать вокруг дома и громко читать такие стихи:

*Товарищ Башмаков
Уверен и толков,
Веди меня вперед,
Товарищ Башмаков!*

Эти слова, наверное, он слышал тоже от старшего Башмакова у себя в доме, а может, от его сослуживцев еще в Москве. Но из этого следует, что «товарищ Башмаков» в прежней, довоенной своей жизни был какой-нибудь шишкой, а здесь, в Сибири, за спинами детей временно спасался от фронта, сберегая для светлого будущего свою драгоценную жизнь.

И вот о чем я сейчас подумал: скольким же тиранам и мучителям, ловко прилипшим к детским учреждениям, мы одним лишь своим жалким существованием спасали и спасли жизнь! Они-то нас преследовали, они морили нас голодом, изводили как могли, а мы их за это спасали. Их самих и их наследников. Не странно ли, правда? Но так было. И если я тогда выжил и до сих пор существую, то я обязан в первую очередь самому себе. А вот товарищ Башмаков, и его терпеливая сестра, и ненавидящая нас жена, и даже сын Вовка, все они выжили потому лишь, что были такие, как я, да Вовка Поляков, да безропотный раб Женечка. Да и остальные, нам подобные. Потому-то я полной мерой, как другие ребята, а может чуть больше, изведал громкий гнев и все немилости товарища Башмакова. Впрочем, кричал он редко. Но зато железным тоном прокурора (а может, он и был до войны прокурором — вот поздняя догадка!) наказывал, будто шпицрутеном сквозь строй прогонял: «Без завтрака, без обеда, без ужина, без завтрака, без обеда...»

И так несколько кругов голодного ада, в зависимости от того, насколько запаса воздуха у него хватит, а легкие у него были ефрейторские, хватало зараз выпалить на трое-четверо суток, а в сильном гневе на все пять!

Сейчас я подумал, что по своей солдафонской недалекости он брал мелко, деля день на три части, а легко бы мог, скажем, вылаивать сразу сутками, тогда бы и неделя-другая вместились в его динамометрию; но опять же, когда перечисляются по отдельности: «Без завтрака, без обеда, без ужина», как бы вбиваются три гвоздя в твое незащищенное тело, а неделя — это один гвоздь, хоть и большой, и удовольствия подольше истязать уже не получится.

Все это, не задевая чувств, просквозило в моей памяти в то время, как было произнесено о Башмакове, что он обламывал и не таких, как я. Я оценил их много позже. Иначе бы сдался сразу, а не пытался глупо сопротивляться. Тем более что обламывал он одних с помощью других, вот как сейчас меня с помощью добряка Жени.

Но вот о Жене... А не такие ли покладистые да смиренные ребятки, тоже, возможно, добряки, охраняли зоны, служили верой и правдой в конвоях и пересылках, а при случае («Шаг вправо, шаг влево считается за побег!») стреляли заключенных в сталинских лагерях? Это потом в Москве, на Казанском вокзале, наш молчальник Женя, почувствовав, что кончилось время Башмакова и тот ему больше не хозяин, все накопившиеся чувства выразит одним, но весьма красноречивым движением, грохнув огромный ящик с вином, когда пришлось ему в последний раз перетаскивать многообъемную поклажу бывшего директора.

Все знали, и Женя знал, а он-то знал больше других, что был тот ящик, как и другие ящики, выменян Башмаковым на целое поле капусты, которое мы все лето, по десять часов в день, пололи и поливали. А еще была картошка, несколько гектаров, горох, свекла... От заката до восхода проклятое нами лето. Тут даже детишки из дошкольной группы гнули спину на благодетеля и кормильца товарища Башмакова. Это не вино — это наша выкачанная из нас кровь брызнула вином на землю, когда Женя грохнул оземь пресловутый ящик.

Я и сейчас вижу в натуре всю картину. Как волочит Женя, обхватив ручищами, будто клешнями, тот неподъемный ящик... Потом по-воровски оглядывается, замедляя шаг, и, убедившись в отсутствии хозяина, с неожиданной силой шарахает ящик о каменный цоколь вокзала. Нас он не видит; выгруженные из другого вагона, мы торчим кучкой на противоположном краю платформы и от нечего делать глазеем по сторонам и, конечно, на Женю. Побив ящик, Женя очень тихо, даже бережно, приподнимает и снова опускает его на землю и с удовольствием рассматривает со всех сторон, по-детски удивляясь, что он так

сильно покорезжился, что лопнул по швам... А из швов сочится красная жидкость. Оглянувшись еще раз, Женя проводит по доскам ящика ладонью, а ладонь подносит к лицу, смотрит и нюхает, чтобы убедиться, что грохнул он и в самом деле то, что следовало. Вот тут он замечает нас... Но вовсе не тушует, чего ему теперь бояться, а как-то по-дурачки хмыкает и разводит руками, мол, видите, как бывает. И при этом подмигивает в нашу сторону. Но к нему уже бежит, налившись гневом, шипящая на ходу, как сковородка, башмаковская жена и вопит на весь вокзал. Женя с неохотой оглядывается, произносит что-то вроде: «А шла бы ты куда подальше, мадам...» — и тащит разбитый ящик дальше, оставляя на перроне темно-красный след.

А он вот когда начинался...

Женя приблизился ко мне, шумно вздыхая и отводя в сторону глаза. Он обхватил меня сильными своими руками, лапами, клешнями, как точней назвать... Прижимая, как младенца к груди, отнес на метр от спасительного ложа и мягко поставил на ноги. Но я тут же сполз на пол, стоять я не мог.

Башмаков прицелкнул языком, то ли удивляясь, то ли восхищаясь всей этой картиной. Мне показалось, что ему нравится не только сам процесс моего такого обучения, но даже мое сопротивление ему.

— Та-эк-с! — воскликнул он с азартом, оскаливая желтые зубы. — Еш-шо разо-о-чек!

Женя, смиренно возвышающийся надо мной в ожидании нового приказа, с опущенными руками, чуть ссутулившийся, наклонился и принял меня снова на грудь, обнимая как родного, и так же бережно, с той же виноватой улыбкой приподнял и поставил на ноги. А я снова сел, ловя краем уха невольный вздох спальни.

— Та-эк-с! — выдохнул Башмаков, усмехаясь, но глаза его при этом были холодны, как у железного памятника. — Ешшо... Ешшо, значит, разочек... — Он и сам был как железный, и все в нем, даже ненависть ко мне, было вылито из железа.

— И — ешшо разочек, — выдавливал он с удовольствием. — И — ешшо! И — ешшо! Хоть до вечера! Мы никуда не торопимся, правда, Женечка?! Мы и ужин можем пропустить ради такого урока!

Это, последнее, был уже удар не по мне, а по невинным свидетелям нашей борьбы, которые не могли не понимать, что такое пропустить ужин. Пусть, если могут, терпят другие, Башмаков там, Женя, или... Но жить без ужина, когда и до ужина нет мочи терпеть... Такой удар не выдержит никто. И спальня не выдержала. Я уже не слышал ни споров, ни голосов. Не почувствовал я теперь и молчаливой, пусть выраженной одним нечаянным за спиной вздохом поддержки. Оседая на пол в который раз, я непроизвольно оглянулся и вдруг ясно понял, что они уже навсегда уверовали в силу товарища Башмакова и теперь, собранные, как статисты на площади, нетерпеливо ожидали конца своей собственной участи. Моя-то для них была давно решена.

В их молчании я прочел приговор самому себе. И тогда я встал на ноги. Сам встал. И остался стоять.

— Ну вот, — буднично произнес директор, будто и не ожидал ничего другого. — Кто же нам врал всякие тут глупости: «Не ходит! Не ходит!» Ходит. И побежит, если будет надо... Женечка, ведь побежит?

Женя кивнул, натянуто улыбаясь.

Башмаков сидел, широко расставив ноги, и глядел в упор не на меня, на Женю. Но я-то кожей ощущал, что смотрит он только на меня и видит одного меня, Женя его никак не интересует. От директора даже на расстоянии исходил холод, как от раскаленного на морозе металла. .

— Как наш вождь и учитель дорогой товарищ Сталин говорил... Как он говорил, Женечка? Ну, правильно, правильно... Он говорил нам: «Не можешь — научим, не хочешь — заставим...» Умница, Женечка, именно так говорил лучший друг советских детей! И твой друг, между прочем, — это уже обороты ко мне, и даже как бы с укором. Но за мягкостью обращения ощущалась мягкость кошачьей лапки, которая, наигравшись с мышонком, сейчас выпустит смертоносные когти. И вот они...

Тем же беспристрастным тоном Башмаков приказал:
— А ну, иди! — и повторил, ухмыльнувшись: — Иди, иди, говорят, а не то всем коллективом поможем... Ведь поможем, братцы?

И братцы громко и дружно все до одного закричали, даже сам директор вздрогнул:

— Пра-ввв-да!

Это они уже как бы не директору, а самому родному товарищу Сталину отвечали, лучшему другу советских детей, которого здесь представлял тоже лучший друг товарищ Башмаков. И когда они проревели свое «Пра-а-в-да!», это было по правде. Правдивость воплощалась в том, что они искренне хотели помочь товарищу Башмакову, а он хотел помочь мне, и с этих самых пор и на всю жизнь, я так думаю, они будут по-башмаковски правдивы.

Но это сейчас так понимаю, а тогда ничего не понимал. Я, как затравленный зверек, огляделся вокруг, ловя вдруг ставшими незнакомыми лица дружков, с которыми вместе тырили морковь, шухарили по ночам, делили найденные на помойке мерзлые картофелины. Я поразился происшедшим переменам, увидав у них тот же металлический цвет башмаковских глаз и ту же объединяющую ненависть ко мне. А ведь не было, я мог бы поклясться, не было этого еще пять минут назад. Они сейчас, в эту самую минуту, прогорланивши свое слово правды, стали такими! И боевыми, и непреклонными. Такими же непреклонными, как сам товарищ Башмаков. Все, кроме, конечно, доброго Жени, который лишь смиренно улыбался. Как ни странно, их сомкнул, объединил в неразрывное целое многоголовое существо, в толпу — этот горловой звук. Может, в древние времена по знаку инквизитора толпа на площади, объединившись в едином выражении чувств, преследовала молодую ведьму, или ученого алхимика, или проповедника чужих идей. И если Жене для сокрытия его глупой улыбки надеть маску, то образ толпы и палача примет законченный вид.

Это мысли поздние, а тогда я лишь осознавал одно, что меня сломали. Не Башмаков сломал, а они сообща сломали. Даже в первую очередь сломали именно они, мои бывшие

дружки, в том-то и была, наверное, сокрушительная сила товарища Башмакова.

И я исполнил приказ товарища Башмакова: пошел. Чуть покачиваясь от тихого кружения в голове и еще необычного ощущения, что ступаю я по воздуху, из которого торчат острия тысяч стальных спиц и они протыкают мои ступни насквозь, доставая до живота, до груди и до моей черепушки. Но при этой адской боли я испытал вдруг в своей душе успокоение, почти радость, именно потому, что эту боль можно, оказывается, вытерпеть. И быть на ногах. И идти. Ощущая, как она вытесняет другую, более смертельную боль от свершившегося вокруг предательства.

Так тихохонько, по воздуху, по спицам, я пронес себя до двери, а потом до лестницы и до крыльца... До улицы, словом. До той самой улицы, куда я не чаял попасть уже никогда в жизни.

Помню как сейчас, что был сильный мороз, никак мной не ощущаемый, и воздух был литой и звенящий, как из куска серебра.

Без верхней одежды я окунулся в него и растворился в нем, как пар, так мне тогда показалось. На самом же деле я шагнул на дорожку, но попал ногой в сугроб, увяз в нем и упал. Тут меня и догнали. Ловко приподняв, нахлобучили до глаз шапку и телогрейку натянули, утащили в дом...

Как потом я узнал, они следили за мной из окна. В тот-то момент я о них и не помнил, мной владело одно счастливое чувство, что их больше со мной нет... Их никогда со мной не будет.

А они, оказывается, еще были. Сгрудившись у окна, они смотрели на меня, обсуждая между собой каждое мое движение. Они еще и хихикали, видя как я, раскорячив ноги, трепыхаюсь на белом снегу. Мол, глянь, чего из себя изображает.. Чарли Чаплина в кино!

Это все по поздним пересказам самих ребят.

— Ну, ну! — обрезал насмешников Башмаков, наверное, осознав, что и эти слишком разыгрались и пора и их свободу обрезать.

Дыша в заледенелое стекло, Башмаков взором полководца определил, что военную кампанию он выиграл, бунт подавил. И армия ему до конца верна и послушна. Не оборачиваясь на голоса, но тонко чувствуя за спиной обстановку, он бросил честно заслуженный кусок хлеба всей этой коdle, произнеся отрывисто: «Цирк закрыт, теперь все на ужин!»

Но что-то он не рассчитал: никто из ребятни не двинулся с места. Все, не отлипая от стекла, продолжали лицезреть законное действие. Из римского лозунга черни «Хлеба и зрелищ!» эти явно выбрали второе. Быстро обернувшись, он приказал Жене выйти во двор, поднять «этого», то есть меня, из сугроба и вернуть обратно в спальню. Не для того они поднимали симулянта с койки, чтобы он героически замерз на глазах зрителей. Такой героизм, это Башмаков понимал, здесь никому не нужен, не то его победа может обернуться и поражением.

А что же было нужно?

А вот что: каждый день я нужен им ходячий, чтобы всем своим покорным видом доказывать свое послушание. И поэтому завтра...

— Завтра он пойдет сам, — сказал уверенно Башмаков, покидая спальню. И не ошибся.

Хотя я ничего из этого не мог, понятно, услышать, но на другой день я встал на ноги и без всякой посторонней помощи добрал до середины улицы. А еще через день — до школы. До нее и было-то идти метров триста.

Я догадывался, но я не знал, что они все — вся спальня и сам товарищ Башмаков, но уже из своего дома — следят за каждым моим шагом, это мне тоже потом рассказали. И когда я дошел до ворот школы в самом конце улицы, Башмаков снова объявился в спальне и произнес от дверей свои знаменитые слова: «Вот и научили». И снова убрался к себе. Он должен был подытожить сделанное, чтобы ни у кого не возникло мысли, краешка мысли, что меня пора и пожалеть. А чего жалеть, если только чуть подучили: и ходить, и слушаться. И не только меня. Всех. Всех.

Но, подбивая бабки, они, никто из них, не знали остального. В тот день, скрывшись во дворе школы, я не пошел в класс, а, завернув за угол, который никак не про-

сматривался со второго этажа спальни, и миновав еще окраинные дома, это стоило мне всех моих сил, я вышел к опушке леса, который начинался прямо за деревней.

По глубокому насту, утопая по пояс, я добрел, дополз до первых деревьев, вовсе не думая, что мне придется возвращаться обратно, привалился к какому-то стволу молодой березки и заплакал, завыл... Я грыз мерзлую кору зубами, чтобы не сильно кричать, а когда завыл, я встал на четвереньки и легко исторгнул звериный вой, тонкий и протяжный.

Теперь-то я знаю, что так воет смертельно раненный зверь, он кричит от вселенской тоски по живому, перед тем как покинуть этот не приспособленный ни для чего мир.

В сумерках ко мне темными тенями придвинулись мои собратья-волки, лишь острые искры глаз, они сомкнулись в кольцо и повели за собой в густую чащу, подальше от людей. Это последнее, что я помнил, перед тем как пришел в себя в районной больничке.

20

На этом история не заканчивается.

Минули годы, и я успел забыть про Башмакова и про мое житье-бытье в темном лесу среди серых собратьев, с которыми выходил на дорогу. Но встретив кого-то, напомнимшего мне Башмакова, а я узнаю его сразу, какой бы облик он ни принимал, я вдруг ощущаю, как зажигаются звериные огоньки в моей душе и черная шерсть начинает прорасти на животе. Иду перед сном в туалет и там, запершись, рассматриваю себя в зеркале и нахожу, что лицо чуть удлинилось, а зубы, которые собирался почистить, стали белы и остры, как пила. Сказавшись больным, на ночь ложусь в отдельной комнате и по-звериному выжидаю. В полночь, убедившись, что все домашние мирно спят, я напяливаю свой рыбацкий, прожженный на костре ватник, чтобы слиться с темнотой, прокрадываюсь на улицу и шмыгаю в подворотню.

На меня реагируют лишь глупые и трусливые собаки, но, зацепив лапой одну из них, я прекращаю их визгливый оркестр. Легко преодолев покосившийся заборчик ближай-

шего полусельского домика, я нахожу курятник и медленно со вкусом изничтожаю всех кур и петуха, отплеывая липкие перья. Крупную живность: коров, телят, даже коз — я не трогаю. Хотя, кто знает, с ними расправляться проще: они не суматошатся и не бьют крыльями по глазам, а лишь от страха стучат копытом и мычат, пока не сомкнешь зубы на мягком и теплом горле.

Иной раз может выскочить и хозяин с ружьем, но я повторяю один и тот же прием: я не спешу скрыться, хоть для меня нырнуть в ночь и пропасть не проблема. Я встаю на задние лапы, возникнув перед его лицом, и заглядываю ему в глаза: Башмаков или не Башмаков? Он или все-таки не он? Но чаще это не он, а кто-нибудь из моих вполне подросших дружков по спальне. Трусливы. И все на одно лицо. Если скопом, убьют. Но сейчас тут я хозяин. И когда он, роня ружье, бежит, спотыкаясь и проклиная нечистую силу, я удовлетворенно убираюсь, перекусив хребет его собаке, такой же ничтожной и рабской сучке, как и он сам.

Возвращаюсь тем же путем. Скидываю отсыревший в ночи ватник, полощу рот, сплевывая кровавую слюну и застрявшую собачью шерсть, чтобы изгнать запах мокрой псины. И вдруг ощутив знобкую дрожь, ослабевший, озябший, почти больной, я лезу под одеяло к жене, потому что оставаться в одиночестве уже не могу. Прижимаюсь к ее горячей спине, слышу, как она бормочет, мол, откуда ты такой холодный, сколько раз говорила: в туалет надевай халат, а то простудишься. Я обещаю надевать в туалет халат и, прикорнув около жены и вслушиваясь в ее ровное дыхание, успокаиваюсь и засыпаю, чтобы назавтра проснуться мирным, любящим свою семью и своих детей семьянином. О Башмакове они не знают и никогда не узнают. Это мое.

ВЕЧНА СОРОК ПЯТОГО

Окна светятся весь вечер,
Как подснежники весной,
Скоро мы дождемся встречи
С нашей армией родной...
ПЕСНЯ КОНЦА ВОЙНЫ

21

Уж не помню кто, но кто-то из воспитательниц, сказал, что в Пасху надо встать пораньше, чтобы увидеть, как играет солнышко.

— А как оно играет?

— Ну, как... Вот как появится, так и играет... Стрелы красные пускает, огнями стреляет, переливается...

— Почему?

— Так ведь Пасха... Какой день!

И ушла, взволновав воображение.

Разговор происходил в кизлярском спецдетдоме, в спальне для старших мальчиков, и было нам по тринадцать лет.

Мы долго не могли заснуть, все воображали, как увидим солнышко, которое будет играть, у нас окошки выходили как раз на восток, на пыльную привокзальную улочку, где темнели сваленные вдоль рельсов ржавые остовы вагонов, битое бутылочное стекло, где пахло тухловато соленой рыбой, ее везли из Дербента, но все запахи перебивались сейчас острым клейким запахом первой листвы.

Мы многое уже знали об этой жизни. Знали, как выжить в тыловую зиму, где, что и как стибрить, украсть, унести... Знали, как кланчить подаяние и разжалобить любого, даже зачерстневшего за войну, мильтона. Как подсматривать чужую жизнь, особенно любовь, это уже начинало нас волновать. Мы знали все похабные и лагер-

ные песни, которые орали на ночь. Мы вообще все об этой жизни знали. Но мы, оказывается, не знали, как играет на Пасху солнце. Да и зачем ему в войну играть.

А наутро кто-то первый, подскочив на койке, как резаный заорал, что пора, пора, а то не увидим, как играет солнце, потому что проспали. И все сразу же подскочили и кто в чем был бросились к окошкам, прилипли к стеклам, уткнувшись глазами в серый небосвод. А он чуть просветлел, и казалось, вот-вот покажется красное светило, блеснет в глаза слепящими стрелами и вправду заиграет. Но ничего не произошло. Полезли серые облака, забив, как ватой, горизонт, и наступило сумрачное утро, какое, наверное, в Пасху не должно быть.

Но зато потом, когда развиднелось и выскочили мы на улицу, Пасха оказалась и вправду цветным и необычным праздником. Прохожие, встречаясь, говорили слова: «Христос воскрес», а некоторые им отвечали: «Воистину воскрес», а некоторые растерянно произносили: «И вас с праздником», а другие смущенно и чуть настороженно: «Здравствуйте, здравствуйте»...

Но люди при этом доставали цветные яички и несли ярко раскрашенные бумажные цветы на кладбище. Хлеб и яйца крошили на могилках и пили из стаканов вино. А я вдруг увидел, как в могилку зарывали яйцо, дождался, пока уйдут, с оглядкой вырыл и быстро съел.

22

А вообще эта весна была во всем необычна. Отец теперь чаще писал письма и сообщал, что скоро вернется. Но, в отличие от обычных треугольников, его послания приходили на заграничных цветных открытках с видом каких-то нереальных, будто нарисованных, городков, расположенных среди белоснежных гор. Такие же письма-открытки отец посылал воспитательнице Ольге Артемовне. Что он ей писал, я не знаю, но она не забывала об этом сказать, и не только мне, но и другим воспитательницам, и глаза у нее возбужденно блестели.

А нас, старшеклассников, стала вдруг волновать любовь. Хотя мы никогда в этом не признались бы друг другу. Про любовь показывали в кино, но это нас не прельщало. Другое дело — конюх Паша, доставлявший в детдом провиант, показывал исподволь, как оно на самом деле бывает. Он сажал к себе на колени Таиску, медсестричку из железнодорожной больницы, и, ухмыляясь многозначительно, производил сперва руками, а потом всем телом какие-то особенные манипуляции, а она заливалась смехом и, повизгивая, кричала: «Эх, давай, давай, давай и поглубже за-ла-за-й!»

Был еще военрук Саня, в прошлом фронтовик, который вел в нашей школе уроки военного дела, но почти нами не занимался, а чаще оставлял кого-то за старшего и выходил в коридор якобы покурить, на самом деле караулил историчку, которую при случае старался обхватить руками или прижать к стенке. У нас говорят: лапать.

Он был голубоглаз и смешлив, казалось, что он все время навеселе. Но, судя по всему, он быстро получил отлуп. Фигуристая чернобровая историчка с красивыми сочными губами там же, в коридоре, когда он сунулся ее лапать, надавала ему по мордам, а может, пошкорябала физию, и он несколько дней скрывался в доме и не появлялся в школе. А объявившись, наставил нам с ходу по военному делу двоек, а потом пошел к директору и написал заявление об уходе. Написал, что в таких нервных условиях он работать не может. Но не ушел, а через неделю продолжил занятия, а нам при случае рассказал, глупо улыбаясь, что она не историчка, а истеричка, и что она старая дева, и за войну, как кошка в лесу, одичала. Она, вишь, мечтает, чтобы заехал по пути из поверженной Германии какой генерал в люксовом вагоне и увез бы ее в Москву. Но это только в сказках. А у него самого хоть и саманная хибара, которую снимает, зато цельные руки-ноги, голова... И кое-что еще... тоже цельное. Чего бабе еще надо?

Мы не знали и не могли ответить на каверзный вопрос про то, что бабе надо, хотя задавался он нам, будто мы все знали. Но мы были для него единственные слушатели, с которыми можно почесать языком во время урока. Да и

было в нем что-то еще подростковое, мальчишье. Видать, прямо из школы попал на фронт, а многое школьное в нем так и осталось.

Но мы, промолчав, ему на этот раз не поверили. Мы любили у исторички пить в доме чай и знали, что она не любит пустых встреч и всяких гуляк называет «бженогими». Это так в биологии подвид насекомых прозывается. Так и про военрука сказала, не без усмешки: «Бженогий. Привык на ура брать, а до семьи не дорос... Ему еще перебеситься надо».

А на уроке военного дела, после того как мы с песнями, строем, с деревяшками, изображающими винтовки, отшагивали на школьном дворе, и девочки тоже, военрук показывал, как шомполом надо чистить оружие, и при этом, вводя в маслянисто-черный ствол учебной винтовки колючий ершик, подмигивал и ухмылялся, так что все понимали, что он имеет в виду что-то другое. Прихихикивая, он водил шомполом в канале ствола туда и обратно, и тогда ребята тоже начинали смеяться. А девочки краснели и отворачивались.

В эту весну особенно стало заметно, что все женщины стали другими. Не только лицом или походкой. Они стали по-другому одеваться, будто наряжались на праздник. Они появлялись на улице в пестрых платьях, платках, прибереженных, наверное, еще с довоины, и как-то по-особенному, мы не могли этого не заметить, поглядывали на заезжих мужчин. А если о них не говорили, то все равно о них думали. И Ольга Артемовна не раз, не два, как-то неумело, наивно, полагая, что я не столь догадливый, допытывалась про какие-то подробности об отце, про его бывшую работу, про наш довоенный дом. О том, что у меня нет мамы, она догадывалась, а может быть, знала.

И мама Витьки Иоффе, моего одноклассника, тоже почему-то стала расспрашивать меня об отце. А наша худрук Стелла, артистка местного театра, мы специально ходили смотреть, как она играет, а она играла лишь в одной пьесе «Сады цветут», где, сидя с молодым человеком и глядя в окошко, произносит такие слова: «Ах, какая на улице весна!» И все. Зато ходить на их спектакль можно было бесплатно много раз, и мы каждый раз ждали, когда

она, присев на подоконник, скажет молодому человеку знакомые слова: «Ах, какая на улице весна!» Так вот, наша худрук Стелла однажды нарядилась, хотя у нее и так румянец во всю щеку, и ушла вечером на танцы, а мы через щелку смотрели. Вечером она вернулась в сопровождении местного красавчика и жгучего брюнета Эдика Айрапетяна, который пользовался у дам бешеным успехом. Они долго шептались в каморке под лестницей, где проживала Стелла, а мы пытались подглядывать, что они там будут делать, но ничего для себя интересного не увидели.

— Ах, какая на улице весна! — сказала привычно Стелла.

А Эдик удивленно на нее посмотрел и спросил:

— Чего? Чего?

— Весна же, — повторила мечтательная Стелла, почти так же, как в своем театре.

— А-а, ну конечно, — пробормотал жгучий Эдик и, чего-то сообразив, заторопился домой. А может, наоборот, ничего не сообразил. Потому что в пьесе «Сады цветут» после этих слов Стелле на сцене долго говорят о любви. Но жгучий Эдик этих слов не знал, он был совсем не из пьесы, а из жизни. Наша историчка тоже бы назвала его «бженогим». А вскоре, как рассказывали, был он посажен за изнасилование малолетней. Впрочем, могли по злобе и наговорить. Все-таки танцевал он стильно, и наши девочки, подглядывая из-за забора, были от его танцев без ума.

Но самое интересное произошло с Лобановым. Стучилось это в один из дней апреля, когда мы организованно, под руководством Натальи Власовны, пошли в лес на прогулку, ломать черемуху. Вечером Лобанов в спальне по секрету рассказал, как он увидел лично, как занимались этим самым делом воспитательница Наталья Власовна и брат другой воспитательницы, Клавдии Илларионовны, Сергей, который тоже недавно пришел с фронта с покалеченной ногой и увязался с нами погулять.

А было так: Лобанов забрел далеко в заросли и в поисках сорочьих гнезд, где можно полакомиться яичками, залез на дерево, довольно высоко. И вдруг сверху увидел, как на по-

ляну, прямо под деревом, вышла наша Наталья Власовна с Сергеем. И он повалил ее на траву, потом снял с себя брюки, и у него торчал вот такой огромный член. И так с торчащим членом он пошел враскорячку к Наталье Власовне, а она в испуге закричала, вскочила на ноги и побежала в кусты. А что там было в кустах, Лобанов уже не разглядел.

— А что же он, так со стоячим х... и пошел?

— Да. А она испугалась.

— А до этого... значит, она ничего?

— Нет. Только хихикала по-дурному: Сережа, Сережа...

— А он штаны, значит, снял?

— Галифе. И сапоги даже. Идет к ней, руки расставил, и эта штука у него красная, как морковка, и во как торчит!

— И она смотрит?

— Не-е... Она вверх, почти как на меня, смотрела. А как повернулась, как увидела, завизжала на весь лес и опрометью в кусты!

— А в кустах чего ж?

— Не знаю. Кажись, они меня заметили... Я тоже почему-то вскрикнул. Они сразу смылись, а я стал спускаться.

Свою историю Лобанов рассказывал в разных подробностях много раз, и она дошла, хоть не сразу, и до воспитателей, и даже до завуча Ольги Христофоровны. Наталья Власовна на несколько дней вообще перестала появляться в стенах детдома, а Лобанова позвали к директору и пригрозили наказанием. Наказание же у нас известно какое — изгнание из стен спецдетдома на улицу.

Я бы, наверное, испугался, и другие тоже, а Лобанов не испугался. Он с кривой ухмылкой расписывал свой разговор с директором, к которому не только личного допуска, а возможности лишней раз издали увидеть ни у кого из нас не было. Был он крупен, но коротконог, с лицом стареющего бульдога и говорил, как гавкал, короткими лающими фразами. Не с нами, а с воспитателями, понятно. Мы для него не существовали. Проживал директор в своем большом доме на окраине, а рядом огромный виноградник и персиковый сад, сторожить который наряжали старших воспитанников. Вот они и рассказывали, сколько собак у

директора, и как их кормят, и как ест сам директор, сидя часами на веранде за огромным забором.

Лобанова тоже в дом не пустили и разговаривали в саду, а рядом, как на допросе, стоял одноглазый садовник и какой-то родственник, который проживал у директора в прислугах. Но Лобанов, по его словам, талдычил то же, что и нам. Он твердил, что он ничего не придумал и он не виноват, что на его глазах взрослые могут заниматься такими делами, как...

Директор попросил рассказать подробно, как они этим занимались, и при этом довольно похрюкивал. Наверное, подробности ему понравились. А потом он сказал: «Топай. И кончай с этим. Если ты такой зоркий, будешь у меня сад сторожить!» Мы верили и не верили Лобанову. И тому, что видел, и тому, что дерзил директору, которого и не видя все равно боялись мы все. В воображении, по рассказам, он казался даже страшней.

И все-таки до конца мы Лобанову не верили. Наталья Власовна, такая тихая, скромная украинка, с родимым пятном во всю щеку, вовсе не была похожа на женщину, с которой что-то подобное может произойти. А вскоре она объявилась в детдоме, все такая же улыбчивая, приветливая, ни в чем не изменившаяся, ни к нам, ни лично к самому Лобанову. Хотя обо всем, что он трепал, ей было известно. И тогда мы окончательно поняли, что она не злится на Лобанова, потому что он просто еще незрелый подросток, болтун и сочинитель. Так с ее слов передали девочки. И разговоры сами собой сошли на нет. А Лобанов остался в детдоме, и Наталья Власовна продолжала работать и так же тихо, мило всем улыбаться.

Но вот что я сейчас подумал. Я ведь видел наших воспитателей и ту же милую тихоню Наталью Власовну глазами подростка четырнадцати лет. Вообще-то, их было три женщины: сама Наталья Власовна, Клавдия Илларионовна и Ольга Артемовна. Завуч Ольга Христофоровна, тяжелая, грузная женщина, не в счет. Да и Стелла была как бы проходящая, со стороны. И лишь сейчас подумалось, что были-то они, наши мученицы воспитательницы, ну

совсем, совсем молоденькими, лет двадцати — двадцати пяти, не больше. Лучший девичий возраст их за время войны миновал. А ведь они еще пребывали в девушках и уж точно ждали и жаждали любви. Для нас же они оставались душевными подружками, не более, и однажды в приступе особой приязни я хлопнул Наталью Власовну по попе. Она, поймав мою руку, отвела в сторону, произнеся тихо: «Так не делают», и, одернув платье (примета: любить не будут), на всякой случай оглянулась, не видел ли кто.

Она была самой молодой из трех и, пожалуй, самой скромной, даже стеснительной тихоней. И, конечно, сейчас я понимаю, что именно с ней могло произойти то, что углядел в лесу Лобанов. А почему бы нет. Молодость, близость конца войны и, наконец, весна, все кружило голову и требовало ответных чувств. И, наверное, инвалид Сергей, с подачи его сестры Клавдии Илларионовны, не мог не пожелать молоденькой и хорошенькой женщины. А уж как там на самом деле было, совсем неважно, любовь есть любовь, во всех видах прекрасна, если за ней не подглядывают с дерева вездесущие обормоты типа Лобанова.

И Клавдия Илларионовна, тоже «душевная подружка», однажды застала нас за «химическим» опытом, когда Батя, обычно сонный и медлительный, погрузив задницу в тазик, пускал газы, а Витька Шевцов поджигал спичкой выделяемый Батей сероводород. А мы всей спальней, сгрудившись вокруг химиков, наблюдали и удивлялись, что сероводород, который умело и долго и в большом количестве выделяет Батя, и вправду горит. Нет, мы не просто наблюдали, а при этом еще орали сопутствующую песенку: «Сидит химик на печи, долбит х... кирпичи, химия, химия, вся залупа си-н-я-я!»

Песенка тянулась долго и была столь же замысловата, как упомянутая в ней наука химия. При всей нашей ненависти ко всем предметам, про немецкий язык уж не говорю, именно химия вызывала к себе особо негативное отношение. Во время химических опытов мы воровали мензурки, а каждый раствор пытались попробовать на язык, даже соляную кислоту и лакмусовые бумажки, а слово «валентность» вызывало судороги в желудке.

И Клавдия Илларионовна, прослушав куплет или два, с любопытством лицезрела от дверей наши действия. И тут почему-то смутились мы. И как бы в оправдание стали хором объяснять, пока Батя натягивал на мокрую задницу штаны, что опыт по химии мы проводили в порядке эксперимента, заданного на уроке, для большей, как говорят, ясности... Раньше-то вот считалось, что пердеж, которым из всех ребят отличался особо Батя, — пердеж и есть, и больше ничего, а это, оказывается, большая наука! Хи-ми-я!

— Да уж слышала, — сказала на это Клавдия Илларионовна. И хоть сама не улыбалась, но в тоне, да и в глазах сквозила насмешка.

— Хотите, снова изобразим? — спросили мы дружно. — Батя выделит химического вещества сколько надо!

— Нет, нет, — ответила Клавдия Илларионовна. — Вот скоро поедете на подсобное хозяйство, там, в Терее, будете проводить свои опыты.

Мы закричали «ура!», потому что на подсобное хозяйство любили ездить все. Там воля, там меньше надзора и, главное, после жаркой работы в поле обильное купание. А то еще занятие — переплыть на другую сторону, держа спички во рту, и поджечь камыш, который сухим ковром стелется до горизонта... А потом бежать до воды и любоваться огнем с другого, уже безопасного берега.

А еще, конечно, песни.

Особенно хорошо получается, когда воспитательницы соберутся втроем. Первый раз я услышал их пение по дороге на подсобное хозяйство... Ну, представьте, степь до горизонта, пыльный шлях и горячее солнце жарит и жарит на вылинявшем небосклоне. Ехать на быках (цоб-цобе) долго, и дети, и взрослые, придавленные жарой, молчат. И вдруг, сперва неуверенно, а потом громко и разлиvisto, заведут: «Ой ты Галю, Галю молодая, пидманулы Галю, забрали с собо-ю-ю...»

Тут в ходу все больше украинские песни. Слов я не помню, но уж больно задушевно наши воспитательницы их поют... То протяжно, а то игриво... Не ходите, не ходите, не любите, не любите, лучше нам не знаться, чем мы будем рас-ста-ва-ть-ся... Эти последние слова выводятся с осо-

бым выражением лица и переглядкой женщин между собой. И мы сразу догадываемся: они поют про себя, потому что они хотят любви, но боятся этой любви, а боятся потому, что с ними могут пошутить, а потом взять и бросить, как это и произошло потом у Ольги Артемовны с моим отцом.

Впрочем, все равно любви они хотят. Очень хотят.

23

Однажды в приступе откровенности я рассказал Клавдии Илларионовне фантастический замысел про человека, который стал таким крохотным, что поплыл по собственным венам и очень удивлялся, увидев сам себя изнутри. И далее в том же духе. Длупость. Сам не знаю, зачем доверился. А воспитательница не стала насмешничать, а сказала, что сочинять книжки нужно такие, какие лежат у нас в библиотеке: «Иван Никулин — русский матрос», или «Наука ненависти», или вот героические стихи «Штыком и пером»... Очень даже впечатляет, можно прямо со сцены читать. Но потом она добавила, что книжки про войну сама она не любит и лучше уж что-нибудь другое, пусть даже фантастика. Только не всегда книжки до нас доходят, а лучше, если бы я стал печататься в журнале, таком, как «Огонек». Его даже в парикмахерской можно найти...

Кажется, я согласился и обещал в будущем печататься в «Огоньке». И ведь правда через много лет напечатался. А разговор этот я запомнил именно потому, что воспитательница разговаривала со мной по-взрослому. Впрочем, причина-то была: я впервые написал стихи. И, как ни странно, хоть по натуре лирик, да и возраст — почти четырнадцать — располагал к романтике, свое стихотворение я написал в жанре сатиры. Стихи я до сих пор помню. Начинались они так:

*Есть в Кизляре спецдетдом,
В нем порядок заведен:
Кормят ровно в шесть часов
И проспать не дают,
А за завтраком ребята
Ложкой в рот не попадут...*

Ну и далее, в том же разоблачительном духе.

Успех был невероятный. Ребята на ходу — и в строю, и на уроках — бормотали мои стихи и даже пытались их петь. Девочки просили дать автограф, но я еще не знал, как его дают. А более взрослые ребята вскоре их развезли по ближайшим училищам, навязывались в соавторы. И даже Володька Рушкевич, кареглазый, породистый красавчик, не принимавший дотолу меня всерьез, неожиданно предложил свою дружбу, но просил всем говорить, что стихи мы сочиняли якобы с ним вместе.

— Да мне не жалко, — сказал я Володьке. — Забирай их совсем, я другие, еще лучше, могу сочинить.

Но Володька от такого щедрого подарка отказался. Да и все уже знали, что сочинил-то стихи все-таки я.

— Нет, — сказал он. — Ты просто скажи, что я тоже помогал.

Володька был любимчиком Клавдии Илларионовны. Сейчас я думаю, что она знала, а может, догадывалась о бывшей семье Володьки и его сестры Симы. Со слов Володьки было известно, что он из семьи военных, то ли генерала, то ли еще выше, только их отец пропал на фронте. Насколько я сейчас понимаю, пропал он вовсе не на фронте, а до войны, в конце тридцатых, и тогда все становится понятным. Сейчас понятным, а тогда нет.

Надо сознаться, что мы, созданные улицей, были поголовно сочинителями своей собственной жизни. Господи, что мы только плели, что не наговаривали на себя. Мы были сплошь потомками всяких там знаменитостей, от наркомов до народных артистов; типичные, словом, дети лейтенанта Шмидта. Только Ильфа и Петрова мы знать тогда не могли. Но чаще наши легенды не столько проясняли, сколько затемняли истинное наше происхождение. Мы умело, даже виртуозно, во время опросов наводили тень на плетень, и замороженные нами комиссии гороно, дирекция и пронциательные, знавшие о нас многое воспитательницы с трудом расшифровывали наши жизнеописания, пытаясь, а чаще не пытаясь, докопаться до какой-нибудь истины. Они-то получше нас понимали, что истину в иных случаях лучше не знать вовсе. Так что в этом вопросе мы были заодно с нашими мучителями.

Вот откуда вытекает тот крошечный ручеек, который становится через много лет источником моих сочинений.

Но вот в рассказах Володьки и вправду проскальзывали достоверные сценки из какой-то неведомой нам жизни, как, например, в Гатчине, на каком-то параде в честь двадцатилетнего юбилея РККА, его отец стоял рядом с маршалом Буденным, называя его просто Сеней, и долго спорил о лошадях, а в другой раз вместе со знаменитым Доватором восседал на скакунах, белых в яблоках, а Володьку, обомлевшего от счастья, отец посадил впереди себя. И все Володьке улыбались, а марширующие мимо конные бойцы отдавали ему честь.

В это можно было и поверить. Откуда бы пацану в восемь лет знать, что такое РККА (Рабоче-Крестьянская Красная армия) или парад в Гатчине... Но опять же, в ту пору, когда все ввали напропалую, такие байки ничем не выделялись среди сотен других и не очень нас впечатляли. Хотя, как видите, запомнились. А в поздние уже времена среди воспоминаний какого-то военачальника о временах репрессий промелькнула однажды фамилия Рашкевич. Разница-то в одну букву, да ту могли перепутать в распределителе или даже специально заменить, чтобы обезопасить детей. Такие случаи были. А возможно, это могла сделать сама Клавдия Илларионовна. Во всяком случае, ее необычное, чрезвычайно предупредительное отношение к брату с сестрой Рушкевич было заметно и немного нас удивляло.

Далее же история с Володькой такова. Когда летом сорок шестого появился в детдоме мой отец, Володька напросился взять его со мной вместе в Москву, где он надеялся встретиться с шефом нашего детдома знаменитым полярником Папаниным, который в то время был контр-адмирал и возглавлял организацию под названием «Главсевморпути». В какие-то времена, хоть и шла война, Папанин приезжал охотиться на кабанов в кизлярские поймы в личном вагоне, оббитом красным бархатом и украшенном охотничьими трофеями. Каким-то непостижимым образом его удалось затащить в детдом, и с тех пор он числился нашим шефом, а его назидательное письмо о том, что нужно хорошо учиться

и любить свою родину, было окантовано в красивую рамку и повешено на самом видном месте. Было оно подписано так: дважды Герой Советского Союза, контр-адмирал Северного флота. Сам Папанин во время приезда на Кавказ оказался небольшого роста, толстоват, и щеточка усов, когда он показывал нам музейный вагон, смешно шевелилась.

Но все детдомовцы от мала до велика знали его письмо наизусть и свято верили, что в будущем у нас теперь есть опора и наш замечательный шеф поможет нам выйти в люди. А первой ласточкой на этом пути к далекому шефу был Володька.

В Москве он сперва жил у нас, мы спали вдвоем на диване. Каждое утро спозаранку он садился на электричку и ехал в Москву, на Старую площадь, к мраморному фасаду старинного здания, где работал наш шеф. Увидев Володьку, он обрадуется, спросит, а как тот учился и любит ли он свою родину. Володька на это расскажет ему про учебу и про родину, а шеф Папанин похлопает дружески по плечу и скажет... Вот, скажет, друг Володька, такая вот у нас достойная растет смена, и мы берем тебя, друг Володька, юнгой на корабль... Будешь, значит, плавать по северным морям и присылать мне бодрые письма.

Через месяц Володька вдруг понял, что никакому Папанину, ни даже дежурившим у дверей его холуям, что не пускали Володьку далее мраморного входа, он не нужен. А может, кто-то из стражников разжалобился да сказал ему по-свойски, мол, катился бы ты, паря, подальше отсюда, пока тебя в милицию не загребли. И тогда с помощью моего отца он устроился учиться в люберецкое ремесленное училище, как раз то самое, которое потом будет заканчивать Юрий Гагарин. Но учеба у Володьки не пошла, и он без копейки денег, на перекладных, вернулся в свой Кизляр.

В спецдетдом, где продолжала жить его сестра, старый директор с бульдожьей рожей обратно его не принял. Не принял, ладно. Но еще и отчитал, когда Вовка пришел проситься обратно, говоря, что пустая Вовкина голова ногам покоя не дает и так ему и надо, что погнажи, что зазря в звездной столице он побеспокоил высокого руководителя, который

занят, рядом с вождем, государственными делами и не может отвлекаться от работы на каждого заезжего бродяжку.

Володька выслушал, глядя себе под ноги, вежливо с директором попрощался и поехал в Грозный, где поступил в ремесленное училище, готовящее рабочие кадры для нефтяной промышленности. Оттуда я получил короткое последнее его письмо.

Но хотелось бы завершить историю с Володькой одним памятным эпизодом. Когда мы в Москве осматривали метро, на линии от Электrozаводской, — кажется, это была остановка «Площадь Революции», — мы обнаружили среди бронзовых фигур, вписанных в красный мрамор, одну фигуру, посвященную партизану. По замыслу автора бородатый партизан стоял, чуть пригнувшись, в засаде, а в руках у него был взавправдашний пистолет. Так нам показалось. Володька долго кружил вокруг партизана, а когда станция пустела, резкими движениями пытался выкрутить, вырвать из рук партизана этот самый пистолет. Но ничего у него не получилось. И, наверное, такой умелец был не он один. Пистолет был до желтизны отшлифован чужими руками. А вот уж недавно, оказавшись на той же станции, я специально разыскал бородача, чтобы с удовлетворением убедиться, что пистолет-то у него все-таки увели. И стоит наш партизан в засаде, но без оружия. Но я не о нем, о Володьке. После долгих ожиданий у мраморного дома, что на Старой площади, он не проникся доверием к этому новому для него миру. Ему нужно было оружие.

24

Возвращаюсь к стихам. Хоть первые из них были написаны мной именно на Кавказе, да там нельзя не писать стихов, но моя родословная, как и мое творчество, безусловно, берут начало на Смоленщине, на родине отцов, родине моего земляка и великого поэта Александра Твардовского.

В войну в своих стихах, которые в виде листовки были сброшены в тыл немцев, на Смоленщину, в сорок втором году он писал: «...Ой, родная отцовская, что на свете одна, сторона приднепровская, смоленская сторона... Здравствуй!»

Так и звучали во мне эти слова, как песня, как рефрен, когда через много лет посетил я родные отцовские места. Сперва Смоленск, а далее Рославль и деревню Белый Холм. Хотел заехать в Сельцо, на родину великого поэта, да не по пути оказалось. Зато памятник Твардовскому, где сидит он на бревнышке, как бы беседуя о житье-бытье со своим героем Васей Теркиным, я чуть не руками ощупал и даже сфотографировался, ибо стихи про бойца, да что стихи, всю поэму, практически с юности знал наизусть. Меня в армии так и звали — Теркин. И в стихах поперву подражал, но к любимому поэту, хоть несколько раз повезло быть рядом, постеснялся подойти. Слишком сильно любил.

Первый раз побывал я в родной деревне отца до войны, в классе втором, и запомнил избу, деда с бабкой, пирог с картошкой, землянику в лесу. А отец мой, ровня Александру Твардовскому, бегал с ним в школу, тоже во второй класс, из соседних хуторов: Загорье и Радино. В последний же раз приезжал я сюда с отцом, который был в моем позднем нынешнем возрасте. Так и сказал: попрощаться. Мы тогда взяли моего сына Ванюшку и племянника Павлика, подростков, теперь-то им под сорок. А привечала нас дальняя родня: Нина и Михаил, которые переехали из ликвидированной деревни Спасской сюда, в Белый Холм, на центральную усадьбу.

Михаил, тракторист, похвалялся новым местом, на окраине у болотца, где поставил он избу-четырёхстенок под железной крышей, произнеся громко, что это усадьба Михаила Гашкей. Так его звали в деревне: мать Гашка, которая купила у моей бабки дом. Ну, а бабка моя Варвара, когда дед Петр перед войной помер, переехала жить к нам, в Люберцы. Только 17 июня сорок первого вернулась в деревню продавать избу, а тут война и немцы... Деревню сожгли, а она, бабка Варвара, умерла в «салаше», в окопчике, залитом водой.

Так рассказывала при встрече Гашка, у которой один глаз был выбит осколком мины. В выражении Нины о свекрови: «Один глаз и два рога». Хоронили, мол, Варвару ночью, тайком, на зеленом холме, на сельском кладбище, в

ногах у деда. А потом, уже в шестидесятые годы, привезли мы с отцом туда и поставили железный крест.

Отец водил меня по родным местам, собирал в кружку душистую землянику, ходил за водой на криницу, что у Черного Вира, ловил раков в речке Свиной, а белобрысый Санек, сын Михаила, второклассник, пока мои ленивые юнцы прохлаждались на берегу, все топал за отцом по горло в воде, сгоняя с его спины назойливых слепней. Санек и запомнился тем, что был настоящий деревенский мужичок, основательный и серьезный, не чета моим городским лоботрясам. «Слышу, крикнули: Саня! // Вздрогнул, нет — не меня. // И друзей моих дети вряд ли знают о том, // что под именем этим бегал я босиком...» — писал Твардовский.

И вот другой Саня... тоже босиком.

Отца давно нет. По Рославльскому шоссе через Починок просторными полями, сплошь в одуванчиках, въезжаем мы в Белый Холм. Минуем речку Свиную, спрашиваем у продавщицы в магазине, где полки так же пусты, как в прежние советские времена, даже хлеба нет, где живут Бородавкины. «А у нас тут все Бородавкины», — отвечает она. И лишь на имя Михаила Гашкей реагирует сразу: «Он-то помер... И Нина померла. А их сын, Саня Новиков, женился, жена его в магазине работала, теперь почтальоном устроилась... Да вы их найдете!»

Дом у них теперь не тот, что я запомнил, а новый, кирпичный. На стук выглядывает пацан, ровесник того Саньки, которого я видел в прошлый приезд. Тоже светловолос, только с рыжиной, он объясняет, что папка на работе, в лесу, деревья пилит. Зовут нового Саньку Женькой. Такой же мужичок, серьезный, основательный, учится опять же во втором классе. А Саня ныне высокий, худощавый, с усами, смуглый уже от весеннего солнца, но глаза такие же ясно-голубые. Мы сажаем его в машину и едем на зеленый холм, на кладбище, с помощью Сани и Женьки отыскиваем родную могилу.

Пока приводим ее в порядок, выпалывая жгучую крапиву, мой смоленский спутник, работник ГУИНа, стелет газетку и раскладывает выпивку и угощение. Поминаем деда и бабушку, потом Нину с Михаилом, а Саня рассказывает

про свою историю, как на заре перестройки организовали они ферму: восемьдесят коров и телят, всяческая техника, машины и так далее. Взяли кредит на пять лет, но дело не пошло, разорились. Почему разорились, объясняет смутно. Ссылается на налоги. Но скорей всего пропили они свою ферму. Нынче же работы в деревне никакой нет, пилят они березу, которую сдают на мебельную фабрику по двадцать четыре рубля за кубометр.

— А тут как увидел в лесу, — говорит Саня, — черная машина с областными номерами да люди с погонами и в кожанках... Так и решил: за мной... По поводу долгов... Брать будут...

Посмеялись. Хоть смешного-то мало. Отвезли мы Саню обратно в лес, а с Женькой расстались у магазинчика, уже другого, крошечного, но уже коммерческого, тут все на полках было: и пепси, и жвачка, и даже бананы с апельсинами.

Женька знал все цены и лишь глазами спрашивал: можно? Мы его подбадривали: валяй, мол, бери, пока дают! Мы нагрузили рыжего Женьку пакетом со всякими сладостями, и пошагал он домой, крепко прижимая фирменный пакет к груди.

Наш спутник из области уверял на прощание, что они сами могилку поберегут и дощечку памятную сделают... Вот будет в июне в Сельце праздник в память Твардовского, приезжайте, — говорит он. Я киваю. Ну, что сказать. Разве что стихами поэта... «Скоро ль, нет ли, не знаю, вновь увижу свой край... Здравствуй, здравствуй родная... Сторона. И — прощай!»

Саньку на прощание я дал деньги для приведения могилки деда с бабкой в порядок. Только спросил: Сань, а сколько надо, чтобы кирпичиком обложить и чтобы красиво? Он завел голубые глаза вверх, долго подсчитывал, потом сказал, что на горючку дорого выйдет, чтобы тот кирпич подвезти. «Ну, сколько?» — повторил я. Он назвал неуверенно странную сумму — двести четыре рубля. Если бы он так долго, закатив глаза, не подсчитывал, я бы, наверное, поверил ему. Но сумма с четырьмя рублями

отчего-то смутила. Я на всякий случай все удвоил и сунул ему в руку: сделай, Санек, за мной не станет. Он с охотой кивал. Но позвонил через полгода в Москву наш тогдашний спутник. Дощечки, мол, сделали, повесили, а вот могилку ваш Саня так и не прибрал. В забросе она. Да он, говорят, пьет... И жена его пьет, потому из магазина уволили...

25

Случилось однажды ночью, по пьянке, вспыхнул факелом деревянный двухэтажный дом рядом со станцией Томилино, и мы, детдомовская шантрапа, оказавшаяся в числе первых зрителей, с восторгом, будто на празднике, бегали вокруг пожара, а некоторые, кто побойчей, среди них был и я, полезли в огонь и шуровали по брошенным комнатам в поисках чего-нибудь съестного. Кому-то, помню, удалось обнаружить котелок, полный картошки, она дымилась, выкипая от бушующего вокруг пламени, а мы, озверев от бесценной находки, визжали, блеяли, кукарекали от счастья, набивая горстями рот, утробу, заглатывая пищу вместе с хрустящими на зубах углями.

Рядом обрушивались балки под гудящей в огненных вихрях крыши, дымился под ногами пол, подпекая босые пятки, и даже прихватывало жаром уши. Но что нас могло остановить, утратить в сравнении с вечным пожиравшим нас голодом. Да пусть испепелится все вокруг и канет в тартарары и этот дом, а с ним весь поселок, проклятое Томилино, не зазря так томительно в нем, но чтобы мы бросили, чтобы оставили огню нашу драгоценную находку, целый котел съестного, — такого не случится вовеки.

Среди проблесков огня, среди дыма и сыпавшихся на нас искр, черные до волос, жующие, приплясывающие вокруг кастрюли и вопящие, как психи, мы, наверное, напоминали чертенят из ада, собравшихся на свой бесовский праздник вокруг котла. Наверное, нам что-то орали снаружи, да мы оглобли от своего неожиданного счастья. Были пожарники с ручной помпой, в общем-то бесполезной, а те из взрослых, кто поосторожнее, отступая под напором огня

и заслоняя лицо от жара, крестились, решив, что мы, проклятые многожды населением за воровство и за то, что мы вообще существуем, обречены и уже не выйдем живыми. А тех из нас, кто успевал выскочить, окатывали из ведра и посылали беззлобным матюком подальше.

И только двое самых голодных, я да еще один шакал, никак не могли бросить добычу и медлили, хотя было видно, что вот-вот на нас рухнет вся огненная сверху масса. И в этот, ни в какой другой, а именно в этот миг нужно же случиться, чтобы у меня под ногами оказалась книга, я, кажется, об нее даже споткнулся. Успел углядеть серенькую обложку с четко прорисованным контуром всадника, но странного всадника, у которого не было почему-то головы.

Я тогда не успел удивиться, потому что рядом грохнулась со свистом, рассыпав веер искр, полыхающая балка. Слава богу, не на меня, а туда, где минутой ранее я пожирал картошку. Иначе я бы тоже оказался без головы. Картошка пропала, а я, схватив книгу, побежал, пробормотав, что это мы такие безголово-безмозглые, что за жратву готовы поджариться заживо. Цела ли была голова, не знаю, а вот книга дымилась и была на ощупь раскалена, как сковородка. Так вдвоем с книгой в обнимку выскочили под водяной душ, и это нас спасло. Ну, понятно, что сперва меня спасла книга, благодаря которой я не попал под горящую балку, а потом уже я спас ее.

О том, что спасительница книга будет мне нужна для спасения жизни вообще и для спасения моего будущего, я тогда, конечно, не думал. Но это было первое мое личное обретение, погрузившее в другой, неведомый и странный для меня мир. Я знал книгу наизусть, я любил ее героев и до сих пор помню, что пуля злодея, которую потом найдут в теле всадника, будет помечена тремя буквами ККК — капитан Кассий Кольхаун.

Тыл есть тыл, вокруг нас тоже стреляли, ибо шла война, а фронт проходил не так уж далеко. Да и оружие, неразорвавшиеся фугасы, патроны, я уж не говорю про самопалы, являлись более, чем найденная книга, причастными к нашей повседневной жизни. Но именно с тех

самых пор все злодеи, вовсе не книжные, а настоящие, проходили у меня под этими тремя буквами ККК. Буквы я расшифровывал по-своему: «Кровью клянусь казнить».

А сколько их было, что подпадали под эти три «К», начиная от ненавистной милиции и кончая жесточайшими блатягами, разыгравшими мою жизнь в карты и сделавшими из моего приятеля ради забавы ледяную горку... Я о нем еще когда-нибудь напишу. И конечно, конечно, я носил в груди вечный огонь ненависти к первому и главному моему мучителю Башмакову.

Была, кстати, еще одна, уж не помню, устно ли услышанная или полученная в обмен на мою книгу, «Черная стрела», где звучали, воспроизвожу по памяти, такие страстные строки: «Четыре я стрелы пущу и четверым я отомщу... Сэр Даниэль — исчадьё зла, тебе четвертая стрела!»

Кому назначались первые три стрелы, не помню, неважно, они назначались тоже моим недругам. И, отмщая бесчисленным и безжалостным врагам, а мстить коварно и безжалостно мы тоже умели, я проборматывал про себя стихи про сэра Даниэля (он же носитель пули «ККК»), а еще про сэра Башмакова, тоже исчадие зла, и был совершенно счастлив, когда мои черные стрелы достигали цели. Если не в те годы, то в другие, когда я об этом рассказал миру.

Но значит ли, что книга, спасенная мной и спасшая меня, и в том пожаре и потом, вопреки своему назначению, учила меня вовсе не добру? Не говорю — злу. Хотя, возможно, понятия добра и зла смыкались в моем сознании в единое целое. Просто зла было больше. Временами могло показаться, что, кроме зла, ничего в этом мире не оставалось. Но как бы мы выжили, спрашиваю вас и себя, если бы так было на самом деле?

Что касается сочинительства, то оно, как я сейчас понимаю, начинается чуть раньше Кавказа. Оно начинается с Сибири, с начала войны, с заледеневших коек, где мы, сжавшись на соломенной подстилке и укрывшись с головой пальто, чтобы надышать тепла, слушали с продолжениями знаменитые романы Гюго, Дюма, Диккенса... Многих других. Это был, по сегодняшним понятиям, тот

же сериал. В устном исполнении. Зато сколько картинок в воображении! Но какой это был сериал!

Первую мою книжку вскоре украли, это в порядке вещей. Нормально. Но зато другие книжки я узнавал от их носителей, моих дружков, умеющих пересказывать темными ночами длинные романы знаменитых писателей. Наверное, это были дети из таких семей, в довоенных домах которых могли быть книги, а то и целые библиотеки. Судьбу их родителей, как и остальной интеллигенции, нетрудно угадать. Где-то я уже говорил, что эти дети были крошками от кровавого пиршества лучшего друга всех советских детей товарища Сталина.

Попадая в другие колонии и детдома, я в свою очередь становился носителем тех услышанных мной в ночных сериалах книг. Повторяя их из ночи в ночь, иногда в течение месяца-двух и более, я мог зарабатывать свой первый сочинительский хлеб. Пишу «хлеб», и это не фигурально: отваливали от пайки по корочке, так полагалось с каждого в спальне слушателя. И выходило: чем заковыристей, чем изобретательней, чем дольше длилось повествование, тем больше выпадало рассказчику корочек! И уж тут, поверьте, открывался такой простор для фантазии, что дух захватывало. В какие только переплеты не попадали наши знаменитые герои и что мы с ними не вытворяли, приближая их к нашей детдомовской реальности! Д'Артаньян мстил блатягам, настигая их на платформах и в электричках; Том Сойер удачно чистил карманы на малаховском рынке, там происходили его встречи с красоткой Бетти, которая торговала мороженым, и с Гекльберри Финном, специалистом по открыванию замков; а знаменитый сиделец с острова Монте-Кристо на площади у Кремля, на круглом помосте, привязывал и порол розгами директора Башмакова на глазах у маршала Рокоссовского, а иногда Жукова, и те одобрительно взирали, давая иной раз профессиональные военные советы.

Прочитав уже в поздние годы знакомые по названиям книжки, я с удивлением обнаружил, что наши досочиненные нами повествования, те самые многосерийные романы-боевики, оказались куда занимательней, куда

виртуозней и смелей, чем их бледные оригиналы. А еще я теряюсь, когда заходит об этих книжках речь, потому что не уверен, что цитирую классиков, а не самого себя и моих дружков, безвестных сочинителей из моего детства.

И вот еще одна из книг, выхваченная из пламени, если вообразить, что война, пережитая нами, была тем же страшным всепожирающим пожаром. Название повести Ванды Василевской «Радуга» ничего не скажет нынешним читателям, и полагаю, что это был далеко не шедевр. Но она была написана и напечатана в разгар войны, и нам ее привезли на несколько дней из района, куда тоже привезли на несколько дней откуда-то издалека, возможно, из самой Москвы. У нас было три ночи, и мы читали по очереди, сидя возле коптилки: стеклянный пузырек с голубым фитильком, в черноте сибирской ночи.

И все равно помню... До сих пор помню и злодеев фашистов, и некую Мусю, живущую с врагом, у которой уши были треугольной формы. Можно ли поверить, что уже подростком, присматриваясь с любопытством к женщинам, в том числе к воспитательницам, я пытался по форме ушей (треугольные или не треугольные?) определить, кто из них может стать такой Муськой, то есть спать с фашистом и продать родину.

Но вот какая подробность, которую я извлекаю из моего прошлого. Не считая сплошь жирующих директоров — для них припасена «Черная стрела», наши полуголодные наставники были, как сейчас их вижу, остатками благородных семейств, в свое время не до конца уничтоженных, но униженных и низведенных, по принципу классовой борьбы, до уровня самого низжайшего, то есть уборщиц, сторожей или воспитателей, которым придется общаться с такими же отбросами, подобранными на улице, как вся детдомовская шпана.

Все происходило прямо по книжке, пересказанной тогда же, она называлась «Отверженные». И всякие Жан-Вальжаны, Гавроши и прочая воровская нечисть, в число которых входил на уровне шестерки и я, сомкнулась в гряз-

ных детдомовских стенах, где свивала себе «малину» подростковая преступность, где единым законом выживания было насилие одних детей над другими, с носителями иного мира, так думаю сейчас, и так же ощущалось кожей тогда. А несли они, эти носители, не поверите, свою старомодную, выброшенную за борт революции культуру. Не только книжки, свои воспоминания, свой особенный, без матюка, язык, свою чудную фортепьянную музыку, неведомые мелодии и романсы. А в итоге свою высокую душевную чистоту.

Господи, они все ушли в другой мир, преодолев всю мерзостную грязь, куда их опустили, и не запачкавшись в ней. Пусть там (там!) будет их душам легко, ведь они, сохраняя нас, заседали поле для будущей России.

А я до сих пор помню недоуменное, подчас глуповатое удивление при виде живых рук, которые из бросового, тоже небось реквизированного по случаю в каком-нибудь особняке инструмента, по черно-белым клавишам которого мы барабанили на досуге кулаками, извлекали на наших глазах неземные волшебные звуки. А еще были книги, которые эти женщины приносили из дома и которые тут же нами разворовывались, обменивались на рынке на картофелину или свеколку, а то и лихо пускались на закрутку, ведь мы все поголовно курили. Курили махру, если удастся достать, травку, сухие листики, но чаще собранные у железной дороги бычки, которые до крошки выкладывались на железку, подсушивались и делились равно между всеми.

Закуривали мы в тот поздний час, когда спальню покидал последний воспитатель, решив, что мы утомонились. И тогда мы как по команде вскакивали, сгрудившись у печки и глядя в огонь, пускали через ноздри дым и обсуждали свои дела. Тут происходил скорый суд над виноватыми, тут делилось уворованное за день. За скрытое от дележа наказывали жестоко, иногда делали «темную», а иногда изгоняли из дома на улицу. Шагай откуда пришел.

Вы спросите: а куда смотрели те же работники, директор, горono и остальная власть? Откуда мне знать. Мы жили с ними в разных мирах, которые никак не соприкасались. Хотя нет, неправда. Точкой соприкосновения была

родная милиция. Она медленно и системно налаживала тот безотказный конвейер, который загребал беспризорщину и уже не отпускал до конца жизни. Работая на помилровке, я сразу узнавал своих сверстников, попавших за кражу буханки в военные годы и уже не вылезавших из лагерей и сорок и более лет.

Впрочем, крали и растаскивали мы не все, несколько томов Брема с цветными изображениями птиц и животных почему-то не пропадали, и мы любили их листать. А воспитательница Бася Марковна, это в Юргомышском районе, в селе Таловка, иллюстрировала своими рассказами о путешествиях эти самые живые картинки. Вот ездила где-то по пустыне, на «линейке», так она называла возок, а тут на пути басмачи с ружьями...

И первую книгу с автографом настоящего писателя, вывезенную (ну то же, что выхваченную) из огня ленинградской блокады и бережно сохраненную воспитательницей Ниной Петровной, я до сих пор помню. Название книги не помню и автора не помню, но была она толстая, без картинок, зато на первой страничке четким почерком наискосок шла дарственная надпись нашей Нине Петровне, в которой писатель объяснялся ей в любви. Такое запоминается навсегда. Мы так часто заглядывали на эту страницу, что, конечно, залапали ее грязными в цыпках руками, и владельца деликатно скрyla надпись, склеив между собой две первые странички. Но книгу не спрятала, хотя знала, что могут украсть. И в знак благодарности за доверие мы ее и правда не украли.

Надо ли еще объяснить, что в быту наши воспитатели (господи, как они от нас страдали!) были не менее бедны, чем их подопечные. Комнатушки при детдоме, где они проживали, обшаривались нами многократно, и стыдно теперь вспомнить, что у пионервожатой Оли (была и такая странная должность среди воспитателей) я зачем-то стащил пудреницу, узорчатую костяную коробочку, может, даже очень дорогую семейную реликвию, которую вскоре выменял на крошечный жмышок, но его у меня тоже стащили, хотя хранил я его, даже ночью, за щекой. Пустили от самокрутки

дым в нос, а когда, задыхаясь, приоткрыл я рот, щепочкой тот жмышок из-за щеки извлекли и за свою щеку положили. А мне сказали: «Не жмись, ты уже его здорово обсосал».

Но я сейчас не только о бедности наших святых, другого слова не могу найти, наставников, учителей, нянек, все в одном лице, которые не могли, как мы, что-то добыть или украсть. Они-то как раз и жили впроголодь, без возможности что-то обрести, кроме того, что им выдавало (распределяло) государство. То самое гороно. Да мы, варвары, их терзали, да карточки, самые плохонькие, иждивенские, четыреста грамм хлеба на сутки, да очереди, чтобы отоварить те карточки и получить тот хлеб, да редкие треугольнички-письма, у кого мужья на фронте. И вечная непреходящая тревога за их жизнь...

Но я сейчас не об их бедности, а об их непостижимом для наших зачаточных душ богатстве. Вот они-то и были тем живым словом, носителями, обломками иных, никогда нами не виданных миров, которые исподволь делали нас, существующих на животном уровне, тоже другими.

Я думаю, главное в том, что они жалели нас. Но мы не понимали, мы чурались такой жалости, она нас расслабляла, делала в другом, не их, мире беззащитными. И не случайно в одной моей повести маленький герой по кличке Сморчок страдает от того, что его погладили по волосам, и не знает, как ему дальше жить. А другой герой — по кличке Швейк — даже погибает, ибо был из такой высокопоставленной семьи, где не научили его премудрости выживать, когда он оказался выброшенным на улицу...

26

Как-то попалась мне в книжке история про древний народ, который звался шумеры, а у тех было письмо на глиняных дощечках. Прошли, как ветер по пустыне, века и века, не стало многих народов и шумеров не стало, пока однажды археологи, роясь в древних развалинах, не обнаружили эти самые глиняные дощечки, обожженные давним пожаром. Пожар стал катастрофой для жителей селения, но он же,

превратив сырую глину в камень, сохранил для нас древние письмена. Со временем их расшифровали, и на одной из дощечек, это был лишь каталог названий древних, не дошедших до нас стихов, было начертано: «Жалобная песнь для успокоения сердца».

Неизвестно, какая это была песнь, верно, утешающая, умиряющая боль. Но мне и названия было достаточно, чтобы проникнуться чьей-то в тысячелетиях песнью. Одно дело — исторические домыслы историков или фантастов, как бы воссоздающих жизнь неведомых нам народов, но совсем другое — чувственное излияние души, донесшееся почти из небытия. И тут уж точно смыкается живое с живым, и не это ли главное — в горевшем, но не сгоревшем, а выхваченном из огня Слове? А я настолько был контужен этой чужой песней, что в свою прозу вставил, назвав одну из повестей, и сейчас ношу в себе как мою первую находку — книжку, добытую из пожара и спрятанную за пазухой.

Но и далее вставал я в тупик, натываясь на Слово, которое вживую, как молния, мгновенным просверком замыкающая небо с землей, замыкало, соединяло меня с чужой, давно исчезнувшей жизнью. Даже не просто жизнью, а чувствами тех, кто когда-то жил. Вот вдруг прочел про войну такие строки: «Был великий плач, изнемогали девы и юноши, и изменилась красота женская...»

Уж сколько написано-переписано в исторических хрониках о жестокостях войны, которая прошла и превратила страну в пустырь, про солдат, что разбойничали, грабили, насильничали и убивали. Все так и было, но ухо, но глаз, привыкшие к подобным картинам в наше время, да только ли наше, уже не могут воспринимать чужую беду, если она не твоя, и не пускают слова чужого несчастья в душу. А тут и не сказано-то ничего особенного, лишь легкой кистью, коротким мазком по темному фону, о том лишь, что в несчастье, а что бывает несчастнее войны, женщины меняются, они перестают даже быть женщинами и перестают нести свою женственность и красоту.

Ну, разве кого-то вдохновит такая реальная картинка, запечатленная в четырех строчках: «Вот и кончилась

война, и осталась я одна, я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик...» А я ведь воочию наблюдал, я видел, видел мужикобабу, нечто бесполое, почти звероподобное, одетое в ватные штаны, которое пашет! Не только впрямую, на поле, в жизни пашет, то есть носит рельсы, кладет асфальт на дороге, кормит мужа-алкоголика, нянчит детишек... Спасает беспризорных... И невозможно не поверить, что Россию снова спасут бабы.

Правда, в строках о великом плаче есть продолжение, но оно тоже целомудренней, чем сказали бы нынешние очевидцы: «Вострепетала земля за обитающих на ней, и весь род Иакова облекся стыдом...»

Это о войне-то, да со стыдом! А мне так стало стыдно за нас сегодняшних, что мы, хоть давно не числим себя варварами, но таких слов уже не можем произнести... Забыли! А еще забыли, что земля, замусоренная, изнасилованная нами, способна вос-тре-пе-та-ть.

Или уже не вострепещет, настолько загадили, умертвили?

Вот ведь как вживую могут творцы прошлого, из пепла, из небытия достать Словом, просквозить по чувствам так, что вздрогнешь, опомнившись, и подумаешь: как же это мы дошли до бесчувствия такого, и какие же слова, несущие нашу сегодняшнюю боль, способны мы передать дальше из своего пепла?

Среди нашей жизни, заполненной событиями, имеющими, как выражаются, политическое и государственное значение, никто, понятно, не заметил крошечного события, происшедшего в Глинковском районе на Смоленщине, где 17 сентября люди отпраздновали шестидесятую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Да и я, закопанный в повседневные дела, ничего бы не вспомнил, не узнал, если бы не робкий звоночек из администрации района Глинки с приглашением приехать на торжество. Все-таки родина отцов. Посещал, но это когда было-то. И вот чудо, сам бы не поверил... Но бросил все дела и поехал.

Хочу пояснить. Деревня, которой уже ныне нет, называлась Радино — родина моих отцов. Там, на окраине соседней деревни Белый Холм, как я уже рассказывал, могилы деда с бабкой. Отец, переиначивая знаменитую песню, когда мы везли кресты на багажнике машины в родную деревеньку, чтобы поставить на могиле бабки и деда, обычно напевал: «С чего начинается Радино... С Смоленска оно начинается!»

Конечно, хотел я повидаться с двоюродным братом Валентином, в прошлом мировым рекордсменом по конькам, ныне профессором. А судьба у нас схожа: он в годы войны пережил здесь, на Смоленщине, весь ужас оккупации, а на фронте погиб его отец Степан, брат моего отца. Мой же отец, слава богу, пройдя всю войну, вернулся, и тем мы с сестрой, затерянные в далеких детдомах, выжили. А мой выплеск в будущее, из той победной весны в Кизляре и встречи с отцом, необходим для общей картины, которую оставляет война, на всем протяжении, до наших, до самых последних лет.

Мой отец не освобождал Смоленщину, но страну он защитил. А вот наш знаменитый земляк Александр Трифонович Твардовский, с ним мой отец в детстве посещал одну школу, его родина — селцо Загорье, освобождал эти места.

Однажды у моего знакомого писателя Евгения Воробьева на стене увидел я фотографию: Твардовский в длинной шинели стоит, скорбно опустив голову, на погосте уничтоженного войной отцовского дома.

А уж стихи, посвященные войне, особенно «Василия Теркина» — всю поэму от первой до последней строчки я когда-то знал наизусть. Пожалуй, ни один поэт с такой потрясающей силой не отразил народной беды, перенесенной в войну. Обращаясь к землякам в листовке, которая была сброшена в эти места, поэт писал: «Ой, родная, смоленская моя сторона, // Ты огнем оголенная до великой черты, ты за фронтом плененная, оскорбленная ты, // Никогда еще ранее даже мне не была // Так больна, так мила — до рыдания...»

Ни одна область, ни одна земля, кроме разве Белоруссии, не претерпела от войны столько мук, сколько моя Смо-

ленщина. На западном пограничном краю нашей страны она во все времена первой принимала удары от недругов, приходящих с запада. А в эту минувшую войну, очевидцы мне рассказывали, отсвет горевшего Смоленска, польхающее над ним кроваво-багровое небо было видно за сотню километров. Людям казалось, что наступил конец света.

Но и здесь, в деревнях, война творила свое беспощадное дело. Меня поразило, что через два-три десятка лет о войне жители в деревнях говорили так, будто она произошла вчера; такую незаживающую рану оставила она в душе каждого смолянина. Да посчитайте сами: в том же Глинковском районе было до войны сорок тысяч жителей, ныне осталось едва шесть-семь. И так по всей области. Она до сих пор, мы же об этом не пишем, не знаем, недобрала до довоенной численности населения. Ну, а символом особой жестокости стала соседняя с Белым Холмом деревня Ляхово, ее называли второй Лидицей, фашисты сожгли в домах 384 человека, в основном стариков, женщин и детей.

Так вот она-то вострепетала, моя бедная, моя несчастная родина. И если говорить о стыде... Стыдно, когда она зовет, а ты делаешь вид, что не слышишь. Поехал я, в общем... Завернул за братом Валентином в Смоленск и его уговорил ехать. И не зря, это была последняя с ним встреча.

Надо ли описывать, что встречи на родине особенно трогают: дети на центральной площади встретили хлебом-солью, а потом под гармошку, играла женщина, нам пропели старинную приветственную песню. А далее вместе с земляками возложили венки к могиле Неизвестного солдата.

Мне приходилось участвовать в торжественном ритуале возложения венков к Вечному огню у Кремлевской стены, это всегда волнует. Здесь, в Глинке, было как бы менее величественно, зато по-человечески трогательно. И дети — слава богу, их было много на митинге — пронесли торжественно венок, сплетенный ими из хвои, и положили к подножию памятника, где врезаны в стену сотни имен воинов, отдавших жизнь за освобождение Глинки. Но не все, не все. Вот опять я услышал, что к этому дню собраны останки еще нескольких сотен. Сколько же их пало, что

до сих пор собираем и собираем... И не можем собрать...
Страшный урожай далекой войны!

Ну, а для тех ветеранов, кто остался в живых, — они стояли тут же, в скромных потертых костюмчиках, но с орденами и медалями, — устроили потом в спортивном школьном зале, другого нет, банкетик на деньги здешнего предпринимателя. И звучали фронтовые песни той поры, и люди говорили простые слова о победе. Ибо этот праздник был здесь не менее значим, чем День Победы, который празднуется в Москве и в стране.

Не буду рассказывать о многих других событиях, даже о посещении родных могил. Но об одном скажу. На окраине поселка, в деревеньке Ново-Яковичи, освятили в этот день деревянную часовенку, поставленную на месте уничтоженной в войну церкви. Построил ее тоже здешний предприниматель на свои деньги. Так-то и получается: одни вкладывают миллионы в покупку английской команды, а другие, живущие куда скромней, но поближе к людям, захоранивают останки воинов, помогают ветеранам, строят для воскресения душ часовни, чтобы возродить, спасти наше с вами общее будущее.

А я так твердо убежден: без возрождения окраинных селений, их тысячи таких, как Глинка, России не подняться. И никакая Москва, сверкающая огнями витрин и одаривающая нас бесконечными сериалами, Россиюшку не спасет. Только сами себя. Только сами.

Такие-то мысли приходили ко мне у той часовни. А в душе еще звучали стихи великого земляка: «И пусть последний раз сюда зашли мы мимоходом, мы не забудем никогда, что мы отсюда родом...»

Уезжая, я еще раз оглянулся на часовню. На пригорке, среди открывающихся до горизонта лесов, она сияла, как свечечка, с золотым огоньком на кресте, символизируя будущее этого края. Да и наше общее будущее.

— Только бы не спалили, — пробормотал мой сосед.

— Кто же может спалить? — спросил я в тревоге.

— Да кто... Те, кто пропивают Россию!

Молюсь за моих смолян и верю: сохранят.

Ах, какой все-таки был этот блистательный и счастливый май! Особенно если без загляда наперед. Но я в ту пору, чудом уцелев, когда подбирали нас, одичавших в горящих зарослях близ Серноводска, ни о какой родине Смоленщине не ведал и про деревню и про бабушку узнал через много лет.

В школе вдруг стали раздавать конфеты «подушечки», которые слиплись от долгого лежания в каких-то закромах и теперь щедро распределялись прямо посреди двора, их отламывали в наши грязные лапки большими кусками.

На экзаменах не то чтобы разрешали, но старались не замечать, как мы подсматриваем и списываем. А Батя на глазах изумленных учителей спускал на нитке записку к друзьям, которые сидели под окном и выуживали для нас из задачника готовые решения. И даже немка, маленькая, крикливая, с крашенными в рыжий цвет волосами, которая заставляла нас изо всех сил учить ненавистный фашистский язык, даже она чуть подобрела, но не настолько, чтобы мы к ней прониклись состраданием.

Мы терпели ее крик и не дерзили ради такой весны, ради победы над врагом, а значит, над проклятым фашистским языком тоже. А я вдруг на удивление немке, классу да и самому себе легко одолел готический шрифт и прочитал полстраницы текста. Как получилось, что я с ходу стану читать готические буквы, целые слова без всякой подготовки, до сих пор объяснить не могу. Сейчас бы, наверное, сказали, что это пришло из прошлой, какой-нибудь другой моей жизни. А тогда я по-дурацки хихикал, не умея ничего объяснить. А немка смотрела на меня, и ее хлипкие, дурно покрашенные волосики от удивления зашевелились. И тогда она почему-то решила, что я просто морочу ей голову, а сам давно и добросовестно учу этот проклятый народами язык, и она милостиво, первый и последний раз в моей жизни, поставила мне высокую оценку.

А мы уже топали и орали по коридорам:

*Последний день учиться лень,
Просим вас, учителей,
Не мучить маленьких детей!*

Но чудеса на этом не закончились. Меня вдруг выбрали секретарем комсомольской организации, в которой числилось всего пять человек, это кому исполнилось четырнадцать, и мне поручили свой первый доклад сделать о речи Черчилля в Фултоне, угрожающего новой войной.

Худрук Стелла, воспринявшая почему-то ревниво мое избрание в секретари, доклад сдержанно похвалила, но посоветовала какие-то нужные строчки в газете, которую я цитировал, подчеркивать цветными карандашами. Красными, например. Так, сказала она, делают все докладчики. Карандашей, да еще цветных, у нас не было и в помине. Но я и так все помнил, и Черчилля, который «бряцал оружием» (цитата по памяти из того времени), я обличал изо всех сил.

Об угрозах, прозвучавших в речи Черчилля, тогда говорили вокруг и по радио, и казалось чудовищным, что может вернуться то, что мы все пережили. Или этот Черчилль не был под бомбежками и не голодал холодными зимними вечерами? И что такое этот Фултон, где он «бряцал оружием», похож ли он на наш Кизляр или нет? Так вот пусть знает, что мы в Кизляре осудили его злобную речь, а я тогда же записал его в личные враги, ему тоже предназначалась «черная стрела». Такая же, как Башмакову.

А еще мне велели собирать членские взносы. А так как с неимущих не берут, я должен отмечать в комсомольском билете ноль целых ноль десятых процента копеек.

Сейчас-то я думаю, что это и была настоящая цена каждого из нас. Ноль целых ноль десятых... А потом принесла взносы девушка-счетовод, только что принятая на работу. Про нее говорили, что она дальняя родственница директора и что она моет у него в доме полы. А я растерялся. «Да ладно, не нужно денег, — сказал я счетоводу. — Давай я тебе поставлю ноль целых ноль десятых копеек». Она тоже растерялась и ответила, что ей надо платить процен-

ты от ее зарплаты. «Ну, тогда сколько скажешь, столько и запишу, — предложил я. — А денег не надо. Я все равно не знаю, куда их девать».

Думаю, что после моего отъезда в горкоме долго ломали голову, куда исчезли записанные мной взносы, и, конечно, я был крайне беспечен, а партия и комсомол, как мне потом разобъяснили, не прощают утаенных от них денег. Но ведь я действительно их не утаил. А в четырнадцать лет все виделось по-другому и представлялось, что нас ждет другая, ни на что не похожая жизнь. Ни детдома тебе, ни комсомола...

Теперь в детдоме каждый вечер происходили танцы под патефон или даже баян. Патефон приносила Стелла, и больше всего нас смешила пластинка, где Утесов пел про бороду. «...Парень я молодой, молодой, а хожу-то с бородой, я не беспокоюсь, пусть растет до пояса, вот когда прогоним фрицев, будет время, будем бриться — бриться, наряжаться — наряжаться, с милкой целоваться...»

А под баян танцевали воспитательницы со старшими девочками. «Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука...» Мы жались к стенкам, делая вид, что нам эти танцульки по фигу, но сами смотрели во все глаза. Тем более среди танцующих была моя тайная любовь Лида. Лида Жеребненко. У нее почти наголо стриженные волосы и чистый, сверкающий, как источник, пронзительно тонкий нежный голос. На самодеятельных концертах она поет песню про Ленинград, я и сейчас ее дословно помню: «Не сломили нас смерть и блокада, и пройдет, словно песенка, вновь по весенним садам Ленинграда нерушимая наша любовь...»

И когда Лида, чуть склонив набок головку, выводит эти слова, мне почему-то хочется плакать. Отчего-то жалко ее, себя, ленинградцев и всех людей на свете. Хотя никакого Ленинграда, никаких садов ни Лида, ни я никогда не видели.

О самой Лиде, о том, что она в жизни пережила, рассказывалось по детдому шепотком, но все, конечно, знали, что в городе Донецке, в ту пору Сталино, где жила ее семья, на площади, прямо на ее глазах, повесили родителей как

партизан-подпольщиков, а девочка тогда сразу стала белой. Потому и стригли наголо, чтобы не так было заметно.

Но первая подростковая любовь на то и первая, чтобы остаться без ответа. От той ошалелой весны, которая пришла после бесконечно долгой военной зимы, многослойная, многоголосая, празднично пестрая, осталась лишь одна пронзительная нотка — Лида. Каждый раз, танцуя танго с Клавдией Илларионовной, она заглядывает через плечо воспитательницы в мою сторону блестящим серым глазом, будто хочет о чем-то спросить. Может, она раньше меня догадалась о моих чувствах и ждала признания? Да просто ждала каких-то слов, ну, скажем, таких: давай дружить. Но и для этого, поверьте, нужна смелость.

Мы знали все про чужую любовь, мы хором орали похабные песни, но это никак не смешалось с первыми признаками робости, с пробивающимися изнутри неясными, невыраженными, едва различимыми нотками чувств. В общем, мы разъехались, даже не простившись. Осталась лишь на память о Лиде ее песня. Вот ее слова: «Все, что ты мне, прощаясь, шептала, стало сердцу навеки родным, только белая ночь трепетала над Литейным мостом кружевным...»

Попав уже в зрелом возрасте в легендарный город, и увидев, и пережив белые ночи и те самые кружевные мосты над Невой, я вдруг понял, что Лида и ее песенка вовсе не отсюда. Может, кто-то ее поет и здесь, и она прекрасно прозвучит, но это уже не наша песенка. А наша звучала и будет всегда звучать в крошечном горном городке на Кавказе, где девочка в белом ситцевом платице, тоненькая, как свечечка перед алтарем, своим серебряным голоском заставляла меня тихо рыдать, спрятавшись в темном углу клуба.

28

Первая такая весна. Первая любовь. Первая дружба. Два дружка караулили меня на задворках: Витька Иоффе, о маме которого я упоминал, и Христофор, он же Христи, мальчик из армянской семьи. О нем мало что осталось в памяти и душе. Разве что фотография, где мы стоим вдвоем, такая крошечная-крошечная, размером с ного-

ток, сейчас захочешь, такой не сделают. Но еще какие-то мне недоступные сексуальные упражнения, которые он изобразил, поскольку южная кровь и раннее созревание. Да еще вместо уроков особый поход к винному заводу, где на задах надо раскопать в виноградном отжиме ямку и, уткнувшись лицом, подышать над нею, и тогда весь мир придет в неистовое кружение и весело преобразится. И можно хохотать до упада, указывая пальцем друг на друга и видя, какие мы окосевшие.

А вот с Витей Иоффе по-другому и душевней. Мы вообще вдруг поняли, что мы не просто дружки, а друзья до гроба, и эту обстановку сердечности создавала его мама Роза. Была она росточком чуть больше сына, светлоглазая, круглолицая, смешливая. Я уже упоминал, что работала она бухгалтером на теплостанции, и так как вода в Кизляре в те поры продавалась на деньги из деревянных будок, где обычно сидели древние старухи, мама Роза каждый вечер приносила с работы для подсчета выручку за воду, целую картонную коробку мелочи, среди которой часто попадались старинные монеты. Древний, даже очень древний Восток просвечивал сквозь окислившийся металл, но мы, наполненные той весенней новью, стариной не увлекались.

А еще мама Роза придумала брать нас на теплостанцию, и там, в бетонном отстойнике с теплой водой, мы с Витькой могли купаться даже в холодное время года. Ко дню рождения мы зарыли в огороде глинобитного домика, который они снимали, банку с вишневым соком и на праздник вскрыли и пили за Витькины четырнадцать лет забродивший сок, и это было взаправду весело. Потом мы ходили смотреть, залезая на высокий забор открытого кинотеатра, новый фильм «Пятнадцатилетний капитан». Как ни говори, а он был нам почти ровня. Да и все мы в эти годы бредили морем, а Володька Рушкевич даже попытался устроиться в плавание. Но хорошо помню, что нас с того забора согнали и мы так и не увидели, чем закончилось кино. Но вот злодей Нигоро, проникший на корабль и подложивший топор под корабельный компас, был включен мной в список злодеев, которым не может быть пощады... Четыре я стрелы пущу, и четверым я отомщу...

Еще мы мечтали попасть на выступление силача Айвазова, который изображался усатым богатырем на афишах, расклеенных по всему городу, где он поднимал рояль, а на рояле сидели и стояли десять человек артистов, и все при этом улыбались.

Попасть на Айвазова мы по безденежью тоже не смогли, зато придумали с Витькой такую игру, что если бы взять силача Айвазова и направить против пиратов и Нигоро, которых он одним мизинцем скинул бы в море, то получилась бы классная концовка в кино, которого мы не досмотрели. А потом мы по очереди читали «Тома Сойера», его на два дня мама Роза выпросила у подруги, и Витька предложил написать продолжение книги и тут же набросал на листочке план следующих глав. Но потом он писать расхотел, а вместо этого завел дневник и стал записывать, как мы с ним проводим время. И тогда я тоже завел дневник и стал записывать, как мы с ним проводим время. Потом мы сравнивали записи, и выходило, что мы по-разному, хоть и вместе, проводим время. Он написал, что на «отлично» сдал контрольную по русскому, в то время как я играл на уроке в морской бой, а я написал, что Витька валял дурака и контрольную написал плохо, а все оттого, что мы не попали на Айвазова.

Мама Роза, которая сшила мне блокнотик для дневника из старой бухгалтерской книги, ознакомилась с нашими дневниками и сказала, что из моего дневника она будет узнавать о сыне, а из Витькиного — обо мне. А в целом мы, по ее словам, большие фантазеры, потому что наш Айвазов — алкоголик и развратник и его с гастролями не пускают выступать даже в Сунжу, не только в Грозный. Дневник тот у меня сохранился, и с временными перерывами я за чем-то вел его еще много лет. Правда, вел, но не читал.

Самое поразительное, что от того времени мало чего вещественного осталось. Разве что настоящая финка для защиты, смастеренная таким образом, что ручка у нее была приспособлена для очень маленькой детской руки. И вот сохранился дневник, вписанный в крошечную тетрадку, а вместе с ним сохранился рисунок Витьки с дарственной надписью мне на память: Ленин, стоящий на трибуне. Ленин

правой рукой на фоне красного флага указывает народам, а значит, и нам с Витькой, дорогу в счастливое будущее.

А дальше был мой отъезд в Москву, когда пришел с фронта отец. Я все время забегаю вперед, но про отца следует рассказать. Дело в том, что моя жизнь с появлением отца круто изменилась. До этого я шлялся, промышлял по рынкам, попрошайничал, крал, и даже дружба с Христиком и Витькой не изменяла главного: я был ничейный, бросовый, уличный, в то время как у Витьки рядом всегда была мама Роза. И вдруг я вырос в собственных глазах. У меня появился отец, фронтовик, защита на всю жизнь. Я, как маленькая собачка, торопился поспеть за ним: и когда он на рынке пробовал на вкус вино, и когда купался в Тереке, и когда ушел ночевать к воспитательнице Ольге Артемовне.

О, эта холодная ночь на чужом крыльце. Я продрог, но с места не сдвинулся, просидев там от вечера до утра. Я ждал отца и боялся его потерять. Не совсем, а хотя бы на утро. Совсем-то я знал, знал, что он никуда не денется, раз он приехал на Кавказ и меня разыскал. Но, боясь каждую минутку не быть с ним, я бегал за ним, как привязанная к ноге собачонка.

Меня можно понять: ведь я прождал отца всю войну. Сперва я жил воспоминаниями. Потом жил фантазиями. А однажды, увидев в книжке на обложке человека с автоматом, я почему-то решил, что это мой отец. Меня никто бы не мог переубедить, что это не он. И тогда книжку со зла украли. А потом почта мне принесла реального отца на фотографии, где он был снят с медалью на груди. Эту фотографию я носил в кармане завернутой в пергамент и доставал и показывал только из своих рук. Это был уже реальный документ, что отец не просто существует, а что он герой войны. На основании этой фотографии мне написали в документах, что отец — командир Советской армии, и меня направили из распределителя не куда-нибудь, а в кизлярский спецдетдом, где была неплохая кормежка.

Понятно, что до того как отец здесь появился, он полностью заполнял мою жизнь, и настоящую, и будущую. Я ощущал отца нутром, кожей, даже нюхом, потому что от

него пахло не просто табаком или потом, а солдатом, который прошел войну. Пусть он за дверью, пусть веселится, там, конечно, теплей и сытней. Но я сторожил, сторожил и дождался.

Наутро смущенный отец отчего-то ругал дурное вино, от которого его мутит, но про Ольгу Артемовну не произнес ни слова. Только поинтересовался, что, мол, так и просидел тут всю ночь? Я сказал, что просидел, потому что думал, он вчерась еще выйдет. «Ну, да, да, — промычал он, качая головой. — Надо было вчерась... а я вот...» — и, снова обругав вино, он предложил пойти искупаться. И тогда я понял, что Ольга Артемовна ему не понравилась, как и ее вино, а значит, он к ней больше не пойдет. А значит, не оставит караулить его на крыльце. Такая удача.

Не мог я знать наперед, что часы и минуты ожидания отца заполнят мою будущую жизнь подростка. Будет так. Потратив три часа на дорогу от Ухтомской до работы на аэродроме, я возвращаюсь в холодный дом поздней ночью, и сердце холодеет, когда, завернув на свою улочку, я в который раз убеждаюсь, что в окошке нет света, а значит, отец в загуле. Пожевав остатки холодной картошки, если она есть, я накрываюсь матрацем и на три-четыре часа задремываю, чтобы утром, подскочив от страха, что могу опоздать, бегом спешить на электричку. Но случилось, однажды в окне я увидел свет, и сердце мое дрогнуло. Все нутро затрепетало от счастья: отец дома! Он и правда был дома, но с женщиной, я ее увидел через приоткрывшуюся дверь. Они пили вино, а я остался ожидать за порогом. Как тогда, в Кизляре, на крыльце Ольги Артемовны. Но там и здесь я был похож на верную собачку, которая сторожит каждое движение отца.

Бродя по улочкам поселка, я подобрал однажды щенка. И никого у меня ближе не было, чем этот рыжевато-бурый щен, на кривых лапах, от роду месяца два-три, которого я назвал Джеком... А отец добавлял: Джек Сидорович. Но однажды, возвращаясь с очередной пьянки, отец ткнул его сапогом в живот, и Джек заболел и, помучившись, умер. Оплакав, я схоронил его на огороде, а весной посадил вишню на его могилке. А в численнике, на вырванной для памяти страничке от 9 декабря, написал: «У меня умер друг». Это было правдой.

Но я сейчас про свет в окне и про отца, который не пустил меня в тепло. Не то что не пустил — не пригласил. Да я бы и сам не пошел. Из-за женщины. Сидя в прихожей, у дверей, я взял молоток и стал стучать по полу. Долго стучал, пока они не вышли. Отец провожал женщину и спросил на ходу: «Ну, чего ты стучишь и стучишь?» А женщина пожаловалась, что у нее от этого стука голова разболелась...

— Хочу и стучу, — сказал я.

Я был тогда, наверное, как мой дружок Джек, которого по пьянке шурнули сапогом и не заметили.

На пологом берегу Терека, на травке, раздевшись и почесывая белую грудь, отец долго медлил входить в воду, а пиджак свой набросил мне на плечи. Отцовский пиджак с охлаждающей шелковистой подкладкой, плотный, основательный, как пальто, доходил мне до колен. Как мне хотелось продлить счастье, побыть в настоящем отцовском пиджаке с надеждой, что вот придут дружки и увидят... А я — вот он, во взрослом мужском пиджаке, а на пиджаке красуются цветные колодочки орденов и медалей... Да пусть никто и не увидит, я сам себя вижу, каждой клеточкой изнутри ощущаю этот взрослый пиджак, пахнущий отцом, свидетельство нашей с ним близости. И тот, кто не пережил подобное, тот не поймет, что нет счастливее в жизни мгновения — быть рядом с отцом в отцовском пиджаке.

А потом отца пригласила в гости уже Витькина мама Роза, и мы с Витькой заметно напряглись. Мы оба боялись, что мой отец останется у них ночевать. Я ревновал отца, а Витька, понятно, свою маму. Но все обошлось без ночевки. Только я заметил, что Витька, у которого не было папы, особенно остро и даже раздраженно воспринимает появление моего отца. У самого Витьки отец, по словам мамы Розы, был летчиком и погиб на фронте в начале войны. Я не сомневался, что это правда. А сейчас вдруг подумал, что это, скорее всего, легенда. Ведь на единственной фотографии, что висела у них в доме, отец Витьки, молодой и курчавый, в очках, походил внешне на какого-нибудь учителя, а не на летчика. О нем никогда не возникал подробный разговор, ни с Витькой, ни с мамой Розой, хотя невозможно

представить, чтобы они его не помнили. Скорей всего, он мог оказаться в числе репрессированных, а может, его не существовало вовсе.

Готовясь отбыть домой, в Москву, я совершенно забросил своих детдомовских дружков. Витьку я тоже забросил. А на вопрос Витьки, заданный странным тоном, чуть не с упреком, когда мы столкнулись нечаянно у ворот школы, скоро ли мы уезжаем, бездумно повторил слова отца: мол, директор завода — еврей, и отцу грозят неприятности, если он из-за меня задержится.

Я и сейчас до мелочей помню этот разговор у ворот школы. Помню, как Витька, опустив голову, негромко произнес: «А что, евреи не люди?»

Кажется, я тогда удивился его словам. Ведь я никогда не думал, что Витька — еврей. Да и какая мне, в сущности, разница, какой там директор у отца, а вот Витька был мой дружок, это я ценил. И Христик, армянин, был моим дружком, и украинка Лида Жеребненко, и немка Гросс... Но вот ляпнул не думая и так и уехал не прощенным Витькой. Как сейчас вижу, он повернулся и пошел по улочке, опустив голову. И ушел навсегда.

Вспомнил, стало стыдно. Ну, понятно, поглупел от неожиданно привалившего счастья. Но ведь запомнил до мелочей тот разговор и уходящего навсегда Витьку. Значит, уже тогда понимал, что совершил неприличное, подловатое. И полста лет носил это в себе придавленно, старался не вспоминать. Не знаю, не ведаю, жив ли мой дружок. Но если жив, если прочтет, услышит мой поздний голос... Прости, Витя. Прости. Прости. Прости, прости.

29

Но вот он и наступил, День Победы.

Я пишу его с большой буквы, он того стоит.

В этот день все всех поздравляли: и тех, кто не служил, и тех, кто служил и даже воевал, неважно где, мы все время где-нибудь воюем. Но мужественное призвание мужчины быть воином и защитником никуда от нас, оказывается, не ушло. «Сын мой, — произносят в одном из африканских

племен, обращаясь к подростку, — отныне ты мужчина. Возделай поле свое и сумей защитить его. Проживи жизнь так, чтобы твои сыновья, глядя на тебя, захотели бы стать настоящими мужчинами».

А я очень гордился отцом, пришедшим с войны. Но сперва о тех незабываемых днях конца войны, когда все цело и голубело и было так победно и счастливо на душе. О том, какой он будет, этот День Победы, нам рассказали в кино еще задолго до самой Победы. Фильм так и назывался: «В шесть часов вечера после войны». И хоть было до этого победного дня много других дней, и многие, многие так и не дожили до Победы, но мы уже знали, видели, как она на самом деле произойдет. Мы и правда дожили до нее, я даже думаю, что фильм нам в этом очень помог. Он нам внушил образ Победы.

А потом была настоящая Победа, и настоящий салют, и были солдаты, не такие красивые, как в кино (там играл знаменитый киноартист Самойлов), но зато свои, настоящие, любимые, и было истинно всенародное ликование на Красной площади. А еще был парад, он так и назывался — Парад Победы, в хрониках кино мы его смотрели тысячу раз... Солдаты с особенными мужественными лицами, таких лиц не создашь никакими кинофокусами, прошли по Красной площади мимо Мавзолея, швырнув к его подножию вражеские знамена. А на Мавзолее стоял главный победитель — генералиссимус Сталин — и улыбался в усы.

Уже в наше время по всем программам телевидения нам показали вдруг парад воинов из Чечни. На аэродроме «Северном» выстроили трибуны, и по бетонным плитам взлетной полосы прошли наши российские воины строевым победным маршем с оружием в руках.

Я узнал этот аэродром. Именно отсюда из Грозного я улетал на «вертушке» в Моздок в 96-м году, и кучно, вдоль борта, сидели солдаты, уцелевшие после тяжких боев. Они отворачивались к окошкам, потому что у их ног, на полу, лежали завернутые в блестящий целлофан двое их товарищей — «груз двести»... Сапоги, торчащие из обертки, вздрагивали от крутых противоракетных виражей.

И вот снова над поверженным и дотла разрушенным городом, будто над чужой могилой, нам демонстрируют

парад победителей. Вот только лица у победителей-мальчиков вовсе не те, что на параде Победы в том сорок пятом году. Можете сравнить. Хлебнув чужой крови, прирастившись к наркотикам, они пойдут по тюрьмам да колониям. Я-то наперед их судьбу знаю. Мне было отчего-то не по себе, глядя на вдохновенные лица наших генералов: отчего же празднуем, отчего ликуем-то? Оттого, что бросили под огонь истребления мальчиков-солдат, многие из которых не дотопали до парада на бетонной полосе?.. Оттого, что в российских городах царит испуг перед новыми террористическими актами, и чем далее, тем сильнее?

И не надо изображать, что Грозный и поверженный Берлин, постыдная война в Чечне и та, что несла нам свободу над фашизмом, — одно и то же. Тем более остались и живы еще свидетели. Да и я о той, священной, могу рассказать.

И вот что скажу. Главными победителями в ней, кроме Сталина, Жукова и других имен, которые мы знаем наизусть, были просто солдаты, наши отцы, которые отпахали четыре с половиной года, а кому повезло уцелеть, с осени сорок пятого начали прибывать в товарняках, идущих с запада. Они были молоды, голосисты и долгожданны, и рядом с ними нам, пацанве, притереться, принюхаться, потрогать звездочки на погонах было высшим счастьем.

Отец нашел меня на Кавказе и когда забирал домой (домой!), высыпала во двор вся наша детдомовская шантрапа, даже начальство, ибо для многих это было предвестие, надежда, что и к ним когда-нибудь тоже нагрянут с медалями на груди, да пусть и без медалей, но увезут, увезут навсегда в другой, несиротский, небездомный мир.

Могу утверждать, что отец хоть и не брал Берлина, но был Победитель, потому что он победил врага, который погубил его мать, мою смоленскую бабушку, и еще он победил врага, который погубил его жену и мою мать... Но мой отец не мстил, он просто защитил свой дом. И самой высокой наградой за все четыре года войны была медаль «За отвагу». Были у него и другие медали, и еще «благодарности» лично от товарища Сталина, и мы сейчас, после смерти отца, храним их как память о Победах отца.

Но я запомнил еще, как кучковались солдаты-победители у пивных ларьков, с легкостью отдавая за зелье трофейные часы, губную гармошку, иные какие-то вещицы из нехитрого солдатского багажа... Там, у пивнушек, не раз я находил и своего пьяненького отца. Я так его боготворил! Может, догадывался, что «наркомовские» сто грамм, принятые им за войну, теперь добирались здесь не случайно, ведь чем-то надо было заглушить горькую память потерь, которая по-настоящему осознавалась лишь сейчас. Парад прошел, а война, которая обожгла их молодость, годами, исподволь, дожигала их изнутри и многих потом унесла. «Мы не от старости умрем, от старых ран умрем», — скажет поэт-фронтовик, который от этих ран и умер.

Да и если посчитать, хоть нам они все, кто пришел с фронта, казались такими пожившими ветеранами, а ведь было-то отцу на войне всего тридцать лет.

Ну вот мы и подошли к главному. А все, все, что я рассказывал ранее, лишь только подход к главному: как я и мои дружки по детдому участвовали в параде Победы.

Это был ослепительный день, утро, легкий ветерок, и наши мальчишья сердечки, напряженные от предстоящего марша Победы, счастливо трепетали, будто флаги на домах.

Я маршировал во главе колонны, во втором ряду, среди барабанщиков, и это был мой полет, высочайший полет, выше которого я не взлетал в своей жизни. Музыка вдруг затихла, и мы ударили в свои барабаны. Мы так свирепо и неистово колотили в них, что нельзя было не понять, что мы, и мы тоже, Победители.

Конечно, не было никакого Мавзолея, а была трибунка прямо на грузовичке, на нем стоял настоящий Герой Советского Союза (он потом тоже сопьется), мимо которого мы, затаив дыхание и печатая шаг, строем прошагали. Герой чуть хриловато и совсем не заученно произнес слова о Победе, и мы двинулись по улицам дальше, навстречу новой, прекрасной жизни.

Содержание

СИНДРОМ ПЬЯНОГО СЕРДЦА

Встречи на винной дороге

Жизнь наша копейка	7
Шерман-бренди (Евгений Шерман)	16
Красное вино «Изабелла» (Адольф Шапиро)	29
Спасательный плотик (Юрий Поленов)	41
Специальность — еврей (Ян Вассерман)	54
Дуля (Болгарский друг Емил)	72
Потеряла я колечко (Люся и Борис)	87
Красный десант (Георгий Садовников)	100
Где живет белый олень (Валентин Гринер)	116
Доверчивые осетры (Отец Анатолий Шумов)	133
Сага о трех поэтах (Андрей, Серега, Петя)	149
Байкал через пол слышать (Мироновы)	163
Танец маленьких утят («Лев Толстой»)	176
Солнце, подожди! (Дора Габе)	197
Винная дорога (Алесь Адамович)	208
Монстера — редкий цветок (Алексей Каплер)	226
Этапы большого пути (Песня о главном)	242
Продолжение легенды (Анатолий Кузнецов)	248
Плачут журавли (Сильва Хайтина)	263
Дрессировщик собаки (Режиссер)	270
Птичье горлышко (Семья)	281
Мы это, Господи! (Мы)	290
Пена (Дед, отец, сын)	309
А жизнь наша и впрямь копейка	324

ЗОЛОТОЙ ПАЛАЧ

Ряд и место	327
Виноватые	331
Суд идет	335
Ожидание конца	339
Канун казни	343
Придурок	347
В день казни	351
Спокойной ночи	358
Свидание	360
Ночная гроза	364
Главный подсудимый	367
Суд идет	372
Визит Главного	374
Наш смешной дружок Швейк	378
Название	383
Праздник	386
Билет	390
Этапы жизни	392
Распахнутая дверь	395
Семь дней до	397
Шесть дней до	398
Пять дней до	401
Четыре дня до	404
Три дня до	406
Два дня до	408
Один день до	409
Казнь	411
Возвращение	414
Эпилог	419

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ — ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ

Осень сорок первого	425
Весна сорок пятого	498

Литературно-художественное издание

Собраний сочинений в пяти томах
Том 5

Приставкин Анатолий Игнатьевич

Синдром пьяного сердца
Золотой палач
Первый день — последний день творенья

Руководитель проекта *Юрий Крылов*
Заведующая редакцией *Татьяна Чурсина*
Компьютерная верстка: *Виктория Челядинова*
Корректор *Наталья Семенова*

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.012280.10.09 от 20.10.2009 г.

ООО «Издательство АСТ»
141100, Россия, Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 96
Наши электронные адреса: WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru

ООО «Издательство «Зебра Е»
121069, Москва, ул. Большая Никитская, д. 50/5,
тел.: (495) 690-19-65, 690-19-55
E-mail: zebrae@rambler.ru, WWW.zebrae.ru

По вопросам приобретения книг обращаться в Издательскую группу АСТ:
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7 этаж
Тел.: (495) 615-01-01, факс: 615-51-10
E-mail: astpub@aha.ru, http: www.ast.ru

Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО «ИПК
«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14



ПРИСТАВКИН

Анатолий Игнатьевич

[17.X.1931 — 11.VII.2008]

Что касается рассола, процедура для него была привычной, ибо в студенческие годы, после бурных ночных возлияний, приходил с утречка на ближайший рынок, со своим граненым стаканчиком, и, одолев длинный капустный ряд и опробовав из ведерочек и бидончиков рассол (якобы выбирал капусту), в конце своего пути ощущал некоторое облегчение... В глазах, по его словам, возникал свет, а мир начинал обретать свои привычные знакомые очертания.

Свет в конце прилавка становился светом в конце тоннеля...

Конечно, как у каждого серьезного писателя, у Анатолия Приставкина были свои любимые из тех книг, что созданы за сорок лет честной литературной работы. Это только дети в семье все любимые, а книги у писателя, хотя и родные, как дети, но все разные.

Поэтому, не кривя душой, можно сказать, что эту коллекцию прозы для вас, дорогие друзья, собрал сам автор.

Марина Приставкина

Приставкин не без юмора описывает те ритуальные возлияния, в которых ему как члену писательских делегаций доводилось участвовать. Сценарий, как правило, был одинаков. Эти грандиозные валтасаровы пиры, эти обильные амброзией начальственные халявы – тоже приметы «империи времен упадка». В книге с говорящим названием «Синдром пьяного сердца» Приставкин трактует приверженность к рюмке как традиционный писательский жанр, что не мешает ему с любовью изображать самих писателей. Речь идет об именах достойных – Алесе Адамовиче, Георгии Садовникове, Алексее Каплере, Анатолии Кузнецове, Юрии Казакове, Леониде Темине, Александре Тихомирове, Виле Липатове...

Игорь Волгин

ISBN 978-5-17-067878-5



9 785170 678785